ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения *№ 6 | 2013*

Наталья Горбачёва

Натюрморт с арбузом
2006

ДЕНЬ *и* НОЧЬ

Литературный журнал для семейного чтения № 6 | 2013

В номере

Д*и*Н публицистика

Вячеслав Сорокин
3 История одного спектакля

Иван Булава
50 Встречи с писателями

Александр Щербаков
55 «Где наша Россия?»

Евсей Цейтлин
159 Снег в субботу

Лев Бердников
162 Правитель главного почтамта

Анатолий Вершинский
166 Имя речной богини

Д*и*Н юбилей

Елена Янге
49 День и ночь

Владимир Леонович
63 Гороховецкие лагеря

Вера Зубарева
70 орлита «ДиНу»: «Я к вам пишу...»

Юрий Беликов
117 Всё нормально—там «День и ночь»!

Анатолий Вершинский
143 Многих тысяч дней и ночей!

Михаил Горевич
145 Не разорвутся связующие нити!

Евгений Минин
165 Стихи—не сироты!

Евгений Степанов
171 Разговор о душе

Д*и*Н стихи

Николай Алешков
65 Дальние луга

Геннадий Прашкевич
67 У тихой непрозрачной речки

Александр Орлов
69 Белоснежная пряжа

Лилия Газизова
144 Я узнаю эту ночь

Константин Потапов
146 Одиночество в Сети

Александра Закирова
149 Чеховские декорации

Сергей Николаев
151 Лес болит

Сергей Цветков
153 Вернись мне

Варвара Юшманова
155 О цветах-людоедах

Марина Саввиных
157 Отдаю огонь...

Александр Гиневский
181 Белый день

мосты над облаками

71 Грузия о жизни и любви

Д*и*Н память

Роман Сенчин
77 Феофаныч

ДиН ПРОЗА
Ефим Курганов
81 Дневник Алины

БИБЛИОТЕКА СОВРЕМЕННОГО РАССКАЗА
Бранка Такахаши
107 Счастливая Далия
Рон Палин
118 Карлица
Михаил Манасян
131 Калепсия
Владислав Кураш
134 Ускользающая по волнам

ДиН РЕВЮ
Пётр Чейгин
130 И по сей день
Николай Година
133 i

Сергей Ставер
156 Ты прости меня, розовый ветер…
Марина Саввиных
Евгений Мамонтов
194 Абигайль

ДиН СДВИГОЛОГИЯ
Александр Силаев
172 Критика нечистого разума

КЛУБ ЧИТАТЕЛЕЙ
Юрий Годованец
178 Восемь небес Юрия Беликова

ДиН ПОЛЕМИКА
Андрей Канавщиков
182 Наступление творческих хоббитов: противоядие диалога

ДиН ДЕТИ
190 Синяя тетрадь

Журналу «День и ночь» — двадцать лет!

От имени Литературного института им. А. М. Горького и себя лично желаю, как и в предыдущие двадцать лет, журналу «День и ночь» вести людей по пути просвещения, направлять их к осмыслению русской классической и традиционной современной литературы, отображающей фундаментальные противоречия внутреннего мира людей, противоборства в их душах добра и зла, перекрещивания света и тьмы, противостоящих помыслов, их открытость к греховным пучинам и величайшим подъёмам духа. Живое русское слово — это наше прошлое, настоящее и будущее. Желаем, чтобы ваш журнал всё так же был необходим писателям и читателям.

Б. Н. Тарасов, ректор Литературного института им. А. М. Горького

Поздравляем коллектив сотрудников журнала «День и ночь» с юбилеем. За столь короткий срок вам удалось стать одним из самых любимых и читаемых литературных журналов в нашей стране и за её пределами. Высокий уровень отбора публикуемых произведений, богатый диапазон представленных эстетических школ и направлений, открытость журнала новым именам и верность своим авторам, содержательная насыщенность каждого номера вместе с тончайшей выверенностью структуры и дизайна издания — всё это уже превращает в праздник встречу читателя с вами. Можно с уверенностью сказать, что ничего случайного нет в вашем редакционном портфеле, потому что разнообразие и богатство публикуемых материалов проверяются вечными духовными ценностями, без которых нет человека, семьи, общества, страны. Мы желаем журналу продолжать свой поиск и в то же время оставаться верным высоким традициям российской культуры.

Дагестанское отделение Союза российских писателей

Вячеслав Сорокин

История одного спектакля

Из воспоминаний о Викторе Петровиче Астафьеве

Все мы можем сказать только одно ушедшим — нам прости. Сегодня с Виктором Петровичем происходит, что и со всеми остальными, — медленно и вкрадчиво подбирается к нему забвение… Потому что мы не очень умеем стоять за память своих великих…

В. Курбатов

В первый год моей работы в Красноярске, в театре юного зрителя, а это было в 1980 году, ничто не предвещало встречи с Виктором Петровичем Астафьевым, не говоря уже о чём-то большем. В то время ему было пятьдесят шесть лет, он был полон сил и энергии; во всяком случае, так казалось со стороны. Писатель недавно вернулся в Сибирь, поселился в Академгородке, взял домик неподалёку, а чуть позже обосновался в родной Овсянке и полностью отдался творчеству.

Впереди не написаны многие рассказы, повести: «Прокляты и убиты», «Весёлый солдат», «Так хочется жить», «Обертон»…

Несмотря ни на что, он оставался воинствующим идеалистом, был нетерпим к любым проявлениям несправедливости, и в первую очередь — со стороны власть предержащих.

Да, он жил тогда рядом с нами, но круг общения его был не так широк, что вполне объяснимо.

В том же 1980 году в Красноярском театре юного зрителя заведующим литературной частью работал молодой писатель Сергей Задереев. Я помню, как он был счастлив, когда вышла его первая книга «Дерево единое». Было неожиданно приятно — он подарил мне её, подписав: «Славе Сорокину, артисту, мирному человеку». Я, правда, недоумевал: почему «мирному»? Я всегда был очень разный… Но настоящее удивление у меня вызвало то, что издана книга была с предисловием В. Я. Курбатова и, ни больше ни меньше, с благословения В. П. Астафьева. Таким образом, Виктор Петрович предстал передо мной вот так «конкретно», что называется, из первых рук, через этого талантливого писателя и замечательного человека — Сергея Задереева, простого, общительного, иногда резкого, но всегда принципиального. «Мы с Петровичем… Петрович сказал… Петрович улетел в Игарку… Петрович высказал им всё…» — не сходило с его уст. Сергей очень любил Виктора Петровича и очень дорожил этой дружбой, и, как я потом понял, дружба эта была взаимной.

Но вскоре Сергей Задереев уволился, меня призвали в армию. Прослужив положенный срок в славных рядах Вооружённых Сил СССР — сначала в Приморье, потом на Камчатке, в 1983 году я вернулся в родной Красноярский ТЮЗ. Начал с жадностью вновь входить в репертуар, и в первую очередь, конечно, в сказки. Я соскучился по работе, и мне нравилось играть всё.

Как-то за кулисами появились два ассистента режиссёра по кино: такая строгая молодая девушка и улыбчивый мужчина. Они подошли ко мне и к моей жене Людмиле, актрисе нашего театра, и пригласили сыграть в двух эпизодах в снимавшемся тогда в Красноярске фильме режиссёра Артура Войтецкого «Ненаглядный мой» (студия им. А. Довженко). Мы с радостью согласились.

— А что за фильм? — спросил я.

— Как? Вы не знаете? — очень удивились они. — Это же по Виктору Астафьеву!

Нам назначили день съёмок, договорившись лишь скорректировать время. Сердце моё забилось ещё сильнее. Я уже не говорю о жене Людмиле, молодой провинциальной актрисе, которая, как и многие, мечтала о кино. В Красноярске снимают фильм, да ещё по Виктору Астафьеву, — и нас туда пригласили! А это значит — Виктор Петрович наверняка будет там и, может быть, даже скажет что-то: например, как лучше актёрам сыграть, чтобы быть более похожими на героев в его произведении.

Но Василий Грищенко, тогда артист и профсоюзный лидер нашего театра (будущий художественный руководитель Рязанского ТЮЗа), взял, что называется, в оборот этих ассистентов, и те, забыв про нас, сняли в фильме Васю и его «команду». Казалось бы, эпизодические роли, но это были всё-таки роли в кино, да ещё по Виктору Астафьеву! Боль и обида не проходили долго. И когда съёмки фильма уже близились к концу, эти два ассистента появились перед нами снова. Мы играли на выезде сказку — кажется, в городском

Дворце культуры. Им нужна была только массовка. Увидев нас за кулисами, они кинулись к нам как к старым знакомым, девушка даже заулыбалась.
— Пойдёмте сниматься в кино,— приветливо позвали они.
— Спасибо,— сдержанно ответил я,— мы по вашему приглашению уже один раз снялись…

Вот так не состоялась моя «заочная» встреча с Виктором Петровичем. Фильм был неудачным, потом это признал и сам писатель. Хотя с Артуром Войтецким они поддерживали хорошие отношения, и Астафьев всегда отзывался о нём с большим уважением.

Через год после выпуска картины Артур Войтецкий начал снимать ещё один фильм по произведениям Виктора Астафьева «Последний поклон» и «Где-то гремит война». Судьба ещё раз в связи с этим сыграла со мной очередную шутку.

Александр Исаакович Каневский, в ту пору— главный режиссёр театра, поставил один из своих очень удачных спектаклей—«Лети, всё горе, прочь!» по пьесе А. Кузнецова и И. Туманян, где я играл Петю Копейкина, такого школьного Сирано… И вдруг после одного из спектаклей, видимо, едва дождавшись его окончания, ко мне за кулисы в буквальном смысле подлетел мужчина с восторженными глазами и поблагодарил за спектакль. Но похвала, как я потом понял, была некоей прелюдией.
— Артур Войтецкий снимает фильм по «Последнему поклону» и «Где-то гремит война» Виктора Астафьева. Я—второй режиссёр. Вы—будете играть главную роль. Я вас нашёл. Вы подходите, я уверен на сто процентов. Завтра мы будем у вас в театре с оператором, сделаем пробные снимки,—с восторженными глазами сообщил он мне.

Кто из нас двоих ликовал больше, я или он, затрудняюсь сказать даже сейчас. Но то, что меня ошарашили этим предложением, было бесспорно, и в тот момент мне пришлось испытать сильное потрясение.

Я не спал ночь, отыскал у себя в книгах эти повести. Не хочу сказать, что перечитал их заново, но насколько мог погружался в них… Читал, а сердце всё колотилось от счастья. «Неужели это произойдёт?! И не где-нибудь в Москве или Ленинграде, а в Красноярске кино настигнет меня! И не просто кино, а главная роль, да где? В фильме по произведениям Виктора Астафьева! Уж там-то, во время съёмок, писатель точно будет бывать часто, потому что кому, как не ему, поправлять и уточнять процесс, что-то говорить, советовать…»—я уже строил планы, вернее сказать—мечтал.

Утром в театр на детский спектакль я летел как на крыльях. Сказку отыграли, как мне показалось, на одном дыхании. После чего в гримёрку вошла заведующая труппой Надежда Ивановна Дуняхина и загадочно произнесла:
— В фойе тебя ждёт съёмочная группа.

Сердце моё не просто колотилось, оно было переполнено счастьем… Оно стучало так, как будто я пробежал десять километров в робе, кирзовых сапогах и противогазе… Я нашёл в себе силы улыбнуться и ответил:
— Спасибо, Надежда Ивановна.

Влетев в фойе, я даже не остановился для приличия, а кинулся, пожирая киношников глазами. На лице, по всей видимости, всё было написано, так как они смотрели на меня и снисходительно улыбались. Это я потом понял, что снисходительно, а тогда я был уверен, что они радуются вместе со мной… Четверо их было, а один—с фотоаппаратом, да каким: «Nikon»! «Опаньки!—сказал я себе.—Таких аппаратов я и в глаза не видел»,—хотя снимал и гордился недавно приобретённым «Зенитом», который считался в ту пору у нас верхом совершенства…

Навстречу мне кинулся второй режиссёр, как будто мы были закадычными друзьями. Он приобнял меня и подвёл, скорее—«преподнёс» своим товарищам, как сосуд с водой в знойной пустыне… Глаз его горел: «Ну как? Вот! А вы говорили!..»

Мне представили оператора, его помощника, кто был третий—я не помню. Стали задавать какие-то вопросы: давно ли я работаю в театре? сколько мне лет? что играю? Ну, как обычно в таких случаях. В это время оператор щёлкал фотоаппаратом. Я что-то отвечал, комментировал, спрашивал, шутил… Я был счастлив!

Уходя, они сказали, что да, это были пробы, и что результаты будут известны скоро.

В театре уже поздравляли. Кто-то по-доброму, кто-то с завистью—ну, это как обычно. Дни тянулись долго, а мне никто ничего не говорил. И через какое-то время я всё-таки нашёл этого второго режиссёра… он с грустью сообщил, что на «мою» роль утвердили Женю Пашина—артиста со студии им. А. Довженко. Это было ударом…

Вот так не состоялась вторая встреча с Виктором Петровичем…

Спустя какое-то время я смотрел этот фильм по телевидению. Картина получилась, на мой взгляд, какая-то бытовая. Не было в ней того астафьевского «стремления жить», жить по правде, по справедливости; не было в ней того юношеского порыва любить, любить землю свою, близких и дорогих людей; и самое главное—не было в жизни героев того «воздуха общения» между строк, чем так обильно насыщена удивительная его проза. Но я смотрел и завидовал тем, кто с экрана говорил словами великого Писателя.

Впервые я увидел Виктора Астафьева—вот так, воочию,—двадцать седьмого января 1985 года на семинаре ВТО, проходившем в Доме актёра в Красноярске, посвящённом, кажется, проблемам

творческой молодёжи края. Сначала, как положено на таких мероприятиях, выступил инструктор крайкома ВЛКСМ. Он говорил о неразрывной связи творческой молодёжи с молодыми рабочими, занятыми на стройках края, в частности в северных районах. Он также говорил, в принципе, об ослаблении творческо-шефской работы, о том, что она пущена на самотёк, и о том, что пропаганда западного образа жизни в связи с этим усилилась…

Безусловно, интерес у нас вызвало выступление приглашённого специально на этот семинар Бориса Любимова — одного из молодых, но уже входивших в число ведущих театральных критиков страны. Он уже тогда поднимал серьёзные проблемы молодого поколения, подчёркивая то, что оно не способно решать большие задачи, потому что существует обособленность, инфантильность, леность… В театрах, в частности в московских, нет, по его мнению, спектаклей, которые бы волновали, трогали, во всяком случае — не оставляли зрителей равнодушными, как это было, например, в шестидесятых годах. То творческое поколение, по мнению критика, из ничего делало театр, горело, рисковало… В частности, Олег Ефремов по этому поводу очень обеспокоен, «весь в душевных тревогах»… Застой в театре, по его мнению, существует ещё и потому, что расцвет жизненных сил сейчас приходится на поколение, рождённое в сороковых — сорок пятых годах, а его сегодня почти нет. Но мало обвинять кого-то и что-то, заключил Борис Любимов, надо поставить перед собой вопрос: что я могу? и имею ли я право?.. Эти вопросы оказались очень актуальны и вызвали бурную дискуссию…

Когда вошёл Виктор Петрович Астафьев, аудитория несколько затихла. «Да, — подумал я, — не шибко он жалует земляков своими встречами: работает много, оно и понятно». Писатель спокойно прошёл за стол, поздоровался, сел и молча внимательно всех оглядел. Было ощущение, что он только что прибыл с какой-то деловой встречи и некоторое время был внутренне взвинчен. Я не помню точно, с чего он начал разговор, но у меня отчётливо осталась в памяти та боль, которую писатель выплеснул, касаясь темы культуры края. Он сокрушался о том, что обругали писателя Романа Солнцева, который выступил со статьёй в газете «Красноярский рабочий» по поводу претворения в жизнь лозунга «Сибири — высокую культуру!», в которой говорил, что со стороны властей мало для этого что делается. В частности — по культуре обслуживания населения, по улучшению работы транспорта, других сфер услуг… Необходима активизация работы в этом направлении тех же творческих коллективов — в области повышения мастерства и улучшения репертуара… Виктор Астафьев недоумевал по поводу того, что, например, в Вологде подобные статьи выходят чуть ли не каждую неделю, и у них это — норма.

— А здесь, стоит выйти один раз… да что и говорить!..

Он всегда был резок по отношению к несправедливости, откуда бы она ни исходила.

Виктор Петрович переходил с одной темы на другую — хотел как можно больше поделиться с молодыми той болью и тревогой, что лежали у него на сердце, «дабы предостеречь нас от шагов неправедных». Писатель только что вернулся из Японии, где посмотрел фильм Андрея Тарковского «Ностальгия». С большим сожалением говорил Виктор Астафьев о судьбе русского режиссёра за границей, он говорил о его последней картине, «целиком пропитанной Русью», и очень бы хотел, чтобы тот как можно скорее вернулся на Родину.

Особая страница разговора — Василий Макарович Шукшин. Последний раз Астафьев встречался с ним после съёмок «Калины красной»:

— …на которую не додали пятьдесят тысяч рублей, чтобы благополучно закончить картину. В результате — шестьдесят стран закупили её и платят за прокат огромные деньги, а в своё время гнобили (повторил трижды) на «Мосфильме» Василия Шукшина. Сейчас, после смерти, столько друзей появилось — откуда? Он называл Заболоцкого, Белова, ну там, кое-кого из братьев артистов, а тут объявились… Последние лет десять, — както погрустнел Виктор Петрович, — почти не пил Василий Макарович — писал, работал, чувствовал, наверное, что не успевал… И на самом деле много недоделал… Сейчас издают его, всё в кучу валят — весь винегрет. Но ведь это ясно, — сокрушался писатель, — что у него есть и гениальные вещи, и недоработанные, за что и друзья поругивали, — так ведь надо же разобраться…

Коснулся он и позиций сегодняшнего поколения. Не берусь утверждать, но, кажется, вопрос ему этот задал Борис Любимов. Виктор Петрович не лукавил, сказав, что теперешнее поколение способно решать большие дела. Но всё дело в том, чтобы дать ему эту возможность. Ведь шестнадцати-двадцати-двадцатипятилетние в экстремальных условиях в исторические времена, в силу обстоятельств, брали на себя большие полномочия и большею частью выходили из этого с честью. Всё дело в напоре, в знаниях, в решении своём…

Не обошли стороной и перемены, наметившиеся в стране в рамках перестройки. Виктор Астафьев был осторожен по отношению к этому оптимизму.

— Поживём — увидим, — без лукавства ответил он. — Я говорил, что я недавно из Японии приехал — вот где всё для людей делается. Нам до них пока далеко. Не очень-то верю я, что скоро перестроимся мы, уж больно они наверху все одинаковые.

Это не было предсказанием. Просто его гений видел вперёд и понимал больше, чем простой смертный.

Он много говорил о душе, о бедствиях, о несправедливости; конечно же, вспоминал войну...

— Нам сначала покаяться надо в грехах своих, а потом уж смотреть, что там дальше будет... Мы с Марией Семёновной недавно ездили в её родной город Чусовой. До этого много лет там не были, а пуще всего не были там на могилке дочки, которая умерла у нас после войны ещё... Приехали — и сразу на кладбище: Господи, что с могилкой стало за эти годы? День был яркий, солнечный, мы подходим к кладбищу... Вдруг, как за одну секунду, откуда-то тучи, ветер, вихрь, чуть не ураган — сучья ломаются, деревья трещат... «Боже мой, Маня! — воскликнул я. — Это дочка встречает нас так: обидно ей, забыли мы её!» Память стирается, а она говорит нам: нет, не должна стираться; она, память, изжигать нас должна... Вот тогда, может, и поменяется что-то, — заключил тогда Виктор Петрович.

Примерно в это время в Красноярском театре им. А.С. Пушкина режиссёр Леонид Белявский репетировал спектакль к тридцатилетию Победы «Не убий» по сценарию Виктора Астафьева. Вообще-то Виктор Петрович не очень разрешал ставить спектакли по своим произведениям. В начале семидесятых годов в Красноярском тюзе с успехом шёл спектакль по его повести «Кража» (режиссёры Борис Стукалов, Кама Гинкас). Чуть позже Центральный детский театр и Вологодский тюз выпустили «Прости меня» (режиссёры Алексей Бородин и, соответственно, Валерий Баранов). Вологодский спектакль Астафьев помнил, любил и часто вспоминал. Кстати, оба этих спектакля получили Государственную премию. Какое-то время спустя Владимир Андреев ставит в театре им. М. Ермоловой, а Серёжа Болдырев в Минусинске — «Черёмуху», а Геннадий Тростянецкий в театре им. Моссовета — «Печальный детектив»; пожалуй, и всё... Ну, может быть, где-то и ещё были постановки, но если и были, то их было совсем немного.

Спектакль «Не убий» действительно вызывал у театральной общественности живой интерес. Все в ожидании премьеры обсуждали это событие, высказывали прогнозы: кто-то оптимистические, кто-то — наоборот.

Я, к сожалению, не смог посмотреть этот спектакль. Отзывы были разные, да это и нормально. Но все сходились в одном: две основные актёрские работы были удачными. Лётчика играл замечательный актёр Михаил Боровков, а парнишку — молодой талантливый артист, однокурсник моей жены Сергей Сачок.

Мне оставалось только завидовать...

Спустя годы я снова очутился в любимом мною Красноярске, а точнее — в Красноярском тюзе. Конечно, мы с женой и детьми почти каждый год навещали близких в городе на Енисее, но происходящее в театре касалось нас уже, конечно, косвенно. Хотя из поля зрения не ушли большие события, которые связаны были в том числе с творчеством Виктора Астафьева. Новые произведения его печатались на страницах популярных толстых журналов, таких как «Знамя», «Наш современник», «Новый мир» и другие. Например, «Новый мир» дважды, если не больше, анонсировал «Прокляты и убиты», но так и не напечатал. О причинах я узнал гораздо позже... И это несмотря на то, что за эти годы Виктору Петровичу было присвоено звание Героя Социалистического Труда и присуждены две Государственные премии...

И вот в 1998 году меня пригласили в Красноярский тюз поставить спектакль «Остров сокровищ». Мюзикл Б. Савельева по пьесе Д. Трифонова и В. Иванова оказался, что называется, в тему. Буквально следом я ставлю «Недоросля» Д. Фонвизина, после чего подписываю контракт с комитетом по культуре на должность художественного руководителя тюза.

Ситуация в театре была не совсем простая, и основной проблемой, которую нужно было срочно решать, был репертуар. Режиссёры Алла Васильева и Леонид Федотенко ставили, в общем-то, то, что хотели. Названия спектаклей были неплохими, но не определяющими в целом творческое направление театра. По большому счёту, это направление только формировалось.

Подправив несколько спектаклей из текущего репертуара в течение двух месяцев, я явился к бывшему заведующему литературной частью театра, а в ту пору — секретарю Красноярской организации Союза писателей Сергею Задерееву, который в силу должности, да и просто дружеских отношений часто встречался с Виктором Петровичем Астафьевым. Для меня вопрос не стоял: я задумал поставить спектакль по повести «Пастух и пастушка»! Сергей знал меня как артиста, но не как режиссёра, и рекомендовать меня Астафьеву в этом качестве с его стороны было не совсем правильно. Понимая, что Сергей Константинович мог уйти от решения этого вопроса, и это было бы понятно, я, тем не менее, очень на него надеялся.

— Сергей, — сразу заявил я, — хочу поставить «Пастуха и пастушку». Как думаешь, Виктор Петрович разрешит?

К моей радости, у Задереева вдруг загорелись глаза.

— Здорово! — ответил он. — Я тут на днях собираюсь к Петровичу в Овсянку — поехали, там и поговоришь.

Такого резкого и быстрого оборота событий я не ожидал.

— А это возможно? — не верилось мне.
— Запросто, Славка, — усмехнулся Сергей, — а там уж всё будет зависеть от тебя.

Итак, ранним июньским утром мы выехали в Овсянку. День стоял солнечный и тёплый. На станции «Енисей» я, Леонид Федотенко (он тогда был депутатом Законодательного собрания края — курировал культуру) и ещё одна девушка, журналист (к сожалению, не помню её имени), пытали Сергея Задереева, что из гостинцев взять Астафьеву.
— А то возьмём чёрт-те что, а он этого не ест, или вдруг нельзя ему по здоровью…
— Не знаю я, — отмахивался Задереев, — коньяк взяли, ну, возьмите чего-нибудь закусить…

В общем, набрали мы черешни, бананов, апельсинов, ну там колбаски и что-то ещё в этом духе… Автомобиль мчался в сторону Дивногорска. На сопках бурно просыпалась природа. Лето сибирское не такое длинное. И могучие стволы, и густая листва берёз, пихт, осин, тополей пытались за короткий срок взять от природы всё по максимуму.

Свежей прохладой обдало нас, как только мы выехали к Енисею. Противоположный берег сдерживал мощными сопками с величавыми соснами, елями и лиственницами бурные воды красавца Енисея. Когда повернули на Овсянку, слева увидел я срубленную небольшую церковь.
— Петрович помог построить через какого-то мецената, — пояснил Сергей, а через минуту: — Ну вот, вылезайте, приехали.

Я вышел из машины, не чувствуя ног. Сердце стучало так, что готово было выпрыгнуть из груди. Сергей нажал на звонок, прилаженный на воротах, скрывающих от чужого взгляда двор.
— Наверное, не работает, — пояснил Сергей Задереев и, постучав кулаком в дверь, крикнул: — Петрович, принимай гостей!

За воротами послышались шаги. Астафьев шёл открывать, при этом что-то бормотал. Калитка отворилась, и удивительно простой и тёплый взгляд окинул нас.
— Звонок не работает. Петьке, соседу, сказал, как выйдет из запоя — сделает. Проходите, чего встали, проходите… — как-то неожиданно просто проговорил писатель.

Мы поздоровались.
— Эту даму вам представлять не надо, — лукаво начал Сергей Задереев.
— Да уж… — улыбнулся Виктор Петрович.
— Это — Лёня Федотенко, депутат, вам, кажется знаком…
— Знаем депутатов, — поздоровавшись за руку с Сергеем Задереевым, Виктор Астафьев пожал руку Леониду Ивановичу.
— А это — главный режиссёр тюза, Слава Сорокин…

Пожимая руку писателя и онемев, я еле выдавил из себя:
— Здравствуйте, Виктор Петрович…
— Ну-ну, проходите… чего там… а сумок-то понабрали…

По всему было видно — он рад был нашему приезду. Небольшой двор был вымощен досками — так уж в Сибири принято. Слева простирался огород с насаженными деревьями, но тут, у дорожки, красовались два молодых кедра. Рядом с ними пень от срезанного дерева, чуть меньше метра в диаметре, — Виктор Петрович пояснит потом, что это, дескать, «подиум», место, где писатель фотографировался с гостями, когда те изъявляли такое желание. Дальше стоял сарайчик, и у входа в дом — лавка. Одет был Виктор Петрович по-домашнему и очень просто: поверх рубахи накинут пиджачок, под которым — безрукавка и плотные брюки-трико. Он протолкнул нас в дом. В сенях и на кухне было очень чисто, и мы кинулись разуваться.
— Тапок-то на всех не хватит, — досадовал Виктор Петрович.

Чуть влево от входа стояла печка. Рядом с ней — дверной проём в комнату, в которой был виден стол — «святая святых».
— Кабинет, — очень просто пояснил писатель.

Странное чувство овладело мной: мне почему-то показалось, что я здесь уже был…
— Виктор Петрович, вот вам гостинцы, — Сергей стал выкладывать содержимое пакетов на стол: бутылку коньяка, конфеты, фрукты.
— Эти сладости даме отдай, а вот к бутылке взяли бы лучше редисочки да огурчиков, настругали бы салат, а то взяли непонятно чего — баловство для баб и ребятишек.

Пока готовили стол, разговор шёл от фразы к фразе: в основном Виктор Петрович расспрашивал Сергея о делах в писательской организации. Когда выпили по паре рюмок и деловой разговор себя исчерпал, кто-то вышел во двор покурить. А за столом остались я, Виктор Петрович Астафьев и Сергей Константинович Задереев.
— Вот, Виктор Петрович, Слава хочет делать спектакль, — без перехода заявил Сергей Константинович. — Вы поговорите, а я пойду тоже покурю.

Я остался за столом один на один с писателем и, естественно, себя просто не чувствовал. Астафьев пристально посмотрел на меня. Я собрался с духом и выпалил:
— Виктор Петрович, я хочу ставить «Пастуха и пастушку». Театр немного лихорадит, надо становиться на ноги, а для этого есть неплохой творческий потенциал, и, соответственно, нужна хорошая литература. Очень бы просил вас разрешить постановку «Пастуха и пастушки», как раз к пятидесятипятилетнему юбилею Победы сделали бы. Весь край, город пропитаны вашим

творчеством, а в театрах ничего вашего нет. Мне кажется, это неправильно…

Слушая меня, Виктор Петрович как-то внутренне съёжился; я запнулся, испугавшись своей наглости, и понял: всё кончено, ещё не начавшись! И вдруг он как-то просто ответил:

— Как ты будешь в тюзе делать «Пастуха и пастушку», если они у меня… этим делом всё время занимаются? И будут у тебя артисты по сцене ходить… трясти одним местом… Почитай «Прости меня»…

— Читал, Виктор Петрович,—выпалил я, а внутри сразу вдруг всё вспыхнуло: не отказал! Не отказал!—В «Прости меня» любовь Миши и Лиды оборвалась, почти не начавшись, а в «Пастушке» Боря и Люся ощутили её и прожили за эти мгновения целую жизнь, и потом…

— Я смотрел кое-что по «Пастушке», и потом… потом, какие-то сомнительные постановки, мне ничего не понравилось… Я вообще думаю, что на сегодняшний день эта вещь ни у кого не получится. Присылали письма, просили не помню кто—не разрешал… Я писал о чистой любви, сегодня всё это обесценилось, я не хочу, чтобы ходили на сцене и трясли м…и,—и через небольшую паузу как-то мягко добавил:—Посмотри «Прости меня»… для начала…

Я был не просто счастлив… в тот момент, несмотря на отказ в постановке «Пастуха и пастушки», я ощущал себя одним из самых счастливых режиссёров. Он не просто разрешил, он не просто заинтересовался—мне показалось, он проникся моим предложением, я был бесконечно благодарен за это Мастеру.

— Спасибо, Виктор Петрович,—чуть слышно поблагодарил я, а внутри эмоции переполняли и готовы были вырваться наружу с нескончаемой энергией.—А когда можно приехать к вам?

— Да когда хочешь,—мне показалось, что он внутренне улыбнулся.

— Через пару недель,—настаивал я.

— Давай,—как-то уже почти по-свойски.

В это время в кухню ввалились остальные гости.

— Ну?—спросил Сергей Задереев.

— Всё в порядке,—глаза мои горели.

— Да я вижу. Ну, Славка, давай дерзай!

Мы недолго утомляли писателя. За шутками допили коньяк и очень тепло расстались. Именно с того момента я был наполнен новой пьесой и жил предстоящей работой с Мастером.

На следующий день в театре было официально объявлено о предстоящей постановке по пьесе Виктора Астафьева «Прости меня». Труппа загудела как улей—это, в принципе, неплохой знак для творческого коллектива. Но какая ответственность ложилась на меня, я тогда представлял плохо. С каждым днём страх становился всё больше и больше. А если не получится?! Для труппы—удар, да и мне, как говорят, мало не покажется. Понимая, что подобные мысли надо гнать как можно дальше, я твёрдо себе сказал: «Не получится—уйду из театра, а может быть, из режиссуры, это, по крайней мере, будет поступок. Но!.. Тебе Господь дал такую возможность прикоснуться к великому, и ты ещё чего-то рассуждаешь?! Всё получится, вперёд!»

И я полностью окунулся в работу.

Персонажи и эпизоды возникали передо мной то очень отчётливо, то несколько смутно; сложно поначалу ухватить цельность произведения. Параллельно я встречаюсь с главным художником театра Сергеем Форостовским, который начал работу над сценографическим решением спектакля. Перечитав несколько раз повесть «Звездопад» и пьесу «Прости меня», мне показалось, что я открыл для себя какие-то вещи… Виктор Петрович, безусловно, гениальный писатель и талантливый драматург. Но у него в повести в некоторых диалогах герои живут взглядами, жестами, подтекстами, то есть жизнь персонажей наполняется ещё и авторским текстом, тогда как в пьесе, зная законы драматургии, он выстраивает те же диалоги, добавляя в них несколько «действенных» фраз. Но ведь это можно сыграть, прожить… Мне захотелось вернуть некоторые сцены Миши и Лиды из повести в том виде, как они были написаны первоначально. Смысл не просто остаётся, он становится объёмнее за счет атмосферы существования героев. И я нагло стал дополнять пьесу эпизодами из повести… Эпизод с мальчиками и часами мне показался на тот момент «тяжёлым», и я решил поменять его на агитбригаду студентов: частушки, «сцена с Гитлером», что в повести… Таким образом, я перепечатал пьесу примерно с десятью «своими» предложениями. Не знаю, осмелился бы я один на столь объёмные вставки, но меня поддержал в этом актёр Анатолий Петрович Новосёлов, который с радостью согласился на роль ассистента режиссёра и который впоследствии в течение десяти лет будет оберегать спектакль в театре, где эта постановка будет обречена на столь долгую жизнь.

Итак, я перепечатал пьесу… Материал уже стал, что называется, «моим»: герои «Прости меня» постоянно были в моём сознании, сцены крутились в голове в том или ином ракурсе—зрело решение спектакля. И двадцать пятого июня, сломя голову и содрогаясь от страха, я кинулся в Овсянку.

Ехал, а неуверенность угнетала меня: «Узнает меня—не узнает, то есть вспомнит ли? Ведь виделись-то всего один раз… Кто такой? чего надо?—скажет, а то и вовсе ворота не откроет…»

Но обратной дороги уже не было, я уже был одержим пьесой, потому что на тот момент это была единственная и самая дорогая моя любовь. Чем больше я вчитывался и погружался в эту историю, тем больше она на самом деле становилась моей

историей. Историей моих не вернувшихся с войны дедов: один пал под Москвой, другой в Керчи; слёз и сиротства моей матери, выросшей в детдоме; историей моих бабушек, в том числе и соседских бабушек родного Кинеля, преимущественно вдов, где «на весь порядок» тянули они лямку и жили своей нелёгкой женской долей. А ещё пьеса стала «моей» историей для сегодняшних молодых людей, когда на рубеже двух веков и тысячелетий они всё меньше и меньше верят в сострадание, самоотверженность, верность, доброту, дружбу и любовь. А именно эти качества должны оставаться тем млечным путём в жизни для нас и будущих поколений. Да, «Звездопад» не просто актуален, «Звездопад» — это крик в будущее! В одном из последних своих интервью Виктор Петрович скажет: «А эта постановка важна для них и для всего репертуара города. Нет сейчас в репертуаре Красноярска такого серьёзного материала. Нету просто такого спектакля — военного, нужного, про Ромео и Джульетту, где чистая, славная детская любовь…»

Буду просить Виктора Петровича разрешить назвать спектакль «Звездопад»…

Но в тот момент, как говорится, я боялся, что «мои желания с моими возможностями не совпадут».

И ведь какой-то враг изнутри пилил меня: «Куда ты лезешь? Ты кто есть? Какое ты имеешь право?! Испоганишь и материал, и артистов, и себя. Ну ладно — себя! А других? Где твоё чувство ответственности? Ты же тюз — ну и ставь сказки!..»

А ведь примерно такие разговоры ходили среди театральной общественности города. И надо было стиснуть зубы и не просто доказать своё право на большее, надо ещё было доказать городу, что мой дорогой и любимый Красноярский театр юного зрителя — не, как тогда говорили, «отстой», куда не хотят идти зрители, куда не идут коллеги из других театров смотреть, что там происходит, куда не идут работать выпускники института искусств… Честное слово, «за державу обидно»!.. Очень!..

Я вышел из машины и постучал в ворота. Послышалось тихое шарканье шагов, отворилась калитка.

— Здравствуйте, Виктор Петрович, — нарисовался я.

Писатель, конечно, не узнал меня, начал всматриваться.

— Я из тюза, мы были у вас с Сергеем Задереевым, вы тогда сказали, что я могу приехать… — силился вразумительно закончить своё предложение.

— А, Слава?

— Да, — пробормотал я, ошалевший.

— Проходи, проходи, — и протянул мне руку.

— Если не вовремя, Виктор Петрович, то я ненадолго, или…

Он вопросительно посмотрел на меня.

— Если вы заняты…

— Ну ты ведь не только водку пить приехал, — мягко улыбнулся Виктор Петрович. — Проходи, — и двинулся в дом.

Эта шутка меня слегка приободрила.

— Нет, конечно, — уже не лепетал я, — хотя я с собой взял…

— Ну и ладно, немножко можно, мне, во всяком случае, ну а ты можешь побольше.

Воодушевлённый, я продолжал:

— Ещё огурчиков с редиской привёз, а то в прошлый раз как-то…

— Вон в тазу, в сенях, помой их, — охотливо поддержал он меня, — а потом покроши в чашку.

Минут через десять мы сидели за столом. Он не стал меня ни о чём спрашивать: что я перечитал, какие у меня возникли трудности, сомнения, что непонятно, какие, может быть, родились мысли или варианты? Виктор Петрович начал разговор сразу с воспоминаний опалённой юности, как будто «Прости меня» давно репетируется. Он был не просто мудрым — он знал всё наперёд. Такие люди всегда остро чувствуют время, они видят далеко вдаль, предупреждая нас о многом. Как это у Пушкина:

> И бога глас ко мне воззвал:
> «Восстань, пророк, и виждь, и внемли,
> Исполнись волею моей,
> И, обходя моря и земли,
> Глаголом жги сердца людей».

Почему мы их не слушаем?!

— История в «Звездопаде» — это история моей любви. Да, я вот здесь родился, а любовь первая моя случилась в Краснодаре, в госпитале. Нас вообще-то везли в госпиталь в Джамбул, но всё закончилось на станции Васютинской. Выбросили нас всех тут. А госпиталь там закрылся, тогда всех в Краснодар и кинули… Да… Там в сестрицу влюбился, и она в меня, слава Богу, влюбилась. Хотя я после ранения в глаз правый, чё там!.. Вот у меня тут на виске было… да и сейчас… Ой, плакал, морщины, красоту всю испортили! А её и не было никогда сроду, — Виктор Петрович как-то по-детски рассмеялся. И тут же продолжил: — Ну, бойкий был мужик, начитанный… Любовь медсестры и солдата… солдата, который был сиротой. Сироту охватывает страшное чувство одиночества — не тогда, когда он бродит где-то там… шаромыжничает, где-то по карманам хлеб ворует, замерзает где-то… Не тогда. А когда привезут его в детдом, обмоют его — и в изолятор…

Астафьев чуть задумался.

— Почему в изолятор? — тихо попытался я вернуть его к рассказу.

— Всё очень просто… Вот когда меня подобрали, у меня на пальцах на ногах — экзема, чесотка была, и весь я во вшах — обобрать надо было… и меня,

конечно, в изолятор,—он опять на секунду остановился и тут же продолжил:—Страшное чувство одиночества—с ума можно сойти! Ты мокрый, чего-то холодно тебе… То же самое в госпитале… На передовой—как на производстве: вот тебя гоняют, под жопу пинают—ты нужен; господа офицеры поматерятся, погоняют, поорут, ты хоть огрызаешься, но ты нужен! Но как ранило—ты уже никому не нужен… Немножко отвезли от передовой—с перекладными, так, сяк… ехать надо… а ты делай чего хочешь. Нигде не бинтуют, а подбинтовывают. В результате на ране, значится, такая кипа бинтов образуется, они ссыхаются все в фанеру, потом отдирать—рёв стоит… Ты наливай, наливай, да себе-то побольше…
—Да, ничего, нормально,—тихо сказал я, боясь сбить его с ритма истории.

А Виктор Петрович уже заводился в своём рассказе:
—И обязательно же купать—в каком бы ты состоянии ни был. Какая же там ванна, Бог прости,—вся в корявинах! Но тебе мокнуть надо… Ну, опытные солдаты—они руки намоют да голову: на, смотри, вот, мокрый! Но это опыт иметь надо, а других, ой-ой, засадят и поливают холодной водой, ага!

Он подцепил вилкой редиску, перехватил мой взгляд как бы между прочим, но я тут же спросил:
—А там, в госпитале?
—А чё там?—слегка усмехнулся Виктор Петрович.—Меня за печку положили, никто не подходит, курва, никто на тебя внимания не обращает. Боже мой! Какое мироздание вокруг—и ты один, никому не нужен, сирота, только взрослый уже… Сознание-то более зрелое, значит, ощущения более острые… Само ощущение боли, сиротства гораздо острее, чем в двенадцать лет, когда я попал в детдом… И вдруг где-то ночью, ты уже забылся, устал с дороги, вдруг ладошка на голову: «Как вы себя чувствуете, больной?» Открываешь глаза, а тут ещё и красивая девка! Ну конечно!.. Вот сразу и влюбился, ну ангел же, ангел же с небеси слетел!

Было ощущение, что Виктор Петрович вновь переживает это первое чувство любви. Он был здесь, со мной, реально, и в то же время он находился в каком-то другом измерении, или, по его выражению, мироздании. Вот это странное, необычное, но очень красивое чувство будет меня преследовать всегда, где бы и когда бы я ни встречался с Астафьевым.
—Ты наливай. Чего не пьёшь? И закусывай. Куда—выбрасывать, что ли?—между прочим бросил Виктор Петрович.
—Спасибо, не беспокойтесь…

Мне хотелось вернуть его к рассказу. Но он тут же продолжил:
—В сестёр влюблялись, в нянек влюблялись. А няньки были—вот тётеньки, которые нас жалели всех; им надо всех нас ощупать, ножки прикрыть. «Как чувствуешь?—спросит.—Скоро сестра придёт, укол сделает…» Градусник поставит, да, а чё от этого градусника? Ну, хоть градусник, и то ладно… Вроде это и просто, и в то же время—глубочайшая, нежнейшая тайна отношений.

До этого момента Виктор Петрович улыбался, потом как-то задумчиво добавил:
—Горе рождало эту любовь? Не знаю, может быть…
—Только горе?—спросил я.

Он ответил, почти не задумываясь, но уже улыбаясь:
—Ну, в счастье она рождалась, наверное, у дворян. Ну эти, которые в платьях, на балу. А я не скажу, что они были счастливее нас! Что, любовь более пламенная была? Не уверен. Они палили друг в друга из пистолетов—тоже чего-то не хватало им… Ну, ты, я смотрю, не ешь совсем…
—Не хочу, правда, спасибо.
—Давай-давай,—настаивал хозяин.
—Ну а сестричка?

Я опять попытался его вернуть к воспоминаниям. И не только потому, что был захвачен этим рассказом. Его погружение в опалённую юность, это было видно, так сильно увлекло самого писателя, что он на самом деле будто вновь переживал их.
—Что сестричка?
—Вы говорили, пожалела вас…

Виктор Петрович рассмеялся:
—Это я её пожалел! Хоть она оканчивала медицинский институт, но у меня осознание-то выше было: и начитан я чуток был, да и сиротство обострённое… Вот этот кусочек сахара, который нам достался, мы бы растворили в лохани с помоями, оставшись вместе… Она девка вспыльчивая была, мы бы поссорились, как это у многих было…

Он опять замолк, и только тут я вдруг понял, что злоупотребляю его отношением и временем, а ведь мне нужно было решить принципиальные для меня вопросы. Я собрался с духом и начал свою тему:
—Виктор Петрович, у меня возникло несколько предложений, или пожеланий, или, наверное, просьба… по поводу «Прости меня»…

Он поднял на меня вопросительный взгляд, я понял, что это—всё! Волнение переполняло меня, а кто-то внутри толкал: «Давай, вперёд!»
—Можно ли что-то вернуть из повести в сцены пьесы?

Он на самом деле не понял и спросил:
—Чего?

Я начал смелеть.
—Вот здесь, в двух диалогах Миши и Лиды, оставить варианты, которые написаны в повести,—я уже держал свой режиссёрский экземпляр пьесы.
—Ну, так. И чё?..—вдруг равнодушно ответил автор.

Я оторопел, но продолжал:

— У вас замечательный эпизод в повести с агитбригадой и психами, который может перейти в сцену «Изолятор»... — Астафьев насторожился, у меня пересохло в горле, но я упорно продолжал: — Мне кажется, этот игровой момент несколько эмоциональнее и жёстче, чем эпизод с мальчиком...
— Ну, так, ладно, — так же спокойно ответил он.
— Потом...
— Ты наливай себе, — он, видимо, пытался меня успокоить. — Делай, посмотрим.
— Мне очень важно понять вашу позицию, — сопротивлялся я. — Потом посмотрите — скажете: чего автора коверкаешь?

Понимал, что наглею, но меня уже несло. Виктор Петрович внимательно посмотрел на меня и как-то грустно ответил:
— Я ведь почему не разрешаю ставить сейчас?.. Боюсь, опошлят всё... модничают... а зачем? Вон в драме посмотрел я «Капитанскую дочку» на презентации собраний сочинений Пушкина — и что? Ну как?..

Я был на этой презентации, и мне нечего было возразить Виктору Петровичу, поэтому — молчал, а он начал всерьёз заводиться.
— Александр Сергеевич всё написал! Ну ты хотя бы донеси до зрителя замечательный язык его прозы... Ну не выдумывайте того, чего нет!.. Зачем там письма Екатерины и Дидро? Зачем — экран с картинками? А это голое тело на телеге? К чему?
— Не знаю, Виктор Петрович.

Я понимал, что эти все вопросы адресованы мне — как предупреждение к предстоящей работе.

Дело в том, что в канун двухсотлетия со дня рождения великого поэта в Красноярском драматическом театре имени А. С. Пушкина состоялась презентация Полного собрания сочинений Поэта, не издаваемого с 1937 года. Замечательный пятитомник был выпущен Фондом Анатолия Быкова. На эту презентацию была приглашена интеллигенция города, был, конечно, и Виктор Астафьев. Его пригласили на сцену, он очень тепло и с благодарностью выступил в адрес издателей. Гости из Москвы с нескрываемой завистью говорили об этом событии в литературной жизни страны и сожалели, что Москва не смогла этого сделать. После чего был показан спектакль «Капитанская дочка», потом — фуршет в нескольких фойе театра. В большом — было начальство, откуда по микрофону транслировались «тосты» для тех, кто был в отдалении у других столов. Но каково же было моё удивление, когда я увидел Виктора Астафьева, сидевшего в одиночестве за одним из таких столов и жующего бутерброды... Подойти тогда к нему я не решился, так как мы ещё не были знакомы...
— Где же Пушкин? — продолжал негодовать Виктор Петрович. — Непонятно, зачем всё это!..
— Сейчас как никогда режиссура ищет, в первую очередь, оригинальность формы, подстраивая под неё содержание. Сегодня так ставят... Вот, видимо, театр Пушкина и пригласил... — попытался объяснить я.
— А я вот как раз и боюсь этого, — с болью сказал писатель. — Они, театр Пушкина, просят меня разрешить поставить что-то... Пока жив, не дам коверкать то, что выстрадано было. А зачем? Всё возьмут да и поставят с ног на голову.

Мне нечего было ему возразить. Состояние моё было ужасным: это было в мой адрес, в первую очередь — в мой; поэтому я решил высказать свою позицию:
— Виктор Петрович, я не выпущу спектакль, пока вы не посмотрите и не дадите добро, — это первое. Потом, мы будем работать через содержание: так меня учили — ставить автора не по мотивам... Я правда не выпущу спектакль, если вы...
— Да ладно, — вдруг игривым тоном прервал он меня. — Наливай рюмку-то, — и добавил: — Поживём — увидим...
— Ну, эта уже на посошок... — выдохнул я.

До сих пор не знаю, почему Виктор Астафьев, очень остро относясь к подобного рода театральным экспериментам, разрешил мне ставить «Звездопад»... Может быть, потому, что я очень этого хотел...

В начале июля, перед отпуском, я приехал к Виктору Петровичу попрощаться до осени, сообщив, что спектакль включён в план, а репетировать мы непосредственно начнём с начала сезона. Правда, параллельно Леонид Федотенко будет работать над спектаклем по пьесе П. Кальдерона «Дама-невидимка», выпуск которого планируется к юбилею театра в декабре, а мы «Звездопад» будем сдавать весной, ориентировочно в марте, чтобы ко Дню Победы сыграть его несколько раз, то есть немного «обжить».

Виктор Петрович сокрушался ещё и о том, что в день начала войны — двадцать второго июня — по телевидению весь день шли развлекательные программы:
— Да что же это такое? Разве можно забывать? И не сказать ни слова... На, прочти вот — в «Роман-газете» потрясающая история на антивоенную тему Дальтона Трамбо «Джонни получил винтовку»... Вот где крик души человеческой об уродствах войны... Они помнят, а мы стали забывать...
— Обязательно, Виктор Петрович... Фильм-то я смотрел...
— Ну, картина картиной... а эту книгу надо прочесть... Я там даже предисловие написал...
— Конечно, прочту... Спасибо.

Я взглянул на вторую страницу и мельком пробежался по её содержанию... «Самые великие антивоенные книги написаны теми, кто познал войну в окопах, грубо, по-солдатски говоря, испытал её «на собственной шкуре». И всегда, во

все времена неодолимо тянет на то место, где пролита его кровь и кровь его товарищей, словно бы хочет человек отмучиться навсегда последней мукой, испытать последние страдания там, где он страдал в войну, и успокоиться. Но никогда ещё, ни одному человеку достичь этого желания пока не удалось. Наоборот, память начинает терзать бывшего окопника с нарастающей болью и силой… Виктор Астафьев».

— Да, пока греется чай, у меня в комнате я тебе диск приготовил — «Реквием» Верди, в Голландии взял, запись хорошая, чистая, обязательно включи в спектакль…

— Хорошо, Виктор Петрович, большое спасибо, — поблагодарил я.

В соседней комнате ещё в первый приезд в Овсянку мельком увидел я среди полок с книгами картины, размещённые по стенам уютного домика Астафьева. Пол же устилала в этой комнате огромная шкура медведя. На этот раз, не удержавшись, спросил:

— Какой красивый зверь… Вы же охотник, Виктор Петрович, это не…

— Да нет, — засмеялся Виктор Астафьев, — это уральский мишка… Дело в том, что друг моего сына устроил мне «мемориал» по местам репрессированных. Я был вроде как в гостях… А там у них мишка повадился к ним, ну, шляется… Давай коров царапать. Менты, что нас сопровождали, один выстрелил — бух! — и всё… И привезли ко мне, и выбросили… Я говорю: вы чё, с ума сошли? Зачем он мне? Они говорят: здесь рядом лагерь, вот мы его отдадим туда, они мясо съедят, а шкуру вам выделают. Я говорю: ну, если так, давайте…

Виктор Петрович рассмеялся снова и, перехватив мой взгляд с картин, сказал:

— Вот эти три штуки — свердловчанина Миши Самаева: мой дом на Вологодчине; это — под Свердловском, лосёнка написал; это — под Енисеем.

Он перешёл к следующей картине и как-то оживился.

— А это — мой первый дом здесь, я там лес насадил… Сейчас-то лес большой… Его позапрошлый год бичи сожгли, оставили какой-то огонь — и всё, за сорок пять минут, да… сгорел вместе с частью души моей, — добавил грустно Виктор Петрович. — Там мне работалось и жилось хорошо. Это там с Маней были лучшие годы нашей жизни. Ничего там не было — ни электричества, ничего… До пристани — полтора километра. Перекладными добирались: на теплоходе, потом — на электричке, потом — на трамвае… Там нам жилось очень хорошо, — он снова рассмеялся. — У меня там до двадцати штук собиралось ребят. Водки привезут, а хлеба не привезут! А у меня Марья Семёновна ростика небольшого, сам знаешь, мешок на плечо — и в город за хлебом… Её так и звали: маленькая баба с большим мешком…

Писатель перевёл взгляд на другую картину и опять усмехнулся.

— А это — дача Бориса Назаровского, академика, сделанная из бани. Они дружили с Гайдаром, Бурлюком, Каменским… Мы у него в гостях были, а там у него колода с холодной водой, так с похмелья купались… Да…

Переключившись на следующие картины, он как-то сосредоточился.

— Это вологжане — Генриетта и Николай Бурмагины. У них — галерея из семи картин, хотя были задуманы двенадцать. Вот, одна у меня. Замечательные художники… К сожалению, Коля попал в автомобильную катастрофу, погиб. А она, тихая такая женщина, всё вообще-то и делала, он — больше организатор был. Без него она стала угасать и умерла… Это — Попов… Это — Андрюша Поздеев, пока ещё не выдрючивался… А это — хороший портрет Пушкина, я его очень люблю, — Юры Селивёрстова. Это он сделал цикл портретов: Гоголя, Достоевского, Булгакова, Солженицына и многих… Пушкин — одна из первых его работ, а последняя была моя. Мой портрет есть в альбоме, но с выставки его украли, — он улыбнулся. — Кому я понадобился?

— Да, Виктор Петрович, каждая картина — не просто история.

— Да уж, — проговорил писатель. — Пойдём чай пить.

Мы вернулись за стол на кухню. После небольшой паузы я спросил его:

— Как вы отнеслись к фильму «Где-то гремит война»?

Он отхлебнул чай из бокала и как-то просто ответил:

— Мы с Артуром всегда поддерживали хорошие отношения… Но, на мой взгляд, ни «Ненаглядный мой», ни «Где-то гремит война» у него не получились… — Виктор Петрович вдруг улыбнулся. — Когда снимали «Ненаглядный мой», в магазинчик тамошний чего только не напривозили: осетров напокупали, ситца, тряпок разных, всего… Только отсняли, а магазинчик на другой день сгорел дотла, во как! Глаз дьявольский… Так что — Боже упаси!.. А меня даже пригласили сыграть чего-нибудь в этом фильме — где-то увидели, что я умею рассказывать…

— Вы не согласились?

— Куда там! Так одно дело рассказывать, другое — играть…

Он удивительно рассказывал. Потом немного помолчал и как-то тихо заговорил:

— Я очень рано попал в Игарку — город переселенцев, и мне очень многое объяснил этот город… Правда, до этого я учился по три года в каждом классе, с математикой-то дело хреново было… Вот по литературе, естествознанию, истории, географии — хорошо, даже отлично. Потом я попал

в ФЗО, железнодорожное, между прочим; кстати, в одно вместе с Андрюшей Поздеевым, знаменитым нашим художником, которому памятник уже в Красноярске поставили. Он в четвёртом выпуске, я—в первом. Это была железнодорожная школа номер один, организованная ещё до революции; учились мы шесть месяцев при паровозном депо города Красноярска, и в ней всегда был высокий конкурс. Много профессий там было: наладчики разные, котельщики, стрелочники; я, к примеру, был составитель поездов. Вот, было ФЗО номер один, сейчас, к сожалению, переименовали в номер девятнадцать, по номерам стали училища расписывать, и всё тут. А потом, в тысяча девятьсот сорок втором году, стали эвакуировать Брянский паровозный завод и поставили его на правой стороне Енисея. Сейчас там его нет, а стоит на этом месте сегодня, по-моему, «Сибтяжмаш»—очень, между прочим, вредное… Много моих сверстников полегло на фронте. Те же переселенцы, которые оказались у нас как враги народа. Как восемнадцать стукнуло—все на фронт. И защищали страну не хуже комиссаров, которые ели из отдельного котла и жили под четырьмя накатами, а те шли каждый раз в атаку… А в это время в лагерях мучилось двенадцать с половиной миллионов человек. Другая половина не могла их видеть, значит, не хотела видеть—это разные вещи. Например, вокруг Чусового всё было истыкано лагерями—в них входили и выходили люди, они же рассказывали, что там творится. Но было удобнее бегать со знамёнами, «пионэрчиков» воспитывать… Сейчас в этом отношении лучше… Вот у нас на правом берегу сосредоточена военная промышленность, она сейчас стоит наполовину, не работает, слава Богу, иначе бы город сдохся—астматики, лёгочники… Вот недавно по радио объявили, что, граждане-товарищи, на правом берегу случился выброс—закройте, пожалуйста, форточки, окна, не выпускайте детей на улицу и по возможности не выходите сами. Я уверяю, при советской власти сдохло бы полгорода—никто бы ничего не сказал, а другая половина сделала бы вид, что не нюхали этого запаха и не видели ничего. А кто несёт ответственность? Никто. И только Бог всё видит… А ведь ответственность в другом. Они наказаны беспокойным сном, неблагополучием в семье, ну и тому подобное… Вот, например, в Чусовом, где шестьдесят пять тысяч жителей и где я долго жил и работал газетчиком, знаю, что все, кто сдёргивал верёвками кресты с церквей, издевался над иконами—кололи их на дрова, закрывали капусту,—всех их парализовало, или они умерли не просто так… А умирал от рака секретарь горкома—сказали: покрестись, покайся,—он покаялся, но поздно было… Кстати, бывший учитель физкультуры. Или кто занимался мародёрством—в частности, в Германии,—то же самое. На моих глазах родственник Марии Семёновны, в Ростове, белья там всякого немецкого напривозил, трусики и прочее… был при должности… так жена при родах умирает… И ведь этот крест несёт весь народ, и мы вместе со всеми. И долго это будет продолжаться, пока не осудят то плохое, что было, и не покаются… Пока не вынесут наказание, пока не перестанут выпендриваться так называемые коммунисты и прочие и шило в задницу вставлять—ничего не произойдёт, никакой перестройки. Ничего. Всё будет только тогда, когда произойдёт глубочайшее покаяние и вера в высшую силу—в Бога, Христа, как хотите называйте—у каждого Бог свой. У меня—свой… Не каждый день в церкви бываю, не часто, да и не нужно этого делать… Театр всё-таки, посредник между Богом и Землёй, он—блескучий огонь, неаскетический. Я больше люблю скиты… вот у нас был скит в Дивногорске! На меня такой трепет это произвело, что аж снился этот скит… Может, через двадцатое поколение воротится всё… Уйдём от чинопочитания, раболепства, жополизства и прочего… Мы неисправимы уже, в нас «хомо советикус» сидит в крови, что даже кто духовно окреп как-то… Вот я не был ни к комсомоле, ни в партии—а понуждаем был и на фронте, и в газетёнке… Кто-то зарился на пятьдесят рублей—жили страшно бедно… Я—не смог, так как видел в Игарке, чего не могу забыть всю жизнь,—вплоть до расстрелов и брошенных трупов на съедение песцам, потому что копать вечную мерзлоту некому, нужны рабочие на бирже. Надо быть честным перед собой, исполнять свой долг, честно работать, добывать чисто свой хлеб и учить ребятишек труду и уважению к природе. Ведь беда на нас надвигается ещё и потому, что мы повредили природу, даже сибирскую… Миллиарды написаны величайших книг, а какая живопись, какая музыка! Ведь я давал своей душе всегда трудиться, много читал, слушал музыку—от балалайки до камерной, не давал себе опуститься до быдла… Посмотри, великие живописцы, поэты, художники, композиторы—им либо отрублены головы, или убиты на дуэли, или ещё что-то происходило… Лермонтов—в двадцать семь, Гоголь, бог литературы,—в сорок два, Пушкин—в тридцать семь!.. Что ж это такое? Свалить трёх таких гигантов в любом государстве, даже в большом,—это обезглавить всю культуру… Сейчас таких гениев нет, довырубались… Вот приехал я в Латвию, там поэт—Райнис: «Вей, ветерок, вей, ветерок…»—да у нас таких поэтов в каждой области—штук пять, но средних… Приучать—не знаю как… я приучался сам… Сидел в детстве на крутящем телефоне—мачехе помогал. И мне попалась книга тогда без начала и конца, «Робинзон Крузо», которую я читал по слогам; и по этой же книге научился бегло читать, как псалтырь. Я недавно перечитывал эту книгу—перечитывается, «Остров сокровищ»—перечитывается.

Не перечитывается Купер, Майн Рид, Вальтер Скотт—это примитивная проза для ребятишек…

Виктор Петрович на самом деле удивительно рассказывал. Увлечённо. Просто. Глубоко. Как будто бы проживал свои воспоминания, и они, как «птица-тройка», заполняли пространство и завораживали собеседника той космической простотой, которая способна была перемещать тебя во времени и пространстве. Слушая его, иногда ловил себя на мысли, что да, я сижу где-то в деревенской избе, далеко в Сибири, с совершенно обыкновенным земным человеком. Всё как будто очень обыденно, бытово, но тут же, вздрагивая, я ощущал над нами—нет, конечно же, над ним—огромную вертикальную дыру в космос… В общем-то, в этом нет ничего удивительного, ведь, по большому счёту, как говорят, эти сущности обитают вместе…

Самое время сделать отступление в плане организации творческого процесса создания будущего спектакля «Звездопад». Хотя бы потому, что именно в это время формировалась постановочная группа.

Первым человеком, кому я открыл идею постановки спектакля по Виктору Астафьеву, был артист театра Анатолий Петрович Новосёлов. Этот талантливый, умный, болеющий и страждущий за настоящий психологический театр актёр был одержим творчеством Василия Шукшина, Валентина Распутина, Александра Вампилова, Фёдора Абрамова, Василия Белова и, конечно же, Виктора Астафьева. Толя не просто загорелся, он всячески стал помогать и подталкивать меня к решению этого проекта. Кто знает, если бы не его настойчивость, хватило бы у меня духу окончательно взяться за эту постановку? Этот выбор оказался настолько правильным, что спустя годы именно Анатолий Петрович, как я уже подчёркивал, вёл этот спектакль по жизни, оберегая его, делая замечания и проводя репетиции по вводам, конфликтуя с администрацией, доказывая право спектакля на существование, основным мотивом которого был зрительский к нему интерес. И то, что «Звездопад» просуществует в театре более десяти лет, заслуга во многом Анатолия Петровича Новосёлова. Конечно же, именно он должен был быть ассистентом режиссёра, о другой кандидатуре—не могло быть и речи. И с момента принятия решения о постановке этого спектакля я все возникавшие вопросы решал совместно с ним.

Одним из ключевых вопросов, естественно, стал вопрос сценографии. Главным художником в ту пору был Сергей Форостовский. Он был действительно замечательным пейзажистом, жанристом и портретистом, но в сценической образности и конструктивности, мне казалось, он мыслил не совсем оригинально. И тем не менее, я предложил ему, соблюдая профессиональную этику, сделать некие «почеркушки» на предмет сценографического решения спектакля. Через какое-то время Сергей принёс мне несколько таких вариантов. После совместного обсуждения со мной и с Анатолием Новосёловым Сергей Форостовский согласился, что его решения носили такой общий характер образа военной тематики, который можно было применить ко многим подобным историям. Тогда мы решили пригласить оформить спектакль Александра Кузнецова, который в ту пору работал в Рязани. Я видел многие спектакли, поставленные Сашей как художником, во многих играл, будучи актёром; более того, несколько спектаклей мы уже сделали вместе. Он всегда искал в материале сценический образ, и этот образ нёс масштабность, а порой монументальность, и в то же время в этом чувствовались щемящая трогательность и драматизм. Как, например, такие спектакли, как «Сирано де Бержерак» Э. Ростана в том же Красноярском ТЮЗе, «Легенда об Искремасе» Ю. Дунского, А. Митты, В. Фрида, «Терех… или каратэ?» С. Злотникова в Рязанском ТЮЗе или же «Хмель» по роману Н. Черкасова в Минусинском драматическом театре, за что он получил Государственную премию РСФСР.

Я позвонил ему в Рязань, рассказал об идее сделать спектакль про войну по Виктору Астафьеву. Обрисовал тему, сказав, что скоро буду в Рязани и что жду от него встречных предложений. Кузнецов не просто откликнулся на моё предложение, он сразу же загорелся, сообщив, что готов работать над подобным материалом на любых условиях. Кстати, Сергей Форостовский, чтобы тоже остаться в этом проекте, попросил меня дать ему возможность поработать над костюмами. Я, разумеется, согласился.

Лето пролетело быстро. Возвратившись в театр, первоочередной задачей нашей была организация дня рождения ТЮЗа седьмого декабря. Художественным советом мы распределили обязанности небольшой торжественной части, которая должна пройти на этом вечере следом за премьерой «Дамы-невидимки», которую, как я уже говорил, ставил Л. И. Федотенко.

Из приглашённых гостей на юбилей театра согласились приехать режиссёры Александр Попов из Тулы и Кама Гинкас из Москвы. Но это в декабре… А сейчас мне нужно было сделать несколько репетиций спектакля «Же ву при, сударыня» и, конечно же, будущего спектакля «Звездопад». После чего я вынужден был уехать в Москву на сдачу кандидатских экзаменов в ВТУ им. Б. В. Щукина.

В театре вывесили распределение будущего спектакля «Звездопад». Распределение ролей в этом спектакле далось мне не очень просто. Дело в том, что подобный материал выпадает на нашу долю ой как нечасто. И артисты, оставшиеся

в стороне от него, в большинстве своём переживают это очень больно. А расклад получился такой:

Виктор Астафьев

Звездопад

*Драматическая новелла
в 2-х частях*

Действующие лица и исполнители:

Миша Ерофеев	Сергей Тисленко
Лида	Светлана Шикунова
Смерть	Светлана Кутушева
Мать Лиды	засл. арт. России Галина Елифантьева
Агния Власьевна	Наталья Щуко
Пана	Елена Пономарёва
Афоня Сидоров	Александр Алексеев, Олег Кириченко
Матрёна, жена Афони	Светлана Руденко
Старшина Шестопалов	засл. арт. России Юрий Щербаченко
Рюрик	Анатолий Кобельков
Восточный человек	Александр Бухонов
Попийвода	Юрий Горяев
Больной в коридоре	Александр Алексеев, Олег Кириченко

Я не могу не прокомментировать творческий состав спектакля. Прошло достаточно времени, и это даёт мне право сказать то, что тогда, может быть, было не совсем уместным. Во-первых, я ни в ком не ошибся и всем им безумно благодарен за творческую отдачу и страстное желание «состояться» в этой работе. Конечно, были трения и шероховатости в процессе, но у кого их не бывает?

Серёжа Тисленко пришёл в театр за полгода до начала нашей работы вместе со своим другом Амиром Шакировым. Они потихоньку вливались в текущий репертуар, а мы, соответственно, за ними наблюдали. Как ни странно, но не где-то, а именно в сказке «Красная Шапочка», где Сергей играл зайца, я вдруг увидел черты будущего героя астафьевской новеллы. По своей органике Серёжа очень непосредственный, доверительный, чувственный и восприимчивый, всё это присутствовало в нём на сцене. А характер? Сможет ли он проявить характер, волю и твёрдость? Не хочу сказать, что я их увидел где-то вторым планом, но на уровне интуиции мне показалось, что они у него присутствуют. Ну мужик же, в конце концов! Значит, будем эту твёрдость воспитывать, на том мы с Анатолием Новосёловым и порешили.

Света Шикунова только что пришла в театр, окончив Новосибирское театральное училище, и как будто бы была единственной молодой актрисой на роль Лиды. Но оказалось, что я просмотрел Милю Шевчук, которая в процессе подключилась к этой роли и вышла на премьеру. Актёрский опыт всё-таки помогает достойно пройти непростой творческий марафон, что со временем удалось и Светлане.

Светлану Кутушеву я тоже взял в театр недавно. Её индивидуальность переполняла некая «острохарактерность». Свету настойчиво рекомендовала мне одна из её педагогов, Лена Бубнова, намекая на её «взрывной темперамент». И мы решили с ней одолеть «Смерть».

Галина Елифантьева—одна из самых любимых мною актрис. Её тонкопсихологическая органика способна проникнуть в ткань любого характера и сделать его очень достоверным и трогательным. Её «мама», то есть мама Лиды, несёт груз непростой судьбы, хотя Виктор Петрович говорил и утверждал, что в «Звездопаде» ею движет обыкновенный материнский эгоизм и больше ничего.

Наталия Щуко—ещё одна моя любимая актриса. Вообще, я люблю актёров и актрис за их самоотверженность и преданность театру, за то, что они несут со сцены то бесценное и бесконечное чувство добра, а также нежности и любви, так необходимые сегодня. И таких, как Наташа,—большинство. Агния Власьевна в её исполнении, несмотря на строгость характера главного врача, была человеком широкой и щедрой души, чем она делилась с бойцами, опалёнными войной.

Как и Пана Елены Пономарёвой, которая к тому же обрела настоящее чувство, встретив на дорогах войны близкого для себя человека.

Обаятельная и очень органичная Валентина Чурина не просто согревала теплом души своей раненых бойцов, в характере её «няни» были узнаваемые ворчание и юмор, за которыми скрывалась искренняя материнская любовь к тем ребятишкам, которые несли на своих плечах тяжёлый груз войны.

Исполнителей роли Афони Сидорова было двое—Александр Алексеев и Олег Кириченко. Саша обливался слезами, а Олег, наоборот, был очень сдержан в последнем своём виртуальном свидании с Матрёной и детьми. Оба самоотверженно терзали себя изнутри, чтобы добиться верного самочувствия, пытались вырваться из рук Смерти, боролись до последнего вздоха, но, как оказалось, силы были неравные... К большому сожалению, артист Александр Алексеев прожил недолгую жизнь. Светлая память... Я благодарен ему за тот внутренний порыв, который он передавал в зрительный зал, пытаясь спасти своего героя Афоню от Смерти.

О заслуженном артисте России Юрии Щербаченко я хочу сказать особо. Когда ещё в 1976 году я совсем молодым первокурсником театрального факультета Воронежского государственного института искусств бегал по коридорам этого учебного заведения, то часто навстречу мне чинно

ступал без пяти минут выпускник оного вуза Юрий Щербаченко. Юра был яркой личностью, он был индивидуальностью в полном понимании этого слова. Придя в театр, он сразу же мощно вошёл в репертуар: Квакин в мюзикле «Тимур против Квакина» Т. Гайдара, Г. Яловича, А. Чёрного, Кай в «Жестоких играх» А. Арбузова, Фёдор Таланов в «Нашествии» Л. Леонова, Сирано в «Сирано де Бержераке» Э. Ростана и многие другие роли, которые им были не просто сыграны, а, по большому счёту, созданы. К моему приходу в театр он переживал очень непростой период в жизни… Старшина Шестопалов был для него в то время каким-то «возрожденческим» моментом в творчестве. И он на это надеялся, как, впрочем, и все мы. Он работал с удовольствием, его опытному Шестопалову были свойственны и требовательность, и юмор, и трепетность… Это была его последняя роль… Светлая память, низкий поклон ему…

Когда в 1980 году я молодым артистом пришёл в Красноярский ТЮЗ, Светлана Руденко блистала своими ролями молодой героини во многих спектаклях, среди которых, конечно, выделялась Женя в мюзикле «Тимур против Квакина». И сейчас, получив небольшую роль Матрёны, она пыталась вложить в этот образ весь свой опыт и мастерство: боль Матрёны за Афоню терзала душу и щемила сердце.

Рюрика играл Толя Кобельков. Я его не знал до этого, присматривался: серьёзно он относился к работе; мне казалось, даже чересчур. И поначалу Толя очень осторожничал, входил в материал с оглядкой. Со своеобразной органикой, безусловно, его Рюрик стал персонажем с непростым характером: немного скрытным, который нёс в себе груз боли от потери друзей и в то же время — боевой дух товарищества и жажду жизни.

Саша Бухонов играл восточного человека. Характер свой он искал непросто: очень тянет при попытке найти зерно южного темперамента на стереотип, эмоция захлёстывает, и артист, как говорится, «бежит впереди паровоза». Да ещё и акцент! Александр, что называется, балансировал на грани, но в этом тоже была своя прелесть…

К Юрию Михайловичу Горяеву у меня особое отношение. Многое связывало нас — и житие в общежитии, и случающиеся вылазки на рыбалку, и ревностное отношение к профессии… Со взглядом изголодавшегося по творчеству человека всегда входил он в театр…

И мало кто знает и понимает, что публичное обнажение души требует огромных внутренних затрат… И как мало надо актёру и художнику как творцу, чтобы поняли его, а ещё и поддержали бы в непростом труде его, не забывали, что он тоже живой человек, что у него есть семья и что он тоже нуждается в каком-то минимуме средств… Да, он не создаёт материальных благ, но его миссия на земле бесценна по сути своей, ведь он врачует души… «Чернорабочие культуры» — называл их великий просветитель Дмитрий Лихачёв. Художник незащищён — помогите ему, в противном случае он погибнет, унеся с собой весь тот пласт культуры, что создавали предки, кинув напоследок, как Ван Гог: «Быть художником в наше время — дело пропащее…»

Виктор Петрович Астафьев в сентябре уже перебрался из Овсянки в Академгородок. Я позвонил ему по приезде из Москвы, и он охотно пригласил меня к себе. Дверь открыла Мария Семёновна. Она приветливо улыбалась, приняла принесённые торт и цветы. Я очень волновался перед этой встречей, так как Мария Семёновна, как рассказывали, была человеком настроения. Но мои опасения были напрасны: тёплый взгляд этой маленькой женщины сразу же расположил меня к домашней атмосфере.

Виктор Петрович потом рассказывал:

— Надо было, чтобы Бог послал мне мою Марью — и мамку, и жену… и лошадь, и бык, и баба, и мужик… И чтобы большой мешок с хлебом таскала, и отвечала за всех… Ругала часто: «Витя, чё ты делаешь?!» — она меня ни разу не называла по фамилии и Витькой! Она ненавидит баб, которые своих мужей называют по фамилии, я для неё всегда был — Витенька. В худшем случае она скажет: «Что ты делаешь, Витя?» У них семья была девять человек рабочих. Отец семьи — Семён Агафоныч — сцепщик, он ни разу в жизни никого не обматерил, в жизни никого не тронул пальцем. Для меня, как я сейчас понимаю, святой человек. А мать — маленькая такая женщина, но сильная: надо же было этих лбов ставить на ноги. И вот появился я, зятёк, первый рыбак, первый охотник, первый матерщинник… Тёща как за голову схватится!.. Ну, пошёл поливать — дрова колоть, да не туда сучок раскалывается!.. А на покосе — сено плавили — пошёл… аж пыль идёт!.. А-а!.. Семён Агафоныч сигарку такую закурит, длинную, как флейта, и говорит: «Витя…» — «Чё?» — «Ты хоть это, не думай хоть Господа трогать…» — «Не, папа, — отвечаю, — не, я ещё на фронте отучился от этого». — «Ну, мотри, мотри, парень, а так-то ладно…» Добродушнейший, прекраснейший человек был… «Разбойник», «варнак» он меня звал. Ну, варнак и варнак…

Всё это и многое другое из своей нелёгкой жизни Мария Семёновна опишет в своих замечательных повестях «Отец» и «Знаки жизни».

Мы пили чай, и я рассказывал о планах театра — в частности, о предварительной работе над «Звездопадом»: художественное оформление, музыкальный материал…

Мария Семёновна слушала очень внимательно.

— Вы ешьте торт-то, — угощала хозяйка.

— Спасибо, Мария Семёновна.

Потом вдруг неожиданно сказала:
— Сейчас много экспериментируют в кино и на театре… Только почему-то после этого от авторского текста мало чего остаётся. Я столько раз перепечатывала «Кражу», «Пастуха и пастушку», «Звездопад», а Виктор Петрович столько выстрадал, когда писал, что, наверное, надо ставить то, что автор вкладывал в свои произведения.
— Я, Мария Семёновна, стараюсь работать именно так, как вы говорите. Другое дело — насколько это может получиться. Мы говорили об этом с Виктором Петровичем. Поэтому, с вашего позволения, я буду периодически обращаться к вам в процессе работы, сопоставляя эти вещи…
— Конечно, — спокойно ответил Виктор Петрович.

Честно сказать, я внутренне опять запаниковал: ведь Мария Семёновна попала, что называется, «не в бровь, а в глаз».
— Я понимаю, что ваши произведения очень непросты для постановки на сцене, но мы будем стараться…
— Я бы сказал, они просты — и в то же время не совсем просты по сути своей, но они выстраданы и поэтому в творческом вымысле правдивы… Как, впрочем, проза Васи Белова, Жени Носова, Вали Распутина, Васи Шукшина… и ещё не очень многих писателей.

Потом вдруг Виктор Петрович прищурился и с какой-то горькой иронией продолжил:
— Кстати, о Васе Шукшине… Мы выжрали три бутылки коньяку на брата. Мне надо было в Горький на секретариат ехать — я позвонил, сказал: «Не поеду…» Толя Заболоцкий был, оператор Шукшина, сам Василий Макарыч… Вообще, он был очень интеллигентен, по натуре — молчун, слушать умел очень хорошо, как будто он участвовал в разговоре, только вставлял реплику… матерную иногда, да… Они с Марьей Семённой моей спелись, у этой сердчишко так себе, и у него неважно было… Он три кофейни оглоушит и курит беспрестанно… Я говорю: «Зараза, уж лучше бы ты пил, сдохнешь…» — «А, — отвечал он, — нас, сибиряков, ничего не возьмёт!» Вот тебе и не возьмёт… На съёмках следующего фильма дал дуба… Очень странно умер, подозрительно странно… То есть существует подозрение, что его умертвили, но я в это не очень верю. Что он сам себя довёл — это да. Бондарчук всё снимал естество у себя в фильме «Они сражались за Родину»: копают окопы в касках и так далее… Ну, милые мои, мы копали окопы тысячи километров — раздевались до пояса и копали. А если никого рядом нет, то и до кальсон. А жили артисты на дебаркадере, теплоходике старом. Сам режиссёр жил со своей сеньоритой на хуторе, на берегу. Ночью Шукшин ещё писал — ночами писал, трудился, и — сердечный приступ. Я видел снимок: лежит он на коечке, когда ему плохо стало… А к этому времени всё руководство улетело, и доктор улетел — ну, натуру-то сняли… Генка зашёл к нему, то есть Бурков, звали они его так. «Ты чё, — говорит, — Макарыч?» — «Знаешь, — говорит, — рука левая немеет, и здесь чё-то плохо», — на сердце показал. «Щас!» — побежал, нашёл капель каких-то. Тот говорит: «Не помогает, Генка, чё-то». — «Щас найду валидол». Побежал к какой-то старой деве — она обязательно есть во всякой киногруппе. Достал валидол. Макарыч пососал немного валидолину, а она не надолго отпускает. Макарыч говорит: «Иди, Генка. Чё ты будешь здесь торчать?» Бурков-то: «Ладно, Макарыч, я потом забегу…» Ну, убежал Бурков, где-то дёрнул водки, керосинил же, потом свалился. А утром просыпается, там кто был, спрашивает: «Да где Васька-то?» А ему: «Так у тебя надо спросить, ты ж ходил к нему». — «Ох, ё…» Тот побежал, пнул дверь ногой, а Макарыч уже лежит. Всё по-русски, всё по-нашенски… Лежит Макарыч на левом боку (на левом! так никто и не научил…), недососанная валидолина на подушке, сапоги, накрытые портянками, стоят… Всё… в этой маленькой каюте, значит… А его уговорил Бондарчук сниматься, пообещав, что отдадут весь реквизит на «Степана Разина» с фильма «Юность Петра». Тогда ему разрешат снимать «Разина», потому что картина не должна превышать бюджет фильма «Война и мир» — пять миллионов. «Степан Разин» тянул на шесть миллионов, а минус один миллион за реквизит — тогда разрешат. Вот такие дела. Я был на съезде книголюбов, ко мне подходят и говорят: «Ты знаешь, Шукшин умер…» Я говорю: «Вы охренели, что ли?! Он же полон сил, молодой!» Да потом подтвердили: действительно. И тут же друзей у него много объявилось — я не люблю таких людей. Про Лиду ничего не буду говорить, Маруся работает на телевидении, скрытная девка, а Катя — вылитый Шукшин. Знаю, что такое съёмки. Я побывал на них, когда снимали фильмы по моим произведениям, — с меня вот так хватило! Это очень другое искусство — оно массовое; оно зависит от солнца, от людей, от блядей, от кого только не зависит… А тут я один — у меня вот тут чернила, тут бумага. Я сам с собой остался. Да зачем мне это? К чему это?

Как бы я ни был переполнен впечатлениями, я не мог злоупотреблять временем писателя. Более того, я чувствовал, что Виктор Петрович несколько устал. Это было заметно и по беспокойному взгляду Марии Семёновны. Поблагодарив их за гостеприимство, я обещал по возвращении из Москвы сразу же позвонить и напомнить им о предстоящем юбилее театра, куда я пригласил Виктора Петровича и Марию Семёновну. Ну и перед прощанием, перебарывая волнение, я сказал:
— Виктор Петрович, на этой неделе делаю первую репетицию «Звездопада», благословите!

Он как-то удивлённо посмотрел на меня, усмехнулся и сказал:
— Давно пора. С Богом!
— Спасибо! — воскликнул я и через минуту, окрылённый, мчался из Академгородка.

Впереди у меня было несколько дней на организацию репетиций юбилея, а также текущего репертуара.

В начале октября я уехал в Москву.

В течение месяца я сдал кандидатские минимумы по философии и режиссуре, получил диплом после окончания аспирантуры ВТУ им. Б. В. Щукина и вылетел в Красноярск.

Репетиции спектакля «Дама-невидимка» были в самом разгаре. Шла активная подготовка к приёму гостей. Но ничего не было сделано по творческой части юбилея. В связи с приглашёнными гостями, я написал небольшой сценарий, где кратко отразил три творческих периода, в первую очередь связанных с приглашением дорогих гостей. Например, один из первых спектаклей «Про нас» мог представить и представил на юбилее замечательный красноярский композитор — Александр Шемряков. Во время творческого периода работы в этом театре Камы Гинкаса и Генриетты Яновской одним из популярных спектаклей у зрителей была «Кража» по повести В. П. Астафьева. Здесь выступит Кама Миронович. А при Александре Попове долгое время со сцены не сходил мюзикл замечательного композитора Алексея Чёрного по сценарию Т. Гайдара и Г. Яловича «Тимур против Квакина». Своё творчество в этой связи представит Александр Иосифович.

Накануне юбилея я встретил Каму Гинкаса и Александра Попова в аэропорту. Они прилетели одним самолётом. Были несколько возбуждены, так как одного и другого отделял не один десяток лет с того момента, когда они покинули город на Енисее. По дороге они расспрашивали буквально обо всём: о городе, о театре, об отношении властей к театру, о репертуаре, об актёрах, об общежитии... Было очевидно одно: ностальгические мотивы, связанные с их творческой деятельностью в Красноярском ТЮЗе, и, конечно, любопытство заставили К. Гинкаса и А. Попова откликнуться на моё предложение приехать на юбилей театра. И за это я и коллектив остались им очень благодарны.

В день юбилея театра, несмотря на массу организационных проблем, за два часа до его начала, я поехал в Академгородок. Виктор Петрович был уже готов и находился в хорошем настроении. А вот Мария Семёновна отказалась ехать, сославшись на недомогание. Провожая нас, она напутствовала:
— Слава, при болячках Виктора Петровича ему нужно часто перекусывать что-нибудь, так что ты не забывай, корми его...

Эту фразу она будет говорить мне потом каждый раз, когда я буду увозить Виктора Петровича либо на репетицию, либо на спектакль, и мне на самом деле делать это было совсем не трудно...

Седьмого декабря в шесть часов вечера, как известно, на улицах уже темно. Сверкающий снег и окутанные белизной сосны в Академгородке всколыхнули мои первые впечатления о Сибири — о её красоте, мощи и нежности, о её широте, бесконечности и неповторимости... Вот мы миновали частные дома Николаевки, потом хрущёвки и сталинки района Гордк, Копыловский мост...Ближе к центру Красноярск обретал свой неповторимый облик. Город был весь в огнях. На набережной красавец-Енисей отражал его во всём своём великолепии, умножая при этом прибрежные здания и омывая берега своим мощным течением...

Я полюбил Красноярск сразу. В первый день приезда. В 1980 году. Его облик и атмосферу. При первом взгляде, брошенном на Енисей и поднимающиеся за ним сопки, они захватили меня своей мощью, красотой, великолепием и очарованием. И даже этот длиннющий проспект имени Газеты «Красноярский рабочий» на правом берегу, или по-простому — «Красраб», был для меня в то время главной улицей жизни.

Виктор Петрович, конечно, любил свой город. Но вот и сейчас, в машине, поглядывая за окно, больше поругивал власть за то, что где-то грязь, долгострой, а она, власть-то, не очень расторопна... Хотя, например, он был в хороших отношениях с Петром Ивановичем Пимашковым — главой города, который иногда присылал ему свою машину, чтобы писателя привозили и увозили на какие-то очередные мероприятия. Вот, кстати, и перед юбилеем театра Виктор Петрович вдруг сказал мне:
— Если у тебя не получится с машиной, для меня Петя Пимашков пришлёт.

Но разве я мог это позволить?
— А вообще я люблю Иркутск и Томск, — разговорился в машине Виктор Петрович.
— А Москва? — спросил я.
— Ни Петербург, ни Москву — не люблю. Очень большие города — жопы у них не подтёрты... Новосибирск — несобранный; Екатеринбург... ну, его Ельцин немного прибрал... А из всех городов, что я в мире видел, — это Мадрид. Чудный город, и народ чудный: как на митинге — громкий и орёт... Кальдерона, говоришь, будем смотреть?
— Да, постановка Леонида Федотенко, потом поздравления и банкет...
— Кстати, самая великая книга о доброте человеческой — это «Дон Кихот». Доброту эту лупят палками, травят, чё только не делают, а она всё равно живуча... А вот, например, шотландцы на нас похожи, или мы на них — кое-где даже и обликом, хотя мы тоже выродились — полукиргизы,

полухохлы, полубелорусы… Всё у шотландцев обстоятельно делается, делово, тихо… Не то что советская власть, что много судорог в истории нам сделала… А там хозяйка сидит во главе стола, суп стоит — а она чинно наливает всем поварёшкой; перед этим прочитает молитву… Мне так нравится, и я всё понимал у них — есть вещи, которые не нуждаются в переводе…

— А вот сейчас говорят, что мы когда-то уже были на этой Земле… Вам как-то близка Шотландия по духу или по каким-то ещё другим измерениям?

Честно говоря, я не ожидал услышать ответ на этот вопрос, да и сам не понял, почему спросил про это. Виктор Петрович немного помолчал и ответил:

— Я не знаю — был я или не был, но, как ни странно, я ощущал себя где-то там, в тех странах… А произошёл я откуда-то из Исландии, из тех краёв. Я очень люблю Исландию… Много о ней перечитал, всегда мечтал быть, два раза меня даже включали в делегацию, но вместо меня ездил Михалков-старший — там он не был ещё. А меня в последний момент вычёркивали — из провинции, не секретарь Союза писателей; меня вычеркнут — Михалкова вставят… Удивительная страна. Я всегда мечтал там побывать. Триста тысяч населения живут замечательно, чисто живут, без армии, без замков, по-человечески… Я там уже рождался…

Машина подъехала к театру, шёл лёгкий снежок, фасад ТЮЗа ярко освещался, как знак того, что скоро начнётся спектакль. Зритель спешил к главному его входу. Мы вышли из машины, я поддерживал Виктора Петровича за руку. Войдя в фойе, где уже громко звучали испанские мотивы, зрители, увидев Виктора Астафьева, удивлённо провожали его взглядами, здоровались.

«Да, — ещё раз подумал я, — нечастый гость Виктор Петрович сейчас у своих земляков… Писатель-затворник…»

Мы вошли в мой кабинет, где уже были К. Гинкас, А. Попов, Л. Федотенко, А. Суворов — директор театра, В. Ситникова — директор театра оперы и балета, А. Кузнецов — художник спектакля «Звездопад», который только что приехал из Рязани. Все радостно приветствовали писателя. Виктор Петрович поздоровался со всеми запросто. Я представил тех, кого он не знал или уже с течением времени подзабыл. Вера Степановна Ситникова не преминула напомнить Виктору Астафьеву о новом спектакле в театре оперы и балета:

— Виктор Петрович, вы не забыли? Через неделю у нас с вами премьера балета «Царь-рыба». Я машину пришлю.

Последовала всеобщая бурная реакция.

— Надо же, — видимо, не в первый раз усмехнулся и Астафьев, — «Царь-рыбу» пляшут.

— Виктор Петрович — бутерброды, чай, сок, — я поставил перед ним поднос с едой, вспомнив при этом наказ Марии Семёновны.

— Вот хорошо, — он начал жевать.

Разговор шёл на общие темы. А со вторым звонком я повёл его в зрительный зал. Настроение у него было хорошее. Выйдя в фойе, Виктор Петрович, держа меня за руку, вдруг чуть не вскрикнул:

— Смотри-ка, на полу мрамор!

— ДК постарался…

— Ты держи меня крепче, а то… ё… упаду… История простит, Мария Семёновна — не простит, — и как-то простодушно засмеялся.

Посадив его на первый ряд у центрального прохода — так он попросил, — я сказал, что в антракте встречу его и провожу к себе в кабинет.

Спектакль получился громкий. Постоянный фон испанских мотивов несколько преобладал над действием. Потом ещё предстояли поздравления… И я беспокоился, что тяжело это будет выдержать Виктору Петровичу.

Мы все волновались — я, Андрей Суворов, Леонид Федотенко: правильные ли шаги мы делаем?.. Но главное — мы их делаем.

После спектакля Виктор Астафьев засобирался домой. Я его уговорил остаться, сказав, что капустник на двадцать минут плюс поздравления, всё — максимум полчаса. Мы так и рассчитывали: премьерный спектакль — два часа с антрактом, плюс тридцать минут поздравления и банкет — по регламенту — нормально.

Поздравления земляков и «коллег по цеху» — театра оперы и балета, музыкальной комедии, театра имени А. С. Пушкина, театра кукол и других творческих коллективов — проходили достаточно динамично — впереди же банкет…

Я не мог предвидеть одного. После мягкого и тёплого поздравления Александра Попова, который коротко вспомнил и поблагодарил за память красноярского зрителя и ТЮЗ, вышел Кама Гинкас, сел на авансцену и неожиданно подробно начал вспоминать тот творческий период, когда он и Генриетта Яновская возглавляли театр.

Он очень детально, порой эмоционально рассказывал о том непростом времени — начале семидесятых годов, когда ему и Генриетте Наумовне приходилось бороться с представителями власти, утверждая репертуар, отстаивая спектакли, и при этом создавать «новый» творческий почерк театра. Гинкас говорил о замечательной атмосфере в театре, несмотря на драматические ситуации, а порой и жизненные трагедии. Как, например, он лично вынимал одного из артистов из петли… о том, как они собирались все вместе и давали отпор «кировской» шпане… Но самое главное — они создавали замечательные спектакли, в отличие от того, что он увидел сегодня на сцене… Это были такие спектакли: «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери… «Кража» В. Астафьева (кстати, этот спектакль начинал ставить Лев Стукалов, Кама Миронович завершал его).

— А вы помните, Виктор Петрович, как мы с вами отмечали премьеру «Кражи»? — вдруг спросил Гинкас.

Астафьев не ожидал этого вопроса и как-то тихо и неуверенно ответил:
— Нет.
— Ну как же, Виктор Петрович, — настаивал Кама Миронович, — где-то наверху, в буфете, на столе развернули газету, у нас была какая-то колбаса, которой мы закусывали водку, а её пили из гранёных стаканов…

Не знаю, что двигало в ту минуту Виктором Петровичем, но он уже твёрже и лаконичнее ответил:
— Нет, не помню.

Кама Миронович поменял тему и стал рассказывать о своих творческих планах в Московском тюзе — в частности, о репетициях будущего спектакля «Чёрный монах» по А. Чехову, вместе с С. Маковецким, И. Ясуловичем, В. Кашпуром и Ю. Свежаковой, где он тонко простраивает жизнь чеховских персонажей, которые действуют в необычном «саду» из павлиньих перьев… Таких же, какие сегодня были подарены одним из гостей Красноярскому тюзу по числу его лет — тридцать пять…

Как бы интересно ни говорил столичный режиссёр, но было очевидно, что его выступление несколько затягивалось: публика просто стала уставать, а ведь впереди заключительная часть торжества — банкет… Тактичный зритель несколько раз пытался аплодировать, думая, что режиссёр Московского тюза заканчивает своё поздравление, но Кама Миронович, видимо, воспринимал аплодисменты как поддержку и с воодушевлением продолжал дальше своё выступление.

Но всё хорошее тоже когда-то заканчивается… После почти часового выступления Камы Гинкаса было ещё два-три поздравления официальных лиц, и к двадцати трём часам торжественная часть была закончена.

Несмотря на то, что были заказаны автобусы, чтобы развезти гостей после фуршета, многие поторопились домой, в том числе засобирался и Виктор Петрович.
— Нет, Слава, не останусь, не уговаривай, устал, очень долго…

Я весь горел изнутри — не смог соблюсти регламент! Мне было досадно и стыдно… Я всячески извинялся, провожая его до машины.
— Саша, наш шофёр, довезёт вас до дома и проводит до квартиры, а я на днях, с вашего разрешения, позвоню…

Он протянул мне руку, я ещё раз извинился.
— Ладно, ладно, — он махнул рукой, и машина тронулась.

Не стану описывать последующие юбилейные дни, скажу только, что гостям — Гинкасу и Попову — мы оказали максимум внимания: от различных поездок по городу, а также на канатную дорогу и смотровую площадку на берегу красавца-Енисея, до немногочисленных встреч с артистами и общественностью Красноярска.

При проводах гостей, уже в аэропорту, Кама Миронович, протянув руку, сказал:
— До свидания.

Мне показалось, он ожидал от этой поездки нечто большего. Да простит он мне, чего не ведаю: видит Бог, мы сделали всё, что смогли.

Александр Иосифович, прощаясь, как-то серьёзно и пристально взглянул на меня, после чего пожал руку и произнёс:
— Желаю вам мужества.

И я почувствовал в этом поддержку, отлично понимая, что это качество в наших устремлениях нам с коллегами совсем не помешает. Искренне поблагодарив мэтров-режиссёров за этот визит к нам и пожелав хорошего полёта, я возвращался в театр усталый и опустошённый…

Праздники закончились, и начались долгожданные будни. Часть актёров трудилась над новогодней сказкой. Я же с группой «Звездопада» вплотную продолжил работу над спектаклем.

Артисты включились в работу с неподдельным увлечением и азартом, причём все отлично понимали серьёзную ответственность, которая легла на нас. И самое главное — мы поверили в свои силы и друг в друга, и я бесконечно всем им благодарен за это. Огромную работу по созданию творческой атмосферы проводил Анатолий Петрович Новосёлов. Мы пытались разобраться в нюансах пьесы, простраивали сцены, придумывали неожиданные ходы поведения персонажей…

Молодые и неопытные Сергей Тисленко и Светлана Шикунова с большим трудом для себя складывали по крупицам отношения своих героев — Миши и Лиды. И на каком-то этапе Света внутренне, что называется, «застопорилась». К сожалению, такое происходит, и особенно среди начинающих актёров, которые очень подвержены влиянию своих старших товарищей, а те, в свою очередь, где-то в кулуарах начинают советовать, как играть лучше и как себя вести с режиссёром, потому что последний не всегда, по их мнению, правильно режиссирует. В результате молодой артист перестаёт думать о перспективе роли, начинает нервничать и, в конечном итоге, теряет логику поведения действующего лица. И с какого-то момента Света стала подменять наработанное самочувствие механическим произнесением текста. Возник невроз. И самое главное — мы не могли двигаться дальше.

Отчасти на это состояние Светланы ещё повлияла и творческая заявка на роль Лиды другой актрисы — Эмилии Шевчук. Но я согласился на это с тем условием, что пока Миля входит в роль,

вплотную будет репетировать и играть премьеру Света.

На каком-то этапе работа над спектаклем уже набирала ритм. Актриса Шикунова попросила дать ей несколько дней отдыха, предложив на это время репетировать роль Лиды Миле Шевчук. Я был в панике: мы во многом теряли атмосферу наработанного материала и движение по перспективе дальше. Впервые у меня внутри прошёл «провокационный» холодок: не начало ли это провала? Толя Новосёлов, который за словом в карман не полезет, молчал и тоже не знал, что предпринять. В какое-то время, придя в себя, я заявил молодой актрисе:

— Если вы уходите на короткий отдых, а я в это время репетирую с Шевчук, то после вашего выхода на работу вы с ней работаете только в пару…

Актриса сделала выбор, так оно и случилось. Я не хочу обнародовать симптомы «болезни», но говорю об этом потому, что судьба иногда с нами на самом деле играет злые шутки… Дело в том, что перед премьерой Виктор Петрович сделает выбор в пользу второй исполнительницы… Но это будет потом… А сейчас, засучив рукава, я стал работать с двумя героинями, в этой «лямке» оказался ещё и главный герой Миша—Серёжа Тисленко, который тоже стал приспосабливаться к двум актрисам. С одной стороны, в театре—это нормальное явление, но тогда время работало не на меня…

Пятого марта была объявлена премьера.

А впереди—зимние детские каникулы и текущий репертуар, который мы играем каждый день. Масса производственных и финансовых проблем…

И всё это безумно мешало творческому процессу.

Перед Новым годом я пошёл в театр оперы и балета на премьеру балета Андрея Эшпая «Царь-рыба», на котором, конечно, присутствовали Виктор Петрович и Мария Семёновна. В антракте они сидели в зале, я подошёл к ним и поздоровался. Виктор Петрович усмехнулся:

— Напугал ты меня «Дамой-невидимкой», напугал!

Реплика прозвучала как приговор.

— Виктор Петрович, делаю «Звездопад» в другом ключе. И потом, я же обязательно приглашу вас на репетиции… Где-то через месяц…— с какой-то неожиданной для себя уверенностью ответил я.

— Ну-ну,—со свойственным ему прищуром улыбнулся писатель.

У меня внутри несколько отлегло, и я попытался перевести тему:

— Как балет?

Он засмеялся:

— Вот сидим с Марьей Семёновной—смотрим… Танцуют и танцуют… Где там «Царь-рыба»?—он посмотрел на жену, та промолчала.—Вот и я не знаю… Ну и пусть танцуют…

Дали третий звонок, я попрощался, договорившись после Нового года им позвонить.

Бурно прошли для театра новогодние праздники: переполненные залы в дни зимних каникул—явление для нас привычное. В это жаркое для артистов время никаких репетиций в театре не ставилось. Более того, после окончания «новогодней кампании» актёрам дают дня три-четыре отдохнуть.

Мы возобновили репетиции в середине января. Проходили они уже на большой сцене, а не в репетиционном зале, что тоже требовало определённых усилий приспособиться, простроить и сыграть, в частности, камерные сцены на большой сценической площадке.

Всё больше и больше погружаясь в глубину астафьевской прозы, мы зачаровывались мелодикой его языка, с головой уходили в атмосферу тех сложных событий, искали логику действий героев в лабиринте непростых человеческих отношений, пытались прочувствовать ту психологическую тонкость первых проявлений любви ещё юных Миши и Лиды, которых соединила война и разлучила.

Конечно, у нас многое не получалось, но мы были упорны в своих поисках, что нас и объединяло. И самое главное—мы были одержимы воссоздать на сцене так полюбившихся нам астафьевских героев, которые стали частью нас самих.

Вскоре начали на сцене появляться декорации и костюмы, которые, несомненно, вселяли в нас уверенность и надежду в хороший результат нашей работы. А музыка и свет дополняли ту атмосферу творчества, которая царила не только на сценической площадке, но и в целом во всём театре. Именно тогда я почувствовал тот «дух студийности», которым, видимо, был наполнен Красноярский тюз в период своего зарождения и о котором так много говорили старожилы. Нам как будто помогали опорковцы из того времени—шестидесятых годов, когда они делали вместе с Валерием Галашиным, первым главным режиссёром, свой легендарный спектакль «Про нас». И наш астафьевский спектакль «Звездопад» тоже рождался нами «про нас», как бы кто что ни говорил…

В начале февраля я почти «сложил» спектакль, причём с двумя исполнительницами роли Лиды, и позвонил Виктору Петровичу с просьбой встретиться и прояснить для себя вместе с ним несколько сцен, по которым у меня в ходе репетиций возникли некоторые вопросы.

Он сказал, что неважно себя чувствует и что ему надо отлежаться немного, так как скоро, где-то на днях, он ждёт группу киношников от Никиты Михалкова. Режиссёр планирует снимать фильм о войне и писать сценарий собирается чуть ли не со слов Виктора Астафьева. (Как потом

выяснится, Никита Сергеевич затевал «Утомлённые солнцем-2».)
— Недельки через две позвони, вот там и решим,— ответил мне Виктор Петрович.
— Дело в том,— не унимался я,— что пятого марта мы же спланировали премьеру, времени остаётся не так много.

После маленькой паузы писатель произнёс:
— Ну вот и посмотрим… давай числа пятнадцатого… позвони.
— Хорошо, Виктор Петрович, спасибо.

И я, наверное от волнения, положил трубку на стол…

Конечно, мы на репетициях не просто отрабатывали уже найденное, каждый раз находили во взаимоотношениях героев новые нюансы, «повороты» в поведении, неожиданные грани сценических оценок, что во многом обогащало сами характеры. Не хочу лукавить и не хотел бы называть фамилии, но не все работали ровно — по разным причинам, где-то по объективным, где-то не очень… Кому-то помогал опыт, а кому-то его не хватало… Это выражалось в неуверенности внутренней либо, наоборот, в плюсе, жиме, наигрыше… Вот над этим мы с Толей Новосёловым и артистами работали в это время. Конечно, я тоже испытывал гамму противоречивых чувств — от лёгкой паники до желания всё бросить и кинуться куда-нибудь на край света… Но могу сказать с твёрдой уверенностью: никакой халтуры со стороны участников этого творческого процесса не было, работал коллектив сплочённо, азартно, с увлечением.

В середине месяца я позвонил Виктору Петровичу, и дня через три он изъявил желание прийти на репетицию. Узнав об этом, коллектив театра внутренне залихорадило, и в то же время в их глазах я прочитывал гордость, вызванную сопричастностью с творчеством своего великого земляка.

Как мог, перед первым рабочим прогоном я пытался настроить артистов на обычную рядовую репетицию, то есть не давать, что называется, «сильной» игры, а заниматься делом, в очередной раз попытаться проследить линию своей роли и продолжать распределяться в спектакле.

До сих пор не знаю, правильно сделал или нет, но на эту первую репетицию с Виктором Петровичем я не пустил журналистов с телевидения. И не потому, что заведующая литературной частью театра не согласовала со мной этот вопрос, пригласила их к началу репетиции; скорее, потому, что я не хотел, как сейчас говорят, сразу себя «пиарить». Более того, набросился я на бедную девочку: вот, мол, не понравится Виктору Астафьеву показ, «закроет» он спектакль, а мы сразу камеру тащим, интервью берём… Короче, всю прессу можно приглашать только после обсуждения репетиции с Виктором Петровичем…

— Ну и зря, пусть бы смотрели себе,— как-то просто отозвался он, услышав про мои дебаты о журналистах.

Когда мы вошли в зал, первое, что спросил меня Виктор Петрович:
— А где у тебя занавес?
— Я, честно говоря, думал о нём; но два фактора заставили меня отказаться от занавеса: во-первых, он был старый и зашарпанный, а во-вторых, мне казалось, зритель, войдя в зал и увидев в глубине сцены очертания поднятых ставок и контуры кроватей, сразу будет погружаться в атмосферу спектакля.

Он махнул рукой:
— Понял, мода сейчас такая… Пойдём поближе сядем, чтоб я лучше видел и слышал…

«Ну вот, для начала получил»,— подбодрил я себя, и мы прошли где-то к третьему ряду и сели: Виктор Петрович — впереди, я — позади, чуть левее, чтобы было легче общаться.

Сразу же после нас в зал вошли пришедшие на прогон не занятые в спектакле артисты и другие работники театра и плотно расположились на задних рядах. «Хороший показатель творческого настроя коллектива,— успокаивал я себя.— Ну-ну… С Богом!..»

Погас свет, на заднике появились очертания звёздного неба, зазвучал «Реквием» Верди, и через какое-то время стали доноситься отдалённые взрывы, которые усиливались, заглушая поминальную музыку, уступая место новой эмоциональной волне: зал заполнила «Священная война»… С микшером музыки высветилась палата в госпитале, и среди солдатских коек появилась темпераментная Светлана Кутушева, игравшая Смерть. Тут же палату окутала дымка — частый технический атрибут «сценической атмосферы»… Вдруг Астафьев, повернувшись ко мне, закричал на весь зал:
— Слава! Да убери ты этот дым к такой-то матери! Ну везде его суют, где надо и не надо…

Меня как током стукнуло.
— Хорошо, Виктор Петрович…
— Ну правда, ни к чему он здесь! — не унимался писатель.
— Уберу, Виктор Петрович…

Паника моя начинала расти, мысли прыгали, как при стихийном бедствии: «Так это он сейчас весь спектакль комментировать будет… Вон даже у Кутушевой чрезмерная нервозность прёт чрез пластику, а сейчас ведь говорить артисты начнут — вот игру давать будут!.. И краем глаза глянул на отреагировавших лёгким шумком на комментарий автора сидевших сзади коллег… Я не чувствовал, я знал: они тоже переживают…

Первая сцена прошла быстро, она небольшая… А следующая — основные герои, Света и Серёжа,— несколько провисла. Буду откровенен: Света

внутри запаниковала, сказалось, конечно, отсутствие опыта, девка-то она талантливая, но вдруг затишила текст, подзажалась немного.

Виктор Петрович Астафьев часто поворачивался ко мне и спрашивал:

— Чего сказала? Не понял, не слышу…

И даже если учесть, что у него в его возрасте слух, что называется, был несовершенен, многие слова даже я едва угадывал. Серёжа Тисленко же с первых фраз прямо-таки «вылезал из себя», старался сильно… И тут я испугался не на шутку. «Какой ты, к такой-то матери, режиссёр?—завопил я внутри себя.—Какой тебе психологический театр?! Вон из этого учреждения! Артистов подставляешь по полной программе…»

Но вдруг потихоньку Серёжка стал входить в колею действия, и спектакль задышал. Почему именно Серёжа? Потому что основная нагрузка лежала на нём; правда, ещё на Свете Шикуновой.

Автор очень оживился, когда увидел детей, с которыми выходила Матрёна—Светлана Руденко—в сцене с Афоней. Он знал, что это дети артистов, но когда увидел среди них маленькую девочку, вдруг засмеялся своим заразительным смехом и воскликнул на весь зал, указывая на неё:

— Ха-а-а, смотри-ка!.. Кольки Бухонова внучка!..

(Отец Саши Бухонова, который играл восточного человека, Николай Бухонов был артистом Красноярского театра им. А. С. Пушкина.)

Забавный эпизод произошёл в конце первого акта, когда бойцы провожают Мишку на свидание, шутят, подсмеиваются над ним и поют под баян частушки. Виктор Петрович повернулся ко мне, засмеялся и сказал:

— Ну придумал—у нас и баянов отродясь не было!..

Он как-то снисходительно засмеялся… Я промолчал.

В это время закончился первый акт, и я объявил перерыв. Выполняя наказ Марии Семёновны—почаще подкармливать Виктора Петровича, мы отправились ко мне в кабинет.

Я не спрашивал автора ни о чём, понимая, что по половине работы не судят и свои впечатления он обязательно выскажет после репетиции. Но я отчётливо понимал, что артисты не просто переволновались. Я уверен, что с подобной психологической работой они давно не сталкивались, а некоторые и вовсе так не работали (конечно, в силу своей молодости). Поэтому первый акт прошёл очень неровно—прослеживались две тенденции: в мажорных сценах многие переигрывали, а в драматических кусках либо «перетишили», либо «переплакали». Я понимал: это результат того, что артисты перестают действовать, что подразумевает недостаточную проработку материала режиссёром, а значит, в первую очередь—мою вину.

В перерыве мы почти не говорили о спектакле, хотя меня подмывало задать Виктору Петровичу провокационный вопрос… То, что он не испытывал восторга,—это-то я видел, но я видел и другое: он нисколько не был удручён нашим зрелищем, а это было для меня тогда главное. Писатель, пожёвывая бутерброды, как-то мягко уже заметил, что на самом деле никаких баянов у них не было и быть не могло. Я так же мягко извинился, достал его повесть «Звездопад», немного полистал и показал Виктору Петровичу абзац:

«На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щёку и попал в рот. И Рюрик говорит, что проглотил его впопыхах. Врёт, пожалуй. А может, и не врёт. Попробуй узнай у саратовского, когда он врёт и когда правду говорит?!

Рюрик лежит пробитой щекой на деке баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днём.

> Злая буря шаланду качает,
> Мать выходит и смотрит в окно.
> И любовь, и слезу посылает
> На защиту сынка своего».

Писатель как-то неуверенно улыбнулся краешком губ и со свойственным ему прищуром произнёс:

— Ну, вишь, забыл… Когда писалось, разве всё упомнишь, чего пишешь?..

— Ну так я оставляю баян, Виктор Петрович?—не унимался я.

— Так оставляй,—махнул рукой писатель.—Однако пора вторую часть смотреть.

— Да, конечно,—ответил я.—Пойду предупрежу артистов, и сразу начнём.

Когда я зашёл за кулисы, то, видимо, уже ждавшие меня актёры испытующе смотрели на меня своими по-детски непосредственными синими и карими «брызгами». Я улыбнулся им в ответ, как мне показалось, не менее непосредственно и сказал:

— Молодцы, хорошо… Немного перестарались, ну, соответственно, пережали в некоторых местах. Это от волнения—понятно… А в целом—держите… Так что в этом же духе, по делу, работайте, не теряйте перспективы роли… А вы, мои хорошие,—обратился я к Сергею и Светлане,—боритесь за свою любовь… С Богом! Начинаем второй акт…

Я пошёл в кабинет за Виктором Петровичем, и через несколько минут вновь зазвучала музыка, возвещающая о начале второго акта спектакля.

Вторая часть спектакля была практически о любви Миши и Лиды. К тому же быстро сменяющиеся события и неожиданный финал придавали действию определённую динамичность. Артисты, что называется, «разогрелись» в первом акте и во

второй части были более свободны. Повторюсь, основная нагрузка лежала на двух исполнителях — Сергее и Светлане, и если Сергей «зацепил» своего Мишу в первом акте и естественное развитие образа «пошло» во второй части в нужном русле, то со Светланой дело обстояло сложнее. Её неровный первый акт, в силу малого опыта, не дал ей возможность набрать тот градус существования ко второй части, поэтому в сценах с Мишей во второй части она была недостаточно убедительна. В какой-то степени это была и моя вина, нужно было, наверно, искать другие подходы к роли вместе с ней. Но ещё, как показало время, ей необходимо всё-таки было пройти определённый отрезок времени жития на сцене, как это называется — практика, опыт и т. п., так как с течением времени эта роль стала её, и я ей благодарен, что почти десять лет Светлана Шикунова, как и многие другие исполнители, бережно и с любовью несла по жизни этот спектакль.

Ну а сейчас, по окончании прогона спектакля, не сговариваясь, мы с Виктором Петровичем пригласили артистов в зрительный зал. Они спускались в зал уставшие, но одухотворённые, и каждый силился увидеть в наших глазах проблеск ну хотя бы удовлетворения, не говоря уже о чём-то большем… Актёры рассаживались напротив нас в партере, а цеха в том же ожидании сидели чуть сзади.

Виктор Петрович оглядел всех, бросая короткие фразы-комплименты в адрес актрис, особенно ему, как потом выяснится, приглянулась Светлана Кутушева в роли Смерти, потом глянул на меня, и я тут же попросил писателя сказать *всё*, что называется, без утайки.

— Ну, что я хочу сказать, — начал Виктор Петрович. — Вы, конечно, сделали огромную работу… И спектакль нужен этот не только как часть репертуара вашего театра… Он важен для репертуара города, ну нет такого спектакля в городе… Конечно, я вижу, что постановка эта далась вам непросто… Скажу честно, лучший спектакль по этой пьесе был в Вологде, тогда ему дали Государственную премию, и режиссёр Баранов, по-моему, он сейчас в Пензе, запил сразу… Ну, Славе это не грозит, я хочу сказать — запой…

Труппа, до сих пор сидевшая в напряжении, при этих словах несколько оживилась.

— А вот кое-что подработать надо… Это «кое-что» я ему по ходу говорил, но самое главное, на мой взгляд, в недочёте спектакля — это в двойных сценах неуверенность, а отсюда недоработка молодых героев… Я бы посоветовал немного поработать ещё над этим; если надо, даже перенести ненамного премьеру, и я уверен, что всё станет на свои места…

Гораздо позднее я прочту изданный Геннадием Сапроновым, иркутским издателем, сборник писем В. П. Астафьева «Нет мне ответа… Эпистолярный дневник 1952–2001», где писатель напишет В. Курбатову: «Мы потихоньку перевалили зиму с солнцем, с искрами снега под солнцем, но вот «отпустило», и начался повальный грипп. Стараемся никуда не ходить, но вовсе сидеть дома невозможно, в магазин, на почту надо, а тут вот ТЮЗ наш затеял спектакль по «Звездопаду», 5 марта премьера. Как тут в гущу народа не залезешь? Театрик слабый, был я на репетиции-прогоне, заскучал, но ладно — ребятишки нищие, старались, уважить нужно этакий, почти подвижнический, труд…»

Да, скажу я сейчас, оглядываясь назад, в то время, отстраняясь от субъективных воззрений и пристрастий, театр, мой любимый театр — Красноярский ТЮЗ, в ту пору не мог быть сильным. Достаточно сказать, что последние лет восемь-десять почти каждый год менялись главные режиссёры, да и власти не жаловали театр своим вниманием. Здание разрушалось как в прямом, так и переносном значении. Да, к примеру, мыслимо ли было, что в 2000 году в радиоцехе стояли магнитофоны с плёнкой, которую уже к тому времени перестали выпускать, и первый «сидюк» мы купили с заведующим радиоцехом Пашей Тараненко за свои деньги, как сейчас помню — пять тысяч рублей?..

— Виктор Петрович, — я попытался вступить в разговор, — безусловно, все переволновались… Не каждый же день мы соприкасаемся с таким непростым, психологически тонким материалом, да ещё в вашем присутствии… Я нисколько не сомневаюсь, что за полмесяца или месяц репетиций мы будем выглядеть гораздо благополучнее, да и премьеру можем перенести, благо что до Дня Победы больше трёх месяцев… И всё-таки я не стал бы торопиться с подобным решением, а для следующего раза мы хотели бы, чтобы вы, Виктор Петрович, посмотрели другой состав: в частности, исполнителей Лиды и Афони — соответственно артистов Эмилию Шевчук и Олега Кириченко… где-то дней через пять-шесть…

Виктору Петровичу как-то взгрустнулось от моих слов, он был уверен, что нужно было как минимум полмесяца гонять материал, и он снисходительно сказал:

— Ну давай посмотрим, и всё-таки я бы, Слава, не торопился…

То не наглость моя была — идти супротив писателя, а ответственность за творческую группу, которая горела материалом не один месяц, выждав этот день встречи с автором, настроившись на премьеру. И вдруг эту премьеру отодвинуть? Да они просто перегорят. И, в конце концов, мы же не по наитию работали! Я же не переделаю в корне решение, а доработать, что-то уточнить, в конце концов, немного артистам успокоиться — и можно выходить на премьеру. Тем более что, как правило, сценическая постановка начинает обретать себя

где-то к пятому-шестому спектаклю; и потом — ну это же правда ещё процесс работы, а не результат.

Как раз в подтверждение моих мыслей, кажется, Юра Щербаченко задал автору вопрос:
— Скажите, пожалуйста, Виктор Петрович, вот помимо доработок по каким-то актёрским линиям, которые, как мы понимаем, вполне решаемы, само прочтение спектакля — то есть я хочу спросить: ушли ли мы в спектакле от того, что вы закладывали в содержание вашей повести?

Виктор Петрович внимательно выслушал вопрос и вполне серьёзно ответил:
— Видите ли, может, вы меня не совсем поняли… История Миши и Лиды — это история моя, история моей юности… Она у вас прочитывается, только за некоторыми недоработками что-то теряется… Ну вот я Славе говорил: к примеру, музыка нечисто играет, хрипит Верди-то, потом — дым попросил убрать, дышать же невозможно. Дальше — занавес хотелось бы, ведь тайна должна быть за ним… Чтоб он открылся — и сразу зритель попал под впечатление той неведомой ему атмосферы… Потом, не слышно некоторых артистов, и слова пропадают, вот кое-где Мишка торопится, а Лиду правда не слышу, особенно в первых сценах, когда зарождаются их отношения…

После этих слов писателя некое оживление возникло среди артистов, многие из них почти расслабились и уже улыбались.

Да, это был маленький шаг к победе, нашей общей творческой победе, которая была нам так необходима и которую потом кто-то попытается предать забвению.

Почти целую неделю мы репетировали не покладая рук, очень самоотверженно искала свою Лиду Миля Шевчук. Ей свойственна была скороговорка, и она зачастую, что называется, «летела впереди паровоза». В принципе, она была «в материале», и комплекс второго состава на удивление никак не проявлялся.

Деловой настрой на работу, поиск того воздуха взаимоотношений, отрешение от всего лишнего дали свои результаты: Серёжа и Миля задышали атмосферой Миши и Лиды. В первой части они с огромным желанием и интересом проявляли свои отношения друг к другу, опасаясь при этом перейти грань дозволенного, а во второй — доходили до озорного куража, переходившего в трогательность и непосредственность первых настоящих чувств, которые потом по живому, во имя любви, рвал в финале Миша, обрекая их отношения на невосполнимость потерь.

Я привёз Виктора Петровича на репетицию ближе к концу февраля. Он был бодр, шутил, что во многом определило его настрой на спектакль. Не буду подробно описывать эту репетицию, скажу только, что у меня впервые защемило внутри, что на моих спектаклях со мной происходит редко. Ребята вышли на финал, а чтобы на него выйти, сведущему человеку доподлинно известно, нужно верно и правильно пройти весь путь от начала спектакля до конца, и они его прошли. Открою один секрет: к тому времени Миля не могла, и она это осознавала, выйти на кульминацию потери Миши и в связи с этим на крик и вопль души: «Пусть остановится война!» Всё это она, казалось бы, делала правильно, но, что называется, «на сухую».
— Не могу, не умею я плакать на сцене, или, как вы говорите, сдерживать слёзы. Чего сдерживать, если их нет? — откровенно и с болью заявляла она.

Признаться, случай и сейчас для меня редкостный. Обычно, как говорится, актрис мёдом не корми — дай поплакать, а тут совершенно другой случай. Нет, как актриса она была наполнена на тот момент, и трогали тебя волнение её, её трепет и последний эмоциональный взрыв… Ну, как есть, так и есть — на том и порешили…

После прогона Виктор Петрович был уже не так удручён, но и немногословен, и со свойственным ему прищуром заключил:
— Ну, вот это намного лучше, правда лучше, поработали хорошо — видно это… Можно и премьеру играть… Хотя динамик по-прежнему хрипит, занавес так и не повесили…

Надо было видеть в этот момент сияющие лица артистов!.. Эти взрослые дети были счастливы оттого, что оголённые их души горели не напрасно, что они через боль свою достучались до сердец чужих, и те воспылали верою, надеждою и любовью, ведомые великим Словом великого Мастера.

Мне всегда было больно, а особенно теперь, что этим незащищённым людям с распахнутой душой можно нанести рану, безнаказанно обидеть, унизить через их ремесло, будто бы они находятся в услужении у кого-то, а актёры — только в услужении у Храма под названием Театр, и в этом их миссия.

Премьеру мы подтвердили — играем пятого марта. Но оставалась ещё одна интрига. А как же без неё? Это же театр…

До премьеры я объявил три генеральные репетиции, и когда мы с Виктором Петровичем, уже последними, выходили из зрительного зала, навстречу нам подошла Миля Шевчук и попыталась задать вопрос по поводу завтрашней репетиции. Виктор Петрович перебил её.
— Как зовут-то тебя, дитя? — ласково спросил он её.
— Миля, — еле слышно ответила она.

И Мастер тихо поцеловал её в голову. Девушка до того смутилась, что мне даже показалось, что непривычные для неё слёзы заблестели на глазах.
— Миля, позвоните мне через пару часов… — сказал я, и она выскочила из зала.

Проводив Мастера домой в Академгородок, я вернулся в театр. Было уже поздно, когда раздался

звонок Мили. Она извинилась и осторожно поинтересовалась завтрашней репетицией, то есть кто из них двоих со Светой будет играть Лиду.
— А разве ты не поняла, когда Виктор Петрович тебя поцеловал?—ответил я.
— Нет, не поняла,—неуверенно пыталась допытывать меня актриса.
— Премьеру будешь играть ты, Миля, готовься,—твёрдо сказал я и услышал на другом конце провода такой крик восторга, что если бы это было на сцене, то многие сказали бы, что это просто наигрыш.

А на самом деле это был эмоциональный выплеск, вызванный теми огромными усилиями воли, желания и стремления *быть*, которые не могли не вызывать уважения.

На следующий день, перед репетицией, когда я объявил, что премьеру будет играть Шевчук, со Светой Шикуновой чуть не случилась истерика.
— Теперь я поняла, что такое театр!—выкрикнула она и со слезами выбежала из зала.

Ой, как ранимы артисты! Как порой пытаешься найти слова, чтобы оберечь их от этого… Но ведь что слова? Часто приходится совершать поступки, делать выбор в ту или иную сторону! И, как правило, они понимают умом целесообразность того или иного выбора, но эмоциональная природа их берёт верх, а отсюда и истерики, и нервные срывы, и инсульты, и инфаркты, случающиеся порой прямо на сцене во время спектакля. Да, театр в этом отношении жесток…

Светлана, конечно же, как уже говорилось, будет играть Лиду, будет играть неплохо, постепенно набираясь опыта и мастерства, и я ей благодарен, что она пронесёт свою любовь к этому образу на протяжении непростых предстоящих десяти лет, в течение которых будет жить этот спектакль.

Ну а тогда начались непростые предпремьерные дни, когда необходимо было организовывать зрителя, а это значит, что нужно выписывать и рассылать приглашения по «табели о рангах», начиная с губернатора и мэра города. Кстати, генерал Александр Иванович Лебедь и Пётр Иванович Пимашков на премьеру не пришли. Пятое марта—не очень удобное время для мужчин ходить по театрам: надо готовиться к празднованию Международного женского дня—Восьмого марта. Но не пришла на спектакль и начальник комитета по культуре края Татьяна Алексеевна Давыденко…

И тем не менее, мы очень рады были видеть многочисленных друзей, и в частности—коллег своих из театров края: В. С. Ситникову—директора театра оперы и балета, И. Я. Бейлина и А. Ю. Бельского—директора и главного режиссёра театра драмы им. А. С. Пушкина, журналистов, писателей, композиторов и художников края, среди которых—С. Задереев, Э. Русаков, А. Шемряков, Н. Внукова и многие другие. Конечно же, был председатель Красноярского СТД народный артист России В. А. Дьяконов, хотя у него была ещё одна причина присутствовать на спектакле: его молодая супруга Эмилия Шевчук играла в этом спектакле заглавную роль. Кстати, как выяснилось, у нас с Валерием Аркадьевичем оказался один и тот же учитель по актёрскому мастерству—народный артист России Николай Вячеславович Дубинский. Только Дьяконова он выпускал в Красноярске, а меня—спустя многие годы—в Воронеже.

Я был очень рад приезду на спектакль Геннадия Константиновича Сапронова—книжного издателя из Иркутска, с которым меня познакомит в день премьеры Виктор Петрович.

Особо дорогие для меня гости—это мои родные: мать жены и их родственники. Конечно же, Мария Семёновна, а также Витя и Полина, внуки Астафьевых, которые в то время жили у дедушки и бабушки.

Кстати, Витя и Полина впоследствии приходили неоднократно на спектакль. Я думаю, что на решение Полины поступить потом на актёрский факультет Красноярской государственной академии музыки и театра оказал влияние в какой-то степени и наш спектакль.

Сказать, что театр жил перед премьерой в особой волнительной атмосфере,—это значит не сказать ничего. Весь коллектив театра давно не испытывал той творческой ответственности перед своими земляками, которая ложилась на нас в те дни. От этого все ходили в творческом возбуждении и предощущении праздника творчества, что для любого театра явление очень значимое, а порой и судьбоносное.

Я не очень помню «лихорадку», начавшуюся в театре с утра пятого марта. Много текущих дел, связанных с премьерой, не давали сосредоточиться на чём-то главном. Хотя репетицию в день премьеры я отменил, надеясь поберечь силы артистов к вечернему спектаклю, но ощущение недоделанности не покидало меня.

Я немного успокоился, когда сел в пятнадцать часов в наш театральный автобус (Виктор Петрович просил взять с собой на спектакль кого-то из соседей—человека четыре или пять) и поехал за Астафьевыми. Ещё светило солнышко, весеннее, яркое, но совсем не тёплое, так как на дорогах никаких признаков слякоти не было, и люди на остановках прикрывались от ветра поднятыми воротниками пальто и шуб и с нетерпением смотрели в сторону прибывающих автобусов. Я смотрел на них через ветровое окно своего автобуса и думал: «Какие порывы ветра мне ожидать сегодня и завтра в нашей непредсказуемой творческой стихии?» Каким я был наивным! Настоящие ветры и ураганы будут гораздо позже… И устоять при подобных порывах—это совсем мало, а вот идти при этом вперёд—потребует нечеловеческих затрат.

Я застал Виктора Петровича и Марию Семёновну, нисколько не преувеличиваю, в приподнятом, праздничном настроении. Они были почти готовы к отъезду: Мария Семёновна — в ярком сером красивом платье с брошью, на голове была сделана симпатичная причёска с кудряшками, Виктор Петрович традиционно надел свой фрак, в котором он бывал на различных вечерах и встречах.

— Мария Семёновна, вы великолепно выглядите, — отвесил я, наверное от зажима, дежурный комплимент.

— Уж постаралась, — парировала она, — не каждый день у нас с Виктором Петровичем премьера — всётаки праздник.

— Мы тоже старались, — лицо моё залилось краскою, — правда старались…

Навстречу мне из соседней комнаты вышли приятный крепкий мужчина и симпатичная женщина.

— Познакомьтесь, — сказал Виктор Петрович, — Гена Сапронов, издатель из Иркутска, а вот эта женщина красивая — жена его Лена. На премьеру специально приехали…

— Очень приятно, — мы обменялись рукопожатием.

Да, Лена действительно была красивая, с большими, очень выразительными глазами. Как, впрочем, и у Геннадия Константиновича взгляд был такой внимательный, целеустремлённый, и в то же время добрый и мягкий…

— Вот, — как-то несколько сожалея, сказал Геннадий, — не успел тираж новой книги «Весёлый солдат» Виктора Петровича напечатать к премьере, обещаюсь к девятому мая всё доделать.

— Будет здорово, — несколько успокаивая его, ответил я.

— Ну вот и хорошо, — засмеялась Мария Семёновна, заметив наше замешательство, — тогда поехали, а то уже, наверное, время…

В эту минуту прозвенел звонок в дверь.

— А это наши соседи, которые очень хотели съездить на спектакль… Ты на чём приехал, Слава? — спросил Виктор Петрович.

— Помню, что вы про гостей говорили, поэтому приехал на автобусе, — ответил я.

От моего ответа Виктор Петрович вдруг переменился в лице.

— Да как же… автобус… Я бы знал, так я Петьке Пимашкову…

Меня как ошпарило: мне даже в голову не могло прийти, что Виктор Петрович не мог допустить мысль, чтобы их сопровождали в театр рейсовым автобусом.

— Виктор Петрович! — воскликнул я. — Вы же сказали, что с вами будет ещё человек пять-семь… поэтому я ответил, что приеду на нашем театральном служебном автобусе… на нём и приехал…

— На своём, театральном? — как-то непосредственно переспросил писатель и вдруг громко рассмеялся.

Вслед за ним расхохотались все, расценив это недоразумение как шутку. Спустившись, мы сели в автобус и менее чем через полчаса подъезжали к нашему театру юного зрителя.

Сумерки ещё не наступили, поэтому, когда мы остановились у театра, я увидел огромную толпу народу. Было ещё более часа до начала спектакля, и зрителей пока не пускали. Автобус притормозил у центрального входа, а вездесущие телевизионщики были уже у его дверей. Я помог выйти гостям из автобуса, и Виктора Петровича тут же окружили журналисты с камерами.

— Чего меня-то спрашивать? Вот режиссёр — его и пытайте, — отмахнулся он.

— Что за ажиотаж? — посыпались вопросы. — Расскажите, что за спектакль?

Я по ходу вкратце, кажется, ответил, что большого ажиотажа не вижу, спектакль сегодня играем по повести Виктора Петровича Астафьева «Звездопад» и, что называется, всех милости просим на премьеру. Мы прошли через толпу зрителей, которые вежливо расступались, любезно пропуская писателя, раскланиваясь и здороваясь с ним. Сердце моё наполнилось радостью, но я ещё до конца не понимал того яркого мига в моей жизни, который очень скоро станет историей.

Когда мы вошли в кабинет, там уже оживлённо беседовали гости: Александр Кузнецов — художник спектакля, Сергей Задереев с женой Ириной, писатель Роман Солнцев, пьеса которого шла в нашем театре, Валерий Дьяконов, Вера Степановна Ситникова — директор театра оперы и балета, Леонид Федотенко и кто-то ещё из гостей; а всех их вместе заботливо опекали директор театра Андрей Суворов и наш очаровательный секретарь Наташа Горяева.

Виктора Петровича и Марию Семёновну все поприветствовали очень шумно. Писатель сразу же представил Сапроновых, хотя Геннадия Константиновича многие знали. За чаем, кофе и бутербродами оживлённые разговоры среди этой великолепной части интеллигенции города Красноярска проходили в каком-то приподнятом настроении: весёлые возгласы, смех и шутки не смолкали чуть ли не до начала спектакля. Мне даже в какой-то момент показалось, что мои гости забыли, зачем сюда пришли… Помню одно: всем им было хорошо вместе, как будто они не собирались таким составом очень давно. «Интересно, как у них изменится настроение после спектакля?» — с ужасом думал я.

Со вторым звонком мы двинулись в зрительный зал. Виктор Петрович подхватил меня под руку, Мария Семёновна, кажется, шла с Геной Сапроновым… Боже мой! В фойе и зале находилось

огромное количество народу. Какое это счастье — видеть театр наполненным до отказа зрителями! Мы медленно двигались по центральному проходу к первому ряду, где облюбовал места Виктор Петрович, а впереди, уступая дорогу, улыбаясь своему земляку, здоровались с ним люди... Тут же щёлкали вспышки аппаратов фотографов, среди которых я помню нашего бессменного корреспондента Анатолия Белоногова...

Мне сложно передать ту гамму чувств, которую я испытывал в тот момент; наверное, доминировали волнение за спектакль и та мера ответственности, которую я на себя взвалил... Да, это, без сомнения, был страх, самый настоящий страх... И пусть кинет в меня камень тот режиссёр, художник, артист, который не испытывал подобные ощущения в схожих обстоятельствах.

Рассадив гостей, я кинулся за кулисы к артистам — они уже все стояли, сгрудившись у ступенек перед выходом на сцену. Что я мог сказать в эту минуту? Да что обычно и говорят — я сказал: вы всё можете, с Богом... Мы как-то все вместе собрались в кружок, и помощник режиссёра Наталия Григорюк пошла давать третий звонок...

Я стоял перед дверьми зала верхнего фойе, когда зазвучали звуки бессмертного «Реквиема» Верди, потом послышались отдалённые взрывы снарядов и бомб, которые нарастали всё больше и больше, и, наконец, все эти звуки перекрыла мощная волна «Священной войны» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Я приоткрыл дверь в зал — на заднике отражался и сверкал Млечный Путь... Казалось, зал «задышал» вместе с нами... «Паша Тараненко, — подумал я, — наш звукорежиссёр, хорошо вроде бы начал». И тут же меня как будто стукнуло током: не проверил, кого он посадил в зал снимать спектакль на видео! И, как оказалось, напрасно — о чём потом я буду очень сожалеть...

Ну а сейчас я спускался вниз, к себе в кабинет, чтобы слушать спектакль по трансляции, не мог в тот момент смотреть из зрительного зала, зная по себе, что всё, что я видел на своих премьерах со сцены, большею частью надо переделывать... Это потом, когда я буду работать в Московском театре имени Н. В. Гоголя у Сергея Ивановича Яшина, где, дежуря на спектаклях и просматривая некоторые из них не один десяток раз, научусь понимать и различать те нюансы жизни спектакля, что и составляют ткань его и над которыми надо работать, пока спектакль живёт; а сейчас...

А сейчас я ходил в своём кабинете и курил, слушая по трансляции, как через свои нервы, сердце и душу артисты пытаются, по сути своей — первый раз, прожить этот непростой материал... И это так, ведь рождение спектакля происходит со зрителем... Да, конечно, они «давили», что называется, от волнения пытались «выдать на-гора» то, что ни разу не было проверено через того же зрителя, а особенно когда в зале автор... И они честно работали, за что честь им и хвала...

Через несколько минут в кабинет вошёл Дьяконов, он был красный от волнения, в глазах некоторая растерянность и влажный блеск.

— Что случилось, Валерий Аркадьевич? — с не меньшим беспокойством спросил я.

— Не могу смотреть: мне кажется, что я больше волнуюсь, чем они...

— Понимаю — переживаете, понятно...

— Не в этом дело... Они очень волнуются, отчего несколько «жмут», но этот «жим» дорогого стоит... потому что изнутри ребята открыты...

— Мне тоже так показалось...

Я очень был благодарен Валерию Аркадьевичу за откровенность и участие, и таким образом мы дожили с ним до конца первого акта. Правда, на сцену с Матрёной я всё-таки поднялся в ложу... Конечно, Саша Алексеев не просто купался, он утонул в слезах... Саша, Саша... увела его Смерть со сцены... И совсем скоро она уведёт его из жизни, поэтому, видимо, он отдавался ей по максимуму...

Когда в антракте на твоём спектакле к тебе подходят знакомые или приглашённые, они, как правило, стараются ничего не говорить о просмотренном первом акте, так как отлично понимают, что о половине работы ничего не говорят в принципе... Но ты-то отлично понимаешь, и более того — видишь или пытаешься угадать, под каким впечатлением находится твой собеседник. Сам же при этом нарочито пытаешься говорить совершенно о другом.

Примерно то же самое происходило в антракте: шуму в фойе от разговоров о просмотренном было хоть отбавляй! Театр гудел, как муравейник... По лицам я прочитал, что в восторге от первого акта были Ира Задереева и дочка Полина, а Сергей просто сказал:

— Славка, просто здорово!.. Да, Виктор Петрович?

Мастер со свойственной ему мудростью и простотой ответил, что, мол, что сейчас говорить, вот когда пойдёт «фэзэушник», тогда посмотрим...

Толя Новосёлов, который смотрел спектакль, сейчас суетился, угощая приглашённых фирменными своими бутербродами, шепнул мне:

— Переволновались, а так — молодцы... Зал смотрел на одном дыхании...

— Ладно, Витя, — вдруг сказала Мария Семёновна, — ребята очень стараются, конечно, волнуются, хорошо...

— Ну, от Марии Семёновны похвала — дорогого стоит, — заметил Роман Солнцев.

— Да, да, спасибо, — закрывая тему, ответил я. — Пойду, кстати, схожу к ним. Извините...

Я вышел из кабинета, вынося с собой сдержанность В. С. Ситниковой, Лёни Федотенко, Пети

Аникина, в ту пору заместителя председателя комитета по культуре края, и какой-то глубокий, многозначительный взгляд Гены Сапронова…

Если вспомнить глаза малых ребятишек, попавших в какую-то непростую ситуацию и поэтому ждущих своего спасения, то вот так же взгляды артистов, именно с этим, были устремлены на меня, когда я появился за кулисами… По большому счёту, они ждали от меня поддержки, настоящей и искренней… Ты скажи им доброе слово, и они горы свернут!.. Но и здесь таится опасность: перехвалишь, что называется, пересюсюкаешь — расслабится его природа, и пойдёт он игру давать — только держись! И потом, когда они тоже видят нерв режиссёра, а мне невозможно было его тогда спрятать, их сопричастность с постановщиком тоже очень дорогого стоит. А то бывает, что артист начинает успокаивать режиссёра: дескать, не переживай, мы тебя вытащим… Ну уж это ни в какие рамки не годится! Во всём должно быть чувство меры, хотя кто знает, где оно?.. Как это говорится: знать бы прикуп… Знаю одно: артиста надо любить и понимать; мне кажется, театр, как и жизнь, научил меня этому. Когда-то, проходя военную службу в ВС СССР на Камчатке, я получил письмо со стихами, написанными замечательной актрисой ещё того Красноярского ТЮЗа Идой Роот, которые стали для меня эпиграфом к моим режиссёрским работам:

Сквозь актёрскую призму
Видно, как в микроскоп,
Как порочен для жизни
Путь ошибок и проб.

При неверной задаче
На подмостках — позор,
И актриса заплачет,
И озлится актёр.

При неверной задаче
В жизни слёзы — рекой,
И трясут неудачи
Социальный покой!

Спасибо ей за это и низкий поклон…

— Вы молодцы, — сказал я артистам. — Где-то переволновались, немного пережали, это вполне естественно… Не расслабляйтесь, боритесь за свою любовь… По восприятию вы же слышите, что зал дышит вместе с вами; не теряйте ритма, всё по делу — у вас всё получится… С Богом!

Вот с таким напутствием мои артисты пошли на второй акт, а я побежал провожать гостей в зрительный зал.

Второй акт ребята начали достаточно живо. Да и события там стали разворачиваться стремительнее. А самое главное, первые чувства, неумелые непосредственные попытки проявления их были очень близки молодому зрителю… И они поверили нам и пошли за нами…

Я посмотрел сцену Миши с мамой: всё-таки Галина Елифантьева перестрадала капельку, ну и ладно… Как поговаривал мне в напутствиях перед репетициями Виктор Петрович: «Ты не бойся подпустить «сентименту» в сценах, это ничего, наш народ любит «сентимент»…»

Так же, как и артист, добавил бы я, и это не всегда бывает плохо…

Двойные сцены Миши и Лиды вызывали в зале хорошее оживление, а эпизод про корову Милку прошёл под аплодисменты…

В результате ребята на финал вышли достаточно наполненными: Миша резко обошёлся с Лидой на пересылке, и она поняла, что потеряла его… В мёртвой тишине звучало: «Пусть остановится война!.. Пусть остановится война!..» А в это время Смерть уводила Мишу за собой… Последовала пауза, затемнение и… гром аплодисментов.

Я стоял за кулисами, и после того, как артисты откланялись, они стали звать меня на сцену. Я вышел, поклонился, спустился в зрительный зал и вывел Виктора Петровича Астафьева на сцену. Глаза его светились, и пусть бросят в меня камень те, кто считает, что он не принял спектакль. Когда я сказал ему на сцене:

— Спасибо большое, Виктор Петрович! — и поклонился, он воскликнул:

— Слава, что ты! — взял за руку, потом обнял и поцеловал.

В это время Света Руденко выносит на своих хрупких руках пятнадцать томов собрания сочинений В. П. Астафьева и кричит сквозь продолжительные аплодисменты, что труппа и автор дарят это режиссёру, пытаясь прочесть надпись Виктора Петровича на первом томе: «Славе Сорокину в память о работе над «Звездопадом» с поклоном и пожеланием многих дел и свершений в театре, а ещё здоровья, мира под крышей и покоя в душе. Храни тебя Бог!»

Я был потрясён таким бесценным подарком, поцеловал Свету, взял у неё книги, отложил в сторону и стал по очереди поздравлять артистов. Виктор Петрович уже с другой стороны по очереди обнимал каждого из них…

Я не помню, сколько времени это длилось — наверное, не очень долго, только артисты ещё «докланивались» на сцене, а мы с Виктором Петровичем уже выходили из-за кулис. Когда проходили в кабинет, со всех сторон доносились возгласы:

— Спасибо! С премьерой!

Серёжа Задереев обнял меня и закричал:

— Моя Полинка в восторге от твоего Тисленко! Я, честно говоря, не ожидал! Виктор Петрович, здорово, поздравляю!

Руководство театра драмы им. А. С. Пушкина поздравило нас сдержанно, но искренне. Ещё искреннее высказалась В. С. Ситникова:
— Я не скажу, что это «пилотаж», но за многие годы это лучше на порядок, что я видела в тюзе.

Когда меня поцеловала Мария Семёновна, я чуть не расплакался.
— Мне очень понравилось… И надо было назвать в программке не «драматическая новелла», а «драматическая баллада»…

Гена и Лена Сапроновы были растроганы и, поздравив меня, сказали, что очень рады были присутствовать на премьере и обязательно приедут к Девятому мая…

Отмечали премьеру в верхнем фойе. Много было говорено хороших слов, так же много было высказано пожеланий, направленных на улучшение спектакля… Виктор Петрович особо попросил всех участников подписать афишу, которую собирался передать в библиотеку Овсянки.
— Пойдём по актёркам,— шепнул мне Астафьев,— и плесни мне ещё в рюмку коньку…

Дело в том, что наш стол был, что называется, «головной», откуда в основном произносились тосты, а по кругу от него стояли столики, за которыми разместились артисты и другие члены коллектива. И пока тосты сменялись за «головным» столом, мы с Виктором Петровичем обходили другие столики, где он находил слова благодарности и тёплые пожелания буквально каждому. И я отчётливо помню восторженные глаза артистов, когда они слышали в свой адрес слова признательности, сказанные писателем; у кого-то наворачивались слёзы, тут же возникали шутки, смех на реплики, кинутые Мастером… Артист живёт успехом! И это был успех, пусть ещё раз в меня кинут камнем…

Вскоре я уехал в Минусинск по приглашению художественного руководителя городского драматического театра А. А. Песегова поставить у него «Прибайкальскую кадриль» В. П. Гуркина. Намечалось наше сотрудничество, и я согласился.

С Виктором Петровичем мы договорились встретиться в начале апреля и вплотную заняться подготовкой к празднику Дня Победы, ведь спектакль «Звездопад» мы посвятили этому празднику, а предварительную работу по организации зрителя и гостей директор Андрей Суворов начинает сразу после премьеры спектакля.

В марте по плану должны были сыграть ещё два спектакля «Звездопад», договорились, что Анатолий Петрович Новосёлов проведёт два прогона, а при необходимости приеду или прилечу я.

Не знаю, к сожалению или наоборот, мои товарищи не сообщили мне, что на роль Шестопалова уже на второй спектакль ввёлся всё тот же Толя Новосёлов вместо сорвавшегося «на круги своя» Ю. Щербаченко,— узнал я об этом гораздо позже. И вообще-то весь месяц, как бы мне хорошо ни репетировалось в Минусинске, сердце болело о своём родном театре. Уже к премьере «Кадрили» подъехала из Москвы основная часть труппы Минусинского театра, которая представляла на «Золотой маске» спектакль по роману Анатолия Мариенгофа «Циники», который получил спецприз жюри фестиваля. Поэтому артисты приехали не только возбуждённые, они ходили победителями: мыслимое ли дело — театр из далёкого сибирского городка (как напишут в газете: от названия которого веет холодом) обошёл многие столичные театры.

Как оказалось, с этого фестиваля в край пришли ещё две «Золотые маски» — в театр оперы и балета и в театр музыкальной комедии, по случаю чего генерал-губернатор А. И. Лебедь устраивал приём.

А пока пятого апреля мы должны будем сыграть премьеру «Кадрили». Алексей Песегов посмотрел прогон и, как мне показалось, остался доволен. Прогон действительно был приличный: артисты играли с таким куражом, как будто купались в материале. В зале были приглашённые зрители, реакция которых так подогревала исполнителей, что до самого конца спектакля не смолкали смех и аплодисменты.

На следующий день, на самой премьере, такого куража уже не было, хотя играли прилично, и реакция зрителей была хорошая, но того полёта, который был на прогоне, не случилось. Перед спектаклем состоялся вынос «Золотой маски». Группа «Циников» во главе с главным режиссёром вышла к своим зрителям со своим бесценным трофеем. Минусинцы ликовали: «Мы сделали всех! Знай наших!» Разумеется, по праву. После шумной премьеры и не менее шумного банкета, в четыре часа ночи, на крыльце песеговского дома Алексей Алексеевич признался мне, что ему предлагают возглавить мой Красноярский тюз. Не спаузив ни секунды, я тут же говорю ему:
— Бери, Лёша, бери!

Он внимательно посмотрел на меня.
— Нет, не хочу.
— Почему?
— Не хочу, и всё! — упирался лауреат «Золотой маски».
— Краевой театр, сейчас тебе все пути открыты…
— У меня к тебе встречное предложение: переходи ко мне очередным режиссёром.
— ???
— Переходи ко мне очередным режиссёром в Минусинск.
— То есть, насколько я понял, ты не хочешь брать Красноярский тюз?
— Ты правильно понял… Я жду ответа,— настаивал Алексей Алексеевич.
— Спасибо тебе огромное. А я то есть должен буду бросить своих? — осторожно заметил я.
— Разумеется.

— Можно, я подумаю? — попросил я, чтобы как-то снять остроту проблемы.

И мне было разрешено.

Господи, прости нас, грешных! Не суди нас строго, ибо мы не ведаем, что творим! Я долго думал потом и не один раз: почему мы любим переступать друг через друга? При этом отчётливо понимая, что делаем что-то нехорошее, но всячески ищем оправдание своим неблагоразумным поступкам, и ведь находим! Чаще всего находим! Вопреки всему! Вопреки обстоятельствам, вопреки здравому смыслу, вопреки совести своей… И потом несём за это кару Божию… Правда, потом, а в момент действий своих неблагостных эго наше приобретает космический характер, затмевая разум наш, и толкает тем самым нас в пропасть низменных поступков, где, не чураясь уже ничего, мы пляшем на костях близких своих, забыв про стыд, про срам, про всё… Доколе, Господи?

Это был, пожалуй, один из явных моментов в моей жизни, где я почувствовал себя никем; как это — даже не ноль, а «около нуля». То есть я представил себе, что я приезжаю в театр, а мне говорят: «Вы здесь больше не работаете, до свидания!» Хотя чего удивляться? История много знает подобных случаев… Да не только отдельного человека, а целые театры уничтожали таким вот чьим-то волевым решением — МХАТ-2, Камерный театр, театр им. Н. В. Гоголя… Причины разные — почерк один…

Поезд из Минусинска в Красноярск приходил где-то к обеду. Несмотря на то, что, заселившись с вечера в купе, мы хорошо поужинали, утро, тем не менее, казалось нам свежим и бодрым. Нам — это мне, Александру Кузнецову, Алексею Песегову и его супруге, художнику театра — Светлане Ломановой. Они ехали на приём к генерал-губернатору, который должен состояться сегодня вечером. Приехав к месту назначения, мы расставались с Алексеем Песеговым до вечера — но, как оказалось, на долгие годы…

Я сразу же поехал в театр… Не буду описывать огромное количество проблем, которые возникли в моё отсутствие. Скажу только, что я пожалел, что поехал в Минусинск, оставив при этом не вставший на ноги театр. И там я не обрёл, как окажется, ожидаемого содружества, и у себя в театре терял Юрия Щербаченко… Юрий Петрович не просто заболел… Появившись у него в доме, я увидел, что называется, живой труп… Он сидел на кровати и, кажется, сразу не понял, кто пришёл. Узнав меня, он как-то внутренне сжался и попытался встать, но, совершенно похудевший, с сильно выделявшимися костями через тонкую, как простыня, кожу, остался сидеть, только отвернул от меня голову, сдерживая подкатившиеся слёзы… Я подошёл, приобнял его, сказав: ничего, выгребемся… А вот его жене Светлане, которая в это время что-то готовила на кухне и делала вид, что ничего не произошло, я высказал всё, что называется, по полной программе. Было очевидно, что необходимый «допинг» для Юры она систематически разделяла вместе с ним.

Юрий Петрович прошёл хороший курс лечения в одной из лучших клиник Красноярска, но сил на большие актёрские работы у него уже не хватало.

На приём к генерал-губернатору Александру Лебедю я не пошёл.

В день приезда и весь последующий день я «обозначал» для себя со своими коллегами круг проблем, которые необходимо было срочно решать.

Ещё через день меня вызвала начальник комитета по культуре Красноярского края Татьяна Алексеевна Давыденко. Разговор проходил, что называется, в дружеской обстановке… Она всё время улыбалась, я улыбался ей, пытаясь понять: с чего бы это? Сказать по правде, наши встречи обычно носили деловой характер, если не сказать более, а тут — как-то не в обычном формате Татьяна Алексеевна вела беседу с подчинённым… «Наверное, — подумалось мне, — Алексей Алексеевич Песегов отказался от должности художественного руководителя ТЮЗа». И отчасти я оказался прав. Она охотно подписала какие-то денежные документы, которые принёс я, порадовалась моим успехам, в том числе содружеству с Минусинском, пообещала двинуть вопрос с ремонтом, а потом вдруг спросила:

— Алексей Алексеевич Песегов на приёме сказал мне, что вы переходите к нему работать очередным режиссёром. Это правда?

— Да, он предлагал мне перейти к нему.

Я насторожился, какой-то внутренний холодок пробежал у меня внутри. Опять, прости Господи, за тебя пытаются решить твой вопрос… Видит Бог, я не обещал ему, сказав только, что надо подумать. Но ведь и Давыденко накануне предлагала Песегову должность, какую сейчас занимаю я… Не думаю, что Лёша слукавил, и меня подмывало спросить её об этом. Не знаю почему, но я не сделал этого.

— Я надеюсь, — ещё более широко улыбнулась Татьяна Алексеевна, — вы не поедете к нему и останетесь здесь?

— Вы правильно надеетесь. Как же я оставлю свой театр? — мне даже удалось широко улыбнуться ей.

Она продлила договор мне и Суворову и дала разрешение в конце апреля на неделю съездить в Рязань.

В это же время я узнал, что местное театральное жюри присудило какую-то премию ко Дню театра за роль Мишки в спектакле «Звездопад» Сергею Тисленко. Я позвонил в Красноярское отделение СТД и спросил, кто находится в этом жюри и когда они смотрели спектакль. Мой вопрос их очень удивил, и, кажется, Люда Трофимова, работавшая

у нас когда-то заведующей литературной частью, мягко ответила, что меня это не должно касаться…

И вот я уже ехал к Астафьевым договариваться о проведении праздничного спектакля «Звездопад», который должен был состояться восьмого мая.

Несмотря на то, что апрель был тёплый, Виктор Петрович в Овсянку ещё не переехал. Поэтому, предварительно созвонившись, я поехал в Академгородок, где хозяева встретили меня очень тепло. Мария Семёновна даже стала «налаживать» чай не на кухне, как обычно, а в большой комнате.

— После майских праздников поеду в Овсянку, там мне хорошо работается, а задумок много…— бросил Виктор Петрович. И вдруг неожиданно спросил:— Как ты думаешь проводить спектакль на праздники?

Для меня этот вопрос не был неожиданностью.

— Для начала мы разослали пригласительные в администрацию края, города и Кировского района. Основной зритель— это ветераны, преимущественно судоремонтного завода— они территориально близко к нам находятся, и там у них достаточно много желающих, чуть ли не человек двести-триста; просятся знакомые и друзья театра, но мы решили, что в первую очередь— ветераны. Перед спектаклем мы поздравим их, а после— в верхнем фойе— «фронтовые» сто грамм, накроем столы, пусть немного пообщаются, вспомнят военные годы, наши ребята и девушки споют военные песни…

— Ну, ничего…— согласился писатель.— Обязательно сходи в краевой совет ветеранов,— сказал он,— пригласи их, но только лично пригласи… и сходи сам, и сам поговори с ними… И также Петьке… Петру Ивановичу Пимашкову пригласительный отнеси…

— Хорошо, Виктор Петрович, завтра же займусь…

— Это важно, очень важно,— как-то между прочим добавил он.— Кстати, Гена Сапронов привезёт большой тираж моей новой книги «Весёлый солдат», можно будет подарить ветеранам…

— Это просто здорово!— чуть не крикнул я.

— Как вашу жену зовут?— неожиданно спросила Мария Семёновна.

— Люся,— ответил я и вопросительно взглянул на хозяйку.

— Я сейчас книгу свою принесу,— сказала та и вышла в другую комнату.

— Ой, Мария Семёновна, спасибо огромное,— я крикнул ей вслед.

— Я не ощущаю своего влияния на то, что пишет Марья Семёновна,— вдруг сказал Виктор Петрович,— у неё бабья проза… Я всегда настаивал: будь бабой, ничего у тебя не вырастет на энтом месте… В прозе оставайся бабой, это очень хорошо— быть женщиной в прозе. Я не люблю баб-прозаиков сегодняшних, поэтесс, которые рядятся в брюки, табачищем от них воняет, пишут стихи «под Маяковского»… Я люблю Ахматову, Веронику Тушнову, Аввакумову Марию…— потом он както задумался и добавил:— Вот тут она почитала последние мои рассказы, чего-то на рассказы потянуло меня… Марья Семёновна почитала и сказала: «Витя, блистательные рассказы!» И этого достаточно. Но это происходит редко, редко, редко… Иногда поправки карандашиком сделает сбоку левой рукой, она левша у меня… Я ей доверяю полностью…

Мне показалось, что он хотел сказать ещё что-то очень тёплое о ней, но в это время зашла Мария Семёновна и не без удовольствия вручила замечательное издание «Офсета» Красноярска с зелёной толстой обложкой, на которой было написано: «Мария Корякина. Сколько лет, сколько зим», с трогательной статьёй Валентина Курбатова и не менее трогательной для нас надписью на титульном листе: «Люсе и Славе Сорокиным на добрую память и с нежной симпатией! Мария Астафьева».

— Это бесценный подарок,— ответил я, принимая книгу.— Вы не представляете, как мы с Люсей благодарны вам, Мария Семёновна. Кстати, мы бережно храним вашу другую книгу, «Знаки жизни», которую нам подарила наш замечательный друг и друг театра Людмила Ивановна Ефимова… Мы очень рады…

— «Знаки жизни» вошли в этот том… Впрочем, я тоже очень рада. Пейте чай, а то он стынет…

На следующий день мы вместе с Андреем Суворовым, нашим директором-распорядителем, отправились в краевой совет ветеранов. Председатель, Борис Григорьевич Чечев, высокий крепкий седоволосый старец, к нашему счастью, оказался на месте. Он встретил нас достаточно приветливо, хотя несколько удивился и даже, как мне показалось, несколько растерялся, когда мы представились и вкратце рассказали о цели нашего визита.

— Вы знаете, ребята,— ответил он,— мероприятия, связанные с праздником Победы, уже спланированы… В частности, краевое заседание будет проходить седьмого мая в Большом концертном зале под председательством Александра Ивановича Лебедя…

Председатель совета ветеранов смотрел на нас, как будто извиняясь, и этот взгляд никак не сочетался с его же суровым взором на большом цветном календаре, который висел над его рабочим столом. А там полковник Б. Г. Чечев стоял во весь рост у Вечного огня, рядом с которым склонял голову коленопреклонённый генерал-губернатор…

— Простите, пожалуйста, Борис Григорьевич,— попытался разъяснить ситуацию я,— мы ничего не просим, мы всё уже подготовили— и спектакль, поставленный по повести Виктора Астафьева, и подарки, да и в целом вечер… Мы приглашаем к нам в этот день наших уважаемых победителей— ну не все же идут в Большой концертный зал…

Ветераны у вас на учёте, вы же всех их знаете, им нужно только сообщить, ведь впереди чуть меньше месяца. Разве это невозможно?
— Послушайте,— вдруг улыбнулся Борис Григорьевич,— я всё понял… Вам же нужны ветераны Красноярска… У нас этим занимается городской совет ветеранов, сходите туда… Его председатель— Нина Михайловна Филиппова— очень приветливый человек, и, я думаю, вы всё там решите…

Мы с Андреем посмотрели друг на друга, поблагодарили Бориса Григорьевича и поехали в городской совет ветеранов, который благо был рядом. Когда мы вошли в кабинет, Нина Михайловна с большим интересом посмотрела в нашу сторону.
— Я вас слушаю, молодые люди,— звонким голосом поприветствовала она нас.

Мы с Андреем ещё раз переглянулись: это она «молодая девушка» скорее, ну, или «молодая женщина». На самом деле Нина Михайловна выглядела очень хорошо, и сказать, что у неё за плечами прошли военные годы, означало бы слукавить, но это было именно так.

Мы представились и так же вкратце рассказали о цели нашего визита.
— Что? Спектакль по Астафьеву?— всплеснула руками председатель.— Да вы знаете, что он войны не знает и написал то, чего не было?
— Не поняли,— чуть не в один голос сказали мы с Андреем.

Мы настолько опешили, что не знали, что возразить этой симпатичной женщине.
— А в последних произведениях он просто очернил войну. Те же «Прокляты и убиты»!— продолжала Нина Михайловна.
— Как же Виктор Петрович не знает войны? Он же воевал!— я попытался мягко вклиниться в разговор.
— А так!— ещё больше заводилась Нина Михайловна— Он был в окопах— откуда он мог её знать?
— А кто же тогда её знает?— моё любопытство переходило границы.
— Я!— так же отчётливо сказала председатель.— Я сидела в штабе и всё знаю, всё видела! А что он мог знать в окопах?
— Железная логика,— сказал Суворов.
— Разве Астафьев, как и любой другой человек, не имеет права на свою точку зрения? Вот вы возьмите и напишите, как всё это было,— не сдавался я.
— Ну, ещё первые повести его ничего, а дальше…— махнула рукой Нина Михайловна.
— Вот одно из первых его произведений, «Звездопад», мы и поставили на сцене как повесть о первой любви, опалённой войной…
— Вы знаете, ребята,— не дала договорить мне эта милая женщина,— мероприятия, связанные с праздником Победы, у нас уже спланированы… в частности, городское заседание будет проходить в театре оперы и балета шестого мая под председательством Петра Ивановича Пимашкова— главы города.

«Да, да,— вспомнил я наказ Виктора Петровича,— и Петьке пригласительный отнеси…»
— Простите, пожалуйста, Нина Михайловна,— попытался ещё раз разъяснить ситуацию я,— мы ничего не просим, мы всё уже подготовили— и спектакль, поставленный по повести Виктора Астафьева, и подарки, да и в целом вечер… Мы приглашаем к нам в этот день наших уважаемых победителей— ну не все же идут в Большой концертный зал и театр оперы и балета… Ветераны у вас на учёте, вы же всех их знаете, им нужно только сообщить, ведь впереди чуть меньше месяца. Разве это невозможно?

Нина Михайловна вдруг очень внимательно посмотрела на нас, достала какую-то бумажку и спокойно спросила:
— Где, когда и сколько?
— Театр юного зрителя, восьмого мая, в шестнадцать часов, сто пригласительных— на два лица каждый. Андрей Фёдорович, отдайте, пожалуйста, их Нине Михайловне. И вас мы обязательно приглашаем,— очень вежливо добавил я.— Половина зала у нас уже есть— ветераны-судоремонтники.

Мы поблагодарили председателя совета ветеранов, она, в свою очередь, поблагодарила нас, и мы, что называется, «расстались друзьями»…

Теперь мне нужно было передать по просьбе Виктора Петровича пригласительный билет мэру Петру Пимашкову; несмотря на то, что наши администраторы на подобные мероприятия сами разносят пригласительные в администрацию края, города и района, я должен был лично выполнить просьбу писателя.

В будние дни по обычной схеме к подобным людям попасть непросто, а уж в предпраздничной суете— тем более. Но я узнал, что в канун праздников мэрия устраивает спортивный пробег в районе Стрелки, который будет возглавлять сам Пётр Иванович. Узнав день и час, я пришёл и вручил лично запыхавшемуся от праздничного пробега главе города пригласительный билет на наш спектакль, личное поздравление и приглашение от Виктора Петровича Астафьева. Пётр Иванович, конечно, был ошарашен этим моим неожиданным «тактическим» ходом, поблагодарил, растерянно посмотрев в сторону двух своих стоявших в стороне то ли помощников, то ли охранников, которые опомнились, когда я уже пошёл обратно.

Тридцатого апреля отшумела поздняя Пасха, первого мая— день рождения писателя, следом— майские праздники, которые уже перестали быть праздниками в государственном масштабе, оставаясь при этом первыми сельскохозяйственными «трудовыми выходными», которые порой продолжаются до праздника Победы.

В апреле мы отыграли ещё три спектакля «Звездопад», я делал какие-то корректировки—артисты работали с удовольствием, и было видно, что спектакль растёт.

Накануне праздника Геннадий Константинович Сапронов привёз в Красноярск, как мне показалось, почти весь тираж новой книги писателя «Весёлый солдат». Виктор Петрович позвонил мне и сказал, чтобы я приехал и забрал несколько упаковок книг, чтобы на спектакле подарить их зрителям.

В театре было почти всё готово к проведению праздничного спектакля. Утром восьмого мая уже ставились и накрывались столы в верхнем фойе. За два часа до начала спектакля Виктор Петрович, Мария Семёновна, Гена и Лена Сапроновы сидели уже у меня в кабинете. Планировали так, что если кто-то приедет из высоких гостей, перед спектаклем я обязательно, как худрук, поздравлю зрителей с праздником Победы и дам слово нашему руководству…

Сложно передать горечь обиды, которую сдерживал в те несколько минут перед началом спектакля Виктор Петрович, да и мы вместе с ним, когда все вдруг поняли, что к нам на спектакль, несмотря на приглашение, не пришёл никто из руководства и их заместителей ни края, ни города, ни района…

Как больно и досадно было нам, когда мы также поняли, что по нашему приглашению из городского комитета ветеранов к нам не пришёл никто… А ведь мы отказали ветеранам некоторых правобережных организаций, пообещав, что покажем им спектакль в следующий раз. В результате зал был заполнен зрителями на две трети.

Да, непросто рождался спектакль, но какая его ждала сложная судьба аж все целых десять лет своего существования, что для любого спектакля срок приличный… Даже спустя годы, в 2009 году, член Союза журналистов Юрий Алексеевич Ростовцев не удостоил наш спектакль своим вниманием в перечне осуществлённых фильмов и театральных постановок по произведениям Виктора Петровича в написанной им книге об Астафьеве… А наш спектакль оказался последним, поставленным при его жизни, и писатель относился к нему со свойственной ему теплотой… Более того, для всей творческой группы эта работа стала знаковой, она дала мощный толчок нашему творчеству, такое «астафьевское» ощущение жизненной правды, а это гораздо больше, чем просто память…

Перед самым началом спектакля я вышел на сцену, поздравил присутствующих с Днём Победы, чему мы посвятили предлагаемую постановку, на которой присутствует уважаемый и любимый автор, и пригласил всех ветеранов после окончания спектакля в верхнее фойе отметить этот день за праздничным столом.

Сыгранный в этот вечер «Звездопад» был не просто спектаклем, а самым настоящим шквалом подлинных актёрских и человеческих страстей, истинных чувств и переживаний, которыми мои артисты щедро одаривали зрителя… Я ожидал творческого прорыва, но чтобы так, до конца открыто и откровенно, каждый исполнитель отдавался своей роли, было для меня, честно говоря, большой неожиданностью. Все они настолько сработали в ансамбле, что я тогда понял, что мой Красноярский ТЮЗ на самом деле лучший в мире театр.

Я не обманулся в своих ощущениях относительно спектакля: это отметили и Виктор Петрович, и Мария Семёновна, а Гена Сапронов вдруг откровенно сказал:

— На премьере я был в напряжении, как мне показалось, от сильного волнения артистов; честно говоря, я боялся, что эта тенденция усугубится, но я сегодня увидел совершенно другой спектакль—искромётный, динамичный и в то же время очень трогательный… Спасибо тебе.

— Спасибо, Гена, тебе за такие слова, а самое главное спасибо—Виктору Петровичу.

Эта следующая история наверху, в фойе, за праздничным столом после спектакля, очень долгая. Скажу, что прошла она очень хорошо: мы поздравили дорогих ветеранов, они выпили свои «фронтовые» сто грамм, что называется, закусили, наши артисты во главе с замечательной Галей Троегубовой спели любимые фронтовые песни, которые с удовольствием подхватывали наши гости.

Виктор Петрович тут же подписывал и дарил каждому свою новую книгу «Весёлый солдат».

А уже часа через два мы впятером—Виктор Петрович, Мария Семёновна, Гена и Лена Сапроновы и я—сидели в моём кабинете и «по-домашнему» отмечали праздник.

Мария Семёновна села во главу стола и весь вечер задавала тон нашей встрече. Честное слово, я никогда не видел её такой—не просто весёлой, а одержимой таким куражом, что даже Виктор Петрович подивился её энергии:

— Ну, Марья, ты как будто вчера родилась, ишь как прёт из тебя…

Виктор Петрович сидел рядом со мной, а напротив—Гена и Лена Сапроновы.

— Молчи, Витя,—не дала договорить ему супруга,—у нас сегодня праздник, и я хочу веселиться…

— Ну-ну, кто ж тебе не даёт…

И вдруг Мария Семёновна запела, да так красиво, задорно и весело:

Зашёл я в чудный кабачок,
Вино там стоит пятачок,
И вот сижу с бутылкой на окне.
Не плачь, милашка, обо мне…

Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю,
И когда вернусь — не знаю.
А пока — прощай!..

Прощай и друга не забудь.
Твой друг уходит в дальний путь.
К тебе я постараюсь завернуть
Как-нибудь, как-нибудь, как-нибудь...
Будь здорова, дорогая! Я надолго уезжаю,
И когда вернусь — не знаю.
А пока — прощай!..

— Браво! Потрясающе! Актриса! — все дружно аплодировали Марии Семёновне.

Да, в ней действительно жила актриса! С таким темпераментом она рассказывала о своей жизни, о друзьях, просто знакомых, где-то изредка обращаясь к мужу:

— Да, Витя? Помнишь, Витенька? Виктор Петрович, разве не так было?

А Виктор Петрович, в свою очередь, перехватывал разговор, с огромной любовью посмотрев на свою Марью, и со свойственным ему юмором продолжал тему, начатую ею.

Я, Гена и Лена Сапроновы сидели как заворожённые: такими жизнерадостными мы никогда не видели ни Виктора Петровича, ни Марию Семёновну

Мы вспоминали их сорок пятый год, когда они фактически стали мужем и женой, вспоминали Украину и Краснодар, Пермь и Чусовой, Вологодчину и Сибирь, а вместе с тем — их однополчан, друзей по перу и искусству: Фёдора Абрамова, Николая Рубцова, Евгения Носова, Михаила Ульянова, Георгия Жжёнова, Василия Шукшина, Валентина Распутина, Евгения Колобова, Валентина Курбатова, Романа Солнцева.

— А Роман смешной, — вдруг засмеялся Виктор Петрович, — живёт рядом, в Академгородке, а чуть что — письма шлёт... Чудак человек: позвони, а то и зайди, если надо что...

— Витя, Витя, подожди... А какое, ребята, он нам с Виктором Петровичем стихотворение написал к нашему совместному сорокалетию, десять лет назад, — и Мария Семёновна стала читать стихи.

Подумать только: вместе — сорок!
Пройди-ка сквозь огонь, изволь,
Когда невеста — будет порох,
Когда жених — как будто соль.

Прошли, прошли по мёртвым странам,
Потом вернулись на свою
И сохранили, как ни странно,
Любовь у горя на краю.

Всю жизнь — она ломает круто:
Нет крыши, детям молока...
Но сохранили, как ни трудно,
Они и веру на века.

Пусть не идут шутя по водам —
Былым связистам вышла масть
Соединить народ с народом
И с совестью вот эту власть.

Подчас я слышу в океане,
В эфире чёрном средь планет
Негромкий голос: «Маня, Маня!..» —
И звонкий: «Витенька!» — в ответ.

Судьба писателя в России
Всегда была, Господь, прости,
Попыткой, не сгибая выи,
Сойти на землю и взойти.

Там, позади них, тьма осталась
Болезней, гибельных ночей...
Но верная жена осталась —
И отступил седой Кощей.

Так пусть в снегах, в угрюмом быте
Нам будет в радость и в пример
Их перекличка: «Маня?..» — «Витя?..» —
Из ФРГ в СССР.

Вы в небе, гады, запишите
Магнитофонные слова:
Пока едины Маня — Витя —
Окститесь, милые, сперва.

Перо пока что держат руки,
И в сердце не слабеет свет.
И подрастают шумно внуки.
И смысла в распрях точно нет.

А потом она с упоением читала наизусть Николая Рубцова, Фёдора Тютчева, Александра Дружининского, Виктора Полторацкого, Владимира Захарова...

Виктор Петрович тоже не выдержал и запел, запел ту песню, про которую написала в своей книге Мария Семёновна, когда в далёком сорок пятом, в лунную ночь, на одном из первых свиданий на мосту через какую-то очень маленькую речку «...остановились посерёдке моста, облокотились на гибкие перила, и Витя вдруг запел, да так хорошо, так красиво, задушевно:

Это было давно, лет пятнадцать назад,
Вёз я девушку трактом почтовым,
Бледнолица была, словно тополь стройна
И покрыта платочком шелковым!..

Кони мчали нас вдаль, кони мчали нас в путь,
Словно мчала нечистая сила.
Попросила она, чтоб я песню ей спел.
Я запел и она подхватила...

Витя допел песню до конца, помолчал. Я легонько прижалась к его плечу, даже не к плечу, а к локтю — так будет точнее, потому что моё плечо до его плеча никогда не доставало. А вокруг тихо. Лунная дорожка то рябит, то скроется».

Я, наверное, до конца не понимал, что этот вечер явился для меня самым эмоциональным и тёплым моментом в истории моих отношений с Виктором Петровичем и Марией Семёновной… Да, он, по большому счёту, стал знаковым и кульминационным, несмотря на то, что перспектива наших творческих планов была определена и казалась мне вполне реальной, ещё и потому, что наша первая общая творческая задача была вроде бы решена, и решена успешно — опять же, кто бы что ни говорил… А между тем время уже начало отсчёт в другую сторону… Опять же — обстоятельства…

А обстоятельства на самом деле осложнялись, и их нужно было преодолевать. Они отчасти требовали решения по отношению к семье, да и по моим творческим и производственным делам возникли определённые существенные проблемы… Я до сих пор не могу ответить точно, что явилось приоритетным в выборе моего решения уйти в тот момент из любимого театра. Это решение было для меня очень болезненным, и я всячески искал, видит Бог, либо пути отступления, либо тылы, либо возможность возврата, прекрасно понимая, что в одну и ту же воду не входят дважды…

Тем не менее, мне была предложена стажировка в Московском театре им Н. В. Гоголя у народного артиста России Сергея Ивановича Яшина сроком на один год, казалось бы, с обязательным возвращением в Красноярский тюз, но это только казалось, и я это понимал… Поэтому если уходить из театра, то это означало фактически обрекать себя на безработицу, которая возникнет у меня после стажировки… А обстоятельства очень толкали меня к этому решению, и не только в спину…

После праздников я съездил домой в Рязань и вернулся в Красноярск через неделю, взяв с собой младшего сына Арсения, который, закончив третий класс средней школы, к середине мая уже был свободен от учёбы.

В мае мы сняли и прокрутили на красноярском телевидении спектакль «Звездопад», который остался на кассетах относительно чистой записью, хотя не самым лучшим исполнительским вариантом.

В театре делались вводы артистов на роли в спектаклях и готовился будущий репертуар. При нормальном стечении обстоятельств в мои планы входили такие названия, как «Живи и помни» Валентина Распутина, «Мамаша Кураж и её дети» Бертольда Брехта, «Прошлым летом в Чулимске» Александра Вампилова и, конечно же, «Пастух и пастушка» Виктора Астафьева, на постановку которого пока железного согласия от автора не получил.

Я по-прежнему достаточно часто навещал Виктора Петровича в Овсянке, куда по настоятельной просьбе Марии Семёновны, которая летом жила в Академгородке, должен был привозить «для Вити отруби», а он, в свою очередь, с появлением на базаре клубники, очень просил привезти эту ягоду в Академгородок «для Мани, уж очень она любит её со сливками», что я делал без труда и с удовольствием.

Однажды я приехал к Виктору Петровичу с сыном Арсением. Писатель, увидев его, по-детски рассмеялся и воскликнул:

— Ой, какое русское лицо!..

Арсений в ту пору был действительно белёсый, с ясными, широко открытыми голубыми глазами… И в этот же день я хотел сказать Виктору Петровичу о моей предстоящей стажировке в Москве, но не нашёл в себе сил сделать это…

Мы сидели за столом, пили коньяк; вернее, пил я, а Виктор Петрович, как обычно, после двух рюмочек говорил: «Стоп! Наливай себе…» — и одаривал меня своим мастерством рассказчика, чей талантище простирался над миром и под магией которого я находился в подобные минуты. В тот раз он почему-то заговорил про Хемингуэя:

— Хемингуэй на русский манер — посредственный писатель, я к нему равнодушен. Просто модный стал у нас одно время. У него совершенно отсутствует логика — ну, он часто писал в кабаке, в кабаке можно так написать… Русская проза очень тяжёлая, я имею в виду «путных» писателей. Подтягиваться до их уровня очень тяжело. И тяжела она прежде всего логикой… Вот, например, у Хемингуэя где-то в Париже, в каком-то романе, герой девку «прилюбанил». А на следующий день он уже обнимает в Лугано, в палате, другую… В русской литературе так не пойдёт! Надо описать, как ты из Парижа в Лугано ехал, какая погода была, как занавески в вагоне шевелил ветер, какой запах с полей доносило… А иногда — дым от трубы паровоза, как стучали колёса, каким образом облако по небу ползло, окаянное… Каким образом девушка прошла, которую ты не видел, но ощутил движение её платья, волшебный запах парижских духов, который исходил от неё…

…Я так сожалею, что почти не записывал за ним его рассуждения, рассказы, оценки виденного и пережитого, наблюдения и советы… Тогда, наверное, книга эта имела бы несколько иной характер…

В этот раз я так и не сказал Виктору Петровичу о намечавшихся у меня переменах. Когда мы уже засобирались домой, он подписал и подарил сыну Арсению книгу «Весёлый солдат», на что тот отреагировал по-своему:

— У меня есть старший брат Иван. А можно ему тоже книгу подписать?..

— Ишь ты… — улыбнулся писатель, достал ещё один экземпляр, на котором написал: «Ивану Сорокину от старого солдата с поклоном из Сибири. В. Астафьев».

Мне совсем не хотелось уезжать…

Между тем в эти дни ко мне подъехал из Новосибирска мой товарищ и коллега по бывшему актёрскому цеху Володя Лешаков. В Новосибирске он работал на телевидении и очень хотел сделать передачу о Викторе Петровиче. Но просто так, самому, напрямую обратиться к Астафьеву с просьбой о встрече он не решался, тем более что писатель последнее время отказывал в подобных просьбах почти всем. И в самом деле, при мне был звонок из Москвы от Андрея Караулова с просьбой продолжить серию передач «Момент истины» с участием В.П. Астафьева, но Виктор Петрович наотрез отказался:

— Ну её, Андрюша, к такой-то матери! Давай позвони месяца через два, там посмотрим, а сейчас нет, не могу…

Поэтому Володя Лешаков очень просил меня поговорить с Виктором Петровичем, чтобы он согласился на подобную передачу у себя в Овсянке.

В конце июня мой вопрос о стажировке решился окончательно. Пятнадцатого августа у меня начиналась стажировка в Московском драматическом театре им. Н.В. Гоголя у Сергея Ивановича Яшина. Ещё осенью вместе с моим однокашником Виктором Умновым забрели мы в этот театр посмотреть спектакль по Ю. О'Нилу «И долгий день уходит в ночь» и были очень задеты этой работой, в которой замечательно сыграли Владимир Самойлов, Светлана Брагарник, Олег Гущин, Андрей Болсунов и Ирина Выборнова. Поэтому вопроса, куда и к кому идти на стажировку, у меня, по большому счёту, не возникало: конечно, в театр им. Н.В. Гоголя к Сергею Яшину. Кстати, выбор оказался «роковым»: мне придётся проработать в этом театре аж целых двенадцать лет, вплоть до так называемого «переформатирования»… Но это—потом, а сейчас… сейчас мне нужно сказать об этом писателю.

Когда в очередной раз я приехал к Виктору Петровичу, мне показалось, что он почему-то был грустный… И прежде, чем сообщить ему о своих планах, я рассказал о новосибирской группе телевизионщиков, к которым он отнёсся нормально и пообещал их принять… Потом я, кажется, выложил ему ряд проблем, которые у меня возникли как по работе, так и связанные с семьёй…

— Виктор Петрович,—я старался говорить как можно спокойнее, хотя внутри всё тряслось и почему-то хотелось плакать,—мне нужно уехать на год…

Он поднял глаза и как-то очень внимательно посмотрел на меня, как бы спрашивая: не ослышался ли?

— Мне нужен год,—продолжал я.—Начальник управления культуры с пониманием отнеслась к моим проблемам, поэтому после прохождения стажировки, к концу следующего сезона, вернусь к своим делам…

Скорее, я успокаивал больше себя.

— Жаль,—очень просто ответил Виктор Петрович, и в его взгляде с прищуром была написана простая истина, что дважды в одну и ту же реку не входят и свято место тоже пусто не бывает.—Очень жаль, Слава,—повторил Мастер.

И я понял, какую огромную ошибку я совершаю…

Но первый шаг сделан, а за ним обратной дороги, как говорят, нет. Мы о многом говорили ещё в этот день с Виктором Петровичем, но по сути—прощались.

До моего отъезда, а я уезжал из Красноярска в конце июля, в Овсянку к Виктору Петровичу мне удалось приехать ещё раза три, и пару раз—к Марии Семёновне, которая, по большому счёту, поняла и приняла моё положение и решение. Наши непродолжительные беседы с Виктором Петровичем носили, как обычно, неформальный характер, и самое главное—никакого намёка по поводу моих перемен не звучало… Так это—впереди у меня небольшая командировка, вот и всё… А внутри, несмотря ни на что, словно всё обрывалось…

Из последних встреч запомнились его некоторые размышления о себе и о своём творчестве.

— Я, по большому счёту, стал равнодушно относиться к тому, что я сделал. Но есть вещи, которые к сердцу прилегли: несколько глав из «Последнего поклона», «Ода русскому огороду» и «Пастух и пастушка»… Я иногда даже могу заглянуть в них, какая-то тоска как случится… Ну, как с ребятишками! Вот сын у меня живёт в Вологде, вот хочется с ним повидаться, с внуком… Откроешь—иногда удивишься: а ничё парень писал! Стыдиться нечего… Люблю смотреть ледоход… У меня рассказ есть «Предчувствие ледохода», небольшой рассказ, но я долго над ним работал…

«Идёт Енисей уже буднично, привычно несёт редеющий сонный лёд. Нигде, ни в каком месте к реке не подойти, не подъехать. Он отгорожен с двух берегов брустверами льда. Надо бы мужикам брать пешни, кайла, лопаты и пробивать из грязного переулка ход во льду, но, повторяю, той весной Пасха почти состыковывалась с майскими праздниками, гробовозы гуляли как перед концом света.

Добро, кто навозил заранее воды, налил бочки и кадки, но кто прогулял, проленился? В ручьях и речках, всё ещё дурью полных, вода мутная, глиняная—она лишь для бани, для стирки, для скота годится, но самовар ставить, стряпать, варить?..»

«В просквожённой добротой и теплом груди мальчика шевельнулась и обмерла нежность напополам с жалостью, захотелось ему кого-нибудь обнять, стиснуть, сказать что-нибудь хорошее. И ещё—вот ведь оказия какая!—заплакать приспело.

Обхватить руками Пирата, нет, всё обнять, что шевелится, светится, поёт, свистит, растёт, цветёт, стрекочет, шумит, звенит, плещется, пляшет, бушует, смеётся,—прижаться ко всему этому лицом и заплакать, заплакать!..»

«И брела она по дикому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии её сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанное серекьким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг её был суетливый, сбивающийся.

Насколько охватывал взгляд—степь кругом немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шёрсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в её безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины».

Известный музыкант, дирижёр «Новой Оперы», единомышленник Виктора Петровича Евгений Колобов очень точно подчеркнёт одно из изречений Мастера: «…Надо жить, и пока живёшь, дерзать, перебарывая сопротивление и неуверенность свою, изжигая сердце, надсаживая память…»

На сборе труппы по случаю ухода коллектива в отпуск тоже нужно было найти силы и слова, чтобы сказать, что, скорее всего, мне придётся принять непростое решение для себя, и если я не смогу сказать добрых пожеланий дорогим артистам после отпуска, я хочу сказать их сейчас: я вас всех очень люблю…

История с Московским драматическим театром им. Н. В. Гоголя—особая страница в жизни. Она существует как обстоятельства, как данность, особенно в первый год стажировки, но я могу говорить о ней, конечно, в контексте моих отношений с Виктором Петровичем Астафьевым…

Я в течение театрального сезона 2000–2001 годов очень часто звонил Астафьевым, и не только в праздники… Но первый звонок после того, когда мне пришлось уехать, я сделал, конечно, в день рождения Марии Семёновны—двадцать второго августа.

Именинница с восторгом выслушала поздравления, бодро поблагодарила, но далее обменяться новостями нам не дал Виктор Петрович, с непосредственным возмущением он мне всё же высказал своё отношение по поводу группы новосибирского тв:
— Ну, Слава, ты мне удружил! Эти телевизионщики, твою мать, два дня меня доставали…
— Как, Виктор Петрович?—от неожиданности я не знал, что сказать в оправдание.—Мы с ними договаривались на пару часов, чтобы с вами…
— Какие пару часов?! Два дня ходили по Овсянке со мной… ага…
— Извините, надо было попросить их или просто выгнать…
— Да что ты—выгнать!—не унимался Мастер.—Они даже на ночлег попросились, во как!
— Послушайте, Виктор Петрович, у меня нет слов в оправдание…—я не знал, куда деваться от стыда.
— А с ними ещё эти современные дети, а мне от их поведения просто плохо…
— Какие дети?..
— Их, видать, дети, лет по десять, твою мать, ага, извертелись все…—по полной программе и по заслугам выдавал мне Мастер.
— Простите, Виктор Петрович, не знал, хотя виноват…—каялся я.
— Да ещё на поминки со мной к тётке пошли… ага…
— Простите, Виктор Петрович… я им позвоню и всё скажу…
— Позвони и скажи,—заключил писатель и резко сменил тему:—Как дела?

Я вкратце рассказал о себе, и мы, несмотря ни на что, тепло попрощались. Называется—поздравил Марию Семёновну с днём рождения!

Конечно же, через какое-то время мне пришлось позвонить Володе Лешакову и всё ему определённо высказать. Тот долго отнекивался, говорил, что никаких неудобств они не создавали, а наоборот, писатель общался с ними с удовольствием…

Как бы то ни было, мне кажется, Володя был последним оператором, который снял уникальный материал о Викторе Петровиче, хотя снял он его плохо, честно скажу, из ряда вон плохо, но он не мог не использовать эту возможность, что называется, по максимуму.

Стажировка моя в театре им. Н. В. Гоголя проходила очень хорошо. Я был очень рад, что выбор руководителя оправдал мои надежды. Режиссёрский почерк Сергея Ивановича Яшина был близок тому, что исповедовали в искусстве мои педагоги,—это скрупулёзная разработка причинно-следственной связи поведения персонажей в пьесе и подробное выстраивание их физической жизни на площадке в условиях оригинально нафантазированной формы, которую предлагала ему, как замечательный художник, супруга его Елена Фёдоровна Качелаева. И первой постановкой, в которой я принял участие как режиссёр-стажёр, стал спектакль «Записная книжка Тригорина» Т. Уильямса с блистательной Светланой Брагарник в главной роли. Следующей работой Сергея Яшина, где я выступил в качестве его ассистента, был спектакль «Мой век» М. Лоранс и М. Полищук в театре им. Вл. Маяковского с не

менее блистательной Светланой Немоляевой и легендарной Татьяной Карповой…

А уже ближе к весне Сергей Иванович даёт мне прочитать пьесу А. Сергеева «Отель „Ламбада“», которую по плану нужно будет выпустить в начале будущего сезона.

— У меня в августе заканчивается стажировка,— напоминал я Яшину.

Но Сергей Иванович помнит всегда всё.

— Значит, мы продлим её, Вячеслав Николаевич,— спокойно отвечает он.

Итак, будущий театральный сезон у меня определён, как и сложилась моя следующая постановка в Красноярском ТЮЗе. В связи с предстоящим ремонтом новое руководство театра пошло навстречу артистам, которые попросили репетировать со мной в отпуске, в июле, пьесу М. Мэйо и М. Эннекен «Моя жена—лгунья».

Невосполнимая потеря той весной постигла меня. Семнадцатого апреля умерла моя мама, Александра Дмитриевна. Она выросла сиротой и поэтому отдавала по жизни нам свою любовь и теплоту, которых не хватало ей… А мы, как и многие беспутные дети, не всегда по достоинству ценили это… Наше запоздалое покаяние—это дань памяти и поминовение… Она умерла на Пасхальной неделе, на второй день после Воскресения Христова, как святая, но это уже другая история…

В майские праздники я позвонил Астафьевым, поздравил с днём рождения Виктора Петровича, а также с наступающим Днём Победы. Рассказал им, что спектакль «Звездопад» не просто живёт, а набирает силу, пользуется большим успехом—и это было действительно так. Жаль только, что ставили в репертуар его не очень часто…

Время неумолимо к нам. В начале лета у Виктора Петровича случился инсульт. Когда я приехал в Красноярск на постановку, писателя выписали из больницы, он был уже дома, но очень слаб… Сергей Задереев сказал, что Мария Семёновна почти никого не пускает к нему—не хочет, чтобы он лишний раз волновался… Я, конечно, беспокоился, что верная супруга его не разрешит мне с ним повстречаться, поэтому несколько дней не звонил. А тут ещё произошла очень некрасивая история, связанная с ним и Законодательным собранием Красноярского края. Не помню кто, но перед народными избранниками поставили вопрос: в связи с болезнью писателей Виктора Астафьева и Анатолия Чмыхало добавить им к пенсии по две тысячи рублей ежемесячно… Удивительно, но депутаты большинством голосов проголосовали против… Законодательная власть от народа, видимо, решила, что у великих писателей достаточно «великие» деньги, чтобы помогать им средствами из бюджета и даже во время болезни… Как бы то ни было, но весь город оценивал этот факт с нескрываемым сарказмом…

Это была предпоследняя наша встреча с Мастером…

Я позвонил Марии Семёновне и попросил разрешения приехать навестить Виктора Петровича. Мы поговорили по телефону: она сказала, что он, конечно, очень слаб, поэтому ненадолго я могу приехать и повидаться с ним.

Условившись, на следующий день, набрав с собой фруктов и цветов, я появился у Астафьевых… Мария Семёновна встретила меня приветливо… Сказала, что он потихонечку, слава Богу, приходит в себя…

— Ты, Слава, сам больше говори, чтобы он меньше сил тратил,—напутствовала она меня.—О том, что вокруг происходит, тоже сильно не распространяйся, да, и особенно про наши власти, что отказали в помощи,—не говори, мы ведь ему этих газет не даём… Ой, знаешь, еле выдюжили…

— Хорошо, Мария Семёновна, я всё понял…

Она открыла дверь в большую комнату.

— Витя, Слава Сорокин приехал.

Я вошёл, и хозяйка закрыла за мною дверь.

Виктор Петрович лежал на кровати. Он сильно похудел и был очень бледный. Рядом с кроватью стоял стул, на котором лежали пара журналов и какая-то книга. В потолок была вмонтирована то ли крепкая верёвка, то ли трос, на конце которого крепилась ручка, посредством чего больной мог подниматься с кровати из положения лёжа… Мне показалось, судя по виду, что больному совсем будет трудно говорить. Я поздоровался.

— Ты вишь, как меня е…о,—вдруг неожиданно вскрикнул он бодрым голосом,—аж пятнадцать килограммов к такой-то матери, ага… бери вон стул, садись рядом…

— А вообще, я смотрю, вы бодрячком, Виктор Петрович,—ответил я, подсаживаясь к нему.

Мы пожали друг другу руки.

— Ты, знаешь, о чём я мечтал в этой там… больнице?

Я вопросительно посмотрел на него.

— Об уборной, о своей уборной… Думаю, как выберусь оттуда, сяду и целый день просижу, честное слово… А так, конечно, тяжко, очень тяжко было…—он как-то негромко рассмеялся.

В это время нервный тик передёрнул его тело.

— Вот видишь, ещё дёргает меня немного…

— Слава Богу, проходит же болезнь, Виктор Петрович.

Я старался говорить с Мастером так, что болезнь будто на самом деле осталась практически позади, а впереди много планов, и я верил в это… И мне казалось, что Виктор Петрович видит, что я верю, и мои слова были сказаны вовсе не для успокоения…

— Дай руку, сяду—устал лежать…

Я помог ему привстать, и он сел на кровати.

— Ну, рассказывай,—как-то совсем просто сказал Виктор Петрович.

— Во-первых, я очень рад вас видеть после большого перерыва, впереди у меня много планов, и я очень хотел бы в чём-то посоветоваться с вами…

— Валяй, для того и приехал,—усмехнулся писатель.

— И для этого тоже,—попытался улыбнуться я.—Во-вторых, хотелось бы сказать, что спектакль «Звездопад» успешно выдержал этот сезон. Анатолий Петрович Новосёлов очень бережно за ним следит…

Я также рассказал ему историю о продолжении моей стажировки и про ситуацию в тюзе, а именно—о том, что комитет по культуре объявил конкурс на замещение должности художественного руководителя. Я высказал предположение, что конкурс этот носит формальный характер, так как информации о нём практически нет нигде. Поэтому, скорее всего, утвердят теперешнего временно исполняющего худрука, нашего бывшего артиста, которого поддержала большая часть труппы, но которому я почему-то не верю…

— Пока он согласился на мой приезд, сделать разовую постановку—правда, в их отпуск и за… не буду говорить, какие деньги… Но это, на самом деле, не важно…— все свои разговоры я вёл к одному.—Виктор Петрович, я хочу делать спектакль «Пастух и пастушка».

Писатель вопросительно посмотрел на меня.

— Вы когда-то сказали, что мы вернёмся к этому разговору…

— Но не сейчас. Чего мы с тобой теперь решать-то будем?—он посмотрел на меня, как мне показалось, очень жалостливо.

— Конечно, не сейчас,—радостно воскликнул я и, как мне показалось, обрадовал Мастера.— Я вообще сейчас закрываю этот вопрос—просто прошу одного: с вашего разрешения, я напишу сценическую версию, покажу вам, ну а вы или утвердите её, или нет…

— Ладно, хорошо, там посмотрим,—несмотря на слабость, попытался успокоить меня Виктор Петрович.

Мария Семёновна принесла чай. Очень скоро мы выпили его, и, понимая, что Мастеру нужно отдыхать, я откланялся, договорившись перед своим отъездом забежать к Астафьевым проститься буквально на пару минут…

Время, отведённое на постановку, пробежало быстро. За два дня до сдачи спектакля я позвонил Астафьевым, после чего приехал проститься.

Эта была последняя встреча.

Она была очень короткой, так как Виктор Петрович чувствовал себя не очень хорошо. Я вообще удивился, что Мария Семёновна мне разрешила приехать… В те несколько минут прощания с Мастером я опять говорил о наших планах, говорил о том, что сожалел о своих необдуманных шагах, покидая Сибирь, о том, что не использовал в той должной мере тот шанс, который мне даровал Господь… Виктор Петрович смотрел на меня очень по-тёплому; мне даже показалось в какой-то момент, что в этой теплоте смотрит на меня та глубокая человеческая грусть прощания с жизнью… У меня даже подкатил комок к горлу…

— Виктор Петрович, я, честное слово, приеду, у вас же много впереди работы… Вы не расслабляйтесь…

— Да, да, конечно,—вдруг ответил он очень серьёзно.—В конце лета—начале осени я планирую большую литературную встречу, круглый стол или даже конференцию на базе нашей библиотеки в Овсянке… Приедет много людей известных и заинтересованных… Надо жить…

Нервный тик прошёлся по его телу.

Вошла Мария Семёновна:

— Витя, лекарства…

— Я вам кланяюсь…— вырвалось у меня.

Виктор Петрович протянул руку на прощание, я наклонился и поцеловал её… Мастер посмотрел на меня так же тепло и грустно и попытался улыбнуться краешком губ…

Да, это оказалась наша последняя встреча…

Двадцать девятого ноября, после дневной репетиции, я прибежал к себе в комнату в общежитии на Белорусской в Москве, чтобы, перекусив наскоро, успеть на вечерний спектакль. У меня в комнате всегда была включена радиоточка, по которой я и услышал о кончине Виктора Петровича Астафьева…

Через какое-то время я сидел в метро и смотрел, как люди бегут куда-то, бегут, суетясь, нагруженные своими нерешёнными проблемами, совершенно не видя друг друга… Да и желания у них такого, по-моему, не было… Огромный людской поток встречается с другим и, как в ледоходе, пытается прорваться вперёд… Как это у Мастера: «…вот начинает тревожить и ломать реку дурной водой, то по верху льда погонит её, то забьёт её крошевом льда до самого дна. Сдвинется, вспучит Енисей, заторов наделает, сломает дорогу, стащит её версты на две вниз, будто обкусанные горбушки хлеба, останутся обломки дороги под берегами, так и сяк торопится зубастый лёд по всему полю реки».

Я сидел в метро и думал о *нём*… И так грустно и тоскливо было на душе… от огромной для меня потери… И не только потому, что мне Господь подарил встречу с великим русским писателем, а ещё и потому, что Мастер увидел во мне человека и художника и вдохнул в меня по-настоящему то вечное, что называется надеждою, а ещё—верою, и конечно—любовью, что сегодня редко встречается

в нашем мире… И моя благодарность и память о нём бесконечна…

На Ярославском вокзале, отправляя телеграмму Марии Семёновне, я написал: «Низко склоняю голову светлая вечная память Виктору Петровичу скорблю вместе с вами всегда ваш Вячеслав Сорокин».

Вот, казалось бы, и всё… Но память не стирается, воспоминания с возрастом не просто накапливаются, а терзают тебя и «надсаживают» её, проклятую память эту, которая не даёт спокойно жить… Да и как жить спокойно, когда дни прошедшие в сознании твоём всплывают не только чёрными, а очень даже часто светлыми мазками, в то время как на улицах у нас мало сегодня просветлений каких-нибудь?.. Вот и будоражит нас изнутри память, требует не забвения, а жития—и во имя светлого поминания, и ради будущих окаянных дней наших, чтобы не были они на самом деле таковыми…

Я много раз брался за написание записок этих, но не выходило ничего… Скорее начнёшь, увлечёшься, потом зайдёшь в тупик—думаешь: а надо ли именно это? Долгое время лежат они, листочки негусто исчирканные, безучастные,—часа своего ждут…

Несколько раз брался за инсценировку «Пастуха и пастушки», ох и жжёт до сих пор душу она, не ожившая на подмостках история эта… И не только потому, что, считаю, последний разговор наш с Виктором Петровичем стал благословением на постановку этой пронизывающей душу военной повести об опалённой войной настоящей любви… А ещё и потому, что театры мало обращаются сегодня к настоящей литературе, которая во весь голос кричит, что теряем мы истинное в себе, мельчаем, обкрадываем себя в вере, надежде и любви… Растрачиваем всё это, разменивая это святое чувство—любовь—как говорил Мастер, «на простое бл…о»…

Не жаловало меня все эти годы руководство Красноярского тюза, вычеркнув вовсе из истории театра,—в принципе, как и сегодняшнее руководство… Наверное, не доросли мы до настоящего искусства, которое вершили они тогда, да и вершат сегодня, в отличие от нас, непутёвых, хотя годы, отданные театру, Красноярскому тюзу, были и остаются для нас лучшими… Когда я созванивался с вдовой писателя, то Мария Семёновна по этому поводу мне говорила:
— Тебе сказать, почему они тебя не пускают сюда?.. Ты же знаешь…
— Догадываюсь, Мария Семёновна,—отвечал я,—умом понимаю всё, но в душе больно…

Наверное, они и хотели этого… но спектакль шёл, несмотря ни на что… Умер Юра Щербаченко, умерли Юра Горяев и Саша Алексеев, ушли из театра Света Руденко и Миля Шевчук, а спектакль шёл в репертуаре… Не снимали почему-то, но стали ставить очень редко, а это для любой постановки—верная гибель… Спасал ситуацию, да и сам спектакль, Анатолий Петрович Новосёлов, который самоотверженно следил за ним, делал вводы, проводил репетиции, зачастую идя на конфликт с руководством…

И вот весной 2007 года, уж и не знаю, по чьей инициативе и с какой целью, в Красноярск, в тюз были приглашены для просмотра репертуара ведущие критики страны по детским театрам—Екатерина Дмитриевская и Ольга Глазунова. Они отсмотрели все представленные им спектакли, после чего сделали определённое заключение, которое, как ни странно, не отразилось ни в каких, как сейчас говорят, средствах массовой информации, и после этого, что называется, с Богом уехали обратно к себе в Москву. Наверное, и эта страничка театра канула бы в забвение, если бы со стороны руководства не были предприняты некие действия, похожие на «переаттестацию» или «переквалификацию» в отношении некоторых артистов, основываясь на «заключении» только что отбывших критиков…

Узнав об этом, я тотчас же явился в «Кабинет детских театров» при стд, к Ольге Леонидовне Глазуновой… Цель моя была достигнута: критики не давали никаких полномочий руководству театра «апеллировать» к их именам и вызвались тотчас позвонить в Красноярск, тем более что у них как раз было больше вопросов к самому художественному руководству… Мне не очень бы хотелось вдаваться в эти подробности обсуждения результатов работы критиков по итогам просмотра спектаклей тюза и их последствий; могу сказать, к своей радости, что спектакль «Звездопад» на них произвёл как раз очень хорошее впечатление…
— Не может быть, Ольга Леонидовна, спектакль идёт семь лет, были сделаны вводы новых артистов вместо ушедших…—я пытался вытащить от критика истинную информацию о состоянии спектакля и их настоящее впечатление.
— Да нет же,—уверяла меня Ольга Леонидовна,—нас тронула сама атмосфера спектакля… Было видно, что все артисты, занятые в спектакле, с большой любовью существуют в нём… для них он очень дорог, там есть ансамбль… Ну правда, всё это так…—заключила Ольга Леонидовна Глазунова—один из ведущих критиков страны.

Если бы она знала, насколько важно мне было услышать эти слова!.. Абсолютно независимое мнение ведущего специалиста… Я тут же позвонил Анатолию Новосёлову и Марии Семёновне… Мы были не просто горды тем, что плоды

наши — память, сердце, душа, вложенные в исповедь под названием «Звездопад», — оказались настоящим откровением на сценической площадке, да потому, видимо, и таким живучим… А отсюда родилась и новая попытка доделать, или, как говорят, довести до ума театральную версию «Пастуха и пастушки»… И на гастролях в Хабаровске летом 2008 года я это сделал и сразу же отослал Марии Семёновне. Осенью мною был получен долгожданный ответ.

«Уважаемый Вячеслав Николаевич!
Простите, пожалуйста, моё затянувшееся молчание!

Я в это время занималась многотрудным делом — созданием музея-кабинета Виктора Петровича.

Теперь я уже могу заверить всех знавших и любивших Виктора Петровича, писателя и человека, что я сделала всё, завещанное мне Богом и мужем, который в завещании просил: «Пока будет живо моё слово и всё, что может свидетельствовать о моей жизни и работе…» Памятник установлен; музей в родном селе работает хорошо; многим школам и музеям присвоено имя великого земляка, как и университету, как и многогрузному танкеру. В Пушкинском доме в Москве, в Перми и в родном г. Чусовом открыты наши семейные документально-архивные фонды.

Пишу левой, как могу.

За сценарий, за бережное отношение к тексту повести («Пастух и пастушка») я Вас благодарю и желаю успешной, интересной работы!

М. Астафьева».

Да, в одном из последних интервью перед болезнью Виктор Петрович однозначно высказывался по этому поводу, когда журналист Валентина Майстренко беседовала с писателем спустя какое-то время после нашей премьеры, назвав свою статью: «*Ромео, Джульетта и тьма*».

«— Виктор Петрович, а на ваш взгляд, естественны, искренни эти сцены в нашем тюзовском спектакле?

— Да. Это их вершина. Ведь это же не Малый театр и не Ермоловский… Вполне сносно. Не стыдно было смотреть, а то, бывает, сидишь, а под тобой горит всё от чувства неловкости… А чувство неловкости — от несоответствия автору, несоответствия слову и тому, что он писал. Чувство такое чаще всего возникает, когда Режиссёр Режиссёрович возьмёт и за тебя дополнит. Он думает, что лучше меня знает это произведение, чувствует и имеет право дополнять. Вот тогда неловко и становится. Сидишь и думаешь: куда бы спрятаться? Есть, конечно, в спектакле несовпадения. Поскольку нынешние актрисы-акселератки — люди уже другого века, они интонацию вкладывают во многое своё… Все театры, которые до этого ставили, они были просто сильнее. Драмтеатр на Литейном в Ленинграде. Там было два или три народных артиста, четыре или пять заслуженных. Не все же заслуженные напрасно. Потом у Бородина в Детском, теперь уже Юношеском театре, в Москве, двое народных артистов… Но самый лучший спектакль по этой пьесе был всё-таки в Вологде. Это объясняется тем, что они были полны сил, открывали свой театр… Спектакль этот получил Государственную премию. Там музыка играла… лучше, чем у нас в ТЮЗе. Наши бы тоже получили премию, но у них динамик плохой! Хрипит, подлюга! Там «Реквием» Верди гремел в полной темноте, и занавес открывался… Там занавес был. Здесь занавеса нет — мода такая. И немножко пылью всё покрылось, всё подиспорчено, потому и не разобрать, «Реквием» это или «Сербиянка». А я вологодцам так и говорил: вам дали премию за Верди! Баранов, постановщик, после премии сразу запил: как же — великий режиссёр! Исполнители главных ролей стали признавать себя лучшими артистами «Холливуда» и всех частей света… Но спектакль года два шёл с полным аншлагом. Когда публика-то схлынула: комсомольцы, наш брат-интеллигент, — пошёл фэзэошник, всякий народ организованный. Так бедная исполнительница роли Смерти, талантливая актриса Тамарочка Четникова, жаловалась на то, что из рядов кричали ей с матом: «У, сука, подлюка, уходи!» Не хотели, чтобы солдатики смерти-то поддавались. Вот до чего их доводила! В ТЮЗе же нашем как только премьера прошла, я газетчиков просил: ради Бога, не ругайте, даже если вам и не понравилось что-то, театр едва-едва дышит. Режиссёр Слава Сорокин извёлся уже с ним, какой-то лес купил, перепродал, чтобы на постановку денег добыть. А эта постановка важна для них и для всего репертуара города. Нет сейчас в репертуаре Красноярска такого серьёзного материала. Нету просто такого спектакля — военного, нужного, про Ромео и Джульетту, где чистая, славная детская любовь… А насколько удачен он? Вот когда фэзэошник пойдёт, тогда и видно будет. Семнадцать лет тому назад шла на сцене этого же ТЮЗа моя «Кража», семь раз её снимали, семь раз разрешали, дёргали. Потом всё-таки разрешили. Так начальник Кировского РОВД молился, чтобы она шла каждый день. Второй акт начинался с песни «На полочке лежал чемоданчик». И дальше: «А я не уберу чемоданчик!» Помнишь такую песню? Вот вся шпана кировская ко второму акту сходилась в ТЮЗ, и вместе с артистами весь зал пел: «На полочке лежал чемоданчик». Начальник РОВД говорил, что в это время не было ни одного грабежа, ни кражи, ни убийства, ни насилия. Вот такое воздействие искусства.

«Пастушку» не отдам никому

— Многие с этим вопросом к вам пристают, Виктор Петрович, но я его всё-таки тоже задам. Почему, на ваш взгляд, не было очень удачной постановки ваших достаточно драматичных и вроде бы сценичных произведений?
— Я тебе сознаюсь и скажу: не доросли. Никогда ты от меня не слышала громких слов о себе. А теперь скажу: не доросли. Поэтому я и «Пастуха и пастушку» никому не даю ставить. Ведь Слава Сорокин приехал ко мне с идеей постановки «Пастушки». Я говорю: ты с ума сошёл? При социализме ставили её, мне присылали снимки. Это был народный театр, они же не спрашивают разрешения на постановку. Лежат там на фотографии баба и мужик, прикрытые полотенцами, а на полотенцах ляписные общежитские штампы, такой вот соцреализм. А теперь такой разгул! Полповести я работал, пот выгонял, чтобы было откровенно, но не было замочной скважины, чтобы не коробило никого, что мужик с бабой половину повести лежат вместе. Представляешь, что сейчас из этого сделают? Тот же Слава Сорокин, куда он от этого денется? Я его отказом огорчил, он всё равно хочет вернуться к «Пастушке». Но пока я живой, я не дам никому её ставить или снимать. Никому не дам, ни в кино, ни в театре.
— Вы договорились с Никитой Михалковым о съёмках военного фильма, обещали ему поддержку. Он собирается его ставить по роману «Прокляты и убиты»?
— Нет, они свой сценарий будут делать. Я Никите был нужен для того, чтобы поразговаривать, что помню о войне, что знаю. Приезжали недавно двое с его студии, расспрашивали, что я помню. Я им тут три дня говорил, едва живой остался. Договорился до того, что аж захворал.
— Значит, вы будете одним из действующих лиц будущего фильма?
— Нет, не буду я там действующим лицом. Скорее, просто консультантом.
— Мне кажется, у Михалкова получится незаурядный фильм про войну.
— Но «Пастушку» и ему не сделать. Он немножко в последних работах огрубел. Может, в тот период, когда ставил «Неоконченную пьесу для механического пианино», и сумел бы «Пастушку» поставить, но не сейчас. Сейчас он слишком мужик. Он может делать только такое смотриво, как в последнем фильме про сибирского «цирульника». Или топором, как «Утомлённые солнцем».
— Ничего себе топор, аж в душу влазит.
— Так хорошо сделано, грубо, из брёвен, дубовых брёвен, ничего не скажешь. Но это не для «Пастуха и пастушки». А вот «Раба любви» с Еленой Соловей — ну просто бесовская работа, тонкая, пронзительная! Как она едет в пустом трамвае! В пустом трамвае куда-то мчится баба эта беспомощная в шляпе и кричит: «Господа! Господа! Вы же будете прокляты народом! Что вы делаете?»
— Вот и висит это проклятие над нами…
— Так он же не зря такую концовку фильма сделал. Фильма очень чудного, настораживающего.
— А как прорваться через это проклятие?
— Ты знаешь как. Молиться. Через молитву, через обращение к Богу. Утрата Бога и привела нас ко всему, к чему мы пришли…
— Может, потому военную вашу пастораль «Пастух и пастушка» уже не под силу поставить никому.

Брат кавалера де Грие

— Я сам четырнадцать лет или пятнадцать таскал эту повесть в душе, вынашивал… Меня спрашивают: кто прототипы Бориса и Люси? Кавалер де Грие и Манон Леско прототипы!
— Вот это да, корни-то у «Пастушки», оказывается, французские!
— Кавалер де Грие пришёл на могилку Манон и умер, не мог без Манон жить. И Афанасий Иванович тоже пришёл на могилку к Пульхерии Ивановне и умер. У нас Ромео и Джульетта свои есть. Мы привыкли, что они молодые, что Ромео, как дружок мой Анатолий Алексеевич Консовский играл его, — в брючках в обтяжку, в колготках, в башмаках с бантиками, с голосом благородным, вот мы к чему привыкли. А гоголевские старосветские помещики Пульхерия Ивановна и Афанасий Иванович — те же самые Ромео и Джульетта…

Виктору Петровичу пора было принимать лекарства и отдыхать, и он отправил меня к супруге своей — Марье Семёновне. Кстати, встретились они на фронтовых дорогах, так и идут вместе — с победного 45-го. Рассказала мне Мария Семёновна о своей рукописи, показала только что присланную книгу мужа, изданную в столице. Рассматривая её, я увидела надпись, которую сделал Виктор Петрович перед тем, как подарить томик жене. «Марья Семёновна, можно, я перепишу?» — попросила я хозяйку. Она чуть улыбнулась и разрешила. А написаны было на военном томе «Весёлого солдата», посвящённом светлой памяти дочерей Лиды и Ирины, такие астафьевские слова: «Маня! Это ведь мы сегодня не поехали к Ирине (на могилу старшей дочери. — *В. М.*), и книга о ней напомнила. Царство небесное ребёнку! А ты крепись и держись, нам друг без друга нельзя, пропадём поодиночке. Весна скоро, вытаем, а там до осени время быстро летит, август наступит, рыбы сварим и свежих картошек, люди любимые придут, и Ирина будет с нами, пока мы живы. Она обязывает прожить ею не дожитые годы. Я». И подпись. Знакомая астафьевская подпись. Вот и поставил он точку в разговоре. А может, многоточие? Ведь тема любви неисчерпаема…»

Да, всё это так, тема любви неисчерпаема, как и память наша, не имеет рамок, и глубина её бесконечна. Поэтому, конечно, многоточие ставит Мастер и надеется, что слово его будет живо долго… А вместе с тем потребность наша — дать этому слову сценическую жизнь — полна надежд и оптимизма…

Получив письмо от Марии Семёновны, я сразу же позвонил ей. Оказывается, Мария Семёновна отдала мой сценический вариант «Пастуха и пастушки» Эдуарду Ивановичу Русакову, а тот, в свою очередь, вручил его директору театра им. А. С. Пушкина Петру Анатольевичу Аникину. Пётр Анатольевич прочитал нашу версию, высказал много хороших слов в её адрес, но в постановке отказал, сославшись на уже утверждённые планы в своей далёкой перспективе.

Скажу честно, меня этот отказ на самом деле очень огорчил. А в тюзе же, особенно после вояжа критиков, негатив ко мне только усилился. Правда, у меня появлялась возможность, и не однажды, реализовать этот проект в других театрах, но, как мне кажется, новая сценическая жизнь любви Бориса и Люси должна состояться на родной земле Мастера, так как всё в Красноярске пронизано духом его…

Но пока это остаётся только в планах, так как театры города на Енисее не видят во мне, видимо, ту «единицу», которая способна решить подобную задачу на должном уровне…

В 2009 году, в июне, я был приглашён Виктором Степановичем Токаревым, директором Иркутского тюза им. Александра Вампилова, на постановку пьесы Юрия Клепикова «Незнакомка». Я с радостью согласился, полагая, помимо интересной работы, встретиться с хорошими своими знакомыми, живущими в этом замечательном городе на Ангаре. И наконец-то увидеть один из любимых городов Виктора Петровича Астафьева и, безусловно, красавец Байкал, да к тому же слетать, по возможности, в город на Енисее…

Сходя с трапа самолёта, я уже был в ожидании встречи с Сергеем и Татьяной Снарскими, замечательными в прошлом артистами, друзьями Юрия Горяева и Наталии Щуко. Юрий Михайлович мне часто рассказывал, что они с Сергеем Афанасьевичем каждый год заезжали рыбачить в отдалённые уголки Прибайкалья и проводили там большую часть своих отпусков…

Мы встречались нечасто, поэтому мне очень хотелось увидеть Сергея и Татьяну. Как, впрочем, и прекрасную актрису тюза, народную артистку России Людмилу Стрижову и её мужа, режиссёра Александра Валерьяновича Ищенко, заслуженного деятеля искусств России, с которыми я познакомился в Москве, когда они были приглашены на III Международный фестиваль «Золотой витязь» в Минск. Мы также встречались после белгородского фестиваля «Актёры России — Михаилу Щепкину» в 2005 году.

Ну и, конечно, как я мог не увидеться с Геннадием Константиновичем Сапроновым…

Скажу более, эти встречи превзошли все мои ожидания. Во-первых, Людмила Ивановна Стрижова репетировала у меня в спектакле, во-вторых, мы — Сергей и Татьяна, Александр Валерьянович и Людмила Ивановна и я — провели один из выходных на Байкале! Они подарили мне этот день, мой первый день на этом удивительном и уникальном месте земного шара, и я им бесконечно за это благодарен. Я не мог об этом не сказать, потому что у каждого, кто приезжает в эти удивительные места, остаётся глубокий, неизгладимый и светлый след в памяти его, и он обязательно хочет вернуться туда, чтобы вновь почувствовать тот неиссякаемый заряд энергии, какой-то удивительной силы, что исходит из глубин этого чуда света под названием Байкал…

На обратном пути мы поклонились могиле Александра Вампилова, где с высокого берега Ангары будто бросает он печальный взор свой в сторону нашего бытия… Надо же, и могила Александра Сергеевича Пушкина, которую впервые я посетил в этом же 2009 году тремя месяцами раньше, так же возвышается в Пушкинских Горах над земной суетой…

С Геннадием Сапроновым я встретился у него в офисе. Честно говоря, он узнал меня не сразу, и выглядел великий издатель (сейчас я могу сказать это с полной уверенностью: великий) очень уставшим. Пережив несколько лет назад убийство сына от распоясавшихся подонков, он ещё больше ушёл в работу… И спустя годы всё равно во взгляде его отражался этот страшный рубец на сердце… Узнав меня, его уставшие глаза заблестели, он схватил меня за руку и потащил к своему столу…

— Слушай, как здорово, что ты приехал, у нас скоро, двадцать первого июня, будет в театре Охлопкова вечер памяти Виктора Астафьева и Евгения Колобова.

— Да что ты говоришь? — чуть не вскрикнул я. — Гена, здорово!.. Извини, просто мне как-то не совсем верилось в это удивительное стечение обстоятельств.

— Да, ты знаешь, приехал Валентин Яковлевич Курбатов, здесь же Валентин Григорьевич Распутин… Да, кстати, — он положил передо мной две книги, — это тебе. Ну, если ещё что-то захочешь, там, на вечере, купишь…

— Конечно, конечно, Геннадий Константинович, спасибо тебе огромное.

Передо мной лежали две замечательные и прекрасно изданные книги — «Нет мне ответа. Эпистолярный дневник 1952–2001» Виктора Астафьева и «Созвучие» Виктора Астафьева и Евгения Колобова…

— Потрясающие издания, честное слово, Гена…
— Стараемся,—скромно, но не без удовольствия улыбнулся он.
— А я хочу пригласить тебя на премьеру в тюз, в конце месяца… «Незнакомка» Юрия Клепикова… Я вообще-то с этим и пришёл…
— Ой, не знаю, Слава. Мы сейчас собираемся пройти по Ангаре в места затопления Богучанской гэс с Валентином Григорьевичем и Валентином Яковлевичем… Мы собираемся проплыть по тем местам, где когда-то жили люди, были когда-то сёла… И обязательно с заездом в деревни, посёлки… Потом по Енисею вверх, к Красноярску…
— Ты не представляешь, Геннадий Константинович, как я тебе завидую… В другой ситуации я, наверное, набрался бы наглости и напросился с вами, если бы не неотложные обязательства в июле…
— Ну, тогда и ладно, тем более—другой ситуации, скорее всего, не будет…—усмехался издатель.

Мы проговорили ещё совсем немного, обменявшись визитками, договорившись обязательно встретиться осенью в Москве, где Геннадий Константинович ежегодно участвовал в книжных ярмарках. А пока мы расстались до вечера памяти, посвящённого Виктору Астафьеву и Евгению Колобову.

Господи! Кто бы мог подумать, что вскоре по возвращении из этой поездки—четырнадцатого июля—Геннадия Константиновича Сапронова не станет…

И как трагическое стечение обстоятельств прозвучит в этой удивительной передаче «Река жизни» роковой вопрос: «Что такое смерть?» И последует его простой и мудрый ответ: «…Не знаю… Конечно, последнее время и в каких-то обстоятельствах ты начинаешь о ней задумываться и даже себе её представлять, но не бояться… Вот… Её нет, наверное… Если я правильно жил… Её нет… Я же не уйду. Вот это останется—останется полка с книгами. Как уж кто-то распорядится ими—другой вопрос… Меня не будет, но я не уйду… Я хочу так жить, чтобы я не ушёл…»

На двенадцатое, тринадцатое, четырнадцатое июля выпали выходные в театре, и я решил поехать на эти дни в Красноярск… Первым делом мне нужно было позвонить Марии Семёновне Астафьевой и узнать, сможет ли она со мной встретиться и съездить в Овсянку на могилу Виктора Петровича. Мария Семёновна согласилась с охотою, сказав при этом, что обязательно для начала нужно увидеть памятник писателю на Стрелке…

Выехал из Иркутска я одиннадцатого вечером и к обеду двенадцатого был уже на вокзале в городе на Енисее, где меня ждал Анатолий Петрович Новосёлов. В День независимости Красноярск, как и любой российский город, масштабно отмечал положенный ему выходной. Мы сразу же поехали к Большому концертному залу, где проходили основные мероприятия, связанные с праздником, и где на Стрелке возвышался памятник Виктору Петровичу Астафьеву работы скульптора Игоря Линевича-Яворского.

Великий писатель в граните предстал передо мной таким мрачным—как потом объясняли «специалисты», это «типичный жест Астафьева и колючее выражение лица, так свойственное ему при жизни». А по-моему, может, он и бывал таким в какие-то минуты своей жизни, но по сути своей Виктор Петрович был, конечно, проще, человечнее и мягче… Такой «колючий» человек, каким предстал на гранитном постаменте бронзовый Астафьев, не мог бы написать ни «Звездопад», ни «Пастуха и пастушку», ни «Оду русскому огороду», ни «Царь-рыбу», ни «Последний поклон»… Опять же, это только мои впечатления и ощущения…

К Марии Семёновне мы приехали утром следующего дня. Скажу честно: конечно, сдала по жизни вдова писателя. Ещё бы—без малого шестьдесят лет шли они рядом… Потери близких людей всегда являлись ударами судьбы, и ум и сердце отказываются их принимать, но реальность такова, что приходится смиряться с ними и идти по жизни с этим непростым грузом. Для Марии Семёновны эта утрата, да ещё в таком возрасте, стала невосполнимой. Но она мужественно боролась с болезнями, мужественно воспринимала становление по жизни внуков, мужественно пробивала в жизнь увековечивание памяти Виктора Петровича… Она поведала нам беды свои, но говорила со свойственной ей твёрдостью и прямотой, повторяя всё время слова мужа:
— «Пока будет живо моё слово и всё, что может свидетельствовать о моей жизни и работе…» А оно должно жить, поэтому многое уже сделано, но и несделанного в этом отношении тоже достаточно, и на это направлены мои силы…

Я рассказал ей, что двадцать первого июня в Иркутске начинаются «Литературные вечера», посвящённые памяти Виктора Астафьева и Евгения Колобова, которые организовывает Геннадий Сапронов с участием Валентина Курбатова и Валентина Распутина…
— Я очень им благодарна, и предавайте поклон от меня…

Собравшись, мы очень скоро вышли на улицу, сели в машину и двинулись в сторону Овсянки…

Прошло несколько лет со дня смерти писателя, но мои ощущения не согласовывались со временем. Как потом, буквально через месяц, здесь же, на его могиле, скажет Валентин Григорьевич Распутин: «…сейчас окажется, что Виктор Петрович жив и очень много работает… Меньше всего я соглашаюсь с тем, что Виктор Петрович лежит здесь… Да, мы недалеко от него ушли, и он близко к нам…»

День был тёплый и светлый, кладбищенская тишина не внушала никакой тревоги внутренней, что обычно сопутствует в таких случаях… И даже в надпись, начертанную на надгробии, верилось с трудом: «1924–2001» и его привычный и дорогой многим автограф…

Мы постояли какое-то время, Анатолий Петрович зажёг свечи — мы помянули Виктора Петровича. Мария Семёновна подошла к памятнику несколько раз ладонью провела по нему, потом, указав рукой на пустой участок земли рядом, сказала:

— А это моё место…

Мы какое-то время молча постояли ещё и, поклонившись Виктору Петровичу, отправились в Овсянку, в дом, где жил он и который сейчас стал музеем, так же как и находящийся рядом дом бабушки писателя — Екатерины Петровны…

— Хорошо, если бы Галя была там… Ну, если нет, то позовем её, она живёт рядом, — сказала Мария Семёновна, когда мы уже въезжали в Овсянку.

Галины Николаевны Потылициной, двоюродной сестры писателя, которая сейчас заведует всем музейным комплексом, не оказалась на месте. Но проходившая неподалёку девчушка вызвалась позвать её, и очень скоро Галина Николаевна уже подходила к нам. И Мария Семёновна, и Галина Николаевна были очень рады этой неожиданной встрече. Мы приветливо поздоровались и прошли во двор. Сразу же, слева от дорожки, красовался памятник Виктору Петровичу и Марии Семёновне, сидящим на скамейке, скульптора Владимира Зеленова. Да, на том самом месте, где все фотографировались с писателем и которое он с иронией называл «подиумом». Мария Семёновна подошла и ласково погладила бронзовую фигуру мужа по ноге, потом повернулась к нам и, улыбнувшись, сказала:

— Пойдёмте в дом.

Я был очень рад увидеть всё практически в том виде, в каком здесь было при жизни Виктора Петровича. Только вот прибавилось несколько настенных фотографий наших больших должностных лиц, посещавших этот домик уже в качестве музейного комплекса, да и атмосфера ощущалась нежилая, запах музея уже доминировал в горнице… Я огляделся вокруг, и предо мной пролетели те незабываемые часы, которые я проводил здесь с Виктором Петровичем, и мне снова стало очень-очень грустно… Потом мы прошлись по бабушкиному подворью, которое, к чести создателей и реставраторов, воссоздавало ушедшую эпоху, сыном которой был великий писатель…

Уже прощаясь с Марией Семёновной, я в который раз попытался заверить её в своём неостывшем желании поставить ещё спектакль по произведениям Виктора Петровича; хотя «Звездопад» в тюзе ещё шёл, но ставили его редко, отчего, наверное, он всё-таки терял свою атмосферу… Я поцеловал её руки, мы пообещали друг другу встретиться, но, как оказалось, эта наша встреча была последней: шестнадцатого ноября 2011 года этой удивительной женщины не стало…

Поезд мчал меня обратно в Иркутск, где у меня произойдёт ещё несколько удивительных встреч. Одна из них — с Сергеем Григорьевичем Болдыревым. Он в это же время начинал параллельно со мной в Иркутском тюзе репетировать спектакль для ребят по О. Генри «Вождь краснокожих». Про Сергея я много слышал интересных отзывов от людей, учившихся с ним в лгитмике и работавших с ним в Абакане, Иркутске, Новокузнецке, Братске…

Серёжа очень серьёзно относился к любой своей постановке, рассказывал о них с большим интересом и любовью. Удивительно умный и знающий своё дело режиссёр, не признающий «знакового» и «клипового» подхода в этой профессии, постоянно ищущий в ней психологической правды, что сейчас становится не очень модным…

Мы как-то заговорили о Викторе Астафьеве… И он, что называется, взахлёб стал мне рассказывать, как он ставил в Минусинском драматическом театре в конце восьмидесятых годов пьесу Виктора Петровича «Черёмуха»:

— Мне Петя Аникин позвонил, тогда — директор театра в Минусинске, сказал, что срочно нужно ставить эту пьесу… «Черёмуха» Астафьева! Я не поверил… Конечно, какие вопросы?!.. Репетировали, что называется, по полной программе, всё-таки автор приехать на премьеру должен… Все волновались, я, кажется, больше всех… Ты знаешь, Слава, воспринял спектакль Виктор Петрович очень хорошо, но мы перед премьерой всё равно с ним в храм сходили… А потом спектакль в Красноярск свозили, Виктор Петрович был этому очень рад… Не поверишь, у меня в этом в спектакле в Красноярске даже Петренко сыграл…

— Как это, Сергей? — я действительно не совсем этому поверил.

— Дядя Лёша тогда гостил у Виктора Петровича и попросил у меня сыграть что-нибудь в массовке… Я так с радостью… Да и все были очень довольны… Вот такие дела у меня случались с Виктором Петровичем…

— Здорово, Сергей.

Я искренне разделял его радостные ощущения от тех далёких воспоминаний, которые, как говорят, дорогого стоят и никакими деньгами не измеряются…

— Ты знаешь, Слава, я ведь и «Прости меня» делал в Новокузнецке… И мы его привозили на «Сибирский транзит», который проходил в Красноярске, кажется, в две тысячи пятом году… И ничего, критики отметили…

— Молодец, Серёжа...— я ещё раз порадовался за него.— Только мой «Звездопад» в это время пролежал в «кармане» Красноярского тюза и, как потом окажется, не совсем ещё потрёпанным спектаклем был...

— Когда потом?— переспросил Сергей Григорьевич.

— Года примерно через два репертуар тюза отсмотрят московские критики— Екатерина Дмитриевская и Ольга Глазунова... Я беседовал после их поездки в Красноярск с Ольгой Леонидовной, и она сказала, что «Звездопад» им очень понравился...

— Тогда главным там был. ..?— уточнил Сергей.

— Да, да...— подтвердил я.

— Ну, ты же знаешь, как это называется?

— Да, Сергей, знаю... Мне об этом уже говорила Мария Семёновна...

Сергей Григорьевич после иркутской постановки «Вождь краснокожих» уезжал в Ачинский драматический театр главным режиссёром. У него было очень много планов. Как настоящему художнику, они не давали покоя ему, как говорят— «на свет Божий просились»... Не успел он много сделать, «сгорел» Сергей Григорьевич Болдырев чуть больше чем через год, «сгорел», как настоящий художник...

А двадцать первого июня 2009 года, вечером, я с большим волнением шёл в театр им. Н. П. Охлопкова на вечер памяти Виктора Астафьева и Евгения Колобова. Меня встретил Сергей Афанасьевич Снарский. Перед театром было много народа, Сергей здоровался со всеми, приветливо улыбался... Мы переступили порог знаменитого театра, бережно и с любовью реконструированного его замечательным директором Анатолием Андреевичем Стрельцовым... В фойе продавались удивительные сувениры Прибайкалья и не менее удивительные книжные издания Геннадия Константиновича Сапронова... К подаренным Геной книгам я взял ещё две— Валентина Распутина «В поисках берега» и «Век живи— век люби» и Валентина Курбатова «Подорожник». Уже войдя в зал, Сергей Афанасьевич сказал мне:

— Пойдём— познакомлю тебя с Валентином Григорьевичем Распутиным.

Я очень волновался, подходя с Сергеем к первому ряду у прохода, где уже сидел писатель. «Надо же,— подумал я про себя,— второе место с краю в первом ряду— как и Астафьев у меня всегда это место просил!.. Совпадение или...» Увидев Сергея, он встал, улыбнулся и протянул ему руку. Они вкратце обменялись новостями...

— А это Слава Сорокин,— представил меня Валентину Распутину Сергей.— Ставит сейчас в тюзе спектакль. Между прочим, с Виктором Петровичем в Красноярске делал «Звездопад»...

Писатель протянул мне руку.

— Здравствуйте, Валентин Григорьевич, очень рад вас видеть,— выдохнул из себя я.

— Добрый день, я тоже,— ответил он, взглянув на меня своим добрым и печальным взглядом.

— Я только что был в Красноярске у Марии Семёновны, она передаёт вам поклон в память о Викторе Петровиче; я сказал ей, что сегодня вечер...

— Спасибо,— ответил Валентин Григорьевич.— Я думаю, мы скоро навестим её— по Ангаре и Енисею...

— Да, Геннадий Константинович говорил мне...

— Вы знакомы с Геной?— несколько удивился Валентин Григорьевич.

— Да, с тех пор, когда он приезжал ко мне на премьеру «Звездопада» в Красноярск... Валентин Григорьевич,— собираясь с силами, продолжал я.— Если у меня возникнет такая возможность— поставить «Живи и помни», я очень хочу поставить,— могу ли рассчитывать на ваше согласие?

Писатель, улыбнувшись, как-то очень просто ответил:

— Да сколько хочешь...

— Спасибо большое.

Я протянул ему книгу «Век живи— век люби», попросив автограф и заметив при этом, что, например, Виктор Петрович не всегда соглашался с подобными предложениями...

— Ну, Виктор Петрович— да...— не досказав мысль, Валентин Григорьевич что-то написал в книге и протянул мне обратно.

— Спасибо большое, Валентин Григорьевич,— с благодарностью ответил я и пригласил его двадцать седьмого июня на премьеру «Незнакомки».

Прозвенел третий звонок... Наши места с Сергеем оказались во втором ряду, сразу же за Валентином Распутиным. Мы сели, я открыл книгу и прочёл: «Вячеславу Сорокину на дружбу. Валентин Распутин. 21.06.09». Эмоции внутри переполняли меня...

Свет в зале погас, высветилась сцена, на ней экран, на котором стали оживать страницы недавней истории... Истории, связанной, прежде всего, с памятью об ушедшем от нас почти восемь лет назад Викторе Петровиче Астафьеве... Фильм небольшой, фильм-посвящение, пронизанный трогательной музыкой, воссоздавал на экране живописные высокие берега Енисея, его— Писателя, уютный домик в Овсянке, а вот и он сам, пишет в тиши своей строчки, болью пронизанные, чтобы прочли мы их и стали чище немного, добрее, честнее, отзывчивее... И всплывают на экране слова его как напоминание, призывающее услышать созвучие струн души, что дало бы человеку найти, быть может, путь к совершенству в развитии своём.

«Как бы мне хотелось, чтобы человек в развитии своём достиг такого совершенства, при котором, покинув сей свет, мог бы он слушать музыку родной земли.

Лежал бы на вечном покое, отстранённый от суеты и скверны житейской, а над ним вечная музыка. Для него только и звучит. И всё, что он не смог услышать и дослушать при всей своей бедовой и хлопотной жизни, дослушал бы потом, под шум берёз, под шелест травы и порывы ветра…

Вот это было бы бессмертье, достойное человека, награда за муки его и труд.

Виктор Астафьев».

После чего на сцену поднялся Геннадий Константинович Сапронов и стал говорить о «Литературных иркутских вечерах», которые стали уже хорошей традицией, и что сегодняшний вечер посвящён двум замечательным людям и художникам — Виктору Астафьеву и Евгению Колобову… И что даже возникла такая идея — издать книгу «Созвучие», в которой были бы собраны рассказы и отрывки из повестей и романов Виктора Астафьева, написанные либо о музыке, либо особенным музыкальным словом и дополненные диском с любимыми музыкальными произведениями писателя.
— Мы издали такую книгу, тем самым воплотили в жизнь идею Евгения Колобова…

Геннадий Константинович говорил увлечённо, темпераментно, красиво… Было даже ощущение, что мысль и голос его обращены не просто к конкретным людям в зале, а куда-то свыше…
— Виктор Астафьев ставил музыку превыше всех искусств, — отметил Геннадий Сапронов. — Ему бы, писателю, напротив, сказать: в начале было слово. А он считал, что прежде возникли звуки природы, птиц, которые и были первой музыкой. Поэтому когда они познакомились с Евгением Колобовым, то фактически сразу стали друзьями. Помню, когда Виктору Астафьеву исполнялось семьдесят пять лет, Колобов позвонил ему и сказал, что хотел бы сделать музыкальный подарок Красноярской филармонии. Приехал с чемоданом партитур, репетировал с оркестром три дня — и дал концерт, в котором звучали Рахманинов, Калинников, Альбинони, Массне, Хачатурян…

Геннадий заверил зрителей, что музыкальная часть «Вечеров…» пройдёт двадцать четвёртого июня с участием артистов «Новой Оперы» — Татьяны Табачук, Эльвиры Хохловой, Ксении Волковой, Евгения Кунгурова, Игоря Головатенко, Максима Кузьмина-Каркаваева…

Ведущий подчеркнул, что 2009 год — это ещё и пушкинский юбилей, а это — связь времён и сохранение традиций, которым мы все остаёмся верны…

Эту мысль продолжил Валентин Яковлевич Курбатов, не просто знаток пушкинских мест, а живший там и потому не понаслышке знающий родные места поэта и связанные с ними творческие мотивы… Он взволнованно и эмоционально говорил о самом селе Михайловском, о его многолетнем хранителе Семёне Степановиче Гейченко, который более чем за сорок пять лет работы там внёс огромный вклад в воссоздание Пушкинского заповедника…

К Валентину Яковлевичу было много вопросов — и он отвечал на них откровенно, высказывая свой взгляд, в том числе и на современные проблемы духовности, нравственности и культуры в целом…

В конце вечера, находясь под огромным впечатлением, я не мог не подойти и не поблагодарить и Геннадия Константиновича, и Валентина Яковлевича за память о Викторе Петровича и, конечно, за тёплую атмосферу вечера, которую подарили зрителям его организаторы. В свою очередь, подписывая мне свою книгу «Подорожник», Валентин Курбатов написал: «Вячеславу Сорокину с благодарностью за Виктора Петровича. В. Курбатов. 21.06.09», — за что я ему чрезмерно благодарен…

Я покидал Иркутск с теплотой и любовью, которыми он, этот великолепный город, и его замечательные люди щедро одарили меня и которые я по сей день бережно храню в своём сердце…

Как храню в сердце и памяти своей и всё, что подарили мне товарищи и друзья мои в городе на Енисее, с которыми незабвенно, увлечённо творили мы то, что рождалось через боль и любовь сначала у великого писателя, а потом и у нас на сценической площадке… За что я бесконечно благодарен вам, и эта благодарность — есть все эти откровения мои…

Господь и жизнь иногда нам на самом деле преподносят бесценные подарки… Встречи с талантливыми, честными, открытыми миру и ранимыми, идущими навстречу тебе, протягивающими руку в беде, да и не только в беде, и бескорыстными во всём людьми… Соприкасаясь с деяниями и творчеством которых, да и с ними самими, в тебе начинает просыпаться совесть, что не так ты что-то делаешь, не так идёшь по жизни, не так относишься к близким своим, да и не только к близким… А совесть, как известно, это такая маленькая штучка, которая границей проходит и балансирует на грани бытия и бездны, света и тьмы, огня и холода, добра и зла…

Дарят нам эти встречи с такими людьми иногда благодаря, а иногда вопреки обстоятельствам… Как важно в тот момент разглядеть, увидеть и распознать свет настоящий в глазах их, который озаряет тебя… Почувствовать тепло души и рук их, сохранить всё это, а потом и одарить других… Не для того ли и пришли мы в этот мир, где память даёт нам силы и радость бытия, а забвение для смертных — смерти и подобно?..

Слово, то настоящее слово, которое зазвучит в тебе первозданно, словно оживаешь ты, и силами крепнешь, и готов к созиданию и любви…

Господи, а какие слова Валентин Григорьевич Распутин сказал о нём: «Но когда звучит в тебе русское слово, издалека-далёко доносящее родство всех, кто творил его и им говорил; когда великим драгоценным закромом, никогда не убывающим и не теряющим сыта, содержится оно в тебе в необходимой полноте, всему-всему на свете зная подлинную цену; когда плачет оно, это слово, горькими слезами уводимых в полон и обвязанных одной вереей многоверстовой колонны молодых русских женщин; когда торжественной медью гремит во дни побед и стольных праздников; когда безошибочно знает оно, в какие минуты говорить страстно и в какие нежно, приготовляя такие речи, лучше которых нигде не сыскать, и как напитать душу ребёнка добром, и как утешить старость в усталости и печали,—когда есть в тебе это всемогущее родное слово рядом с сердцем, душой, напитанными родовой кровью,—вот тогда ошибиться нельзя. Оно, это слово, сильнее гимна и флага, клятвы и обета; с древнейших времён оно само по себе непорушимая клятва и присяга. Есть оно—и всё остальное есть, а нет—и нечем будет закрепить самые искренние порывы…»

«Пока живо моё слово,—ответил, уходя, нам Мастер,—буду и я жив…» С настоящего *слова* всё начиналось, *им* продолжилось, *им* и живём сейчас, хотя порой как *его*, настоящего-то, сейчас не хватает; поэтому и бесценно *оно* сегодня, как и бесценна память о *нём… Викторе Петровиче Астафьеве…*

Д*и*Н юбилей

Елена Янге

День и ночь

(сказка-притча)

В одной далёкой стране, на берегу горной реки, жила-была Чайка. Она не летала в поисках корма, не вила гнездо; она сидела на Скале и размышляла. Странная, ей-богу!

Чайка любила эти места. Внизу расстилалась долина, шумела река, вдали темнела горная цепь. Иногда на вершину Скалы опускалось облако, состоящее из вопросов. С крутыми лбами, выпуклой грудью—вопросы касались Чайки, и та начинала размышлять. Стоило выяснить, каков смысл жизни, как появился новый вопрос: «Зачем нужна ночь?»

— Действительно, зачем?

Чайка спустилась к реке.

— Зачем нужна ночь?—спросила она.

Река вспенилась и махнула прозрачной рукой.

— Для меня день и ночь—всё едино,—ответила она.

Чайка полетела над долиной. Каждому встречному она задавала тот же вопрос: зачем нужна ночь? Ответ был один: чтобы отдыхать.

Вернувшись на вершину, Чайка обратилась к Скале:

— Зачем нужна ночь?

— Чтобы услышать тишину,—пророкотала Скала.

— Вот как? Но зачем её слушать?

Вопрос повис в воздухе, и Чайка вздохнула.

«Скала лишних слов не тратит. Она не раз говорила: „Ты или понимаешь, или нет“».

Небо окрасилось перламутром, и показалось Солнце. Оно улыбнулось миру, и, взглянув на долину, Чайка ахнула. На траве, цветах и камнях сверкали россыпи бриллиантов. Капельки росы переливались всеми цветами радуги, цветы поднимали головы, труженица-река взбивала седые кудри.

И тут в голову Чайки залетела мысль—простая и необычная одновременно:

«Если бы не было ночи, мир бы не знал утра».

Чайка подошла к краю скалы и крикнула на весь мир:

— Утру предшествует ночь!

— Верно,—рассмеялось Солнце.

Тысячи солнечных лучей понеслись по долине, им вслед зазвенели колокольчики:

— Динь-день, динь-день!

На скалу опустился Ветер. Он был хмур и суров.

— Каков бы ни был день, а вечер наступит,—пробормотал Ветер.—Это неизбежно.

— А потом придёт ночь,—сказала Ящерица и юркнула в ближайшую расщелину.

У подножья Скалы вздохнула Земля:

— Ночь дарит тайны и откровения.

— А днём расцветают чувства,—добавило Солнце.

Ветер сорвался со Скалы и полетел вдоль Реки.

— Чувств и ночью хватает,—крикнул он.

Чайка осталась одна. На сей раз она не думала ни о чём. Она смотрела, слушала и наслаждалась—утром, днём, вечером, ночью. А погрузившись в сон, услышала рокот Скалы:

— День и ночь—это границы.

Чайка открыла глаза и тихо спросила:

— Границы чего?

— Многозначного мира.

Иван Булава

Встречи с писателями

В конце девяностых—начале нового тысячелетия я заканчивал работу над своей первой книгой «Флотская судьба». Книга меня захватила, и я работал над ней, как только выдавалась свободная минута: в пути, в командировках, в отпуске. Способствовала работе семейная обстановка: молодая красивая любимая жена Марина, трёхлетний сын Антон, в котором я души не чаял, дела в пароходстве, кризис и угроза банкротства которого остались позади. К тому времени я близко познакомился с В. П. Астафьевым. Наши долгие беседы и встречи происходили на презентации книг «Летопись судоходства», переизданной к девяностолетию И. М. Назарова, «Были великой реки», открытии с его участием мемориальных досок, посвящённых И. М. Назарову—на речном вокзале, в Игарке—капитану парохода «Тобол» П. Ф. Очеретько и его команде, в кабинете начальника пароходства, у писателя в Овсянке, а в последнее время, когда он тяжело болел, у него на квартире в Академгородке. Тема наших бесед с Виктором Петровичем больше касалась острых вопросов того времени: акционирование и приватизация; наш курс на сближение с Норильским комбинатом в противовес нефтяной компании «Лукойл». «Не обманет ли руководство комбината Енисейское пароходство?»—задавал вопрос Виктор Петрович. При всех прочих отрицательных сторонах этой стратегии, он соглашался, что ни комбинат без Енисейского флота, ни Енисейское пароходство без грузов комбината не проживут. Виктор Петрович горячо поддержал идею создания Красноярской региональной общественной организации «Клуб капитанов» и литературно-творческого объединения при нём и позднее был избран первым почётным членом КРОО «Клуб капитанов». По инициативе Совета клуба танкер смешанного «река-море» плавания носит имя «Виктор Астафьев». После смерти Виктора Петровича наступило осмысление того, насколько рано он ушёл из жизни, как много осталось того, о чём мы не успели у него спросить и обсудить. Многое стало понятно из его завещания, напечатанного его почитателями и близкими отдельной книгой. Такие мысли могли родиться после глубокого анализа им пережитого и выстраданного. Он, как и многие из его поколения, любил Россию, Сибирь, был патриотом своего края. Но то была любовь особенная, патриотизм не показной. Он по-своему оценивал итоги нашей Победы над фашистской Германией, роль в ней политработников. Ничем необоснованный и невосполнимый вред стране нанёс геноцид против своего народа. Уничтожение лучших слоёв населения страны через раскулачивание и репрессии, уничтожение как «врагов народа» талантливых людей страны, инакомыслящих, способных специалистов и руководителей. Но больше всего людей страдало по ложному доносу, оговору. Среди общества росла всеобщая боязнь сказать что думаешь, сделать что хочешь, нарушив то, чего не знаешь. На протяжении всей советской власти выросло поколение с инстинктом стадности, трусости, лжи. Неслучайно в период Великой Отечественной войны было столько предательств, как никогда в Российском государстве. С уходом из жизни В. П. Астафьева утеряна с моей стороны уникальная возможность дать познакомиться моему в то время семилетнему сыну Антону с этим великим человеком. Хотя в таком возрасте ему значимости такой встречи не понять, но пройдут годы, и, возможно, искорка этой встречи вспыхнула бы у моего сына зарёй воспоминаний о прошлом в его жизни и его новом времени.

Зародившись в голове, эта мысль привела меня к идее близко познакомиться с другим русским писателем—Анатолием Чмыхало. Удобный случай подвернулся неожиданно. Художник Николай Кузьмин, работая над заказом Енисейского пароходства по написанию портретов, в беседе рассказал мне, что пишет портрет А. И. Чмыхало на фоне деревни на Алтае, где Анатолий Иванович родился. Вместе с главой города Красноярска П. И. Пимашковым они бывали в родных местах Анатолия Ивановича.

— Без всяких сомнений,—заверил меня Николай Кузьмин,—с вами он пожелает встретиться.

Анатолий Иванович жил в это время безвыездно у себя на даче на Базаихе. Встреча состоялась в конце августа в 2006 году у нас на даче, на берегу речки Мана. Погода стояла прекрасная. Было нежарко, хотя день был солнечным. Анатолий Иванович подъехал в одиннадцать часов на служебной автомашине, которая была закреплена за художником Николаем Кузьминым. Мы

с Антоном встретили гостей у открытой калитки, обнялись. Я представил в полушутливой форме Анатолию Ивановичу Антона. Очевидно, он был наслышан о моей молодой семье, поскольку не удивился малолетнему сыну, которому на тот момент исполнилось девять лет. К этому времени у Анатолия Ивановича начались проблемы с ногами, и долго ходить он не мог. Поэтому, прогуливаясь не спеша по уложенной брусчаткой дорожке вдоль дома, мы прошли на площадку для отдыха, где Анатолий Иванович присел на скамейку, а я начал колдовать возле барбекю для приготовления шашлыков. Дрова в печке уже прогорели, и она дышала жаром, поблёскивая изнутри синим пламенем догорающих углей. Шашлыки были подготовлены на длинных шампурах. Их по нескольку штук на перекладинах—металлических прутьях—я опускал в огнедышащее жерло квадратного, глубиной шестьдесят сантиметров, колодца. Снизу круглое отверстие—поддувало—закрывалось плотно заслонкой, а сверху—для закладки дров и загрузки шашлыков—металлической крышкой с теплоизоляцией из асбестового полотна. Шашлыки начали жариться, а я, смахнув пот с лица и сняв брезентовую куртку и верхонки, присел к Анатолию Ивановичу, продолжая начатый разговор о дачах.

— На Базаихе у меня маленький участок, шесть соток, домик—стандарт того времени,—рассказывал Анатолий Иванович.—Да я никогда не страдал гигантоманией, дача меня устраивала. Там мы с женой встречали гостей, растили детей. Было уютно и комфортно. Потом остался один… к этому привыкнуть нельзя. Можно притерпеться. Но скучаю по прошлому, которого уже не вернёшь, по общению с людьми.

Время пролетело незаметно, и вскоре запах жареных шашлыков начал дразнить аппетит—верный признак их готовности. Я приступил к очередному этапу колдовства: осторожно снял крышку с печки, она дохнула горячим паром жареного мяса, лука, разных приправ, в которых томилось мясо, и начал доставать шампуры, складывать их на поднос. Шашлыки отливали янтарём, без угольков и сожжённых лука и приправ, чего не избежать при их готовке на открытом воздухе.

Мы расположились в беседке среди цветущих роз, пышно распустившихся бутонов георгин, буйно цветущего курильского чая, начинавших краснеть гроздьев калины и рябины.

Выразив сожаление, что последние десятилетия он редко встречался с енисейскими речниками, хотя делами на Енисее всегда интересовался, Анатолий Иванович вспомнил добрым словом Ивана Михайловича Назарова—начальника Енисейского пароходства в 1939–1970 годы.

Для меня было интересно познать, как становятся писателями, как выросла такая творческая глыба, как Анатолий Иванович Чмыхало. Я спросил у него:

— Анатолий Иванович! Расскажите, пожалуйста, о себе. Для нас с Антоном это очень интересно.

— Писателем быть нелегко. Вечно ты уходишь в себя, часто не слыша рядом своих близких, за что мы нередко попадаем в немилость к тем, с кем чаще всего и ближе всего общаемся. Это становится образом жизни. Стать писателем я не мечтал в детстве, хотя первая прочитанная мною книга осталась в памяти на всю жизнь.

Детство Анатолия Ивановича проходило в тяжёлое, неспокойное для всей страны время послевоенной разрухи (после Гражданской войны) и голода, междоусобицы, кровавого установления советской власти. Это время нашло отражение в романах Анатолия Чмыхало «Половодье» и «Отложенный выстрел». Его отец, Иван Миронович, вынужден был под покровом ночи бежать из деревни, предупреждённый людьми, ещё не совсем потерявшими совесть, что за ним придут. Ни в чём не чувствуя вины, разве что отказавшись от должности председателя местной организации, он вынужден был скрываться. Так делали многие в то смутное время. Что-то похожее происходило и с моим отцом, Антоном Максимовичем. Вся его вина была в том, что он отказался наотрез вступать в колхоз. Затурканный дополнительными налогами, уводом последней скотины со двора, принудительными работами, он уже ничего не боялся и ушёл на голгофу навсегда, оставив у порушенного хутора семерых детей, старшему из которых не исполнилось и десяти лет.

Прибавив к своему возрасту один год, Анатолий Иванович поступил в артиллерийское училище, а в 1943 году—лейтенантом, командиром взвода—был на фронте, в разведке.

Анатолий Иванович уже в те свои годы был крупного телосложения, недюжинной в руках силы, а потому в первой же схватке с крупным рыжим немцем автоматная очередь фашиста не успела прошить грудь молодого лейтенанта. Финский нож сверкнул мгновенно, вонзённый в живот врага, и тот рухнул к ногам богатыря. Эта картина, вызвавшая тошноту и рвоту у победителя, стояла наяву и во сне всю жизнь у Анатолия Ивановича. Были ещё не менее острые моменты во время военных баталий, пока не накрыл их батарею снаряд большой мощности, и Анатолий Иванович, тяжело раненный в голову, контуженный, без сознания, был подобран санитарами, а дальше—госпиталя, сложные операции, инвалидность и полная непригодность к воинской службе.

Мы с Антоном слушали как заворожённые, не шелохнувшись. Мы даже не заметили, как скрылось солнце, небо закрылось свинцовыми тучами, сверкнула молния и послышались первые раскаты грома. Не успели мы перебраться на веранду, как

хлынул дождь как из ведра. Через полчаса ветер прогнал тучи, защебетали воробьи, запахло свежестью, а мы продолжали беседу.

После демобилизации Анатолия Ивановича особенно нигде не ждали. Уехал в Ташкент. Там недолгое время после тайного бегства временными заработками перебивался его отец, осталась кое-какая родня. Физически Анатолий Иванович трудиться не мог, устроился в театр. Начал пробовать себя в поэзии. И всё же его тянуло в Сибирь. Судьба забросила его в Ачинск, где он опять пошёл в местный драматический театр, начал сотрудничать с местной газетой.

Та не столь далёкая наша первая встреча с Анатолием Ивановичем продлилась почти до заката солнца. Анатолий Иванович с небольшими перерывами, чтобы выровнять дыхание, рассказывал интересные истории, вдохновенно, в его манере, громким голосом. Незаметно солнце опустилось к горизонту, а мы не могли закончить интересную для меня тему, над которой тогда я упорно работал: адмирал А. В. Колчак, тот период, когда он возглавлял поиски следов пропавшей экспедиции барона Эдуарда Толля. Ведь тогда они в одной упряжке с Никифором Бегичевым исследовали район Арктики, куда предположительно направился Толль. Они всё же нашли материалы исследования барона, после того как он с двумя товарищами отправился на поиски загадочной Земли Санникова. Но об этом я знал, у меня были материалы исследования этой темы В. Н. Шевченко — енисейского капитана.

А вот о судьбе Анны Васильевны Книпер-Тимирёвой, гражданской жены А. В. Колчака, которая прибыла к нему в Омск, я впервые услышал от Анатолия Ивановича. Я и предположить себе не мог, что она может оказаться в скромной должности художника театра в Рыбинске, где с большим трудом разыскал её Анатолий Иванович, пережившую застенки НКВД, ограниченную в правах. Её воспоминания об А. В. Колчаке нашли место в романе «Половодье», отчего Анатолий Иванович имел проблемы с разного уровня цензорами при издании книги. «Настоящая русская женщина преданной и чистой любви», — такую оценку дал Анатолий Иванович взаимоотношениям этих людей.

Здесь же Анатолий Иванович рассказывал о другой истории, где роковую роль сыграл талантливый поэт, спецкорреспондент газеты «Водный транспорт» Казимир Лисовский. Он дважды выступал в газете «Водный транспорт» по вопросу насильственной смерти Никифора Бегичева, тем самым погубил невинного человека. Вследствие этого В. М. Натальченко, от которого отказались его и усыновлённые им дети Н. Бегичева, застрелился из двустволки, которая служила ему, когда они с Никифором Бегичевым в артели «Белая ночь» вели промысел на мысе Входном в устье реки Тарея. Не забыла мужа Анисья Георгиевна, которая в двухкомнатной квартире в Енисейске хранит память о Никифоре Бегичеве: его бокари, кухлянку, охотничьи снасти, большой портрет, подаренный ему Российской академией наук. Улица в Енисейске, на которой стоит домик Никифора Бегичева, носит его имя.

Ещё об одной трагедии поведал Анатолий Иванович в ту первую встречу на Мане. Во сне и наяву, рассказывал Анатолий Иванович, часто видится гора книг, двадцать пять тысяч экземпляров, облитая керосином, горящая жарким пламенем во дворе Красноярского книжного издательства. То горело его детище — правда об Отечественной войне, роман «Три весны». На приём к первому руководителю края он, при всём его авторитете, смелости и решительности, пробиться не мог. Тогда Анатолий Иванович пригрозил голодовкой, на что получил ответ: «А мы вас кормить будем нетрадиционным методом».

После встречи на Мане мы нередко виделись с Анатолием Ивановичем у него дома, у меня на семидесятилетнем юбилее, у него на восьмидесятипятилетнем юбилее, на презентации его двухтомника — дилогии в стихах и прозе «В царстве свободы». Об одной из таких встреч хотелось бы вспомнить.

Ещё апрель, ещё далеко до начала навигации. Енисей дремлет в ожидании первых судов с грузами для Севера. Ой как их ждут в Туруханске, Игарке, Дудинке, Байките, Ванаваре, Туре.

Неторопливо работают рейдово-маневровые суда, расставляя по причалам баржи для погрузки первоочередных грузов на боковые реки. Хлопотно сегодня капитанам и механикам. Окончание судоремонта, укомплектование экипажей, снабжение судна всем необходимым, отработка учебных тревог по борьбе за безопасность плавания — вот чем забиты головы главных людей на флоте. Везде надо успеть, всё надо предусмотреть, быть готовым к любым неожиданностям, которые может преподнести своенравный Енисей, а мы сидим в кабинете писателя Анатолия Чмыхало и ведём неторопливую беседу о прошлом и настоящем великой реки, робко заглядывая в будущее.

Он не стоял на капитанском мостике, вроде бы не имеет прямого отношения к Енисею, но немало озабочен судьбой этого подлинного чуда природы. Он родился далеко от этих мест, но считает себя приёмным сыном Енисея. Да так оно и есть.

Тогда же Анатолий Иванович, будучи секретарём красноярской писательской организации, познакомился с Иваном Михайловичем Назаровым — начальником Енисейского пароходства. Их сблизила большая любовь к Енисею. Иван Михайлович тоже родился далеко отсюда. Однако судьба забросила его в Сибирь, на Енисей. В неполных тридцать три года он возглавил Енисейское речное пароходство и почти тридцать лет успешно руководил им.

Вот как освещал журнал «Енисей» это событие в шестом номере за 1972 год: «Была средина недели, обыкновенный будничный день, но настроение у всех приподнятое, праздничное. Вполне понятно: завтра, третьего августа, открывались «Енисейские встречи» — большой литературный праздник, посвящённый полувековому юбилею образования СССР. Такие праздники стали традиционными на нашей земле. Каждый год на Дни советской литературы приезжают к нам поэты, прозаики, драматурги и критики со всех республик, краёв и областей нашей страны».

А начиналось всё в далёком 1958 году, когда руководство пароходства совместно с красноярской писательской организацией организовало рекламно-туристический рейс на теплоходе «В. Чкалов», в то время самом комфортабельном пассажирском судне не только на Енисее, но и во всей стране. Вот как вспоминает о том времени капитан этого теплохода С. И. Фомин: «До этого водного туризма на Енисее не было. Все грузопассажирские суда давно устаревших конструкций были заняты массовой перевозкой пассажиров. Судов не хватало. Использовались баржи, трюмы которых были оборудованы трёхъярусными нарами. Возвращались в родные места после реабилитации заключённые, народы прибалтийских республик, финны, поволжские немцы, калмыки и другие, насильно переселённые в Сибирь в предвоенные, военные и послевоенные годы».

В конце пятидесятых поток возвращенцев иссяк, а флот пароходства интенсивно стал пополняться пассажирским флотом. В течение скорого времени пришли теплоходы «В.Чкалов», «А. Матросов», «Байкал», «Балхаш», девять дизель-электроходов и другие. Все суда были повышенной комфортности. Для них была нужна загрузка. Мы вспоминаем теперь уже ставшие историей шестидесятые и семидесятые годы прошлого века, когда к Енисею было приковано внимание всей страны. На всех языках звучали слова удивления и восхищения. Именно тогда родились знаменитые «Енисейские встречи». Писатели всех республик тогдашнего Союза устремились сюда, чтобы рассказать в своих статьях и книгах о незабываемом чуде, имя которому — Енисей. Всякое большое дело требует рекламы. Организаторы первых рейсов понимали, что лучше творческой интеллигенции эту проблему никто не решит. Приглашение было направлено практически во все творческие организации страны, республиканские, краевые и областные советы по туризму. На приглашение отозвались и приехали более ста пятидесяти человек со всех уголков нашей в то время огромной страны: писатели В. Кожевников, А. Кожевников, С. Кожевников, С. Сартаков, И. Рождественский, А. Некрасов, В. Некрасов, журналист Тёмин и другие.

Первое путешествие, как вспоминает капитан С. И. Фомин, оказалось тяжёлым. Преследовали штормы. Были встреча со льдами, туманы. Однако пассажиры не унывали. Для них всё было интересно. Многие из них в Сибири были впервые. Экскурсии по Енисейску, Туруханску, Игарке, Дудинке и поездка в Норильск оставили у них массу впечатлений. Особенно покорил Диксон. С большим трудом теплоход зашёл в бухту Диксон самостоятельно, однако через сутки выйти в море уже не смогли. Северный ветер нагнал льда в Енисейский залив. Пришлось просить помощи в штабе Западного сектора Арктики, начальником которого был знаменитый полярный капитан Стрекаловский. Сегодня его именем назван морской ледокольный сухогруз. Стрекаловский даёт задание вывести теплоход «В. Чкалов» на чистую воду ледоколу «Ермак». Однако капитан ледокола высказал опасение: «Я не только ему винты поломаю, но и гребные валы повыдергаю». Для обеспечения безопасности нужно дать задание дизель-электроходу «Индигирка» сделать канал во льду, а по каналу будет идти ледокол «Ермак», взяв «на усы» (вплотную в корму) теплоход «В. Чкалов». Через четыре часа теплоход благополучно был выведен на чистую воду. Стрекаловский тоже хорошо понимал значение регулярной туристической линии Красноярск — Диксон. Ещё не вернулись в Красноярск, как вышел на связь начальник пароходства И. М. Назаров: «Вашим рейсом интересуется министр З. А. Шашков. Газеты «Водный транспорт», «Известия» поместили большие статьи о вашем путешествии. Молодцы! Теперь об этом рейсе узнает вся страна». И действительно, многие республиканские и областные газеты поместили материал о Енисее. Вскоре вышла книга В. Некрасова «Мы были на Диксоне».

— Туристический маршрут Красноярск — Диксон — Красноярск стал одним из популярных. Каждую навигацию мы делали по четыре тура с полной загрузкой, — закончил свой рассказ Степан Иванович.

Тесная дружба связывала Ивана Назарова и Анатолия Чмыхало. Они подолгу беседовали в маленькой комнатушке рядом с рабочим кабинетом И. Назарова. Чаще всего разговор шёл о творчестве Ивана Михайловича. Советы уже знаменитого к тому времени писателя Анатолия Чмыхало были для него очень важны.

Трудно переоценить ту большую роль, которую сыграл И. М. Назаров в прославлении Енисея. Как писатель, влюблённый в Сибирь и людей, преобразующих её, он стремился показать енисейских речников в своих произведениях. Иван Михайлович любил приглашать на Енисей писателей, поэтов, художников. Он не видел в них конкурентов, уверенный, что наш край — регион необъятных возможностей, и всех российских писателей будет мало, чтобы воздать ему должное, рассказать о нём,

воспеть его так, как он того заслуживает. Они с А.Чмыхало были ключевыми фигурами «Енисейских встреч». Патриот ставшего ему родным Красноярского края, И.М. Назаров остался таким в памяти всех, кто знал «енисейского адмирала» и работал с ним. Таким и останется он в памяти благодарных читателей его книг. История донесла до нас прекрасные слова знаменитых современников об Иване Михайловиче Назарове. Ольга Берггольц назвала его хозяином Енисея, Георгий Кублицкий—сыном Енисея, Сергей Михалков—душой Енисея. Его именем назван теплоход «Иван Назаров», который уже более двадцати лет бороздит моря далеко от Енисея.

Все эти годы и Анатолий Иванович Чмыхало был с Енисеем, писал о событиях давно минувших дней, происходящих в том числе в Сибири и на Енисее. Много сил и времени потрачено Анатолием Ивановичем, чтобы докопаться до истины описываемых им событий. Центральные архивы Москвы, Петербурга, Красноярска надолго становились его рабочим местом. Недаром при анкетировании части студентов Красноярского государственного педагогического университета на вопрос: «По каким источникам вы изучаете историю Сибири?»—более семидесяти процентов ответили: «По Чмыхало». В увидевшем свет в 2007 году двухтомнике «В царстве свободы»—дилогии в стихах и прозе—Анатолий Иванович подводит итог более чем пятидесятилетней творческой деятельности гражданина, «русского националиста», как он себя называет, горячо любящего Россию, Сибирь, Енисей.

Во втором томе дилогии—романе «Плач о России»—есть поэтическая зарисовка «Прощание славянки». На енисейском флоте этот марш стал символом торжества, уверенности и щемящего чувства о ком-то родном, близком. Анатолий Иванович в образе своей матери, которые у всех нас есть или были, сумел это показать. Флотское вам спасибо и низкий поклон! В очерке «Большая судьба»—отзыве на одну из книг енисейских речников—Анатолий Иванович пишет: «Енисейские капитаны. Их много: сколько кораблей на Енисее, столько и капитанов. Конечно, внешне они отличаются друг от друга. Одни—рослые и статные, настоящие богатыри, другие, наоборот, поджарые, вёрткие, среднего, а то и маленького роста. А объединяют их независимость и твёрдость в принятии важных решений. На то они и капитаны. И то сказать, без капитанов не было бы не только туристических маршрутов по Енисею, но и Лесосибирска, Игарки и Норильска. И даже сам Красноярск не стал бы таким, какой он сегодня».

Последнее десятилетие водный туризм на Енисее практически прекратился. Были на то субъективные и объективные причины. Сначала банкротство профсоюзов, которые в массовом порядке распределяли туристические путёвки, потом распродажа пассажирских судов—вконец извели туризм на Енисее. Все понимают, что возрождать его нужно. И снова, как более полувека назад, А.И. Чмыхало стал трибуном Енисея, прославляя его и доказывая, что Енисей может не только быть востребован как источник энергии, как транспортная артерия для реализации его богатых недр, но и приносить доходы краевой казне от туризма. К богато иллюстрированному фотоснимками Енисея альбому Виталия Иванова Анатолий Иванович Чмыхало написал предисловие. Восьмым чудом света называет Енисей Анатолий Иванович и доказывает это в своей оде, посвящённой Енисею.

Мне кажется, мало что изменилось с того времени, когда А.А. Печеник, начальник пароходства, в начале девяностых годов был в США с вопросом рекламы теплохода «Антон Чехов» для целей туризма на Енисее. На картах туристических фирм, где ему приходилось обсуждать тему туризма, Енисей был белым пятном. Кроме общего слова «Сибирь», ничего на картах не значилось. Красочный альбом Енисея—как восьмое чудо света, переведённый на разные языки мира, будет тем, с чего начинается туризм на Енисее. Хорошим предзнаменованием этого является приход на Енисей двух пассажирских судов повышенной комфортности, которые построены по заказу судоходной компании «Енисейпасфлот» на средства из краевого бюджета.

Повторяю, Анатолий Иванович не был енисейским капитаном, но он вместе с другими, и не только красноярскими, писателями славил нашу чудесную сибирскую реку. Вот почему мы единогласно избрали его почётным членом Красноярской региональной общественной организации «Клуб капитанов». А почему бы не возродить былые «Енисейские встречи», когда тысячи красноярцев были активными участниками литературного праздника, посвящённого Сибири и прежде всего нашему Красноярскому краю? Побывав на нашей земле, дорогие гости будут разносить добрую славу о Енисее и его людях по городам и весям всей страны. И станет наша великая река местом массового паломничества туристов. У нас есть чем заинтересоваться, что посмотреть. И нет сомнения, что «Енисейские встречи» не забудутся нашими гостями никогда.

Пятнадцатого марта 2013 года Анатолия Ивановича Чмыхало не стало. Красноярская региональная общественная организация «Клуб капитанов» выступила с инициативой назвать грузопассажирский паром нового поколения именем «Анатолий Чмыхало», которая получила поддержку в администрации Красноярского края.

Счастливого плавания, теплоход «Анатолий Чмыхало»!

Александр Щербаков

«Где наша Россия?»

Орбита Решетнёва

Недавно возвращались мы в потёмках из поездки по югу края. Хозяин машины, учёный муж и ректор вуза, сошёл под Красноярском, на своей даче, а меня шофёр повёз далее, в глубь ночного города. И вдруг он вспомнил, что ему в одном селении приятель вручил посылочку с просьбой передать родне, живущей где-то в этом районе краевого центра. Водитель назвал адрес, надеясь на мою подсказку маршрута, но я вообще впервые слышал о такой улице и только развёл руками. Однако это его не смутило, он тут же включил навигатор, которым был оборудован ректорский автомобиль, и буквально за минуту «вычислил» и улицу, и дом, и подъезды к нему. А ещё через пяток минут, уверенно преодолев ряд тёмных улочек и переулков, вручил-таки посылку разбуженному адресату. Сущие чудеса в решете!

Впрочем, это сегодня уже обыденность. Любому школьнику известно не только о спутниках связи разного назначения, обслуживающих и «телики», и «сотики», но и о целостной ГЛОНАСС — этой по-настоящему глобальной навигационной системе, которая «может всё». А многие школьники даже пользуются ею. Притом — и сельские. Автобусы, которые возят ребят на занятия из глубинки в крупные школы, зачастую подключены к этой системе.

С ними можно связаться в любую минуту и, если нужно, прийти на помощь в дороге… Только вот не уверен, все ли ребята знают, что у истоков данной чудесной системы стояли красноярские учёные, и прежде всего — академик Михаил Решетнёв, славный ученик и соратник легендарного Генерального конструктора Сергея Королёва, а потом и сам генеральный конструктор и генеральный директор научно-производственного объединения прикладной механики (НПО ПМ) в нашенском Железногорске.

Герой Социалистического Труда, Решетнёв накануне своего семидесятилетия уже новой властью был награждён высоким орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. Как говорилось в Указе Президента страны: «За большие заслуги перед народом, связанные с развитием российской государственности, достижениями в труде, науке, укреплением дружбы и сотрудничества между народами…»

Шли «смутные» девяностые годы прошлого века, полные всяческих перестроек и реформ. И помнится, когда я прочитал это сообщение в центральной газете, мне почему-то пришёл на ум роман Виктора Гюго «Девяносто третий год». Точнее — один эпизод из него. Кто читал книгу французского классика, наверняка запомнил выразительную сцену, в которой главного героя во времена подобной смуты сначала награждают орденом за мужество и отвагу, но следом приказывают казнить — уже по политическим мотивам.

Правда, академика РАН и президента Сибирского отделения инженерной академии Михаила Решетнёва никто казнить не собирался. Тем более — по политическим мотивам. У него были вполне нормальные, рабочие отношения и с городской, и с краевой администрацией, и с родственными ведомствами российского правительства. Всюду он встречал вроде бы понимание и сочувствие, но всё же положение «дважды генерального» было таково, что хоть самому, как говорится, в петлю… Беда состояла в том, что далее понимания и сочувствия власти не шли. А Михаилу Фёдоровичу нужна была конкретная и срочная помощь, иначе, как ему казалось, гибло всё дело его жизни, более того — нависала угроза над целой отраслью космической науки и техники России.

Потому Решетнёв, будучи генеральным конструктором и руководителем головного предприятия в этой отрасли, стремился, как только появлялось в Железногорске какое-нибудь «влиятельное лицо», залучить его на своё производство и посвятить в острые проблемы. А если не на производство (оно всё же было полузакрытое), то хотя бы в своеобразный музей при нём, где в искусных макетах были представлены основные изделия его «фирмы». Однажды, наряду с очередными «важными» гостями, побывал в том музее и я, не бог весть какая «важная птица», но всё же тогдашний корреспондент правительственного журнала «РФ». Логика руководителя НПО прикладной механики, пригласившего меня, была мне понятна: глядишь, мол, и этот залётный «писака» замолвит за нас лишнее словечко.

Кстати, замечу, что мой визит выпал на второй день после юбилейных торжеств на предприятии

в честь Михаила Фёдоровича, но почтенный юбиляр был довольно бодр и деятелен. Он вообще выглядел моложаво: суховатое, но гладкое, без морщин, лицо, ёршик русых волос, серый пиджак нараспашку, свежая белая рубашка без галстука…

Прямо сказать, я и сегодня далековат от глубин и тонкостей высокой науки и техники, тем более—космической, но тогда академик Решетнёв, вызвавшийся сам быть моим экскурсоводом, разъяснил мне всё так ясно, доходчиво и убедительно, что я тотчас заразился его проблемами и стал в ряды горячо «сочувствующих»…

А суть дела была такова.

В воображении многих россиян поныне, когда речь заходит о спутниках, встают такие центры, как Москва, Петербург, на худой конец—Звёздный или Байконур… На самом же деле так называемые телекоммуникационные спутники—для нужд связи, навигации, геодезии, ретрансляции—делались и делаются в малоизвестном сибирском городке Железногорске (бывшем Красноярске-26). Притом делаются по полному технологическому циклу, то есть начиная от идеи, чертежа и кончая готовыми изделием, годным к запуску на орбиту. И счёт таких «изделий», взметнувшихся в небо, уже тогда перевалил за тысячу.

Надобно пояснить, что государственное предприятие НПО прикладной механики относится к военно-промышленному комплексу, к «оборонке», как говорят в обиходе, но продукция его такова, что она с одинаковым успехом может служить как целям обороны страны, так и нуждам народного хозяйства. И действительно, удельный вес оборонной тематики в его программе обычно составлял около двух третей, остальная же продукция выпускалась по заказам гражданских предприятий. Ну а теперь, в условиях рыночной экономики, этот поворот в «гражданскую» сторону стал ещё заметнее.

Что же собой представляют главные «изделия» предприятия—спутники, где и зачем они летают? По крайней мере, летали тогда?

— Вот территория нашей России,—терпеливо рассказывал мне Михаил Фёдорович, водя по светящейся карте изящной телескопической указочкой.—Она поделена на пять зон: А, Б, В и так далее. На эти зоны, кроме прочих, работают десять наших спутников «Горизонт», обеспечивая космическую связь, телевидение, передачу газетных полос по центрам печати до самого Владивостока. К слову, если расстояние между пунктами более пятисот километров, то дешевле установить связь именно через спутники, нежели тянуть провода или релейные линии. Но беда в том, что более половины «Горизонтов», работающих сегодня на геостационарной орбите, уже выработали свой ресурс. Отслужили своё. Их нужно немедленно заменить, заказать и запустить новые спутники. И мы готовы их поставить. Однако у нас на это нет денег. Государство их нам не выделяет, ссылаясь на прорехи в своём бюджете. А представьте, что будет, если спутники выйдут из строя, погаснут на лету, как те искры?..

Я внимательно следил за стрелкой указки, подрагивавшей над зонами, «освещёнными» стационарными спутниками, словно над кругами света под фонарными столбами, и мне живо представлялось, как спутники «гаснут» один за другим. А вслед за этим воцаряется истинный хаос в мире: выключаются телевизоры, сшибаются корабли, падают самолёты, и мы все мечемся во мгле, не видя и не слыша друг друга…

Усилием воли отогнав это воистину кошмарное видение, я ухватился за мелькнувшую мысль, как за спасительную соломинку:

— Конечно, сегодня почти все безденежны, всем трудно. Но ведь не так давно, во время поездки по Красноярскому краю, у вас побывал сам президент страны. Неужто вы не рассказали ему о надвигающейся катастрофе?

— Ну как же!—встрепенулся академик.—Я объяснил положение Борису Николаевичу. Даже подчеркнул, что если будет продолжена подобная политика в отношении космической техники, то в следующем году уже не половина, а девяносто процентов действующих спутников выйдет «за ресурс», и Россия потеряет информационное пространство: связь, телевидение за Уралом, центральные газеты и многое другое.

— И как отреагировал президент?

— Он спросил: «Что вам нужно, чтобы этого не произошло?» Я ответил: «Положение так обострилось, что нам срочно нужно до конца этого года девяносто миллиардов рублей» (по тогдашнему курсу.—*А. Щ.*). Борис Николаевич задумался, потом сказал: «Конечно, как-то поможем, я буду стараться, хотя в нынешнем году найти такую сумму будет нелегко. А сколько вам потребуется на будущий год?» Я назвал цифру в два с лишним раза большую. Почему? Потому что, заменив отработавшие «Горизонты», надо будет переходить к новым спутникам. Несмотря на всеобщую разруху, на отсутствие финансирования, мы, всячески изворачиваясь, влезая в долги к коммерческим банкам, всё же сумели создать более совершенный спутник, который уже летает на орбите. Работает. Он в три раза мощнее нынешних, по сути—морально устаревших, и его надо немедленно тиражировать. Вот на это дело, сказал я, и потребуется в следующем году более весомая сумма.

— Президент задумался ещё глубже?..

— Нет, вы знаете, совсем наоборот. Поняв суть дела, он цифру воспринял довольно спокойно и сказал примерно так: «Что ж, на будущий год это не проблема. Мы потребную сумму заложим в бюджет, предусмотрим…» Все, кто сопровождал президента, согласно закивали головами.

И надо ли говорить, с каким удовлетворением встретили его слова руководители НПО ПМ, а потом и весь коллектив уникального предприятия. Однако вскоре выяснилось, что веское президентское слово «отдельные» министерства и ведомства не спешат воплотить в дело. И если с текущей программой учёные, мастера объединения как-то выкручивались, в том числе—за счёт продажи техники американцам, иным чужестранцам, то над будущей—зависал жирный вопрос. И когда стал известен проект бюджета на очередной год, то знакомство с ним вызвало в коллективе настоящий шок. Основному заказчику НПО ПМ, его головному органу—Российскому космическому агентству, в нём на всё про всё выделялось чуть более шестисот миллиардов рублей. Ясно было заранее, что треть из них оно никогда не отдаст одному Железногорску. И значит, погружение России в информационную «тьму» становилось вполне реальной перспективой.

Видимо, допуская, что он был недостаточно убедительным, Михаил Фёдорович после «лекции» у карты пригласил меня в свой кабинет и вызвал на помощь тогдашнего первого заместителя Альберта Гавриловича Козлова, заместителя по экономике Фёдора Сергеевича Климова. И они снова стали убеждать меня, и без того убеждённого, в крайней жизненной необходимости государственной поддержки спутниковой системы.

Естественно, Фёдор Сергеевич нажимал на экономическую сторону проблемы. Он доказывал, что железногорское НПО возьмёт деньги из казны не безвозмездно, а вернёт их стране с огромной прибылью. Систему геостационарных спутников он называл природным ресурсом, таким же, как нефть, газ, металл, но ещё более ценным, ибо он возобновляемый, то есть способный и доступный к восполнению и, по сути, неисчерпаемый. Каждая геостационарная точка на орбите стоит десятки и сотни миллионов долларов. И пока мы в лице НПО ПМ владеем орбитой, это потрясающее богатство в наших руках. Так неужели мы пожалеем каких-то копеек ради того, чтобы сохранить для страны миллиарды долларов? Тем более что спутники на замену отработавших свой ресурс уже фактически готовы. Надо лишь поддержать деловых партнёров, поставляющих комплектующие детали.

Заметим, спутник—штука архисложная, в его изготовлении на условиях кооперации участвовало около трёх тысяч предприятий-поставщиков, из них триста основных, и многие, после разрушения Союза, оказались за границей. Но связи, слава Богу, не были потерянны. Их-то и нужно было поддержать, подкрепить финансами…

Альберт же Гаврилович был немногословен, эмоций и аргументов особо не расточал. Он просто достал из папки любопытную схему и положил передо мной. На ней был изображён земной шар, и на орбите вокруг него густо, как скворцы на проводах, сидели разноцветные шарики. В ответ на мой вопросительный взгляд первый зам кратко, но выразительно повторил то, что я уже слышал от академика:

— Вот смотрите: орбита, тридцать шесть тысяч километров. «Шарики» по ней—это геостационарные спутники. Они летают с такой скоростью, что всё время как бы «висят» над одним районом земли. Вот Америка. Там нас нет. Вот эти белые шарики—остальной мир. Там порядка двадцати мощных фирм. Иностранных. А эти красные шарики—наши спутники. Как видите, наше НПО перекрывает всех. Мы господствуем на орбите. Пока! Но, похоже, нас хотят «подвинуть»…

Впрочем, несмотря на подобные нотки тревоги, в них не было отчаяния. Руководство предприятия, как уже сказано, не сидело сложа руки; оно не только стучалось, что называется, во все инстанции, но искало и свои пути к добыванию средств, осваивало «дикий» рынок. К сожалению, вскоре ушёл из жизни томимый тревогами за судьбу предприятия академик Решетнёв—главный его «мотор». Но и без него НПО ПМ продолжало бороться за своё существование, за взятые «высоты» России в космической технике. На посту генерального директора Михаила Решетнёва сменил Альберт Козлов. И когда года через три я попросил пресс-службу предприятия, уже носившего имя своего основателя, сообщить вкратце, что нового появилось у них после памятной для меня беседы в кабинете Михаила Фёдоровича и напечатанной в правительственном журнале статьи о ней, коллеги телеграфно отстучали мне по телетайпу довольно насыщенную страничку.

Разумеется, я далёк был от мысли, что делу существенно помогла статья, но главное—оно, дело академика Решетнёва, выжило, сохранилось и даже получило неплохое для тех лет развитие. Несмотря на частые задержки в финансировании, НПО ПМ лишь за год подготовило и осуществило шесть пусков с одиннадцатью космическими аппаратами на геостационарную, высокоэллиптическую (простите за неизбежные техницизмы) и иные орбиты. Следом на его спутниках типа «Галс» получила развитие первая в России коммерческая сеть непосредственного спутникового телевещания «НТВ-плюс». На базе ранее созданного спутника «Горизонт» по заказу «Газпрома» была запущена спутниковая система «Ямал», в которой использовались наземные антенны железногорского производства. На основе контракта с европейской организацией спутниковой связи ЕВТЕЛСАТ начались работы по созданию нового геостационарного спутника СЕСАТ. Вступил в силу ещё один контракт на изготовление телевизионного геостационарного спутника «Галс-Р16» для отечественных негосударственных заказчиков.

Кроме прочего, постепенно вводились в эксплуатацию малые спутники на низких орбитах, в том числе «Гонец-Д1», которые позволили вести работу гражданской спутниковой связи «с подвижными и удалёнными объектами» (электронной почты). Был запущен первый экспериментальный спутник «Зея» с нового дальневосточного космодрома Свободный. С использованием спутников и наземных антенн железногорцев начала работу спутниковая сеть регионального телевещания в Ямало-Ненецком округе… Итоги внушали.

Ну а продолжить перечень нынешних свершений, взявших начало от без преувеличения героически спасённого в трудные годы «дела Решетнёва», читатели смогут и сами, особенно молодые, более продвинутые в технических новинках.

Мне же хотелось бы только указать на ещё одно детище академика Решетнёва — стремительно набирающий силу Сибирский государственный аэрокосмический университет, носящий его славное имя. Если специалисты НПО ПМ непосредственно продолжают дело Решетнёва, то учёные и студенты СибГАУ создают контуры его будущего, развивая идеи и воплощая мечты замечательного академика.

Мне доводилось бывать в этом университете, и в моих диктофонных записях сохранилась беседа с его тогдашним ректором и президентом Ассоциации аэрокосмических вузов России, доктором экономических наук Геннадием Беляковым. Фрагмент из неё, думается, послужит неплохим эпилогом для очерка о красноярских «красных шариках» на «орбите Решетнёва»:

«В укрепление базы университета и развитие науки вовлечено множество студентов, — говорил мне Геннадий Павлович. — Тут у нас богатые традиции. Ведь нашу кафедру космических аппаратов создавал сам академик Михаил Фёдорович Решетнёв. А чтобы инженерную подготовку усилить наукой фундаментальной, мы с Институтом физики РАН открыли межвузовское инженерно-физическое отделение. На «выходе» — качественные специалисты. Бери хоть — на производство, хоть — в науку, не подведут. Тесно сотрудничаем со знаменитым НПО ПМ Железногорска, где сделано *две трети российских космических аппаратов*. Совместно ведём разработку студенческих малых космических аппаратов. Под присмотром конструкторов студенты сами создают, испытывают их и запускают на орбиту с учебно-научными целями. При университете недавно открыли свой ЦУП (центр управления полётами). Не забыта и авиация. Кроме авиатехников, готовим пилотов гражданской авиации, дефицитных в Сибири. Наконец, для подготовки молодой научной элиты нами в рамках вуза создан Институт космических исследований и высоких технологий, который возглавил председатель президиума Красноярского научного центра СО РАН академик Василий Филиппович Шабанов. О возрастании роли вузовской науки говорит и подписание между Советом ректоров вузов нашего края и краевой администрацией Генерального соглашения о взаимодействии и сотрудничестве. У власти есть понимание того, что без молодых инженерных кадров не решить нынешних проблем освоения сибирских богатств и внедрения высоких технологий в производство…»

«Где наша Россия?»

Отменно щедрым был минувший год на юбилеи. К таким значимым и общенациональным, как 1150-летие российской державности, 400-летие преодоления смуты начала XVII века, 200-летие победы в Отечественной войне 1812 года и 70-летие Сталинградской битвы, услужливые СМИ то и дело присовокупляли разные «местночтимые» или «отраслевые». К примеру, круглые даты, связанные с выходом солженицынской повести «Один день Ивана Денисовича» либо пастернаковского романа «Доктор Живаго»… Ну а я в этом литературном ряду решил напомнить о юбилее не менее знаменитого лесковского «Левши», изданного аккурат 130 лет тому назад.

Советую перечитать. И гарантирую, что большинство из вас воскликнет по прочтении: мол, умели же наши классики творить нетленку! Столетие с гаком минуло, как Николай Лесков создал свой неподражаемый «Сказ о тульском косом Левше и стальной блохе», а читаешь — будто бы сегодня написано. Те же проблемы, похожие нравы, а главное — типы. Взять самого государя Александра Павловича, с его либеральными замашками, который чрезмерно хвалил в английских кунсткамерах искусство чужеземных мастеров противу отечественных. Хотя там, как замечает автор, внутри выставленного «неподражаемого пистоля» таилась русская надпись: «Иван Москвин во граде Туле»… Или тогдашних городовых, кои «баснословного» Левшу, по возвращении из Лондона в Питер без «тугамента», «свалили в квартале на пол», сняли с него заморское «платье и часы с трепетиром, и деньги обрали»… Увы, картина знакомая. Только вот, пожалуй, высоких чинов, вроде атамана Платова или императора Николая I, до конца веривших в своих умельцев, осталось на Руси ещё меньше…

Не говорю уж про нашу доблестную интеллигенцию, особенно медийную, писательскую, для которой наши мастера непременно отсталые, «косорукие», включая и тульского косого Левшу. С перестроечных времён слышим издевательства над этим бедолагой, подковавшим блоху, после чего она, дескать, и прыгать перестала. Испортил, варвар этакий…

Между тем у Николая Семёновича мысль подана куда глубже. Спецзаказ у него Левша со товарищи всё же выполнили, в тонкости работы превзойдя

«аглицких» коллег. Ну а насчёт прыганья блохи… По наитию делали, в «арифметике» не сильны были. Так это не им упрёк, а как раз прозрачный намёк властным чинам, чтобы ценили своих мастаков, к наукам книжным приобщали, помимо «Псалтиря да Полусонника»…

И как тут снова не подивиться мудрости автора, нетленности «намёка» его, доныне актуального? Все мы сегодня много рассуждаем о том, с чего надобно бы начинать латание прорех, унаследованных от «лихих девяностых». Конечно, и с инвестиций, и с модернизаций, и с инноваций… Но прежде всего, думается мне,—с возрождения заботы о «левшах», о мастерах на все руки. Ведь, как ни крути, была когда-то забота о них. На себе испытал. Со школы, кроме основ наук, познавали мы азы мастерства по дереву, по металлу, по земле. Многие из нас вместе с «аттестатом зрелости» получали «корочки» трактористов, шофёров, швей-модисток. А сколько при клубах, домах пионеров работало кружков—судомодельных, авиамодельных, вязальных, вышивальных… Действовала система подготовки «трудовых резервов», сеть ПТУ, СПТУ, наставничество на заводе, в поле, на стройке.

Однако с тотальной приватизацией оных, с приходом «эффективных собственников» всё это было упразднено. За нерентабельностью. Да и просто за ненадобностью. Ибо тысячи заводов, строек и хозяйств закрылись. Остались скважины, шахты да лесосеки, где особого мастерства не требуется, знай руби, да качай, да «бабки» считай. Именно считающих расплодилось ныне особенно много, ну и ещё—говорящих. Мой знакомый, бывший токарь-лекальщик с умершего завода телевизоров, по-народному метко сказал про них: «Во устроились! Рот закрыл—и рабочее место убрано».

Но на таких «спецах» далеко не уедешь. Это было сразу понятно. Помню, ещё в середине девяностых, на самом пике смуты, один высокой руки каменщик, клавший «атомные печи» в ЗАТО и оставшийся без работы, говорил мне с горечью: «Это ж не плиту сложить—реактор! Нас разогнали, попомни слово: через пятилетку каких-нибудь финнов звать будете». И—как в воду глядел! Не только реактора, уже обычной плиты сложить некому. Вон сосед по даче второй год мается, печника ищет. Да разве речь об одних печниках?

Нечто подобное слышал и от бывшего ведущего инженера «Красмаша», в тех же девяностых прозябавшего клерком в местной управе: «Не стало на заводах заказов, замерли станки, спецы разбежались. А вы представляете, что значит подготовить инженера для точного производства—к примеру, ракетного? Мы, бывало, из втуза отличника брали, не испорченного ширпотребом, и пять-шесть лет натаскивали, прежде чем допустить к делу. Там же всё на миллимикронах!» Где ныне эти инженеры? Будь они—не падали б самолёты, не горели ракеты, да и на автозаводах мы делали бы свои, отечественные, машины, равные лучшим в мире, а не крутили отвёртками шурупы на чужих конвейерах…

Однако не хочется впадать в грех уныния. Слава Богу, не всё ещё потеряно. Во-первых, народ наш не стал бесталаннее. Как-то в нашем крае проводили конкурс умельцев «Сибирский Левша». Мне довелось заседать в жюри. Чего только не навезли из городов и весей—от трактора, собранного из утиля, до туесков-матрёшек и прялки с… электроприводом-реле. А один пчеловод показал фото «недвижимого» изделия—храма, который построил по своим чертежам на свои кровные… Так что в глубинке живы потомки Левши, поддержи только, подучи—любую блоху подкуют. А посмотрите на выставки студенческого творчества—там ещё больше чудес. Вон наши студенты Сибирского аэрокосмического университета сами спутники готовят и запускают, по примеру академика Михаила Решетнёва, чьё имя носит их вуз. Однажды я подначил на выставке продвинутого студиоза, представлявшего спутник: «А блоху подкуёшь?»—«При нашей-то технике да электронике? Запросто. Хоть живую. Ещё и скакать будет»,—заверил он.

Правда, его остепенённый преподаватель был осторожнее. Мол, и блоху подкуём, и на Марс полетим, только надо вернуть школярам технические кружки, станции юннатов, профтехучилища, больше поощрять студентов технических вузов, учёных и, конечно, инженеров. Но прежде всего—вернуть честь и достоинство мастеру, золотым рукам. Создать все условия своим «левшам», смекалистым, «креативным» и умелым.

Слышу, о том же заговорили и первые лица государства, и многомудрые думцы и сенаторы. Только бы не ограничилось дело разговорами. Всем же ясно как день, что без мастера-умельца, без квалифицированного рабочего, знающего «арифметику» и «алгебру», без истинного уважения общества и государства к труженику-созидателю мечты об инновациях-модернизациях останутся мечтами. Равно как и о массовом патриотизме в стране…

Вы помните, конечно, последний наказ Левши, умиравшего в народной больнице. Ну да, он просил передать государю, что у англичан ружья кирпичом не чистят и чтобы у нас не чистили, а то «они стрелять не годятся». Это все помнят, и многие с ехидцей прохаживаются насчёт пресловутого «кирпича». Но жаль, что забывают они о других «знаковых» словах Левши, которые, с нетерпением «глядя в родную сторону», повторял он, когда возвращался на корабле из Лондона. Не любил, стеснялся народный мастер «с другими господами в закрытии сидеть… а уйдёт на палубу, под презент сядет и спросит: „Где наша Россия?“»

Нынче нам явно недостаёт таких вот соплеменников, что «к отечеству смотрят». В том числе

и среди проживающих «добровольными изгнанниками» где-то в Лондонах, Парижах и прочих Нью-Йорках.

Храм от «сибирского Левши»

— Говорят, вам голос был? — спросил я с невольной иронией.

Но старый пчеловод Иван Гаврилов, далёкий от всяких литературных параллелей, ответил вполне серьёзно:

— Скорее — виденье. Приснилась мне церковь, да так чётко, так ясно, ну прямо как живая. Стоит на взгорке над нашей речкой Ингашкой, вся в серебристо-голубом сиянии, и вроде колокола потихоньку играют… Проснулся я, рассказал своей бабке, а она всплеснула руками и шепчет в страхе Божием: «Это ж, Ваня, знамение тебе». Да я уж и сам догадался, что всё неспроста. И решил: построю!

Крест серебряный

Дело было осенью 1992-го. Иван Антоныч, не мешкая, смастерил в своей столярке под навесом большой деревянный крест. Православный. Осьмиконечный. Покрасил серебряной краской, подсушил. А в ночь на Воздвиженье Креста Господня, которое отмечается 27 сентября по новому стилю, огородами уволок его на горбу и тайно водрузил на том самом месте, где привиделась ему церковь во сне.

Наутро всполошилось всё село: откуда взялся этот крест над речкой, да ещё в такой день? Что он означает? И кто его поставил? Впрочем, гадали недолго. Хотя в Нижнем Ингаше население довольно солидное — всё же райцентр, однако «деревенским детективам» не составило труда «вычислить», чьих это рук дело. И уже на другой день нарочная из местного «Белого дома» постучала в окошко Гавриловым и передала хозяину приглашение на беседу. Оделся Иван, перекрестился и пошёл на расправу.

Однако времена на дворе были уже другие. Правящая партия сугубых атеистов ушла со сцены. И хоть сидели в районной управе вроде всё те же люди, но говорили уже по-иному. Верно, пожурили сначала, что, мол, никого не спросясь, без совета с законной властью крест поставил неизвестно зачем; но когда Иван рассказал о персте Божием и о своих планах на сей счёт, отпустили с миром. Что ж, попробуй, мол, если получится. Не очень, впрочем, веря в серьёзность затеи старого чудака.

Иван — сын крестьянский

Но они плохо знали Ивана Гаврилова. Он не из тех, кому лишь бы пропеть, а там хоть не рассветай. Мало что упрям в характере, упорен в труде, так ещё и сведущ, искусен в косом десятке ремёсел. Да и вообще жизнью тёрт, как говорится, по полной программе.

Родом сибиряк, крестьянский сын Иван действительную отслужил в Приморье, где получил специальность радиста. А ещё, пойдя по стопам отца, деревенского портного, освоил швейное дело, шил для солдат шинели и робу для зэков. После армии работал в иркутских леспромхозах, валил ангарскую сосну пилой-двухручкой. Успел даже поработать на ударной комсомольской стройке — на Братской ГЭС. Но потянуло домой. Вернулся в свой Ингаш — центр самого восточного района Красноярского края, женился на Евдокии-рукодельнице из соседнего таёжного посёлка, вскоре подарившей ему сына, построил дом, выкопал колодец, сложил русскую печь, которая до сей поры исправно служит…

И потекла внешне размеренная, но внутренне напряжённая трудовая жизнь. Восемь лет плотничал в местном РСУ, потом, будучи шофёром, пошёл в ДОСААФ преподавать автодело. Потом, уже работая пожарным, увлёкся пчёлами. Держал семьдесят ульев с гаком, по две тонны мёду за сезон сдавал в потребкооперацию, продавал на базаре. Как мечталось, купил себе «Ниву», затем «Ладу», УАЗ. Да ещё на руках был казённый грузовик, на котором работал. И вот, уйдя на заслуженный отдых и став пчеловодом — «свободным художником», задумался как-то: «Ну а что из того, что сберкнижка пухнет и машин полон двор? Надо бы послужить Богу и людям, сделать что-то такое, чтобы добрую память о себе оставить». И тут — вещий сон или знамение это…

«Сибирский Левша»

Иван Антоныч и один бы не сробел перед стройкой, благословлённый Господом и деятельно поддержанный супругой богоданной. Он уже сам, исходя из строительного опыта, «нарисовал» проект будущего храма, каким тот привиделся ему, и попросил знакомого инженера-строителя Александра Самойлова сделать все технические расчёты, подготовить, так сказать, технико-экономическое обоснование. Но весть о его добром почине, подхваченная местными журналистами, быстро разнеслась по всему району, и люди, поддержавшие его, дружно понесли ему деньги.

— Нет, так дело не пойдёт, — остановил стихийные «финансовые потоки» Иван Антонович. — Надо всё по уму и по совести. Собирайте народ, решим миром.

Сход получился многолюдным. Приехал батюшка Александр, настоятель храма Александра Невского из ближайшего города Иланска, куда верующие нижнеингашцы ездили молиться, пришли представители власти. Поскольку инициатива всегда «бьёт» по инициатору, Гаврилова единодушно избрали старостой, точнее — председателем приходского совета. Отвёз он решение мира в епархию, выправил необходимые документы,

получил печать, открыл счёт в Агробанке, вложив, почитай, все свои кровные… Номер счёта опубликовала районная газета. Ждать пожертвований долго не пришлось. Один благотворитель, пожелавший остаться неизвестным, вложил даже пятьсот тысяч рублей, немалые по тем временам деньги, многие — по сто, по пятьдесят тысяч. Когда набралось под два миллиона, Иван Антоныч оформил депозит, пошли проценты…

Начало строительства освятил благочинный церквей Канского округа отец Вячеслав. Стали рыть траншею под фундамент — и тут первая загвоздка: грунт на месте, подсказанном свыше, оказался сплошь песчаным. Что делать?

Судьба дома, построенного на песке, хорошо известна… Может, забутить понадёжней — например, рельсами? Только где их взять? В заботах энтузиаста живейшее участие принял глава района Леонид Ховренков, даром что в недавнем прошлом был первым секретарём райкома партии, да и поныне дружен с коммунистами.

— Раз народ хочет этого — поможем, — сказал он. — Людям нельзя без духовного стержня. Будет ещё в чём нужда — приходи, не стесняйся.

С того дня Иван нашёл в районной администрации и главе её первейших помощников. Значительно облегчились его хлопоты по добыче кирпича, леса, уголка, бетона и прочего, а также по поиску вечно недостающих средств. «Административный ресурс» важен не только на выборах… Для начала железнодорожники привезли Гаврилову целый лесовоз рельсов. Но, правда, промысел Господень опередил их: на полутораметровой глубине за песком пошла глина с гравием — прочнее основания не придумаешь. А даровой песок очень пригодился на бетонные замесы.

Немало сил с тех пор положил Иван и на стены, и на крышу, и на купола пятиглавого красавца-храма Михаила Архангела, работая восемь лет подряд вместе с наёмными рабочими и доброхотами, подвозя на своём «уазике» с тележкой разные стройматериалы (одного цемента понадобилось почти двадцать тонн!), но до сего дня его главная гордость — фундамент.

— Мы его сделали за двадцать дней и — на века. Обвели железобетонной обвязкой, с мощным раствором, любые дожди с него как с гуся вода, — рассказывал он мне, блестя глазами.

А встретились мы с Иваном Антоновичем в канун Новогодья на своеобразном празднике мастерства. Краевая гостелерадиокомпания в течение ряда лет вела популярную передачу «Сибирский Левша» — о народных умельцах из глубинки, мастерах на все руки. И вот решила подвести итог в виде смотра-конкурса. Нашлись спонсоры. Мне, как много писавшему в своё время на темы народной художественной культуры, довелось работать в составе жюри. И хотя на празднике мастерства была представлена масса талантливейших работ — от каких-нибудь берестяных туесов с чудесной кружевной резьбой до самодельных тракторов, — мы, «строгие судьи», единогласно первую премию отдали Ивану Гаврилову, построившему храм в своём посёлке. Ибо все увидели в этом деянии не просто проявление мастерства, но и то самое служение человеку и Богу, которое, к примеру, священник красноярской Никольской церкви отец Виктор даже назвал «неким подвигом исповедничества в наше время», выразившимся в храмовом строительстве.

К тому времени нижнеингашский храм был уже внешне готов, со стенами, главами, куполами, оставались внутренние работы да оснащение колокольни.

Председатель жюри и главный спонсор конкурса, генеральный директор ОАО «Назаровское молоко» Михаил Барковский, тоже, кстати, из бывших секретарей райкома, вручая Гаврилову конверт с купюрами, так и сказал:

— На колокола!

Краевая пресса об Иване Антоновиче, «засветившемся» на ТВ, писала всё больше под «сенсационными» заголовками типа «Храм пчеловода Гаврилова», что ему, человеку верующему и по природе скромному, видимо, не слишком нравилось. Поэтому, беседуя со мной, он упорно подчёркивал, что явился лишь инициатором строительства храма, ну и «немножко прорабом». И просил меня, если буду писать, непременно упомянуть главу района Леонида Ховренкова как главного попечителя стройки, отзывчивых руководителей окрестных дорожных и сельскохозяйственных предприятий — Владимира Майданова, Сергея Каменецкого, Алексея Самусева, Михаила Мальцева, Александра Ващенко… По первой просьбе поставляли кто кран, кто каток, кто газосварку или автомашину. Называл он и многочисленных местных мастеров — каменщиков, плотников, кузнецов, жестянщиков, приходивших на подмогу, зачастую бескорыстно. Что я и делаю. Но от себя ещё добавлю, что рядом с Иваном все эти годы неустанно хлопотала его Евдокия Дмитриевна: красила, белила, мыла, а нередко и «инвестировала» стройку, выкраивая средства из семейного бюджета, из тех же «медовых» денег, выручаемых с пасеки, на которой она всё чаще заменяла мужа, ставшего на время «прорабом».

— Не ради себя старались — ради всех нас, чтобы было где душу очистить, потому и миром поддержаны, — говорил мне Иван Антоныч.

А на мой вопрос, когда же он откроет храм Михаила Архангела для прихожан, ответил так:

— Если Бог даст здоровья, глава поможет средствами, а народ подсобит трудом в завершении стройки, то, думаю, на очередное Воздвиженье Креста Господня ударим в колокола и отслужим

Храм над речкой Ингашкой (Фото Виктора Митина)

первый молебен. Я так и сказал главе района в его кабинете…

Помню, собираясь написать об Иване Гаврилове, я аккурат накануне следующего Крестовоздвиженья позвонил в Нижний Ингаш, в редакцию районной газеты, с первого дня взявшей на себя этакое «идеологическое обеспечение» новостройки. Тогдашний редактор Лиля Енцова со вздохом сказала, что освящение храма придётся отложить. Отделочные работы заканчиваются, однако на все колокола звонницы не хватает денег. Удалось приобрести лишь один. Но Иван Антоныч по-прежнему полон энтузиазма, глава Леонид Николаевич тоже не теряет надежды найти выход, так что малиновый звон не за горами.

Слушая её, вспомнил я невольно признание Ивана Гаврилова, что он по наивности обращался за помощью даже… в «Поле чудес», но, видно, не все чудеса там сбываются. На селе же бюджет извечно дотационный, трудовой народ беден, да и сельский предприниматель не слишком богат, чтобы выступать серьёзным спонсором. Скажем, в том же конверте «На колокола!», торжественно вручённом главному «сибирскому Левше», было всего лишь… Словом, довольно скромная сумма. Тут не до малинового звона…

С тех пор минуло ровно десять лет. И вот снова позвонил я в Нижний Ингаш, в районную газету «Победа»: как, мол, там дела с церковью, некогда построенной по почину пчеловода Ивана Гаврилова всем миром, стоит ли красавица, и поют ли её колокола над речкой Ингашкой? И уже новый редактор, Ирина Лукинична Рупп, любезно и не без гордости поведала мне, что храм Михаила Архангела действует в полную силу, колокола его, «большие и зазвонные», слышны на весь райцентр и окрестности. Вокруг настоятеля отца Игоря сплотилась дружная церковная община. В прихожанах недостатка нет. Приезжают богомольцы даже из соседних селений. Не пропускают службы, молебны и Иван Гаврилов со своей благоверной. Они, слава Богу, живы-здоровы и деятельны. Иван Антоныч всё так же занимается пчёлами, а Евдокия Дмитриевна ведёт дом. Районом сегодня правит другой глава—Пётр Александрович Малышкин, из нового поколения руководителей, но отношение местной власти к церковной жизни селян по-прежнему доброжелательное.

Да и почему бы ему иным быть, ежели благодаря церкви в селении ныне «есть где душу очистить», как говорил мне когда-то славный «сибирский Левша», бескорыстный храмостроитель Иван Гаврилов, да продлит Господь его годы?

Владимир Леонович

Гороховецкие лагеря

К 85-летию со дня рождения автора

Гороховецкие лагеря

Ивану Фёдоровичу Набережных,
начальнику разведки артполка

Я вижу в стереотрубу
подпрыгнувшую гору.
Военное табу
велит мне, вору,
забыть—что видел.
В дымных окулярах
висит гора.
Оплавленного кремния огарок—
вот где была жара…

Сейчас пустынны полигоны.
Но в шелесте песка—
живые голоса—их миллионы—
слышны до голоска.

Причастник мук нечеловечьих,
в передовом окопе артразведчик,
я помню телом содроганье
земли.
Мы стали ей врагами—
убили и ушли.

И узнаваема едва
запретка полигона:
то бешено растет трава,
то пуст песок. Плакуча и поклонна,
как быть бы ивушке, сосна:
ветвей заломленная голизна—
молитвы жест? или обиды?
Так на полярных берегах
деревья стужею прибиты.
О ком молитва—о врагах?

Бездонные озёра торфяные,
что в обмороке испокон,
из зарастающих окон
глядят, как яблоки глазные.
Врастают в древесину провода.
Оборвана колючка оцепленья.
И тишина—распада.
И труда
во искупленье…

Наталья

На эту проклятую вышку
Наталья уж если взойдёт…
За нею… глотая одышку…
я тоже… туда же… в полёт…

Плывёт в облаках колокольня.
Вниз глянул—и взмок—и просох.
Хохочет злодейка:—Прикольно!—
и первая в бездну—бросок!

Любовь—как война. Я калека,
едва ковыляю в запас.
—Я старше тебя на полвека!
Хохочет:—Ага, в самый раз!

Я прописи ей повторяю—
злодейка опять на своём:
—С орлом миллион потеряю—
копейку найду с воробьём.

И гриву свою от-пус-тила
на ветер, на солнечный вспых.
—Наталья… Какое светило
в твоих волосах золотых!

На родину

Вся ты в яболоках,
как я в облаках—

искушения не осилю,
мне до святости не домучиться.

Господа, хоронить Россию
не получится.

Красоты *такого запаса*
хватит на пять колен.

Мне до смертного часа
этот плен.

Мне волос твоих грива—
Золотая Орда.

Мне холмы Кологрива,
а не вам, господа.

Сам!

Вы правы, не дай
вам Бог испытать на деле,
чтоб донимал вас негодяй
и не годился для дуэли.

«Будь выше сплетни»—я бы мог,
наверное… Но речь о Даме.
А мне—как—на спине—годами
Носить серебряный плевок?

«Или… и никогда не делай сам,
что до́лжно слугам предоставить».
Но, Бог мой, свет мой, Александр
Сергеевич, не Вам лукавить!

Сам!.. И срываешься на крик,
ничем другим не озабочен:
да не сотрёт твой клеветник
со щёк следы твоих пощёчин!

В метро

Памяти Бориса Слуцкого

Преувеличенный кулак
вам тычет в глаз амбал с рекламы.
Да мне-то что! Я гарь, я шлак,
но тут же дети, мамы…

Мы шлак эпохи, пыль и паль.
Амбал, не обижай старуху:
ведь на груди её медаль
и за войну, и за разруху.

Монетку в лапку вложу,
кулачок поверну,
и ко лбу приложу,
и… никак не вздохну!

Дыхание свело.
Достал меня кулак.
Назавтра, окромя всех благ,
ещё устроит нам ГУЛАГ
царствующее хамло.

У Нестерова

Воображением не богат,
на вернисаже
я погружался в «Чёрный квадрат»—
вылез—весь в саже.
Ну и довольно. Куда мне уйти?
Тихо у Нестерова, почти
пусто.
Отроку Варфоломею
было виденье… И я—во плоти—
вижу камею
русоволосую, лет двадцати.
В тёмном, тиха и бледна,
словно бы к постригу и она
нынче готова.
Скрыты, Россия, твои семена—
блещет полова.
Я разумею,
что уходящий от мира сего
зиждет его…
и гляжу, и немею.
Русая Русь моя, в чёрный квадрат
черти заталкивали стократ—
полно, тебя ли?
Матовый свет на лице—словно рис.
Не осквернили торжественных риз,
а ведь ногами топтали…

● ● ●

Я всё старей и безобразней—
Она всё краше и юней.
Она в народе всех прекрасней
с тех пор, как я пишу о Ней.

Николай Алешков

Дальние луга

Берёзы

По закамским лугам проскакал я верхом,
зрячим сердцем увидел (что может быть проще?):
два десятка подружек взбежали на холм
и остались там бело-зелёною рощей…

● ● ●

Ты жива ещё, моя старушка?
Сергей Есенин

Поэтов в России любят
только после смерти.
Из Интернета

Вернуть соловьиные годы,
упасть в луговую траву!..
Хотелось любви и свободы,
хотелось в Казань и Москву
из Богом забытой Орловки.
Вперёд! И Казань, и Москва
капканы свои и уловки
расставили—выжил едва.
Вернулся, аж мать не узнала,
смурным из незваных гостей.
Чьё солнце тебя обжигало?
Чей холод прошиб до костей?
Родная! Ни солнце, ни вьюга
меня не свалили бы с ног,
я сам из похмельного круга
сбежал на орловский порог.
В столицах чужие бульдоги
российскую славу пасут.
Рванёшься по скользкой дороге—
всю душу тебе растрясут.
Завистники эти цепные,
гранёным стаканом звеня,
а с ними и девки срамные
портвейном «лечили» меня.
Тебе не расскажешь об этом,
но я занесу на скрижаль
вослед за великим поэтом
слезы материнской печаль.
Я вырвался из круговерти!
Спас матери иконостас.
И кто там кого после смерти
полюбит—неважно для нас…

Посвящение другу

Я устал от двадцатого века…
Владимир Соколов

В сине море впадают реки.
Божьи храмы зовут к добру.
Я останусь в двадцатом веке,
в двадцать первом я лишь умру.

Видишь, Кама и, видишь, Волга
продолжают вершить свой бег…
Был Серебряным он недолго,
век двадцатый, свинцовый век.

Я подброшу в костёр поленья.
Вот и жизнь пролетела, друг,
в промежуточном поколенье
между хлёстких смертельных вьюг.

Наши батьки в граните, в бронзе
иль с крестов посреди могил
смотрят пристально: дети, бросьте
нашу славу пускать в распыл!

Мы профукали вашу славу.
Ваши внуки взрослеют, но
на Кавказе спасать державу
им под пулями суждено.

Поздно, друг мой, чесать в затылке.
Сядь к огню, если ты продрог,
в междуречье, как на развилке
вековых, столбовых дорог.

Помолчим-ка давай с тобою,
коль ответить не можем им.
Перед ними с пустой сумою
на пороге почти стоим.

Или вправду мы виноваты,
что Россия трещит по швам?
Над простором речным закаты
злые слёзы подсушат нам…

В сине море впадают реки.
Божьи храмы зовут к добру.
Я останусь в двадцатом веке,
в двадцать первом я лишь умру.

● ● ●

Пути-дороги в вечность пролегли
сквозь горизонты, что порою мглисты…
Как далеко от Пушкина ушли
авангардисты и постмодернисты!

Возрадуемся (Господи, прости!).
Покойный Пригов—их Иван Сусанин.
Они у власти нынешней в чести,
а Бердичевский—ангел их сусальный.

Блаженным рай, а нищему—сума.
И нипочём творцам «стихотворений»,
что «ясность—удовольствие ума»,
как говорил другой российский гений…

А мы в глухих провинциях живём.
Нас понимают русские и манси,
не склёвывая штучно и живьём
ни зауми, ни лжи, ни перформанса.

Нам незачем фамилии менять
или гламур размазывать по тесту.
Мы повторяем (можно через ѣ),
«…что в мой жестокий век…»—
и далее по тексту.

● ● ●

Русских много, Рубцов один,
в ком откликнулась наша слава…
А до премий и до седин
доживает других орава.

Что-то странное в этом есть,
и разгадка не всем знакома:
у любого—родни не счесть,
а Рубцов пришёл из детдома.
Безотцовщина—Кузнецов.
Почему же, Россия, снова
всем счастливым—и хлеб, и кров,
а сиротство взыскует Слова?

Вправо, влево

За правое дело огнём и мечом
сражайся со злом обречённо и смело!
И ангел-хранитель за правым плечом
с тобою пребудет. За правое дело…

А слава коснётся победным лучом—
останься собой, не геройствуй умело,
чтоб дух-искуситель за левым плечом
остался без дела…

● ● ●

Не мечтая о будущих вёснах,
я по осени тихо бреду.
Чья-то лодка тоскует о вёслах
на заброшенном старом пруду.

Может, кто-то её и починит,
и на остров, где будет любим,
погребёт, пропадая в пучине
вод летейских,—будь, Господи, с ним!

● ● ●

Выпью горькую, вспомню истоки
и печали своей, и любви…
Меж озёр луговые протоки:
рыбы в них—хоть руками лови!

И песок, и прибрежные ивы
память сердца берут в оборот:
дикий лук, сенокосные гривы,
жеребята, бредущие вброд

через годы, речушки и реки,
утопая в рассветных лучах…
Пусть останется с ними навеки
и душа моя в дальних лугах!

Геннадий Прашкевич

У тихой непрозрачной речки

Памяти Сергея Гольдина

Печаль полей. Высокие слова.
Три дерева. Неясная тревога.
Далёкий отклик. Пыльная дорога.
Осенняя кипящая трава.
Пустынные пустые острова.
Неясный свет неясного пролога…

На отмелях крутые валуны.
Три водопада падают с обрыва.
Вода наката холодно-игрива.
Не боль, а ощущение вины.
Рассветный пляж. Обрывки тишины.
И отмелей оранжевая грива…

За годом год. Даровано весло.
Но кем? Когда? Лежат сугробы снега.
След мамонта. А там и человека.
А там уже и Слово, и Число.
Откуда и куда меня несло?
Мой возраст превышает возраст века…

И всё-таки, полкниги Бытия
перелистав, представ перед Порогом,
отдав своё сомненьям и тревогам,
я с горечью вдруг вижу: жизнь моя,
как и тогда, в начале бытия,—
спор с Дьяволом, а не беседа с Богом.

● ● ●

Всё, что угодно, приснится, а ты
даже не снишься, тебе не пристало.

Горечью пахнут ночные цветы,
будто без этого горечи мало.

Долгая память. Глухое вино.
Что с нами было? И что с нами стало?

Горечью звёздное небо полно,
будто без этого горечи мало.

Снежное утро. Возвышенный лес.
Белые тени. Природа устала.

Снегом заносит эпоху чудес,
будто без этого горечи мало.

● ● ●

Разор души, глухая боль:
не будь их—как бы мне случилось
понять, что нам даны как милость
и жар любви, и звёзд прибой,

и небо, и высокий бег
ракеты, вспыхнувшей над молом,
и удивление пред вздором,
которым дышит человек,

и тот, ещё грядущий, мир,
где даже вечность не утрата,
где все мы созваны на пир,
с которого нам
нет возврата?

● ● ●

В июле зной невыразим,
листва меняет цвет и запах.
Раскачиваясь, как на лапах,
стоит по горизонту дым.

От пыли кажется седым
засохший мох на старых скатах.
Вода рычит на перекатах,
и сладостно быть молодым.

Мир сказочен, как гипподром,
и будущее только снится.
И что-то обещает птица,
и лето длится, длится, длится.
И, как рассерженная львица,
рокочет над лесами гром.

● ● ●

В печи огонь полено гложет,
распространяя тихий свет,
и будущего быть не может,
поскольку прошлого в нём нет.

Но листья, листья—как сугробы,
бег ветра—сердцу в унисон!
И сладко спать так близко, чтобы
один и тот же снился сон.

● ● ●

Женщины,
которых мы покидаем внезапно,
совсем внезапно, даже не по своей вине,
остаются не в прошлом, а в некоем странном завтра,
как портрет, что выставлен за стеклом в окне.

Города,
которые мы оставляем сразу,
именно сразу, мучаясь и себя кляня,
остаются всегда тоской и вечной заразой,
в бездне грохота и огня.

И чего удивляться, что осень красит
за окнами небо, бесцельно и зло маня?
Остаётся лишь память, и позолота слазит
с женщин и с городов,
но прежде всего—
с меня.

● ● ●

Не надо музыки. Не надо!
Пусть лучше дождик моросит.
Туман. Строения. Ограда.
В окошке свет. Ребёнок спит.

Он тихо спит. Он сонно дышит.
Блаженно и легко сопит.
Мне скажут: «Так давно не пишут».
А я скажу: «Ребёнок спит».

Китаянка

Ты—как Адамово ребро,
ещё неясно, что получится.
Ребро ли у Адама учится?
Адама учит ли ребро?

Но, сбрасывая кимоно,
ты никогда не улыбаешься,
и вряд ли ты кому признаешься,
что знание не всем дано.

Тысячелетний нежный страх,
как дым, клубится в понимающих,
тоскующих и ожидающих,
всему внимающих глазах…

● ● ●

У тихой непрозрачной речки,
где воды распластались плоско,
пасутся белые овечки,
скрипит тяжёлая повозка.

Берёзу ветерком качает,
внезапный дождь на землю сходит.
Сын за отца не отвечает,
и ничего не происходит.

● ● ●

О, я без вас
схожу с ума!
Моя судьба—
моя сума.
Но всё, что есть
в моей суме,
принадлежит
уже не мне.
Я прихожу
и говорю:
«Я пригожусь,
пока горю.
Я пригожусь,
пока горяч».
А вы опять—
в тишайший плач.
О этот плач,
ваш женский плач!
Я был царём,
а стал палач.
И холод слов моих—
что нож,
и правды в нас—
на медный грош.
Но этот грош в такой цене!
Не разменять
ни вам,
ни мне.

Александр Орлов

Белоснежная пряжа

● ● ●

Арсению Замостьянову

Мгновенье пройдёт, и в соломенной гари
Исчезнет лист вербы, разорванный, карий.
Он станет ничем, обесцвеченным дымом,
Рассеется в сущем, нетленном, незримом.

Он будет безвестным и в скором потоке
Рассмотрит, как вьюги и ливни жестоки,
Как тучи безвластны, а звёзды ленивы,
Святые почили, опричники живы,

Как мир навсегда рассечён пополам,
И каждый погост устремлён к куполам,
И молит о тех, кто живёт сгоряча,
И в холод уходит, и рубит сплеча.

● ● ●

Июнь, дружинник, держит наготове
В разбухших тучах слёзы трёх волхвов.
В течение минут, а не часов
Они прольются в Суздале и Пскове.

Пройдут покорно в дождевом порядке
Вначале Март, потом Апрель и Май.
Волхвов ушедших с грустью поминай:
Их дни угасли, высохли осадки.

Припомни: Март метели проводил,
От колдовства сугробы почернели,
Апрель гадал на отзвуке капели,
Бросал влюблённых в огневой распыл.

Май предвещал, что в порыжелой куне,
Что прячет археолог в пятерне,—
Древнейшее сказанье о весне,
И видел нас на Рюгене в июне,

Где пенится закатная черта
И морщатся меловые утёсы,
Где самые кипящие вопросы,
Как волны, затихают у борта,

Где в недрах погребального холма
Под идолом священным Святовита
Руянами от глаз людских укрыта
Снегов царица—русская зима.

● ● ●

Марине Саввиных

Чудо-юдо заморская рыба,
Незадачливый сказочный кит,
Не оставит, поймёт, защитит
В синеве ледяного отшиба.

И расскажет спокойно, влюблённо
О величии мелей и скал,
И о том, как во тьме горевал,
Размышляя о людях, Иона,

И о том, как мы все далеки,
Рассуждая в подённом масштабе,
И о том, что в библейские хляби
Увлекают его плавники.

● ● ●

Дух земли будоража,
Пробуждая от сна,
Белоснежная пряжа
В полумрак вплетена.

Белоснежная пряжа
Выползала из тьмы,
И не верилось даже,
Что расстанемся мы.

В золотистой фашине
Остроглазых лучей,
Покружив на вершине,
Окунувшись в ручей,

Воспарила над яром,
Проплыла надо мной
И в осиннике старом
Стала млечной тропой.

По узорчатой пряже
Мы идём в полусне,
Взгляды облачной стражи
На тебе и на мне.
И не верится даже,
Что в сердца вплетена
Белоснежная пряжа…
Я один, ты одна.

• • •

Распалась белая опала
Скользящих дней,
Зима к сугробам припадала—
Забудь о ней.

Застынет месяц в половодье.
Скорее вплавь,
Порвав сердечные поводья,
Слова отправь.

Утешит образ Параклита
В моей руке,
Чернильным паводком размыта
Зима в строке.

И только Ты слова исправишь
В пурпурный час
И отогреешь в сердце залежь
Не напоказ.

В небесных зарослях сирени
Пуста скамья,
И в день отзывчивый весенний
Уйду и я.

Муром

Спадает пасмурный отщеп
На город Муром,
И смотрит благоверный Глеб
В раздумье хмуром,

Как молчаливы и просты
Все муромчане,
Как ополчились на кусты
Заката грани.

Как обретает у мощей,
Скрестив ладони,
Души спасительный елей
Вдова в поклоне.

Как проезжают поезда,
Маршрутки, фуры…
И как Спасителя звезда
Затмила Муром.

Вера Зубарева

ОРЛИТА «ДиНу»: «Я к вам пишу…»

Поздравление от Объединения Русских Литераторов Америки

В скайпе—зелёный огонёк. Это значит—по ту сторону океана день, и на равнине стола той, что стоит у руля «Дня и ночи», вьюжат сибирские просторы, возводятся египетские пирамиды, текут воды Терека, посверкивают нью-йоркские небоскрёбы, колышутся украинские степи…

Я мысленно желаю ей доброго дня, зная, что он будет предельно напряжённым и насыщенным, и слежу за наступлением ночи за моим окном.

Когда смеркается на этом побережье
И Ночь набрасывает шаль на океан,
На том уж День—я точно знаю—брезжит.
И думаю: не в этом ли надежда
И обещанье, посланное нам?
Как важно знать тому, кто в ночь уходит,
Кто грусть о солнце тающем несёт,
О мерно замирающей природе,
Что на другом конце земли—восход!

И не в этом ли ещё один символический смысл журнала, ставшего мостиком между днём и ночью на разных континентах?

Наша ОРЛИТА поздравляет «ДиН» со славным двадцатилетием. Сил творческих, душевных и физических всему талантливому и самоотверженному коллективу и крыльев—его рулевому, дорогой, тёплой, щедрой на отклик и горячо любимой нами во всех её ипостасях Марине Саввиных! Да будет «День и ночь»!

Дорогой «ДиН»!
Я к вам пишу… И в этой роли
Всегда желаю пребывать.
Сто двадцать стукнет пусть и боле!
Тебе—все флаги в гости звать
И неустанно хлебом-солью,
Обычай древности храня,
Встречать средь ночи их и дня.
Живи в печати и в Сети ты,
Чтоб каждый смог тебя прочесть,
Сказав: «Я есмь, когда ты есть.
Я жду тебя!»
Твоя ОРЛИТА.

Вера Зубарева, Филадельфия

Грузия о жизни и любви

Ассоциация литераторов Грузии «АБГ» и ЛИТО «Молот О.К.», включающие в себя значительную часть русскопишущего Тбилиси, представляют читателям «ДиН» оригинальные стихи авторов разных поколений, а также переводы с грузинского.

С наилучшими пожеланиями из Тбилиси Анна Шахназарова и Михаил Ляшенко.

Шота Нишнианидзе

Побывка

Нас снова, мама, ночь обволокла.
Я не покинул громовую сечу.
Я выскользнул, как в детстве, из окна
И устремился снам твоим навстречу.
Минутный срок свиданью отведён.
Пробыть с тобой не более минуты—
Каков удел?! Но как ни горек он,
Благодарю за сброшенные путы,
За два крыла, проросшие в спине,—
Им велено осилить расстоянье.
А, молнией подхваченному, мне
Не велено откладывать свиданье.
Когда меня прошил шальной свинец,
От вас тогда беду не утаили.
В мгновенье ока постарел отец,
А ты живой примерилась к могиле.
Держись, родная… Вздохом боль укрой.
И так на сердце ран переизбыток.
Не плачь, когда найдёшь кафтанчик мой
Или тетрадей пожелтелый свиток.
Не бойся, мама! Всё пойдёт на лад.
Знавали мы безвременье похлеще.
Грех отомрёт. Признает брата брат.
И Грузия восстанет птицей вещей.
Сниму пушинку с правого крыла—
На свете нет священней амулета.
Вот здесь, на полке, в Книгу книг легла
Твоя броня от порчи и навета.
Я вымолвился. Ухожу в зенит.
Над Мцхетой ангел метит Путь мой Млечный.
Земля нас, мама, рассоединит,
Но небо Картли вновь сведёт навечно.

* * *

Я болен. Я в тревожном сне.
От бреда боль или от яви?
Я как птенец, что по весне
Гнездо рискованно оставил.
Котом посапывает век
И, крадучись, прыжок свой метит.
Над дымом гор, над синью рек
Я отличаю жизнь от смерти.
Сочувствию легко понять
Моих товарищей смятенье.
А я не знаю: где искать,
В каком из двух миров спасенье?
Всё это правда или сон?
И я ли гибельно вынослив?
Не в дрёму ли я погружён
При жизни? И не жизнь ли после?
Родных, исчезнувших давно,
Вопросом прежним беспокою:
Раз небытье бытью равно—
Главнее всё-таки какое?
И верно ль, что Природа—лик
Владыки? Или суть предмета,
Овеществляющего миг
В той стороне согласно этой?
Чем смысл рожденья объясним?
Где до него мы пребывали?
Во что веленьем роковым
Нас обратят иные дали?
И мать с опаской нажитой
Ответствует: «Творцом наложен
Запрет на истину, а к той
Один-единый путь не ложен.
Всеведущим ты можешь стать,
Освободив себя от скверны,
Переча смерти, в жизнь врастать,
Чтоб слиться с вечностью безмерной.
Конец это или исток?
Действительность или виденье?
Живёшь—живи. А выйдет срок—
Не запоздает пробужденье…»

Перевод Вахтанга Буачидзе

Майя Саришвили

● ● ●

Лие Стуруа

Как высоко Вы живёте!
И Вам не страшно?
А вдруг в открытое окно заплывёт облако,
Или солнцу в глаза попадёт пыль,
Когда Вы убираете квартиру?
Птицы летают под Вами,
А бабочки—ещё ниже.
Ваши вещи стоят на цыпочках,
Чтобы увидеть из окна,
Как цветут внизу фонтаны
Или как разбивается,
Сверкнув, стекло
На первом этаже.
Как высоко Вы живёте!
До Ваших окон не могут подняться
Ни птицы, ни мячи, ни фонтаны.
И скучающие занавески
Порой вырываются на волю
И развеваются крыльями Ваших комнат.
Как высоко Вы живёте!..

● ● ●

Мои вещи
Унесла прозрачная река,
Унесла всё,
Что красило мне пальцы голубым.
В море вынесло их,
Запутало в водорослях,
Позабыли они меня и спят на дне.
И только в тёмном отверстии одной бусинки
Затаилась прошлогодняя моя ресница.

● ● ●

Запах старого паркета
И осколок оранжевого стекла у самых глаз.
Хватаюсь за мысль о пространстве,
Где степенно покачиваются тяжёлые кареты
И улиткам снится шум дождя.
А здесь нечем дышать.
Словно молекулы кислорода
Поштучно обернули в бумагу.

● ● ●

Он съел меня
И выбросил косточку-сердце.
И новым деревцем взошла я.

Перевод Анны Шахназаровой

Зураб Ртвелиашвили

Шум

Золотой ветер в тишине
    золотой ветер
тайно шепчу желание
    остаться в этом шатре
не играть с мелкой зыбью
    в золотой воде
тайно шепчу желание
    обратить в золото
        воду и ветер
заплетать с лёгкостью ветра
    косы дорог…
непроходимые чащи
    будят желание…
золотой ветер в тишине
    золотой ветер
вливаюсь счастливый
    в шальные потоки
пусть не пробиться мне
    золотым лучом
        к развилкам дорог
пусть душит желание
    не заполнить
        золотую тишь…

● ● ●

дереву тень сопутствует
поэту—стих
ногам—движение
ангелу—крылья
монаху—Библия
храм женщины—шкаф
за глухими его дверьми
её молитву прячет домовой

Киртан—Ашраму
Хари—Кришне
палачу—топор
любви—секс
когда на море
не утихает шторм—
спокойно молись царица
только тебе понятен
до невозможности простой
язык моего тела…

Перевод Ады Джилавдаровой

Михаил Ляшенко

● ● ●

Кубинским друзьям. 1985 год

Arriba, Arriba!..—Ольгита Камастра.
Гаснут петардами белые астры.
Можно принять их огонь на ладонь.
Это не больно и не опасно,
этот огонь, несомненно, бенгальский,
если не веришь—пальчиком тронь,
это—как выдох: всё будет прекрасно!
это—как время, что будет потом,
это—как счастье с плеча папы Кастро,
это—как слово короткое «баста»,
это в обойме последний патрон.

Из цикла «Созидание»

● ● ●

Штриховал я штрихом ковыля,
мне послушно шуршала бумага,
шорох шёл по окрестным полям
так, что выла под сердцем собака,
и смущались астральные знаки,
и катило волну по морям.
Я ваял из окрестного мрака,
мрак застойный, как вены, вскрывал,
и ребёнком обиженным плакал,
и хвостом от восторга вилял,
чёрной тушью, как кровию, капал…
Так вот ваньку всю жизнь и валял.

● ● ●

…чтобы вещать наперебой,
на ощупь обманув колоду,
началом—вспять, концами в воду,
уйти в себя, пойти в запой,
унять хвастливую свободу,
и обмануть собой природу,
и дверь захлопнуть за собой.

● ● ●

Простыми крепкими словами,
прямыми, строгими, как нож,
когда вдруг лезвие берёшь
непосвящёнными губами,
а за щекою держишь камень,
а за душою держишь ложь.
Пойми зачем?
А не поймёшь.

Анна Лобова-Кубецова

● ● ●

Солнце дозрело. Тяжёлое, падает вниз,
лопнув декантером, брызжет вином, виноградом,
льётся по склонам холмов, вырывается из
тёмных ущелий латунной листвой, водопадом,
стадом коров, волочащих по жёлтой траве
длинные тени: скорее, пока не запели
вдруг на холмах пастухи, как один человек,
пьяные солнцем и этим бушующим ртвели.

● ● ●

В помолодевшем небе ветер,
поверим, что не быстрый, перья, плети
и пена поредевших облаков.
В песочнице под ними дети—эти
хронометры любой судьбы на свете—
просеивают пыль моих часов.

Лоза, как вор, влезает на балкон,
и свет крадёт, и ведь не даст ни грозди
взамен. Оставь. Растениям закон
не писан. Неприкосновенны гости.

И ты влезай, лови руками свет,
в карманы прячь корпускулы горстями.
Отдашь—собой. Другой валюты нет
меж нами, как и ты, дружок, гостями.

● ● ●

Не выть—поскуливать только можно
на это чудо: младенец луны,
четверть ласкового лица,
серп лимонного леденца—
такой заманчивый, что осторожно
лизнуть бы… да всё равно, увы,
порежешься и, крови вкус почуя,
устало вымолвишь: не хочу я
завтра.

● ● ●

Вот в небе—как овечки—облака,
а на холмах—как облака—овечки.
Лохматая папаха пастуха,
пёс—как папаха, лошадь без уздечки,
безуздный вдоль дороги первоцвет,
вся в лужах зацветающих дорога…
Пастух молчит. Дороге много лет.
И времени так много, много, много.

Сусанна Арменян

● ● ●

Раскрываешь перед собой нарды и понимаешь, что забыл, как в них играть.
Ты придумал гениальный финал к фильму, который никто не захотел снять.
Квартирник начинался как тост, но в конце оказались пустые бутылки и мордобой,
Ты не дрался, ты разнимал дерущихся, ты спасал гитару, прикрывая её собой.
Начинанья мощно взнеслись, свернули в сторону и упали вниз, как плевок.
Тебе стало ясно, что ты до сих пор продолжаешь вести себя как «совок».
Недовольный собой, ты не понимаешь, чего конкретно можно от тебя ожидать.
Ты принимаешься анализировать самого себя, и лучше тебя сейчас не прерывать.
Как ни странно, в случае нервного срыва опять помогает примитивнейший мат…
Тебе хочется разом—но так, чтобы никого не поранить,—излить накопившийся яд,
Выйти за грань стакана, на ходу превращая отраву в полезнейшую микстуру,
Посмотреть самому себе в глаза и излечиться—наложением пальцев на клавиатуру.

● ● ●

Теперь уже можно сказать: двадцать лет назад—
когда не было ни цифровых фотоаппаратов,
ни принтеров с плюющимися краской картриджами.
Не было и компьютеров, айподов, мобильных телефонов.
Только чёрно-белые фотографии Брюса Ли и Алена Делона,
сделанные, видимо, с экрана телевизора.
Только чёрные диски, которые так трудно достать
и так легко поцарапать.
Только магнитофон, перед которым
можно было петь, молиться, дурачиться,
не зажигая свечу, но нажав на кнопку «Запись».
Можно было ходить с тобой пешком
целыми часами по тёмному городу,
не пугаясь невменяемости боевиков,
не думая о случайной пуле,
не зная, что будет завтра,
не сокрушаясь о том, что метро уже закрылось на ночь,
не замечая, что сапоги с чужой ноги,
не придавая значения наличию или отсутствию еды,
не надеясь на чудо, но приветствуя факт чуда,
не удивляясь некоторым странностям гуманитарной помощи,
не держа тебя за руку или держа тебя за руку.
Можно было восхищаться тобой безгранично.
Тем, как ты заявлял, что хочешь непринуждённо
выбросить мандариновую корочку с моста
на проезжающую машину.
Или тем, как ты хвастался, что даже пьяным
дойдёшь до дому на автопилоте.
Или тем, как ты приласкал подзаборного пса,
который только что готов был сожрать тебя.
Это было где-то на стыке эпох,
приблизительно там, где края столетий,
как материковые плиты, трутся друг о друга,
сотрясая мирных жителей и прочую мелюзгу.
Теперь уже можно сказать, что
первая любовь умирает последней.

Владимир Саришвили

● ● ●

Обрушился гроб и обрушил могилы края—
Сухую и пыльную глину… Лопаты, мелькая,
Засыпали яму. Спи мирно, подруга моя,
Домой провожал, а теперь навсегда провожаю…
Единственной женщины, правильно пившей со мной
В те редкие дни, когда мы убегали, как дети,
Куда-то под крышу—остаться вдвоём с тишиной,
Не стало, не стало, не стало, не стало на свете…
Ах, если б мы жили в семнадцатом веке, в шале,
В саду под Парижем гуляли, обедали в замке,
И я бы снимал панталоны, от счастья шалел,
А ты бы шептала: «Маркизы—такие же самки…»
Но жили мы здесь, ненавидя кукушку в часах,
В те редкие дни, когда мы убегали, как дети,
Целуясь, как дети, бросаясь в постель впопыхах.
Теперь тебя больше не стало, не стало на свете…

Сонет книголюба

Куда девать Бронте? Ума не приложу.
Английский шкаф забит. Не торкнуться бедняжке.
Подвиньтесь, мистер Скотт! Трактирные замашки
Забудьте, Кристофер! Джером, сюда прошу…
Идальго Дон Кихот! Позвольте, послужу…
Придвину ближе к Вам высокие ромашки;
Священные листы, занятные бумажки,
Как миром—Бонапарт, я вами дорожу…
Столица лошадей и остров Робинзона,
Пекина палачи и богачи Гудзона,
Затейливый роман соломенной вдовы…
Вселенные бурлят под немотой обложек,
И сорок лет глаза от них отвесть не может
Фигурка глиняной нахохленной совы…

Эхо

В морщинистых горах, где оргия лучей
В час пополуденной жары достигнет пика,
Я выкрикнул: «Ты чья?» В ответ не слышу крика—
Донёсся равнодушный шепоток: «Ты чей?»
Кричу: «Я дней своих усталый казначей,
Мне так уютно здесь, а в городе так дико».
Смеётся: «Путник, ешь, поспела ежевика.
Здесь праведников нет, но нет и палачей…
Испей воды из наших орковых ключей».
Чуть слышно говорю: «Неужто ты живая?
Так выйди из пещер, явись мне во плоти.
Доколе жить тебе, чужое повторяя?»
Ответствует она: «Нет, нам не по пути.
Ты погостишь в горах—да и назад, к бумагам,
А ваша суета мне будет саркофагом…»

● ● ●

Не уверяй напрасно ты,
Что, может, завтра, может, к лету
Жизнь из кромешной темноты
Внезапно устремится к свету.
Я в сказки верить перестал.
Я избран. Изгнан. Опозорен.
Поэзию—на пьедестал—
Одну, с кем я ещё не в ссоре.
Уходит ночь за облака.
Я оставляю в оправданье
Стихи. Иное мирозданье
Меня не приняло пока.

● ● ●

Не зарекайся—проживёшь
Без дорогих своих и близких—
Они в туманностях английских
Несут властям то чушь, то ложь,
Чтоб дали дом, чтоб дали грош,
Надёжный грош на хлеб и виски…
Не ной, не хнычь—не пропадёшь,
Ты—парень тёртый, ты—тбилисский,
Ты чётко просчитаешь риски,
Измеришь, взвесишь и сочтёшь—
И чудо-брошь преподнесёшь
На именины одалиске…
Пока ж со службы ты бредёшь,
Есть чай, и к чаю есть ириски,
Или покрепче что найдёшь,
Стакан наполнишь и хлебнёшь
За дорогих своих и близких,
И ляжешь прямо в брюках клёш…

● ● ●

Прохладою тюремных коридоров
На город опускается октябрь.
И льётся дождь, как демонский отвар,
И не до слёз теперь, и не до споров…
Устлать дупло посуше мягким мхом,
Отгородиться зрением и слухом…
О город мой, отчаявшийся духом!
О город мой, повенчанный с грехом!

Паола Урушадзе

ХХ век

Чтоб не наскучил срок земной,
В рождественский носочек
Он мне подкинул
свой—
родной—
Давно отрезанный войной
Серебряный кусочек…

И с этих пор *они* со мной,
Как будто так и надо,—
И Тэффи, и Паллада…
И Петербург не Петроград,
Ещё не сыгран «Маскарад»,
И Дапертутто—как живой,
Совсем другой…

Им хорошо, тепло и мне,
И оттого темно вдвойне:
Как ни крути, как ни ряди,
Но «некто в сером» впереди,
А с ним—судьба и участь,
И не сло́ва уже, а факт:
Вишнёвый сад. Последний акт…
На сцену входит Ужас…

Ангел-хранитель

Он весь любовь, он весь забота,
Пасёт тебя с утра до вечера:
Вдруг, не дай Бог, обманет кто-то,
Вдруг сам обманешься доверчиво
Или пойдёшь не той дорогою,
А там беда, а там напасти…
Пасёт и поминутно трогает
Губами—лоб, рукой—запястье…

Но иногда он отвлекается
(На ерунду, по их понятию),
За это время жизнь кончается,
И горько плачет он и кается:
«Всего на час зашёл к приятелю…»

● ● ●

Я видела, как уходила тайна,
как шла она и, будто бы случайно,
рукой касалась завитков ворот…
как по дороге трогала украдкой
решётки, желоба и стены давней кладки…
За нею валом не валил народ,
и город не вникал в мои догадки,
ему хватало и своих забот…

Я шла за ней,
я видела:
она
взглянула вверх—
там были два окна,
в одном из них забилась занавеска…
Там кто-то уже знал…
Не дожидаясь треска
затёкших рам,
она свернула за угол—к дворам,
и тенью пробежала по террасам,
и канула…
Куда?
Не стоило гадать,
не раз и раньше след её терялся,
она всегда любила пропадать…
Я знала, где её искать…
Дома!
Они ещё стоят вдоль улицы покатой…
Там у неё такие закрома—
недаром двери для меня сама
она крестами метила когда-то…

Я опоздала…
Все свои кресты
она уже успела соскрести…
А из парадных испарился он—
дух шатких лестниц, стуков и имён,
а с ним и запах
старой доброй пыли
с кислинкой незапамятных времён…

Её там не было…
В колокола не били…

Роман Сенчин

Феофаныч

В 1993 году наша семья — родители, моя сестра Катя и я — переехала из столицы Тувы Кызыла на юг Красноярского края. Катю взяли в труппу Минусинского театра, а я с родителями поселился в селе Восточном, километрах в пятидесяти от Минусинска.

Жить в деревне мне, двадцатидвухлетнему парню, не очень-то хотелось, и я часто бывал в Минусинске, пытался найти работу, жильё, а главное — познакомиться с какими-нибудь творческими людьми, обрести товарищей. Сам я в то время занимался рок-музыкой, пытался рисовать, писать рассказы.

Но поначалу Минусинск виделся мне сонным, пресным, скучным райцентром. То ли дело Кызыл, откуда мы уехали: национальное самосознание принесло не только агрессию тувинцев в отношении некоренного населения республики, но и расцвет этнической музыки, соединение её с роком, джазом, рождение новой живописи, вообще какой-то духовный подъём… Я стал жалеть, что согласился покинуть опасный, но и кипящий творческими силами родной город.

На одной из премьер в театре я неожиданно столкнулся с шумными, грязноватыми (дело, уточню, было в театре), непричёсанно-бородатыми людьми — художниками. И стал с ними дружить. И Минусинск открылся для меня с новой, яркой стороны. Многое дал мне.

Есть такое понятие — минусинские художники. Но Минусинск — это не граница, а центр. Они живут и в Абакане, в сёлах и посёлках на юге края, в Хакасии. Кто-то из них может поехать из Минусинска к другу в Абакан и там зависнуть на несколько месяцев, кто-то — наоборот; кто-то месяцами живёт на горе Тепсей; кто-то отправлялся на удачу в Красноярск и возвращался через полгода или богачом (богатство, правда, мгновенно улетучивалось), или же еле живым от водки и недоедания… Но несколько раз в год художники собираются в Минусинской художественной школе на коллективных выставках своих картин и становятся единым целым.

Эти моменты, когда они встречались, делились новостями, рассказывали истории, накрывали нехитрый стол, чтоб отметить встречу, остались для меня одними из лучших воспоминаний о тех временах, когда я жил в Минусинске.

Каждый из художников писал (сами они любили слово «красить») по-своему. Всегда можно было узнать почерк Сергея Бондина, Александра Терентьева, Александра Решетникова, Юрия Тимошкина и Юрия Соскова, Александра Ковригина, Юрия Толкачёва, Александра Миссинга, Александра Доможакова, Дениса Стахеева… Но было и нечто общее: в любой работе, в любом сюжете, даже в городском пейзаже, виделись каменная древность, тень тысячелетий и какое-то не слащавое, но стойкое жизнелюбие…

Поначалу я не мог понять, откуда это объединяющее начало. То, что художники живут в одинаковом пейзаже, видят эту древность в музеях Минусинска и Абакана и на скалах Енисея, — это одно, но должно быть и именно художественное начало: тот, кто первым соединил петроглифы и панели многоэтажек.

И однажды я увидел картины Капели. Наивные, но затягивающие в себя, не отпускающие бытовые сценки (свинью мужики режут во дворе, обложенном камнем-плитняком; охотники бегут за лосем, совсем как на петроглифе), пейзажи с каменными бабами и портреты женщин, похожих на каменные бабы, китайские монетки, прибитые на берег… Вскоре познакомился и с автором — кудлатым, бородатым, в громоздких, перевязанных изолентой и верёвочками очках стариком Владимиром Капелько.

Художники — народ хоть и добрый, бескорыстный, но и грубоватый, — относились к Капелько с явным уважением, сдержанной, зато постоянной, зоркой заботой. Как взрослые сыновья к дряхлеющему отцу. Звали его Феофанычем.

Поначалу я думал, что Феофаныч — это прозвище. Что-то в нём слышалось патриархальное, седое. И вот как раз старик с седой бородой, сутуловатый, ослабевший, но и мудрый, могущий подсказать, научить. Как его называть? Феофаныч — подходит лучше всего.

Потом я узнал, что у Капелько действительно такое отчество. Поразительно подходящее ему: казалось, он прямиком от того Феофана Грека из фильма Тарковского. Но если Феофан был суровым и строгим, то Феофаныч — мягким и добрым. Но оба они одинаково упорны и непоколебимы в той жизненной цели, что уготована им свыше.

Впрочем, подходила и фамилия Капелько, переиначенная в смешное, весёлое прозвище—Капеля. Кстати, некоторые свои картины Владимир Феофанович так и подписывал—«Капеля».

Сейчас, спустя, двадцать лет, сложно уже в подробностях вспомнить, как именно мы с ним познакомились, о чём говорили. Осталось, как подробно он рассказывал мне о том, как делать перетирки с петроглифов—писаниц. Было это во время какого-то застолья, и Капелько наверняка хотелось поговорить, пошутить со своими учениками, которых давно не видел, а он объяснял мне, случайному в этой тесной компании человеку, как укреплять на скале микаленту («Ну, можно и папиросную бумагу, только осторожно, не порви»), как смачивать её, как растирать по микаленте сажу, как не запачкать, не испортить скалу… В другой раз объяснял, как находит разноцветную глину, делает краски… Бондин, Сосков, остальные, послушав, начинали делиться своими секретами, и возникала целая дискуссия, цеховой спор. Даже выпивать забывали…

Ярко запомнилось, как Капелько отучил меня «блинкать» через слово. Сидели дома у художника Александра Ковригина, я что-то увлечённо рассказывал, вставляя «блин», а Капелько каждый раз добавлял, причмокивая: «Блин с маслом!» Я обиделся: «Феофаныч, ну чего перебиваешь?»—«А ты блин попусту не поминай. Это слово непростое». Сказал это как-то так таинственно, что я стал поминать блин реже…

Позволю себе поместить здесь несколько кусочков из своей повести «Малая жизнь», где появляется Владимир Феофанович… Это не документальный текст, поэтому имя и фамилию я изменил, а вот с отчеством персонажа ничего поделать не смог—оно осталось таким же… Повесть написана в 1996 году, многие сцены в ней, что называется, с натуры:

«Тридцатое апреля. С утра в художественную школу стекаются бородатые и гладко выбритые, высокие и низкорослые, худые, еле волочащие ноги и спортивно-подтянутые, но всё же чем-то очень похожие друг на друга люди. За спинами или под мышкой несут завёрнутые в тряпки картины и, встречая в галерее сотоварищей, грубовато-ласково выкрикивают приветствия, радуются, закуривают, наперебой что-то друг другу рассказывают.

Часов в десять приехали из Абакана Боря Титов и Димка Кидиеков, а во второй половине дня появился согнувшийся под тяжкой ношей—тремя большими полотнами в рамах из распиленных повдоль стволов ели с залакированной корой—патриарх южно-сибирской живописи Михаил Феофанович Федотько. Ему давно перевалило за семьдесят, был он родом из старообрядческой семьи и впервые попал в город, как сам рассказывал, в июле сорок первого, на сборном пункте, а картины увидел в Москве, в ноябре того же года, когда их стрелковый батальон водили в Третьяковскую галерею…

—…Ну, машины не нашёл, пришлось на автобусе вот телепаться,—оправдывался Михаил Феофанович, пока ребята снимали с него холсты.—Кондукторша багажные требует, а откудова?! Вот на пойло заначил маненько, но ей не дал, уговорил, чтоб так повезла. Художник, говорю, картинки вот на выставку надо доставить. Плюнула: езжай, говорит…»

В этом куске есть неточности. Одна—непростительная: в ноябре 1941-го по Третьяковке не водили экскурсий—картины как раз в то время упаковывали и везли в эвакуацию, в Новосибирск… А другая вполне объяснима: Капелько выглядел таким древним, что складывалось впечатление—вполне мог воевать. Лишь недавно, заглянув в «Википедию», я узнал, что родился он в 1937 году, и значит, тогда, в девяносто четвёртом—девяносто пятом, ему не было и шестидесяти. И появился он на свет не в глухом таёжном посёлке, а в Красноярске… Хотя органичней всего Капелько смотрелся не в мастерской, не на диких хакасских скалах, не в степи, а в заросшем таёжными травами и никогда там не вызревающими подсолнухами огороде в саянском селе Верхнеусинское, где то ли снимал, то ли имел избушку и куда часто уезжал «отвыкать от города».

Дальше в повести художники развешивают картины. Капелько-Федотько тоже принимает участие.

«Алексей Пашин отбирает у Федотько стремянку:
—Феофаныч, не лазь ты! Мы сами твоё так развесим, что идеал получится!.. Сковырнёшься вот, что нам-то делать тогда?
—Ага, сынок,—хитро усмехается Федотько, не выпуская стремянку из рук,—может, ещё и красить за меня будете? Нет уж, сам накрасил, самому и цеплять! Вот на посмертной—там уж делайте с моими почеркушками чего хотите…»

Всё развешано, и художники медленно ходят по галерее, изучают картины товарищей, оценивают, хорошо ли—выгодно—висят свои холсты. Завтра открытие, придут не только простые зрители, но и покупатели…

«Михаил Феофанович глазами мастера щупает «почеркушки» (так внешне пренебрежительно он выражается о результатах своего и своих учеников труда), иногда удовлетворённо, даже радостно-изумлённо крякает. Он прищуривается, склоняет набок кудлатую седую голову, пытается что-то найти в слабой работе—но, может, слабая она только на первый взгляд, и чтобы понять, разглядеть её силу, нужно вглядеться, приложить усилие… У Михаила Феофановича долгая, полная приключений и испытаний жизнь. Этнографические

и археологические экспедиции, путешествия по тундре, пустыням, тунгусской тайге, зимовки в охотничьих избушках, и везде он работал, везде красил, зарисовывал, схватывал впечатления; он оформлял залы по истории древности в музеях Минусинска, Красноярска, Абакана, его картины во многих собраниях и галереях, но богатств Федотько так и не скопил; как и многие его младшие собратья, тоже «перебивается»…

А после внутрицехового просмотра—начался пир. Закупили водки, вина, кое-какой закуски, разместились тесно, бок к боку, в натюрмортном фонде. Галдели, делясь впечатлениями, рассказывали какие-то случаи, звонко сталкивали кружки, чашки, стаканы».

Потом—описание пирушки, во время которой герой повести Сергей рассказывает Феофанычу о найденных им на скалах над Енисеем удивительных писаницах. Федотько уточняет, где это, и кивает:

«—Знаю то место. Малые Ворота оно называется… И тропу ту знаю. В шестьдесят четвёртом, кажется, лазил там. Не слышал, до меня был кто, нет, и после… В хитром месте писаницы те…

—А перетирки делали?—Сергея кольнуло некоторое разочарование, что они уже открыты, и ответ его слегка обрадовал:

—Нет, материала с собой не было, а потом в экспедицию уехал, новое появилось… Сообщил этим, краеведам, а были, нет, не скажу… А писаницы там интересные…—Федотько нахмурился, сдвинув свои седые пышные брови, вспоминал; по толстым, с забившейся в поры краской пальцам катал, разминал сигарету.—Особенно, это, солнечное божество есть там такое… Вот его стоит перетереть бы… Не видел?

—Нет,—волнуясь, отозвался Сергей. <…>

—Не видел, значит? Н-да, трудно к нему подобраться—укромное место, опасное. То есть—тропа как бы уж кончилась, а может, нынче и совсем нет проходу… Я еле-еле, вот так вот,—Федотько шоркнул одной ладонью о другую,—прополз. А дальше, за выступом,—площадка ровнёхонькая и скала гладкая, ни зазубринки нет. И вот на нейто… <…> И там как раз он и выбит, солнечный идол этот. По центру так вот как раз… Вот его-то надо бы… Там, значит, семь лучей, как копья, от его, от круга, и лицо—три глаза. И больше вокруг ничего нет, только он. Н-да… Я на той площадке ночевал, а утречком, как солнце-то глянуло, как ударило по этому… Я опупел, честно слово!

—Да, да!—кивал Сергей, вспоминая и свои чувства, когда сидел вблизи этого места и представлял восход; и удивляло, как отпечаталось в голове Федотько то, что он увидел тридцать лет назад…

—Сходи, если захочется,—посоветовал старик,—бумаги возьми. Микалента есть у тебя?

—Нет, папиросная есть.

—Ну, её возьми… Если проберёшься, перетри. Достойно!.. Есть такие идолы на Оглахтах, и ещё кой-где, но тот… Зря я тогда не вернулся ещё…»

И вот—открытие выставки:

«Виктор Андреевич, директор галереи, бегло охарактеризовал творческие особенности каждого представленного художника (на это ушло минут десять), выделил некоторые произведения, посетовал, естественно, на недостаток финансов, чтобы приобрести в фонд галереи все заслуживающие того картины; затем передал эстафету Федотько.

На подгибающихся, подрагивающих ногах, сгорбившись Михаил Феофанович вышел на середину зала, почесал раскалывающуюся голову (намешал вчера водки с «Кавказом»), огляделся и махнул рукой:

—Да чего тут уже говорить? Глядите!

Уставшая от речей публика благодарно захлопала и разбрелась по залу».

Вот таким остался в моей повести Владимир Феофанович Капелько. Не знаю, узнаваем он другим или нет…

Кстати будет сказать о выставках. Они проводились в Минусинской художественной галерее или в музее имени Мартьянова нечасто, хотя и те, и другие двери для художников были, что называется, распахнуты. Но в середине девяностых эти выставки стали чуть ли не основной возможностью художникам заработать приличные деньги. Часть картин покупала галерея или музей, часть—предприниматели и просто состоятельные, а то и не очень, минусинцы.

В небольшом, со статусом районного центра Минусинске были (а может, и до сих пор сохраняются) две удивительные традиции: побывать на новом спектакле в театре и иметь дома картины местных художников…

Стоит сказать и о женщинах художников.

С художниками жить было, кажется, очень сложно. Отцами семейств в традиционном смысле этого понятия они уж точно не являлись. Поэтому если и были у них жёны (далеко не у всех), то тоже художницы. Но и они не выдерживали аскетичного, но и свободного, порой очень нетрезвого образа жизни мужей. Ругались, плакали, уходили, возвращались… Жена Капелько—Эра Антоновна—тоже часто теряла терпение, стыдила молодых друзей мужа, которые тянут его выпить, торчат сутками в мастерской, везут в Минусинск без цели… Но когда кто-то из художников попадал в тяжёлое положение, именно она—Феофаныч как-то терялся—старалась помочь, по крайней мере—накормить… Сейчас, знаю, Эра Антоновна уже второй десяток лет бьётся за то, чтобы был создан музей Владимира Феофановича. Конечно, желаю ей воплотить в жизнь эту идею…

Да, ещё одно воспоминание.

Капелько, Александра Ковригина, Александра Доможакова, живших в Абакане, никак нельзя назвать официальными художниками. Там были (да и есть) салонные, чьи гладенькие пейзажи с удовольствием выставляли на продажу рядом с бижутерией. Но в начале девяностых появилось новое поколение творческих ребят, которые оказались андеграундом.

В 1994-м этот андеграунд предпринял попытку заявить о себе. В Доме детского творчества в центре Абакана удалось организовать выставку боевого рисунка, в которой приняли участие Иван Бурковский, Сергей Гайноченко, Юрий Толмачёв, Николай Мезенцев, я, ещё несколько человек.

Наверное, к искусству большинство выставленных картин и рисунков имело слабое отношение, но всё же выставка произвела в Абакане шумок. Приходили в основном панки и прочие неформалы, просмотр перетекал в поглощение алкоголя за ширмой… Администрация детского, по сути, учреждения была недовольна.

Однажды посмотреть работы пришёл Капелько. Поприщуривался, поусмехался, а дня через два-три по телевизору подробно рассказал об этой выставке. Говорил с искренней теплотой и, главное, не абстрактно, а называл работы, фамилии авторов. То есть (не очень-то хорошее слово) — проанализировал увиденное. Правда, такая поддержка Капелько местному андеграунду не очень-то помогла. Да и сам Владимир Феофанович постоянно балансировал меж статусом гения и сумасшедшего, которого некоторые почему-то считают гением…

И последнее.

Недавно я был в Гаване. Там много интересного, но больше всего мне понравился рынок сувениров на берегу залива. С четверть огромного павильона занимают художники. (Вообще, картины в Гаване на каждом шагу — их не меньше, чем сигар и рома.) Конечно, много было кича, копий знаменитых полотен (к примеру, любят кубинские художники «Печаль» Ван Гога), но есть и отличные оригинальные произведения. Хотя — что значит оригинальные…

Я остановился возле картины, на которой были изображены мужики, режущие огромную розовую свинью. Мне вспомнились подобные сюжеты, виденные в минусинской галерее. Только здесь мужики были темнее, а вместо беломорин в зубах у них были сигары… Вот другая картина: танцующие человечки очень похожи на человечков с перетирок сибирских писаниц… На следующей изображён старик в перьях: то ли индейский вождь, то ли тувинский шаман.

Рядом с картинами сидел огромный негр, похожий не на автора этих полотен, а на охранника. Поэтому я не очень уверенно показал ему большой палец и сказал скорее себе, чем ему: «Отлично!»

«Да? Спасибо!» — неожиданно на хорошем русском ответил негр и заулыбался. Я обрадовался его знанию русского, сообщил: «У нас минусинские художники похоже рисуют». — «Минусинск! — кубинец закивал. — Сибирь! Бондин! Капеля!»

Услышав эти фамилии, прозвучавшие в другом полушарии, я остолбенел. А потом почувствовал нечто очень похожее на счастье. Словно неожиданно получил долго блуждавшую по миру весточку от дорогих людей.

Ефим Курганов

Дневник Алины

Из историко-полицейской саги
«Шпион Его Величества»

Посвящается
Норе Штукмейстер

Бумаги из архива военного советника Якова Ивановича де Санглена

(публикация и подготовка рукописи к печати проф. Андрея Рассветова)

От публикатора:

В основу настоящей публикации легло несколько дневниковых тетрадок графини Алины Коссаковской из рукописного собрания бывшего директора Высшей воинской полиции Якова Ивановича де Санглена.

Хронологически предлагаемые тексты охватывают время с декабря 1812 по июль 1815 года и открывают захватывающе интересную закулисную историю Венского конгресса.

Андрей Рассветов, проф.,
Москва, 10.08.2012

Заметка, никак не озаглавленная

Графиня Алина Коссаковская (родилась в 1792 году; дата же смерти мне не ведома)—непримиримый враг Российской империи, доверенное лицо самого Бонапарта, и в этом качестве своём она в 1812 году причинила нам немало зла.

Высшая воинская полиция, которую я возглавлял тогда, вела с нею неустанную борьбу.

Дневник Алины Коссаковской—сплошное враньё. Верить ему не стоит.

Сие сочинение носит пасквильный характер, и я отказываюсь рекомендовать его к печатанию.

Яков де Санглен, военный советник,
экс-директор Высшей воинской полиции
Москва, мая 18-го дня 1857 года

Часть первая

Графиня Алина Коссаковская

Тайные записи, которые я вела в Риге

1812 год, ноябрь—декабрь. Рига

Ноября 22-го дня. Одиннадцатый час утра

Я каким-то чудом проскочила в Вильну, миновав все русские посты, и провезла благополучно всё содержимое портфельчика Санглена. Остановилась я у своего единокровного дядюшки, коренного виленского жителя. Он быстренько организовал мне встречу со старинным моим знакомцем и даже недавним патроном бароном Луи де Биньоном.

Когда Бонапарт превратил захваченную французами Литву в Великое княжество Литовское, то барона Биньона он назначил комиссаром управления края. Дядюшка же мой, граф Коссаковский, стал секретарём управления. Он чуть ли не каждодневно по делам службы встречался с бароном и частенько приглашал его к себе отужинать. Так что ничего странного не было в том, что ноября 19-го дня барон Биньон провёл вечер у своего сослуживца и подчинённого.

Прежде чем сесть за стол, барон уединился со мною в кабинете. Прежде всего он сообщил мне, что в Вильну вот-вот войдут русские, что скоро тут появятся и государь, и Аракчеев, и Санглен, что крайне опасно для моей жизни. Потом Биньон добавил, что решением маршала Даву я должна буду отправиться в более безопасное место—в Ригу («Она, конечно, занята русскими, но там зато вас никто не знает»), и молча вручил мне записку с инструкциями, подписанную маршалом Даву, а завизированную самим Бонапартом.

Буквально на следующее утро я распрощалась с дядюшкой своим, села в неказистую, но крепкую дорожную кибитку и отбыла из Вильны. И вот я в Риге.

Да, бесценное содержимое Сангленова портфельчика я вручила при расставании барону де Биньону. Он, кстати, тут же просмотрел при мне бумаги и только прошептал: «Невероятно!»—а затем

в неудержимом порыве облобызал меня с нескрываемым восторгом. И прошептал: «Вы—истинное чудо, графиня!»

Приписка:

Конечно, невероятно, ибо этого никогда не было.

Ну мог ли я забыть о своём портфеле, в коем была вся моя канцелярия? Ну мыслимо ли это?

Я.И. де С.

Ноября 23-го дня. Пятый час пополудни

В Риге я поселилась в поместительном особнячке баронессы Роткирх, старинной приятельницы моего дядюшки.

Баронесса оказалась чрезвычайно милою, хотя и необыкновенно болтливою старушкою (выяснилось, что она до сих пор без памяти влюблена в моего дядюшку)—впрочем, вполне светскою,—и страстною любительницею карт.

И что было совершенно великолепно, так это то, что раз в неделю к ней приезжал на бостон сам военный губернатор Риги и диктатор всей Балтии грозный маркиз Паулуччи, а он-то ведь и был главной целию моего визита в Ригу.

Ноября 23-го дня. Одиннадцатый час ночи

Филипп Осипович Паулуччи губернаторствует тут всего с месяц. Произошла такая история, громкая и даже скандальная.

Рижский губернатор Иван Николаевич Эссен прекраснейшим образом был осведомлён, что Бонапарт приказал маршалу Макдональду, герцогу Таррентскому, взять Ригу. Правда, маршал, растеряв свою былую храбрость, что-то не торопился, но на столе у губернатора лежала соответствующая копия с приказа императора Франции. Так что опасаться штурма имело смысл.

И вот адъютант донёс Эссену, что в Митавском предместье замечено было огромнейшее облако пыли—как видно, этот скачет авангард Макдональда. А это, между прочим, было стадо коров, и не более того. Ей-богу!

Губернатор Эссен, доверившись с испугу своему адъютанту, послал отряд казаков, дабы они разломали до основания Митавское предместье, но этого показалось ему недостаточно, и он послал елисаветградских егерей и павлоградских гусар с целию сжечь Петербургское и Московское предместья города. И сожгли, болваны. Десятки тысяч людей оказались без крова. Точнее, главным болваном оказался губернатор Эссен.

Известие дошло до государя Александра Павловича, и Его Величество тут же сместил Эссена, а на его место назначил бравого маркиза Паулуччи.

Филипп Осипович прославился своими действиями на Кавказе: бил турок и персов, а ещё жестоко разгромил грузинское восстание. Был главнокомандующим Грузиею. Затем маркиза определили начальником штаба Первой Западной армии, при Барклае. Но пылкий, говорливо-хвастливый итальянец не сошёлся с суровым шотландцем де Толли. Кажется, маркиз проходил в начальниках штаба недели две, не более.

Тут как раз и выгнали Эссена после скандала с поджогом предместий. И Паулуччи определили на должность рижского военного губернатора в надежде, что хоть Ригу он не отдаст.

Завтра он должен явиться на бостон к баронессе Роткирх. Вот и поглядим на него.

Ноября 24-го дня. Десять часов утра

В восемь часов утра у меня был гость. Правда, о его приходе я была предварительно предупреждена хозяйкою моею, баронессою Роткирх. Гостем сим явился полковник Перфильев, старший адъютант маркиза Паулуччи. А по совместительству он ещё, между прочим, трудится на маршала Даву («железного маршала», как его не без основания называют), нынешнего моего патрона.

Полковник Перфильев в ответ на мои откровенные расспросы прижал палец к губам, как видно, опасаясь, что баронесса Роткирх подслушивает нас. Затем он молча, не отнимая пальца от губ, вручил записку. Она была совсем короткой, и я мигом пробежала её: «Графиня, соблаговолите соблазнить маркиза».

Перфильев, убедившись, что я всё прочла, набросал на обороте несколько слов и во второй раз протянул мне листок. Вот что там было написано: «Имейте в виду, графиня: маркиз носит ключик от своего секретного портфеля на шее вместо нательного креста». Я прочла, и полковник опять забрал листок.

Затем я вышла проводить его, и уже на пороге дома, вне близкой досягаемости баронессы, адъютант губернатора прошептал мне буквально несколько фраз. Общий смысл их сводился к тому, что маркиз хранит у себя приватные и даже любовные письма государя Александра Павловича к нескольким известным в Европе дамам (например, к мадам де Сталь); Бонапарт очень желал бы добыть эти бумаги и отпечатать их в типографии рижского губернатора.

Что ж, линия интриги более или менее определилась как будто. Надобно «потопить» бравого маркиза.

Да, война есть война. Очернить грядущего победителя—это очень даже симпатично. Для Бонапарта. Он ведь корсиканец всё-таки. А для этих дьяволов без мести жизни нет. С нами, поляками, гораздо легче, я думаю.

Ноября 24-го дня. Почти полночь

Бостончик состоялся. Всё было премило. И главное, что весьма полезно.

Маркиз Паулуччи явился, между прочим, вместе с супругою своею Клавдией Фоминичной (она дочь шотландца Фомы Кобле, коменданта Одессы). Красавица совершенно необычайная (не зря говорили мне, что в Одессе она поистине блистала), но маркиз мало обращал на неё внимания, всё более на меня поглядывал. Впрочем, красавицу Клавдию Фоминичну, кажется, это не очень трогало.

Два слова о самом маркизе. Сей пылкий итальянец, без сомнения, храбр, решителен и даже безрассуден, но при этом он без меры говорлив и невероятно, немыслимо хвастлив, а уж угодлив к дамам до болезни (сужу по его отношению ко мне). В общем, дело может очень даже выгореть. Шанс как будто есть. Надобно только выяснить, насколько пылок маркиз.

Ноября 25-го дня. Почти полдень

А маркиз Паулуччи и в самом деле оказался натурою в высшей степени страстною.

Сегодня, в девятом часу утра, он прибежал вдруг ко мне, то бишь в дом к баронессе Роткирх, но исключительно для того, чтобы переговорить наедине со мною.

Глаза выпученные. Весь дрожит—от любовного пыла, ясное дело. Лез целоваться. С большим трудом я остановила военного губернатора, будучи уверена, что баронесса подглядывает в дверную щёлочку.

Маркиз настаивал с пеною у рта на приватном свидании и рычал, что не потерпит отказа.

Я поартачилась немного для виду и прошептала, что согласна.

Потом в гостиную зашла баронесса Роткирх, и мы вместе совершенно мирно пили чай. Правда, маркиз при этом походил на Везувий, как только его взгляд сталкивался с моим. Очень даже занятно. И, конечно, приятно.

В общем, всё покамест развивается самым наилучшим образом. Надеюсь, и далее дела пойдут не хуже.

Так и будет. Я всем сердцем ощущаю, что маркиз уже мой.

Ноября 25-го дня. Полночь

Стрелковый парк (иначе—Птичий луг). Тут в третьем часу дня встретилась я, как и было условлено, с полковником Перфильевым. Наговорились мы, не находясь уже под присмотром баронессы Роткирх, как следует.

Прежде всего полковник объяснил мне, что как только добуду я секретный портфель маркиза Паулуччи, то тут же тайком доставляю его в адъютантскую или туда, где на тот момент будет находиться Перфильев, а он уже сам организует издание в типографии рижского военного губернатора интимной переписки императора Александра Павловича (ему обещали это сделать за одну ночь).

После этого полковник спешно и тайно с одной частью тиража отправляется в Санкт-Петербург (документы его выправлены на имя графа Панина), а я с остальной частью тиража отправляюсь в Париж (паспорт выправлен, дорожная карета готова).

Опасно, рискованно, но как будто вполне достижимо. А покамест надобно оказаться в одной постели с рижским военным губернатором, дабы добыть заветный ключик.

Именно такой план действий был выработан в Стрелковом парке Риги.

Да, после добытия ключика я к баронессе Роткирх уже не возвращаюсь—слишком опасно. Полковник спрячет меня на заранее приготовленной квартирке; там же будут храниться экземпляры книжицы с письмами Александра Павловича.

Ноября 26-го дня. Седьмой час вечера

В восьмом часу утра в наглухо зашторенной карете заехал за мною маркиз Паулуччи и увёз в один из своих приватных особнячков (у него их в Риге несколько).

Всё прошло чудесно. Каждый этаж особнячка был обклеен волшебными возбуждающими картинками: первый этаж—в японском и китайском вкусе, а второй этаж—во вкусе французской галантной эротики предреволюционных времён. Всюду стояли вазы с цветами, источающими особенно пьянящие ароматы. На каждом этаже был бассейн, дно которого было выложено эротическими мозаиками.

Маркиз оказался великолепным любовником, пылким и неутомимым. На поле любовной брани трудился он совершенно самоотверженно, неустанно.

Когда потом лежал он в полнейшем изнеможении, я принесла ему бокал с водою, предварительно бросив туда щепотку отличного, многократно проверенного сонного порошка, и возлегла рядышком, обвив шею маркиза руками.

Как только маркиз уснул, я нежно сняла с его шеи цепочку с ключиком, осторожно встала и пошла в кабинет, где покоился его портфель.

С лёгкостью отомкнув портфель, я аккуратно перебрала все бумаги и, наконец, отыскала среди них необычайно изящный конвертик, перетянутый тончайшей золотистой нитью. На конвертике была карандашом выведена большая буква «А». Понятно было, что это и есть желанная добыча. Не вскрывая конвертика, я отнесла его и спрятала в свой ридикюль. Потом замкнула портфельчик и пошла назад, в опочивальню. Маркиз ещё спал. Я легла, обвила его шею руками и аккуратно повесила на место цепочку с ключиком.

Вскоре маркиз пробудился, выглядел он исключительно счастливым, весь светился и был исключительно нежен со мною.

Где-то уже через час я как ни в чём не бывало беседовала с баронессою Роткирх. Мы пообедали вместе, а потом я сказала ей, что отправляюсь на прогулку. Баронесса, слава Богу, явно ни о чём не подозревала.

Полковник Перфильев был разыскан мною без труда. Собственно, мы предварительно договорились, что он будет ждать меня с четырёх до пяти часов пополудни всё в том же Стрелковом парке.

Подойдя ко мне, полковник стремительно вывел меня из парка, усадил в губернаторскую карету и увёз на тайную свою квартирку. И только там уже, поудобнее устроившись в гостиной, взял, вернее, выхватил мой ридикюль, вынул из него заветный конвертик и крайне торопливо, лихорадочно стал рассматривать его содержимое, буквально впиваясь широко раскрытыми глазами в каждую букву.

Скоро стало очевидно, что Перфильев более чем удовлетворён, ежели не счастлив. Мне даже показалось, что лицо его просто светится от восторга.

Уходя (ясное дело, с добытым мною конвертиком, который он самозабвенно прижимал к сердцу), полковник очень близко наклонился ко мне и шепнул мне на прощанье: «Не скучайте, графиня. Выходить из дому очень не рекомендую. Завтра утром навещу вас и надеюсь, что уже с готовыми книжицами, вскорости после чего мы с вами поделим их и разлетимся в разные стороны».

Ноября 27-го дня. Одиннадцатый час утра

Не было ещё девяти часов утра, как прибежал полковник Перфильев. Глаза его радостно и возбуждённо блестели, но всё лицо его было залито потом.

С большим трудом он втащил пять громадных тюков, которые перегородили собою фактически весь коридор в махонькой его квартирке. Два тюка полковник тут же отделил для меня, молвив при этом: «Графиня, это для вас, а вернее, для императора, для Бонапарта. То, что мы совершили, есть исполнение его воли. Впрочем, думаю, что вы и так уже догадались об этом».

И тут раздался решительный стук в дверь. Полковник в нерешительности остановился, растерянно взглянул на меня, но всё-таки пошёл открывать — адрес сей знали только его люди.

На пороге стоял незнакомый господин несколько странного обличья (очки с цветными стёклами, зонтик, хотя на дворе было сухо, и тросточка).

Протиснувшись между тюками, господин приблизился к нам и церемонно представился, обнаружив страшный и вместе чрезвычайно забавный выговор: «Екор Пранцевич Канкрин».

Да, это был Егор Канкрин, генерал-интендант Первой Западной армии, в прошлом — секретарь миллионщика Перетца. Именно чрез руки и голову Канкрина состояние сего Перетца превращалось в пропитание и амуницию для российских войск.

Я видела, что полковник Перфильев несказанно потрясён нежданным визитёром. Однако Егор Францевич Канкрин не дал ему опомниться и тут же начал говорить: «Коспотин Перрпильеф, коспоша Коссаковска (ого! он знает и меня, — подумала я). Менья присиаль к фам коспотин коммертции софетник Перец, и фот по какому телу. Фи по шеланиу слотея Понапарта випустили прифатные письма косутаря Александра Пафлофича. Коспотин Перец котоф купить фсё, что ви випустили. Он таёт фам полмиллиона серепром, что яфляется целим состоянием. Коспотин Перрпильеф, коспоша Коссаковска, ешели ви откашитесь от претлошения коспотина Переца, то ми сообчим опо фсём маркису Паулуччи, и фи путете срасу арестофаны. Я шту неметленноко отфета».

И я, и Перфильев были явно близки к обмороку. Придя всё-таки в себя, мы подумали и решили, что выхода-то у нас, собственно, и нет, тем более что пятьсот тысяч серебром — это действительно целое состояние, которого от Бонапарта теперь никак уж не дождаться. Так что отказываться от предложения миллионщика Перетца мы просто не имеем права.

Полковник Перфильев побледнел как полотно и молча кивнул в знак согласия. Канкрин довольно ухмыльнулся и молча же и незамедлительно стал вытаскивать из объёмистого портфеля своего пачки с ассигнациями. Потом в тайную перфильевскую квартирку вошли рядовые (их было человек десять) и по команде генерала Канкрина стали выносить тюки с книгами.

Господи! И опять этот проклятый жид Перетц! Всюду, как всегда, лезет. И ещё на пятки наступает.

Сей миллионщик чрез лазутчиков своих всё-таки выследил и меня, и полковника Перфильева. Перетц купил их на корню, и они всё сделали для него, сделали, можно сказать, невозможное.

И вот потрясающе задуманная и почти осуществлённая интрига разрушена отныне окончательно, а ведь мы почти что были у цели. О, насколько бы легче нам было без жидов, без их сованья в чужие дела! Это давняя моя мысль, к коей я нет-нет да возвращаюсь. Весьма опасны жиды для нас. Обходят, и только так! Не успеешь оглянуться.

Ну да ладно. Зато хоть буду при деньгах теперь. На шпионстве, как оказалось, много не заработаешь, а вот на измене как будто ещё можно состояньице приобрести.

В общем, тираж крамольной книжонки миллионщик Перетц, без всякого сомнения, уничтожит, и немедля. Маркиз же Филипп Осипович Паулуччи, на радость прелестной жене своей Клавдии Фоминишне, явно останется на высоком губернаторском посту (а фактически он ведь диктатор всей Балтии) и, значит, будет по-прежнему нещадно громить французов. Как видно, это — судьба.

Приписка:

Всё сие есть самая что ни есть чудовищная выдумка. А графиня Алина Коссаковская, кроме того что она заправская лгунья, ещё и безудержная фантазёрка. Как понесёт её, так и не остановить уже.

Ей бы романы писать, а не шпионить. Может, было бы больше толка.

Я. И. де С.

Часть вторая

Алина Коссаковская

Тайные записи, которые я вела в Вене

1814 год, осень. Вена

Сентября 29-го дня. Десятый час утра

Вена — город поистине сумасшедшего веселья. Видимо, всегда, но сейчас в особенности. Здесь сейчас происходит светопреставление — «танцующий конгресс»: весело, но с остервенением делят Европу, избавившись от бедного Бонапарта. Вернее, конгресс только готовится, но все уже съехались и до исступления танцуют, интригуют и перекраивают предварительно королевства, княжества, герцогства.

Количество празднеств просто умопомрачительное. Куда уж Парижу тут! Фейерверк балов, маскарадов, приёмов немыслимый. Такого, признаюсь, я даже предположить не могла.

А дипломатишек, великосветских шлюх обоих полов, вояк всякого рода, не считая королевских особ, бесчисленных принцев и принцесс, понаехало столько, что затеряться в сей громадной блистательной толпе мог бы кто угодно, хоть сам Бонапарт. Так что мне бояться совершенно нечего. Кроме того, я в свите самого Талейрана, князя Беневентского, и никто меня теперь не посмеет тронуть.

Сей колченогий гений опять на поверхности, даже и не на поверхности — он поистине взлетел, ибо опять, как и при поверженном Бонапарте, стал министром внешних сношений. Правда, теперь из вешателя принцев он превратился в их яростного поборника.

Итак, я в штате у князя Талейрана, оформлена как старшая горничная, дарю ему утехи любви и слежу за охраною его особы. Прибыли мы только с неделю назад, и я ещё как следует не огляделась. Так что это всё самые поверхностные впечатления покамест.

Сентября 30-го дня. Почти полночь

Я сильно ошиблась, полагая, что в нынешней бушующей Вене можно легко затеряться.

Сегодня утром на площади Фрейунг, глядя в толпе зевак на выступление заезжих акробатов, я вдруг почувствовала, что кто-то склонился и целует мне руку. Я заметила лишь склонённую высокую фигуру и очень пропорциональную белокурую голову с лёгкой залысиной. Когда фигура распрямилась, я увидела, что предо мною стоит российский император.

Меня поразило, что Его Величество узнал меня в толпе. И ещё меня поразило, что он был один — и без свиты, и без охраны.

Александр Павлович заметил моё смущение и, кажется, был этим весьма доволен. Он обворожительно улыбнулся, придвинулся ко мне и шепнул: «Графиня, отныне вам нечего страшиться. Недруг ваш Санглен, слава Богу, не у дел, патрон ваш Бонапарт — также. А кто старое помянет — тому глаз вон. Будемте дружить».

Я кивнула в знак согласия, но всё ещё никак не могла прийти в себя, и это привело российского императора в великолепное расположение духа; и я решила до конца нашей встречи оставаться в полнейшей растерянности.

Прощаясь, Александр Павлович склонился надо мною (почти что прижался ко мне) и шепнул, что будет ждать меня завтра в полдень в ботаническом саду университета, на северной тропинке, у русской ели.

После ужина, нежа своего патрона, я рассказала ему о сегодняшней встрече моей на площади Фрейунг. Князь ужасно смеялся (до слёз). А потом заметил следующее: «Графинюшка, милая, ежели российский император хочет дружить с вами, то дружите непременно и вообще исполняйте, не раздумывая, любые его желания. Вообще, как видно, опасности для вас отныне нет никакой, так что нечего рядиться в горничную. Будьте Алиною Коссаковской. Решено. Я вас поселю отдельно, а ко мне будете приходить, как стемнеет. И запоминайте решительно каждое слово, что скажет российский император. Ну, не мне вас учить».

Поразмыслив несколько, Талейран добавил: «И ещё есть у меня до вас одна просьба. Как заживёте своим домом, постарайтесь сойтись поближе с княгинею Багратион. А заодно попробуйте вывести разговор на сию особу в беседах своих с царём. Княгиня меня в высшей степени интересует. Конечно, ветреница она высшей пробы, конечно, любовников у неё легионы, но легкомыслие её ежели не показное, то, во всяком случае, всё-таки относительное. Княгиня всегда была врагом Бонапарта и как могла опорочивала его. Притом сказывают, что она — личная доносительница Александра Павловича и сейчас, в преддверии конгресса, ссужает Его Величество обильнейшею информацией. В общем, графинюшка, я буду рад любой мелочи о княгине Багратион. Имейте это в виду».

Когда я уходила уже к себе, Талейран бросил мне на прощание: «Да, и имейте в виду. Российский

император вовсе не разгуливает один. Просто царь запретил приглядывать за ним идиотам из Высшей воинской полиции. Ему одолжил своих людей банкир Перетц. У того в Вене старые, многолетние связи и множество своих испытанных агентов, коренных венцев. Так что не волнуйтесь, графиня: российский император вне опасности».

Господи! Опять этот Перетц. Как видно, мне от него никогда не избавиться. И ужаснее всего то, что он всегда опережает меня.

Октября 1-го дня. Одиннадцать часов утра

Я уже живу отдельно, в премиленьком старом особнячке на площади Ам Хоф. Тут меня и посещает по утрам Александр Павлович, а я уж его нежу и холю как могу. Рассказывает государь мало, в основном расспрашивает меня.

О княгине Багратион я кое-что разузнала. Конечно, я и прежде слышала об ней, но никакого значения сей особе не придавала. А теперь вот придётся составить общую картинку.

В самом деле, поговаривают, что она—российский дипломатический агент и была в Вене чуть ли не организатором антинаполеоновской пропаганды, то бишь именно чрез неё тут расходились всякие гнусности об императоре Франции. Да, расчудесная, как видно, особа.

Она—вдовушка, но особого свойства. С муженьком своим, прославленным рубакою генералом Багратионом, вместе, можно сказать, и не жила—их силою обвенчал император Павел. Под видом лечения убежала в Париж, но затем перебралась в Вену, где держит знаменитый салон.

Более всего знаменита тут княгиня своею потрясающею алебастровой кожей, которую неустанно демонстрирует. Венцы называют её «русской Андромедой».

Обожает белые прозрачные (чересчур прозрачные) муслиновые платья. Именно по сей причине в Вене говорят, что она—«Le bel ange nu» (обнажённый ангел).

Родила от австрийского министра Меттерниха дочь Клементину, которая по настоянию российского императора Александра Павловича была записана как дочь генерала Петра Ивановича Багратиона.

Пока всё.

Октября 2-го дня. Одиннадцатый час ночи

Есть у меня некоторые подробности касательно княгини Багратион. Она поселилась в роскошнейшем Palais Palm, заняв одну половину дворца. А вторую половину заняла герцогиня Саган, по прозванию «Клеопатра Курляндии».

Приписка:

Доротея Саган, герцогиня де Бирон (дочь Петра Бирона, между прочим), после Венского конгресса стала постоянною любовницею князя Талейрана и впоследствии даже получила его титул, став герцогинею Талейран.

Я. И. де С.

Пикантность ситуации в том, что ежели «русская Андромеда»—княгиня Екатерина Багратион—является бывшей любовницей министра Меттерниха (главного оппонента Александра Павловича при нынешнем дележе Европы), то герцогиня Доротея Саган является нынешнею любовницею австрийского министра.

Ничего не скажешь, красивая комбинация.

Я позвала верную свою горничную Агату и велела ей разведать, что же происходит в Palais Palm.

Агата отсутствовала часа три, вернулась не то чтобы довольная, а счастливая, хотя и явно при этом смущённая.

Вот что она поведала мне, когда чуть успокоилась.

Государь Александр Павлович посещает Palais Palm каждодневно. Является он обычно в шестом часу вечера—и прямиком на половину алебастровой княгини Багратион.

Они усаживались в большой чайной комнате и беседовали никак не менее часу. Как только часы начинали бить семь, император шёл на половину герцогини Саган—ужинать. В двенадцатом часу ночи Александр Павлович возвращался на половину княгини Багратион и оставался у неё в будуаре до пятого часу утра.

Впрочем, бывало и так не раз, что сей порядок совершался в обратном порядке, то есть сначала государь посещал принцессу Саган, потом ужинал у княгини Багратион, а затем уже до пятого часа утра находился в будуаре принцессы Саган.

Со всеми этими сведениями ринулась я к Талейрану. Мой рассказ его ужасно позабавил и даже воодушевил. Между прочим, принцесса Саган—жена родного его племянника.

Талейран, выслушав торопливый мой рассказ, схватил лист бумаги, перо и стал торопливо вычерчивать здоровенный квадрат. Затем с интересом оглядел своё художество и начертал на листе четыре буквы: «А.—М.» вверху и «Б.—С.» внизу.

Затем Талейран помолчал несколько минут, показал лист с рисунком своим мне и, усмехнувшись, заметил: «Итак, графинюшка, мы имеем самый настоящий квадрат. Граф Меттерних имел связь с княгинею Багратион. Теперь любовницею князя является принцесса Саган, хотя нельзя утверждать, что с «русскою Андромедой» Меттерних порвал окончательно. А вот российский император одновременно ухаживает (и с явным успехом ухаживает) за обеими. Такой вот весьма симпатичный квадратик. Как видно, русский царь хочет оказывать влияние на австрийского министра и через ту, и через другую. Меттерних,

однако, покамест не поддаётся и не хочет отдавать русским всё герцогство Варшавское».

Талейран опять замолчал, а потом молвил: «А попробуем-ка, графинюшка, превратить квадрат в пятиугольник. Александр Павлович как будто уже ваш, ну хотя бы частично. Остаётся теперь завоевать вам австрийского министра. Ну как? Согласны?»

Да, конечно, двоицу «княгиня Екатерина Багратион — принцесса Доротея Саган» хорошо бы превратить в троицу, добавив туда графиню Алину Коссаковскую.

«Попробуем», — засмеялась я.

Октября 3-го дня. Полдень

В шестом часу утра навестил меня Александр Павлович (как видно, прямиком из Palais Palm).

Исключительно нежен, чувствителен, пылок, но вот на вопросы мои, даже самого невинного свойства, отвечать отчего-то решительно забывал, а я не осмеливалась напоминать.

Зато, покамест пили кофий, Его Величество с нескрываемым интересом всё расспрашивал меня — об Санглене, об маркизе Паулуччи и его тайных домах удовольствий в Риге; и об Бонапарте, конечно, и агентах его в герцогстве Варшавском. Пришлось без утайки рассказать всё, что знаю.

Октября 3-го дня. Восьмой час вечера

Сегодня граф Андрей Кириллович Разумовский, феноменальный поклонник Вены и меломан до сумасшествия, в своём роскошнейшем «Разумовски-пале» устроил грандиозный завтрак на семьсот персон, завершившийся концертом — собранные со всей Европы виртуозы исполняли сочинение Бетховена, посвящённое Андрею Кирилловичу (при этом он сам играл вторую скрипку).

По окончании концерта Разумовский самолично повёл всех гостей осматривать его знаменитую картинную галерею. Тут-то как раз князь Талейран подковылял ко мне и представил князю Меттерниху.

Во время осмотра галереи министр не отходил от меня: всё пел дифирамбы польским красавицам и говорил, что не отдаст Польшу в обиду.

Между прочим, краем глаза я видела, как мимо меня прошествовали две соседушки — княгиня Екатерина Багратион и принцесса Саган (а посерёдке был не кто иной, как русский царь) — и очень недовольно оглядели меня. Что ж, это хорошо: заметили.

Вызвать ревность двух главных Меттерниховых пассий — это же просто грандиозно! Может, и правда пятиугольничек сложится? Дай-то Бог!

По возвращении к себе я нашла записку от князя Талейрана — поздравлял с первыми успехами и советовал быть более напористой: «Крепость «Меттерних» должна быть взята штурмом».

И ещё была записка от князя Меттерниха (лёгок на помине!), весьма любезная. В ответной я пригласила князя к себе на обед на завтра. Всё по совету Талейрана «брать штурмом», а я бы сказала, что быка за рога.

Октября 4-го дня. Десять часов утра

В шестом часу утра снова появился у меня Александр Павлович; думаю, что опять из Palais Palm. Усталый, помятый, но очень даже довольный, весь светящийся.

У меня даже и сомнений нет никаких, что он от княгини Багратион и принцессы Саган.

Кофий пил с удовольствием. При этом Его Величество остро интересовался моими отношениями с князем Талейраном, чрезвычайно нахваливал дипломатические таланты князя и вообще ум его, но вот вопросы мои опять-таки не замечал.

Ну что ты будешь делать?! Уж и не знаю, что мне предпринять и что думать мне по этому поводу!

Напишу-ка Талейрану, спрошу у него совета.

Октября 4-го дня. Полночь

Обед прошёл просто чудесно. Я более чем довольна.

Князь Меттерних держался изумительно: ни малейшего высокомерия, важности, скованности; скорее преобладала искристая лёгкость.

Кажется, и князь отнюдь не жалел, что пришёл. А уж мгновения телесных утех совершенно точно доставили ему необычайную радость. И я осталась не в накладе: любовник он превосходный.

Мы уговорились встречаться каждодневно. Я рассчитываю превзойти этих аристократических красоток — и княгиню Багратион, и принцессу Саган.

Да, о политике речи не было. Только князь всё повторял, что Польшу не отдаст в обиду.

Только Меттерних ушёл, я тут же написала записку Талейрану, в коей подробнейшим образом передала разговор свой с австрийским министром.

Октября 5-го дня. Почти полдень

Сегодня утром во время кофия у меня состоялся в высшей степени любопытный разговор с Александром Павловичем.

Государь вдруг заговорил со мною об князе Меттернихе и об своих проблемах, с ним связанных.

А потом, особенно ласково улыбнувшись, сказал: «У меня к вам будет просьба, милейшая графиня. Окажите мне содействие. Вы ведь исключительная чаровница, я знаю. Попробуйте улещить князя — пусть он согласится отдать мне герцогство Варшавское в полном объёме…»

Ясное дело, я обещала приложить все мои женские усилия, дабы размягчить Меттерниха. Александр Павлович отвечал, что в долгу не останется.

Как только государь ушёл, я тут же написала обо всём князю Талейрану.

Итак, пятиугольничек таки намечается.

И ещё одна презанятная и обнадёживающая новость. В одиннадцатом часу утра принесли мне приглашение на полудниковый чай, устраиваемый совместно княгинею Багратион и принцессою Саган.

Как видно, известие о связи моей с Меттернихом разошлось по Вене, вот красотки и желают со мною познакомиться.

Чует моё сердчишко: пятиугольничку быть!

Октября 5-го дня. Одиннадцать часов ночи

Чаепитие в Palais Palm прошло поистине великолепно. Впечатление оно произвело просто чарующее, хотя тут имело место самое настоящее массовое зрелище. Гостей ведь было неимоверное количество — сказывают, сотен пять, никак не менее, но это не испортило, а только усилило общий эффект.

Но вот что особенно отрадно сознавать.

Несмотря на обилие именитой и сверхименитой публики, ко мне подошли и самым любезнейшим образом беседовали со мною и княгиня Багратион, и принцесса Саган (каждая отдельно; они вообще неизменно находились в разных частях залы, друг с другом не пересекаясь, что весьма занятно было видеть).

Итак, всё складывается самым наилучшим образом и даже более того, как мне думается.

Да, и я видела, что заметили меня и государь Александр Павлович, и князь Меттерних. Царь ласково и приветливо кивнул мне, а князь как-то очень интимно встретился со мною взглядом. Что и говорить, это было ужасно приятно.

Талейран же, как я обратила внимание, всё это легко обнаружил и совершенно млел от радости, предвкушая будущий пятиугольник, который был им задуман столь изысканно и остроумно.

Октября 6-го дня. Десятый час утра

Александр Павлович сегодня не явился, что крайне меня раздосадовало и даже озадачило. А потом я вдруг заметила, что исчезла верная горничная моя Агата. Но это ещё не всё.

Обходя дом свой в поисках Агаты, я обнаружила, что из кабинета моего исчез мой портфельчик, обшитый бирюзовым шёлком, в котором я хранила переписку свою с князем Талейраном и князем Меттернихом.

Я была испугана, но не знала, что и думать, но ясно было: что-то произошло, и не очень приятное. Но тут раздался резкий стук в дубовую парадную дверь. Так как Агаты всё не было, то пошла открывать кухарка. А я ринулась за нею, ожидая узнать разгадку происшедших исчезновений.

На пороге стоял неизвестный господин чрезвычайно представительного вида. Он был одет совершенно с иголочки, но главное, что во всём облике его сквозили спокойствие и солидность. Но что-то во мне ёкнуло: я поняла, что случилось непоправимое.

Вошедший господин церемонно обратился ко мне: «Досточтимая графиня, простите меня за вторжение. Я вынужден кое-что разъяснить вам. Я — коммерции советник Перетц. Вероятно, вы заметили исчезновение вашей горничной? Не беспокойтесь: с нею всё в порядке».

Я стояла ни жива ни мертва. Вошедший же продолжал как ни в чём не бывало: «Она с собою унесла и портфель ваш. Я вынужден сообщить вам, любезнейшая графиня, что горничная ваша выполняла, и давно уже, кое-какие мои поручения. Я вынужден был давать ей эти поручения, заботясь о безопасности российского государя. Ваше сообщничество с князем Талейраном наносит Российской империи и государю её серьёзный и во многом непоправимый ущерб. По этой причине и был изъят портфель ваш. Я советую вам, любезнейшая графиня, незамедлительно оставить Вену. И настоятельно советую не прибегать при этом к обману: за вашим домом присматривают постоянно мои люди. Прощайте, графиня».

Поклонился, повернулся и ушёл.

Всё погибло. Как же мне теперь в глаза смотреть князю Талейрану?

Проклятый, проклятый, проклятый Перетц! Я готова растерзать, буквально разодрать его в клочья.

Я всё время ожидала от него какого-нибудь подвоха, но всё же не такого страшного и непоправимого.

Катастрофа: пятиугольник не получился.

Приписка:

И кому охота читать это беспардонное враньё?

Яков де Санглен, военный советник

Часть третья

Графиня Алина Коссаковская

Тайные записи, которые я вела в Вене

1815 год, весна. Вена

Мая 5-го дня. Десятый час утра

Какое-то время не было у меня ни малейшей охоты делать записи. Слишком уж гнусно было на душе. Но вот тучи стали понемногу рассеиваться, и я вспомнила о своей заветной тетрадочке.

Попробую наверстать, что случилось за прошедшие месяцы. Бедного Бонапартика отправили помирать на остров Святой Елены, и конгресс возобновил свои безумные танцы.

Я, естественно, из Вены никуда не уехала: ещё не хватало мне исполнять указания Перетца! Этому не быть! Ещё я хотела бы непременно разыскать мою бывшую горничную Агату и как следует наказать её за измену.

В общем, осталась я в Вене, но тайным образом. Меня укрыл в потайной комнате своего довольно-таки ветхого, но при этом чрезвычайно поместительного особняка граф де Лагард, единокровный племянник наполеоновского генерала и прежний мой любовник (я знавала его ещё по Варшаве).

Он узнавал обо всех новостях и немедля пересказывал их мне.

Мне страстно хотелось дождаться открытия «танцующего конгресса» и во всех подробностях узнать, как поступят с Европой, и как именно разрешится судьба моей Польши, и чем завершатся (уже без моего участия) наметившиеся было осенью 1814 года сногсшибательные интриги.

Итак, я осталась и ничуть не жалею об этом. Занятно, что любовный квадрат (Александр—Меттерних—Багратион—Саган), хоть я и выбыла из него, всё же сложился в пятиугольник, хотя и с грандиознейшим скандалом. Об этом расскажу вечером.

Приписка:

Поразительное всё-таки нахальство!

Графиня Коссаковская никогда не была представлена князю Меттерниху и совершенно не была вхожа ни к княгине Багратион, ни к принцессе Саган, урождённой герцогине Бирон.

Более того, обе красавицы вообще не ведали о существовании прелестной Алины.

Соответственно, графиня ровно никакого отношения не имеет к знаменитому венскому любовному квадрату и пытается выдать свои мечты за действительность.

Для государя же Александра Павловича графиня Коссаковская не значила ровно ничего.

Я. И. де С.

Мая 5-го дня. Одиннадцатый час ночи

Когда долгожданный конгресс наконец-то открылся, произошло событие экстраординарное.

Принцесса Доротея Саган, урождённая герцогиня Бирон, выехала из Palais Palm и обосновалась во дворце князя Кауница, который на время конгресса был предоставлен князю Талейрану. Поначалу в таком перемещении ничего предосудительного не увидели, но только поначалу.

Муж принцессы, приходившийся Талейрану племянником, был в армии. И Доротея упорхнула на время отсутствия супруга под отеческое крыло дядюшки.

Но вскоре князь и принцесса Саган стали устраивать приёмы как супруги и сами на всех балах появлялись исключительно вместе. И стало ясно, что пятиугольник всё-таки существует, и пятый в нём именно Талейран.

Ежели бы в центре Вены разорвался вдруг артиллерийский снаряд или упал с неба метеорит, то, кажется, эффект это произвело бы гораздо меньший.

Мая 6-го дня. Девятый час утра

Да, вот существенное, как мне кажется, дополнение ко всему вышесказанному.

Хотя принцесса Доротея Саган, урождённая фон Бирон, герцогиня Курляндская и Земгальская, совершенно открыто сошлась с князем Талейраном, променяв племянника на дядю, при этом она, ни мало не смущаясь, продолжает наносить приватные ночные визиты и князю Меттерниху, и одновременно российскому императору.

При этом княгиня Багратион, вечно соперничающая с герцогиней Курляндской, в августейшем плане отнюдь не остаётся в одиночестве.

Несмотря на то, что толпы поклонников так и льнут к алебастровой и есть даже целая когорта определённо избранных ею, княгиня находит возможность улучить бесценные ночные часики, дабы принимать в Palais Palm своего государя, то бишь Александра Павловича, а также и бывшего своего возлюбленного министра Меттерниха.

Иначе говоря, в придворном и аристократическом пространстве Вены образовался настоящий пятиугольник, который как раз и явился сердцем антинаполеоновского конгресса.

Ежели бы мне не надо было скрываться из-за этого проклятого Перетца, то вполне мог бы тут возникнуть и самый что ни на есть шестиугольник.

Однако и при наличии пятиугольника всё выглядит более чем интересно: на глазах у венцев разворачивается поистине феерическое зрелище, бесстыжее, конечно, но зато чрезвычайно приманчивое и пикантное.

Мая 6-го дня. Двенадцатый час ночи

Граф де Лагард разузнал у сведущих людей и говорит, что Доротея Саган, принцесса Курляндская, безраздельно предалась князю Талейрану. Да, принцесса при этом по-прежнему принимает российского императора, дарит ему утехи любви (а она в этом деле, как тут считается, великая искусница), но это хитрый ход, придуманный, как видно, сущим дьяволом Талейраном. Чуть ли не он и подослал новую свою пассию к Александру Павловичу.

В итоге император российский успокаивается, начинает верить, что он сможет воздействовать на князя чрез принцессу, и напор Александра Павловича слабеет, что даёт возможность Талейрану свободно и беспрепятственно гнуть свою линию.

Конечно, то, что принцесса Курляндская, даже сблизившись с Талейраном, продолжает иметь

приватные встречи с государем, есть всего лишь городской слух, но слух чрезвычайно показательный и во многих отношениях достоверный.

Итак, многие венцы полагают, что принцесса Саган душою и телом предана князю Талейрану.

Несколько иначе складывается ситуация с княгинею Багратион и её репутациею.

Она, между прочим, урождённая графиня Скавронская (то бишь из роду императрицы Екатерины Первой), а матушка её — племянница и возлюбленная великого князя Потёмкина.

Так или иначе, княгиня Багратион — явная патриотка и готова исполнить любую просьбу российского императора.

Можно предположить, будет сделана (чрез княгиню Багратион) попытка оказать давление на князя Меттерниха, тогда как Талейран, судя по всему, ловко увернётся, ибо по-настоящему сумел завербовать курляндскую принцессу, хоть она, как и княгиня Багратион, российская подданная.

А княгиня наша алебастровая зря будет стараться: Меттерних, я уверена, ни за что не поддастся.

Я абсолютно уверена: плохи, очень плохи русские дела.

Да, одолела Бонапарта Россия, но сие вовсе не значит, что плодами победы сможет воспользоваться ветреный Александр Павлович. И дай Бог, чтобы не воспользовался. Пусть и впредь остаётся ветреным.

Да, кровушка русская пролилась обильно, но выигрывают от этого немцы и англичане.

Приписка:

Никак я не могу согласиться с настоящим рассуждением графини Коссаковской, подлым, бесчестным и несправедливым рассуждением.

Конечно, на венском конгрессе и в кулуарах его развернулась яростная и даже бешеная борьба. Да, российскому государю было совсем не просто, но император Александр Павлович отнюдь не был при этом проигравшей стороной.

Всё дело в том, что графиня Коссаковская опять села на своего конька, и сей конёк есть клевета.

Я. И. де С.

Мая 7-го дня. Полдень

Сегодня во время своей неизменной утренней прогулки граф де Лагард столкнулся вдруг с полицейским участка, к коему относится его особняк.

Они разговорились. Граф, зная, что я намерена разыскать Агату, бывшую мою горничную, любезно спросил, не знает ли герр полицейский, где сия Агата может сейчас находиться, присовокупив: «Ко мне попали и вещи, и даже бумаги сей девицы».

Полицейский не знал ничего на этот счёт, но обещал непременно разузнать, а потом, в свою очередь, спросил, не знает ли де Лагард что-нибудь об моём местопребывании.

Граф, естественно, отвечал, что знать не знает, ведать не ведает.

Де Лагард правильно сделал, что так ответил. Никто не должен знать, где я нахожусь.

Ой, хоть бы найти поскорее эту негодяйку Агату, эту коварную и мерзкую особу, столь долго и успешно игравшую в преданность мне, и какую ещё преданность!

Я бы многое дала, чтобы найти её. Ничего бы не пожалела, кажется, для этого.

Как видно, она тоже скрывается, но вот где? Неужто тоже в Вене, как и я?

Я уверена почему-то, что вскорости отыщу её. Может, этот полицейский и в самом деле поможет? Ну, для этого Агате надобно находиться в Вене.

А почему бы ей тут и не находиться?! Сейчас ведь все в Вене. Тут ведь теперь «танцующий конгресс».

Мая 7-го дня. Полночь

Презанятный и даже важный слух сообщил мне граф де Лагард за сегодняшним ужином.

Упорно поговаривают в Вене, что Мария Антоновна Нарышкина (можно сказать, многолетняя невенчанная жена российского императора) оставляет Александра Павловича и в ближайшем будущем в Россию не вернётся. Да, как видно, это смелая и исключительная особа! Но при этом тут, в Вене, она принимает приватно государя; во всяком случае, Его Величество несколько раз оставался у неё на ночь.

Впрочем, сие ничего особого ещё не означает. Ведь государь всероссийский посещает тут (изредка) с ночёвкой императрицу свою Елизавету Алексеевну. Ну и что с того? Всё равно ведь она ему уже, можно сказать, не супруга.

Но вот что *крайне* интересно.

Ежели Мария Антоновна Нарышкина, в жидовской самонадеянности и гордыне своей (матушка ведь её из роду Капенгаузов)…

Приписка:

А жидовское происхождение Марии Антоновны Нарышкиной со стороны матери — это ещё ведь доказать надобно. Надобно представить соответствующие документики. Не так ли?

Между тем прелестная наша Алинушка чрезвычайно обожает голословные обвинения.

И ещё. Да хоть бы и жидовка была Нарышкина по матери — что с того? Главное, что она — первейшая и неподражаемая, несравненная красавица России.

Я. И. де С.

…сама уходит: мол, надоел мне фавор, надоело из года в год исполнять монаршии прихоти, — то кто же тогда заменит её? Вопрос кардинальнейший.

Почитай, все последние пятнадцать лет она ведь была невенчанною супругою (и причём обожаемою

супругою!) Александра Павловича, центральною дамою Его Величества. Её добровольный уход от императора не может не внести изменений.

Вообще, грядут, грядут перемены на Руси. Сие совершенно несомненно.

Поглядим скоро, как всё пойдёт по завершении «танцующего конгресса».

А я, кстати, совсем бы не отказалась занять место Марии Антоновны Нарышкиной, о чём прямо и заявляю…

Приписка:

Графинюшка, а вы всё-таки великая мечтательница. Но и нахалка сверх меры.

Где уж вам до Марии Антоновны, некоронованной царицы России!

Яков де Санглен

…во мне, слава Господу, ни на гран нет жидовской спеси, да и не может быть, я ведь графиня Коссаковская по отцу и графиня Тышкевич по матери, то бишь безо всяких посторонних примесей.

Мая 8-го дня. Десятый час утра

Проклятый Перетц сказал мне, что Агата укрыта в надёжном месте. Не свой ли особняк в Вене он имел в виду? У этого миллионщика ведь своя армия агентов тут, и особняк его охраняется чрезвычайно надёжно, как самая настоящая крепость.

Поговорю с графом де Лагардом и попрошу его как следует разузнать, не появилась ли у Перетца в доме особа, напоминающая бывшую горничную мою Агату.

Да, граф поведал мне одну прелюбопытную историйку, проясняющую что-то весьма существенное в нынешней венской круговерти и бросающую несколько неожиданных красок на императора Александра Павловича.

Вчера, оказывается, княгиня Багратион давала бал в Palais Palm. Её бесстыдный полупрозрачный наряд просто приковал к себе взоры всех присутствовавших, включая и дам. Казалось даже, что это не белый муслин на ней, а это её алебастровая кожа. Эффект был невероятный.

Но это не всё. Княгиня буквально не отходила от Александра Павловича, и она сияла, была упоена восторгом, чего даже и не пыталась скрывать. Принцесса Саган в крайнем раздражении кусала свои малиновые губки.

Но и это не всё. На балу была и императрица Елизавета Алексеевна. Прекрасные голубые глаза её были буквально наполнены слезами.

При этом граф де Лагард уверяет меня, что императрица категорически отказывалась ехать на бал, но Александр Павлович просто заставил её сие сделать.

Выходит, милый, нежный, галантный государь хотел унижения императрицы, хотел, чтобы Её Величество видела тот совершенно невозможный спектакль, что устроила княгиня Багратион, демонстрируя отношения свои с императором. Это, конечно, очень жестоко, и в первую очередь со стороны Александра Павловича.

Приписка:

Ну что за охота графине Коссаковской копаться в интимной жизни российского императора?! Ей-богу, это просто отвратительно!

При этом надобно иметь в виду: Алина даже не собирает всякого рода мерзостные слухи—она их, в основном, придумывает, лихо, но подло, хотя вся женская половина Вены из-за нашего государя и в самом деле сходит с ума.

И главное—всё это совершенно напрасно, ибо облик государя Александра Павловича, вопреки гнусным поползновениям графини, ничуть не становится темнее.

А вот мерзкая клеветница обнаруживает себя во всей своей отвратительней красе. И поделом ей! Хотела других уронить, а уронила только саму себя.

Я. И. де С.

Вообще, Елизавете Алексеевне немало пришлось натерпеться в своей царственной жизни. Я знаю, что однажды на балу (ещё в Петербурге) к ней подошла Мария Антоновна Нарышкина и со своею жидовскою наглостию заявила, что беременна; беременна же она могла быть только от государя Александра Павловича.

А то, что я не могла быть на вчерашнем балу у княгини Багратион,—это поистине ужасно. Страсть как хотелось бы поглядеть на всё своими глазами и подслушать ещё кой-какие разговорчики.

Мая 9-го дня. Четыре часа пополудни

Граф де Лагард опять кое-что разведал для меня, за что я ему страшно признательна.

Как выяснилось, в венском особняке миллионщика Перетца нет ни одной горничной, которая хотя бы отдалённо напоминала бывшую мою Агату.

Но зато у Перетца отведены три комнаты некоей таинственной гостье, которая практически не покидает пределы своих апартаментов. Слуги несколько раз её видели. И вот гостья эта как будто как раз и напоминает Агату, как я её описывал де Лагарду.

Маловато, конечно, но для первого раза, я думаю, всё-таки вполне достаточно. К тому же граф обещал мне скоро узнать на сей счёт ещё что-нибудь. Надеюсь, что так и будет.

Мая 9-го дня. Двенадцатый час ночи

Есть новости, и прелюбопытнейшие. Да, это Агата. Сомнений нет. Граф де Лагард раздобыл весьма точное описание гостьи Перетца.

Она, она, голубушка. Моя Агата!

Однако попасть к ней покамест никак невозможно. Дело в том, что стерегут её люди Перетца, и стерегут буквально как зеницу ока. Но вот что чрезвычайно сильно шокировало меня в рассказе графа.

Раз в несколько дней, под вечер, часам к семи-восьми, особняк Перетца посещает некий господин, высокий, белокурый, элегантный.

Хозяин, то бишь сам Перетц, угощает его ужином, а потом самолично провожает к гостье-затворнице, у коей сей господин остаётся часов до шести утра.

Господин сей есть не кто иной, как государь Александр Павлович. Да, да, именно так.

Граф де Лагард, увидев, что я не очень-то верю его рассказу, божился мне, что говорит чистую правду, что император регулярно навещает гостью миллионщика Перетца.

Слуги же утверждают, что уходит Александр Павлович от Перетца необычайно благостный и с сияющим лицом.

Тогда что же получается? Моя бывшая горничная стала наложницею российского императора. Невероятно!

Отчего же Его Величеству недостаточно таких роскошных любовниц, как Мария Антоновна Нарышкина, княгиня Багратион и принцесса Саган и ещё куча венских аристократок (а они и блистательны, и обворожительны) ??! Невероятно! Зачем же императору моя бывшая горничная?

Но самое грустное во всей этой истории то, что до Агаты теперь никак мне не добраться.

Надобно ждать, пока государю она надоест и он оставит, а вернее, вышвырнет мерзавку. Что ж, буду ждать, хотя и хочется прямо сейчас хотя бы отодрать её.

Мая 10-го дня. Третий час пополудни

А польский вопрос, как оказалось, всё обостряется.

Меттерних, Талейран и английский посол заключили тайный союз, направленный против российского императора.

Приписка:

Вот тут Алинушка едва ли не впервые брякнула правду.

Из четвёрки главарей Венского конгресса трое составили тайный союз против России.

Я. И. де С.

Они все уговорились, что ни при каких обстоятельствах не согласятся на отдачу Александру Павловичу *всего* герцогства Варшавского, устроенного в своё время Бонапартом.

Правда, кусок этого герцогства, и приличный, всё же придётся отдать. Но и царь в итоге этим должен быть всё равно доволен, ведь он будет именоваться теперь королём польским, а это для Его Величества страшно важно.

Но если в городе вовсю говорят об этой интриге (союз Меттерниха, Талейрана и англичан), то наверняка знает об ней и Александр Павлович! Без всякого сомнения.

Мая 10-го дня. Полночь

Граф Андрей Кириллович Разумовский устроил у себя ужин. Он был, по словам моего де Лагарда, совершенно умопомрачительный. И потом опять был концерт, опять граф сам играл вторую скрипку.

Человек этот совершенно помешан на музыке и на Вене, настолько помешан, что интересы России его не очень-то и волнуют. И зачастую он действует просто в ущерб России. Тем не менее, именно его Александр Павлович избрал тут себе в помощники в борьбе своей с Меттернихом и Талейраном. Шаг, несомненно, опрометчивый.

А второй помощник государя — противный карлик Нессельроде, о коем давно уже известно, что он всею душою предан австрийцам. В общем, российский император сделал выбор, который вряд ли благодетельно скажется на судьбе его империи.

Да, во время концерта у графа Разумовского ослепительная княгиня Багратион просто прилипла к Александру Павловичу и заискивающе ловила каждый его взгляд. Ха-ха! Знала бы она, что он совмещает её с моей бывшей горничною Агатой. Поскорее бы уж государь оставил сию отвратительную девчонку — больно уж охота мне всласть надругаться над нею!

Мая 11-го дня. Пятый час пополудни

А я ведь тоже теперь затворница, как Агата. Только ходит ко мне не Александр Павлович, а граф де Лагард, страстные взгляды коего меня совсем уже не воодушевляют.

Интересно, зачем граф де Лагард помогает мне, укрывая у себя? Пожалуй, стоит, по старой памяти, утешить его, понежить, изобразить страсть. Так будет вернее. Уж очень не хотелось бы мне ещё раз пережить предательство.

Сегодняшний утренний отчёт графа был, как и прежде, неутешителен: государь всё ещё навещает Агату и выходит от неё в отменном расположении духа. Но я уверена, что долго это не продлится.

Я вообще не понимаю, зачем Его Величеству бывшая моя горничная.

Помню, как Александр Павлович однажды заметил мне: «Я люблю чувственные удовольствия, но от женщин требую и ума».

Несомненно, государь должен предпочесть Агате меня.

Я должна быть шестой. И ещё будет, будет шестиугольник.

Мая 11-го дня. Двенадцатый час ночи

Во время ужина граф де Лагард рассказывал последние новости.

Когда принцессе Саган удаётся добиться благосклонности Александра Павловича, княгиня Багратион приходит в состояние какой-то ураганной ярости. Меттерних же при этом ревнует, как настоящий Отелло, а вот князь Талейран только радуется, надеясь извлечь из близости своей подруги с русским царём какую-то выгоду для себя.

А вот русский император совершенно счастлив, как мальчишка, когда узнаёт о ревности австрийского дипломата. Ежели и не в политических интригах, так хотя бы тут победа, как полагает Александр Павлович, остаётся за ним.

Мая 12-го дня. Второй час пополудни

Вот одна из последних венских острот, доставленная мне только что графом де Лагардом: «Баварский король пьёт за всех, вюртембергский король ест за всех, а русский царь любит за всех».

Мая 12-го дня. Десять часов вечера

Александр Павлович, по самым последним известиям изустной светской хроники, замечен в ухаживаниях (и в далеко зашедших ухаживаниях) за графиней Юлией Зичи и графиней Эстергази.

Вообще, российского императора в Вене окружают целые дамские орды. Флигель-адъютанты пытаются оградить своего императора, но, кажется, безуспешно. И главное противодействие им оказывает Его Величество.

Царь, судя по всему, надеется поспеть едва ли не в каждую постель.

Однако в политическом смысле налицо именно пятиугольник: трое кавалеров (Александр, Меттерних, Талейран), которые делят между собою двух дам—княгиню Багратион и герцогиню Саган, принцессу Курляндскую.

И когда я уже покину, наконец, своё добровольное заточение? К тому же на протяжении столького времени обладать лишь одним-единственным мужчиною—это так невыразимо скучно!

И вообще, сейчас я с удовольствием поменялась бы местом своим с мерзавкой Агатою, которая, к моему ужасу, всё ещё пользуется расположением российского императора.

Мая 13-го дня. Почти полночь

Может, это от осточертевшего мне одиночества (а Вена-то просто бушует от нескончаемого веселья), но граф де Лагард ныне кажется мне просто скучнейшим из любовников! И ни на гран воображения. Действует как автомат. И вообще—полусонный какой-то. Чистая рохля.

Мысленно я всё время сравниваю его с Александром Павловичем. Вот кто настоящий бог любви! Пылкий, нежный, неудержимый!

Я теперь совсем уж люто возненавидела мою Агату. Обошла меня, о, как обошла меня! Никогда не прощу ей этого.

Между тем граф, как назло, каждый день приносит мне вести из дома банкира Перетца, а они всё такие же неутешительные для меня: Александр Павлович, как и прежде, навещает Агату. И, как и прежде, покидает дом Перетца в отличнейшем расположении духа.

Мая 14-го дня. Девятый час утра

Список амурных побед российского императора всё множится. Интересно, что принцесса Саган всё ещё пользуется благосклонностью Его Величества, отчего и княгиня Багратион, и князь Меттерних пребывают в бешенстве.

Зато князь, возбуждённый ревностию, продолжает решительно отрицать тезис о «большой» Польше под скипетром российского императора. Не месть ли это за двух отнятых любовниц?

А Александр Павлович по-мальчишески ещё раззадоривает австрийского министра.

Между тем и граф Разумовский, и карлик Нессельроде едва не на стороне Меттерниха, хоть и делают вид, что всё обстоит ровно наоборот.

Приписка:

Графиня, с чего вы взяли это? Я непременно требую доказательств.

Прямой измены с русской стороны вовсе не было. Но неоспоримо то, что уполномоченными России на венском конгрессе были, ежели не считать Андрея Кирилловича Разумовского (а он давно потерял связи с Россией и почитал себя самого в первую очередь венцем, а уже потом русским), одни иностранцы.

В общем, Александру Павловичу было не просто. Можно сказать, он один оборонял интересы своей империи.

Я. И. де С.

Чуть легче стало с князем Талейраном. Видимо, чары принцессы Саган возымели некоторое действие. Но именно—*чуть* легче, и не более того.

Талейран стал выдвигать лозунг восстановления всей Польши и ратует за присвоение российскому императору титула короля Польского, хотя при этом считает по-прежнему, что Россия не может получить полностью всю территорию герцогства Варшавского.

Всё это, конечно, я знаю со слов графа де Лагарда.

Мая 14-го дня. Полдень

А Меттерних правильно злится и по верному поводу: кажется, главные победы российского

императора на Венском конгрессе всё-таки в первую очередь амурные, а не политические. Но зато амурным победам несть числа.

Приписка:

Ну что за злюка такая! И как же она не любит нас, русских!

Так бы и разорвал её!

Но вот что совершенно бесспорно: Александр Павлович абсолютно очаровал собою всю Вену.

Танцевал ежели не больше всех, то едва ли не лучше всех. Собеседник же был сверхизысканнейший.

Государь российский являл собой высочайший образец культуры.

Я. И. де С.

Александр Павлович — это император очарования и чарования. А любовник-то какой! Просто слюнки текут.

Думаю, что с отъездом Его Величества венские дамы и девицы оденутся в траур.

Мая 15-го дня. Седьмой час вечера

А прошедшую ночь Александр Павлович, оказывается, провёл не где-нибудь, а среди венских работниц-швей. Был, можно сказать, на швейном маскараде или на маскараде голых королев. Говорят, там творилось нечто невообразимое.

Тем не менее, государь российский остался целёхонек. Все царственные члены его в полном порядке, хотя здешние швеи особы-то безудержные, на всё готовые. Они ведь привыкли с острыми орудиями работать.

Приписка:

И опять клевета! И пренаглая! Как всегда у милейшей Алинушки.

Ну что за страсть ко вранью! Но это ведь не просто враньё, что следует постоянно помнить.

Графиня Коссаковская ставит своею непременною целию опорочивание российского императора.

Так что у Алины тут имеет место не природная лживость, а совершенно определённая злостная тенденция.

По желанию хозяев своих, графиня забрасывала мутной грязью всё святое для сердца русского.

Сие было мерзко, но главное — бессмысленно: Россия была и остаётся могучей державой, а Александр Павлович был едва ли не самым величайшим государем того времени.

Я. И. де С.

Вообще, венские похождения Александра Павловича ещё ждут своего летописца. Я же просто подбираю некоторые аппетитные крошки, и всё.

Мая 16-го дня. Четыре часа пополудни

А сегодня с утра российский император опять навещал банкира Перетца и не менее двух часов находился в комнатках, отведённых Агате. Вот прохиндейка! Вот мерзавка!

Как подумаю обо всём этом, дурно становится, ноги подкашиваются.

И что стоило графу де Лагарду промолчать?! Отчего он не пощадил меня? Видит же, как я мучаюсь!

Мая 17-го дня. Полночь

Российский император явно получит возможность (сие практически определено, как уверил меня граф) именоваться королём Польским, но Познань и Краков — сердце Польши — с прилегающей территорией ему всё же не дадут.

Так что быть Александру Павловичу, красавцу нашему, урезанным королём.

Победитель-то он, конечно, победитель, да только, выходит, по женской части, и это надобно иметь в виду.

Приписка:

Думаю, что графиня Коссаковская не просто потеряла совесть — она от роду её не имела. Чистая змея!

А как государя Александра Павловича ненавидела! Просто люто.

И ведь одновременно рвалась к нему в фаворитки. На какие только интриги не шла, лишь бы сблизиться с ним.

Но что правда, так это то, что в 1814–1815 годах Александр Павлович решил покорить блистательную Вену — и покорил.

Но и сама Вена, в женской своей части, спешила отдаться Его Величеству. Я знаю только об одном исключении.

У Александра Павловича был бурный роман с княгинею Эстергази. А потом ему понравилась другая Эстергази — Леопольдина. Муж её был на охоте. Александр Павлович послал к княгине своего флигель-адъютанта, который объявил ей, что российский император проведёт у неё вечер. Ответ пришёл достаточно неожиданный: княгиня была счастлива, польщена и просила Его Величество вычеркнуть в прилагаемом ею списке имена тех дам, которых неугодно было бы ему у неё встретить. Александр вычеркнул всех, оставив на листе лишь имя самой княгини. Та тотчас же послала за мужем. Император оставался у Эстергази буквально несколько минут.

Я. И. де С.

Мая 18-го дня. Пятый час пополудни

Пока граф де Лагард бегает по Вене и собирает сплетни о конгрессе, я, наскучив сидением

в отведённых мне комнатёнках, пошла бродить по дому, в коем есть много таинственных и ещё неизведанных мною закоулков. А я обожаю познавать всё новое.

Прогулка сия заняла у меня никак не менее двух часов. Я уже собиралась возвращаться к себе, как набрела вдруг на маленький кабинетик (до того я знала лишь наличие одного большого, парадного) и стала немедля осматривать его.

Под кучей валявшихся в углу разодранных книг я обнаружила изящный портфельчик, и новёхонький, между прочим. Он был заперт. Не в силах сдержать девичьего своего любопытства, я схватила валявшийся на бюро проржавленный миниатюрный ножичек и отомкнула им замок.

Просматривая содержимое портфельчика, я присела на дырявую софу и правильно сделала, что присела. А то мне бы не устоять.

О ужас! О кошмар! Содержимое портфельчика представляли черновики писем графа де Лагарда к… банкиру Перетцу. Да, да, именно к нему, проклятому Перетцу.

И письма эти все без исключения были обо мне (собственно, то были отчёты). Были там и ответные письма банкира—с подробнейшими указаниями относительно меня—о том, что следует вызнать у графини Коссаковской

Совершенно невероятно, но мой спаситель, стражник, друг и любовник граф де Лагард, оказывается, является—открытие более чем неожиданное и очень печальное—человеком Перетца, гнусным лазутчиком.

Кажется, нет уже места, куда этот проклятый жид не успел сунуться. И всегда он умудряется опередить меня. Но дело тут даже не во мне.

Невыразимо грустно у меня на сердце теперь: сей Перетц скупает всех на корню. И никто, никто не способен остановить его. А дьявольские услуги его принимаются с радостию и признательностию самим императором российским.

Да, ничего иного и не сделаешь теперь. Благодаря вероломству графа, я теперь лишена какого бы то ни было выбора.

Неминуемо придётся бежать. Дождусь только глубокой ночи, когда граф де Лагард, вкусив как следует утех любви, основательно заснёт (может, на всякий случай я ещё и сонный порошок подсыплю).

Впрочем, Вену, несмотря на острое желание банкира Перетца, я всё-таки, пожалуй, не оставлю сейчас. Не время пока. Мне тут ещё есть чем заняться.

Прежде всего, мне хочется поглядеть, чем же кончится конгресс и что станется с негодяйкой Агатой.

Попробую-ка я сунуться под отеческое крылышко князя Талейрана, колченогого гения.

Может, он, по старой памяти, приголубит меня и оставит в громаднейшем дворце Кауница (это даже не дворец, а целый город), в коем он пребывает со времени приезда своего в Вену?!

Итак, решено окончательно: я бесповоротно остаюсь.

Приписка:

Со своей стороны свидетельствую, что банкир Авраам Перетц был человеком исключительного ума и дарований. И он был одним из тех, кто спас в 1812 году русскую армию.

Другое дело, что сей Перетц и в самом деле держал свою собственную тайную полицию, своих лазутчиков и курьеров. Но это тогда вынуждены были делать все крупные банкиры.

Яков де Санглен, военный советник

Часть четвёртая

Графиня Алина Коссаковская

Тайные записи, которые я вела в Вене, на самом исходе конгресса

1815 год, конец мая. Вена

Мая 20-го дня. Одиннадцатый час утра

К моему большому счастию, князь Талейран оказался на сей раз таким душкой, что трудно даже вообразить себе.

Да, князь приютил меня. И вот уже второй день я обретаюсь теперь в роскошнейшем дворце Кауница.

Мне отвели четыре преуютные комнатки на втором этаже, в апартаментах самого Карема. Это—знаменитый на всю Европу повар Талейрана; его, кажется, все без исключения называют тут «кулинаром-архитектором». Вообще, пользуется он исключительным почётом.

Карем неподражаемо искусно возводит грандиозные торты, изображающие развалины Афин, кварталы Рима и Венеции, дворцы Версаля.

Комнатки мои на самом деле только примыкают к апартаментам Карема, а числюсь я совсем не при кухне, отнюдь.

Князь определил меня в помощники к секретарю своему Ру Лабори. Но на самом-то деле я, строго говоря, являюсь вторым секретарём Талейрана.

Мы договорились, что раз в три дня около десяти вечера он будет навещать меня и мы с ним будем работать до рассвета: сначала разбирать бумаги для конгресса, а затем… Ну и так ясно, что «затем»—в подробности можно не вдаваться.

А я готова делать что угодно, лишь бы разузнать хоть что-то о «танцующем конгрессе» и об его заключительных актах.

Денно и нощно мечтаю, чтобы Россия вышла из Венского конгресса сильно, непоправимо и публично униженною, мечтаю, дабы непомерные амбиции русских никоим образом не оправдались.

Надобно, чтобы страшная, дикая, безжалостная эта империя жестоко поплатилась, наконец, за многократные свои надругательства над моею Польшею.

И хочу я узнать обо всём этом одною из самых первых. И потому я здесь, в бесподобном дворце Кауница, под крылышком великого Талейрана, князя Беневентского.

А покамест предвкушаю миг грядущего блаженства своего и даже пытаюсь хоть чуть-чуть приблизить его. Надеюсь, что мне это вполне удастся.

Приписка:

Господи! Какая злоба! Какая поистине бешеная злоба!

И что, в конце концов, даст графине унижение России? Что? Не постигаю.

Алина ведь прекраснейшим образом знает, что Польше всё равно никогда более не стать великой. А вот Россия, несмотря на все польско-французские интриги, остаётся по-прежнему могучей. Налипшие же комья грязи засохнут и отпадут сами.

Мне ужасно жаль графиню. Сколько ума и энергии было растрачено совершенно впустую!

И ещё. Клеветы Коссаковской тем более обидны, что государь Александр Павлович, в отличие от венценосного брата своего Николая, был величайшим другом Польши и даже её патриотом.

Напоминаю, что уже 13-го мая 1815-го, в день отъезда Александра Павловича из Вены, последовал высочайший манифест жителям Царства Польского о даровании им конституции, самоуправления, собственной армии и свободы печати. В сём манифесте, в частности, было отмечено: «Признали мы за благо устроить участь сего края, основав внутреннее управление оного на особенных правилах, свойственных наречию, обычаям жителей и к местному их положению применённых».

Так что графиня Коссаковская оказалась особою в высшей степени неблагодарною.

Я. И. де С.

Мая 21-го дня. Пятый час пополудни

С принцессой Доротеей Саган, урождённой герцогиней Бирон, я не только тут ещё не виделась, но, полагаю, вообще не встречусь с нею во дворце Кауница.

Всё дело в том, что принцесса прежде всего необходима князю Талейрану для больших дипломатических приёмов, а я — в основном для работы над официальными бумагами, корреспонденцией и докладными многочисленных тайных осведомителей.

Итак, я пребываю с нею на разных планетах и даже в разных созвездиях.

Кроме того, князь, оказывается, сделал особое распоряжение, дабы я с принцессою Саган не имела бы ни малейшей возможности встречи.

Мне об этом рассказал секретарь Талейрана Ру Лабори. Он заходил сегодня ко мне в полдень, и мы отлично поболтали.

Ру Лабори, кстати, исключительно галантен и нежен просто необычайно; он готов исполнить любую мою просьбу, за что я ему необычайно признательна.

Впрочем, я не исключаю и того, что Талейран приказал своему секретарю за мною приглядывать, а может, и нет.

Мая 21-го дня. Полночь

Князь Талейран мною как секретарём в высшей степени доволен. Он говорит, что я со своими обязанностями справляюсь просто отличнейшим образом.

Ну и я, соответственно, довольна и даже, пожалуй, более того, хоть князь как любовник, признаюсь как на духу, просто ужасающе плох. К тому же за последнее время он сильно одряхлел, и всё тело его даже как-то неприятно сморщилось. Но зато у меня есть теперь прямая возможность просматривать и даже делать выписки из наисекретнейших документов конгресса.

И ещё он обладает столь пронзительно острым, невероятно игривым и вместе чрезвычайно импульсивным, необычайно парадоксальным умом, что наблюдать за извержениями его приносит высочайшие наслаждения.

Мая 22-го дня. Полдень

Ру Лабори был настолько любезен, что опять навестил меня. Между прочим, он подробнейшим образом поведал, что вся Вена (именно *вся* Вена) говорит уже о любовной связи ветреного российского императора Александра Павловича с княгинею Багратион, «российскою Андромедою», «голым ангелом».

И судя по всему, сама княгиня от этого известия находится в полнейшем восторге, почитая достигнутое за высочайшую свою политическую победу.

Не исключено, княгиня Багратион сама и способствовала тому, что факт её связи с российским императором наконец стал всеобщим достоянием.

А вот принцесса Доротея Саган, нынешняя соседушка моя, просто рвёт и мечет. Она ведь тоже, хоть и живёт открыто с князем Талейраном и является избранницею князя Меттерниха, ещё и фаворитка российского императора.

Более того, принцесса ведь добивалась благосклонности Александра Павловича с исключительным упорством и настойчивостью. И добилась как

будто. И тут вдруг княгиня Багратион обошла её. Было с чего рвать и метать!

В общем, на данном этапе государь остановился на «голом ангеле». И это большое событие для нынешней сумасшедшей Вены! Правда, совершенно неизвестно, что произойдёт завтра.

Мая 23-го дня. Десятый час утра

После завтрака заходил ко мне секретарь князя Талейрана Ру Лабори. Он принёс неслыханно интересные новости, которые даже взволновали меня. Кстати, сам Талейран ничего подобного мне не рассказывал.

Оказывается, российский император Александр Павлович страшно осерчал на князя Талейрана и хочет припомнить все измены с его стороны. Особенно государь зол на тайный договор Австрии, Франции и Англии, направленный против России.

Царь будто бы даже хочет погнать Талейрана с министерского поста и заменить его дюком Ришелье, губернатором Новороссии.

Неужели звезда князя может вдруг совсем закатиться? Стоит подумать об данной возможности и об моём будущем.

А окончательные итоги конгресса уже почти налицо. Польским королём Александр Павлович станет, но *целиком* герцогство Варшавское таки не получит. Ура!

Решён уже частично и италианский вопрос. Во многом благодаря напористости и изворотливости Талейрана, решено низложить с трона неаполитанского короля Иоахима Мюрата и возвести на него италианских Бурбонов, изгнанных в своё время Бонапартом. И Талейран старался в этом деле совсем не зря.

Ру Лабори сообщил мне, что итальянские Бурбоны одарили князя шестью миллионами франков. Интересно, не так ли? Вот она, истинная подноготная «танцующего конгресса».

Мая 23-го дня. Почти полночь

Да, и вот ещё немаловажное соображеньице одно об образовавшемся на конгрессе антирусском союзе.

Александр Павлович непременно хотел, дабы герцогство Саксонское, бывшее союзником Бонапарта, присоединили бы к Пруссии. Но усиления Пруссии, столь дружащей теперь с Россией, категорически не желают ни Австрия, ни Англия (победители) и ни Франция (побеждённая).

И вот двое государств-победителей соединяются с проигравшей Францией против победительницы России. В этом-то и есть главный интерес сложившейся ситуации.

Придумано лихо! Ай да Талейран! Я убеждена, что это именно он выдвинул идею антирусского союза.

Так что Александр Павлович прав абсолютно, что мечет громы и молнии супротив князя. Да только поздно — антирусский союз-то уже создан.

В данном случае вот что ещё надобно иметь в виду.

Довольно-таки многие державы на конгрессе вооружаются супротив России, и в особенности англичане. Они, стараясь присвоить себе всеми способами деспотическую власть в Европе и в прочих частях света, утверждают, что не следует уступить Польшу России, ибо Россия, требуя сей край, обнаруживает намерение занять в политической системе Европы место Бонапарта.

Англичане, австрийцы, пруссаки и французы употребляют все усилия, дабы во мнении народов и дворов уменьшить влияние России и представить принесённые русскими жертвы и подвиги их войск по возможности ничтожными, доказывая, что влияние России на политические дела Европы должно быть пагубным для просвещения и для самой независимости держав.

Приписка:

Признаюсь, никак не ожидал я столь резонного рассуждения от графини Алины Коссаковской, бешеной лгуньи, отчаянной фантазёрки и заклятого врага великой Российской империи.

Только графиня, как мне кажется — нет, я даже убеждён в этом, — в диком недоброжелательстве своём к нам чересчур уж преувеличивает значение антирусского союза, хотя последний, увы, и в самом деле имел место на конгрессе 1814–1815 годов.

И дело тут даже не в одном только антирусском союзе, довольно-таки быстро, между прочим, лопнувшем.

Вся трагедия в том, что дипломаты наши российские не поддержали (не смогли? не захотели? или по отсутствию должной хитрости?) того, что было искуплено кровию наших солдат на поле брани.

Налицо страшные, чудовищные факты.

На основании условий Венского конгресса 1815 года, Россия увеличила свою территорию пространством около 2 100 квадратных миль с народонаселением более трёх миллионов человек.

А вот Австрия, опять же по условиям конгресса (молодец Меттерних! Нам бы такого министра, а у нас австрийский прихвостень Нессельроде), приобрела 2 300 квадратных миль с десятью миллионами человек.

Что касается Пруссии, поддерживаемой нашим гуманнейшим государем, то она получила 2 217 квадратных миль с 5 362 000 человек.

Что же выходит? Россия, которая на своих плечах вынесла всю тяжесть трёхлетней войны с Наполеоном и принесла наибольшие жертвы для торжества европейских интересов, получила наименьшее вознаграждение.

Сие чрезвычайно прискорбное, даже трагическое обстоятельство, к величайшему сожалению моему, совершенно бесспорно.

Но всё же графиня Коссаковская, мне кажется, делает выводы, слишком уж удобные для себя.

Алинку я, конечно, ненавижу люто, однако, тем не менее, с её оценками позорного для нас Венского конгресса в чём-то не могу не согласиться. К сверхвеличайшему сожалению моему.

Только надо помнить, что она при этом радовалась ужасно, а я вот горько горюю. Даже и сейчас, хотя всё уже как будто быльём поросло. Ещё бы! Венский конгресс есть стыд наш неискоренимый.

Я. И. де С.

Вообще, я очень даже рассчитываю на то, что первенство русских на конгрессе так и не будет достигнуто. Всё к этому идёт как будто.

Дай-то Бог!

Приписка:

Вот змея!

Я. И. де С.

Покамест в этом смысле всё идёт как по маслу. «Ну и чудненько»,—как любит говаривать давний любимый враг мой Яков Иванович де Санглен.

Я вообще обожаю таких врагов—незадачливых и недальновидных. Все мозговые силы у Якова Ивановича уходят в основном на хвастовство.

От публикатора:

Абзац весь обведён и как бы превращён в квадрат, а потом перечёркнут двумя линиями наискосок.

Кажется, это рука Я. И. де Санглена.

Андрей Рассветов, проф., Москва

В общем, будем надеяться, и есть смысл надеяться, явно есть.

Англичане и австрийцы—ребятки ушлые, а российский государь всё венских дам покоряет (и с успехом! и с каким ещё!)—видимо, с горя; а с горя оттого, что союзничков своих в дипломатических интригах одолеть никак не в состоянии.

Так что всё движется к тому, что Россия, хоть она и могучая страна-победительница, сам Париж покорившая, всё же не останется тут в особом выигрыше.

Низкий поклон вам, российские дипломаты!

Мая 24-го дня. Одиннадцатый час ночи

Давеча я попросила Ру Лабори разузнать, как там обстоят дела в особняке жида Перетца. И просьба моя мигом была исполнена.

Сегодня этот замечательно любезный человек (вот он, кстати, великолепный любовник) забежал ко мне перед ужином и поведал со всевозможными подробностями об венской жизни Перетца. И его рассказ поверг меня просто в ужас.

Во-первых, сей проклятый миллионщик буквально каждый день имеет довольно-таки долгие собеседования со здешними жидами, преимущественно раввинами и банкирами. Всё это чрезвычайно грустно и наводит на очень печальные размышления. Эх, узнать бы, о чём они говорят. Наверняка о скорой гибели России.

Но это ещё не страшно. А поистине страшно то, что государь Александр Павлович, по словам Ру Лабори, всё ещё благоволит к Перетцу. Данное обстоятельство мне кажется просто кошмарным.

Более того, Его Величество регулярно посещает здешний особняк (а это даже и не особняк, а самый настоящий дворец) проклятого миллионщика. Однако и это ещё не всё.

Придя в дом Перетца, российский император неизменно около часу беседует с хозяином, а затем столь же неизменно уединяется в комнатах одной таинственной гости, которая живёт у Перетца.

А вот это уже поистине чудовищно и непостижимо. Выходит, государь не порвал связь с Агатой, бывшей горничной моей. Ужас!

Нет, я не хочу и не могу более с этим мириться. Что-то надобно предпринять, дабы отвратить государя от неё. И я придумаю. Придумаю во что бы то ни стало.

Но как эта подлая особа, заботливо выпестованная мною, может столько времени сохранять благосклонность со стороны ветреного российского государя?! Просто ума не приложу.

Мая 25-го дня. Полночь

Сегодня был у меня князь Талейран. Принёс с собою два портфельчика; один обшит розовым, а другой—чёрным атласом.

Мы сидели не менее двух часов, а успели разобрать лишь часть бумаг из розового портфельчика. Князь сказал, что работы чересчур стало много и потому он, в нарушение установленного графика, придёт ещё и завтра. И оставил оба портфельчика у меня.

Был Талейран абсолютно спокоен, но мне его спокойствие показалось довольно-таки опасным, что-то в нём было очень мрачное.

А когда князь пробурчал, откладывая с недовольным видом в сторону проект тайного антирусского договора (он датирован ещё январём сего года), я поняла, что Талейран пребывает просто в ужасающем настроении.

Вот что он пробурчал с кислой ухмылкой: «И что? Кому нужна теперь эта бумажка? А сколько крови она нам стоила. И всё. Её уже можно и даже нужно выкинуть. Дерьмо. Дерьмо».

Разъяснения мне были не нужны, да князь и не стал бы их давать. Я с ходу всё поняла. Всё проще простого.

В самом деле, в строжайшей тайне заключённый антирусский союз саморазрушился. И всё из-за Бонапарта и его «ста дней», которые фактически разрубили Венский конгресс на две части.

Свергнутый император вернулся, и опять возродилась антинаполеоновская коалиция, и опять русские на коне.

Всё, чего добился мой нынешний хозяин, оказалось мигом брошено в тартарары.

Да, Бонапарта теперь уже почти окончательно разбили, но Российская-то империя в результате «ста дней» политически вроде бы усилилась, но именно благодаря опять возросшему страху пред величайшим полководцем.

В общем, лопнул антирусский союз, лопнул, как простой мыльный пузырь.

Итак, Бонапарт русским подмог как будто немного. Но надолго ли? С водворением его в новое место заточения коалиция естественным образом распадётся, и русских, конечно же, опять потеснят—и слава Богу.

Мая 26-го дня. Два часа пополудни

Заходил Ру Лабори, и мы с ним очень мило позавтракали, весело, игриво и с пользою даже поболтали, и даже ещё успели отдохнуть, понежившись в постельке.

Когда же Ру Лабори собрался уже уходить, я обратилась к нему с одною небольшою совсем просьбою (я продумала это ночью, в мучительных раздумьях).

Я рассказала секретарю князя Талейрана, что таинственная гостья миллионщика Перетца—это моя бывшая горничная и что я хотела бы передать ей записку.

Галантный и необычайно услужливый Ру Лабори, естественно, согласился без малейших раздумий. Я тут же вручила ему загодя приготовленную записку.

В записке я передавала Агате несколько указаний якобы от князя Талейрана, и в частности—приказ выкрасть какие-то бумаги из кабинета Перетца.

Я не стану скрывать: всё это была, ежели по правде, полнейшая чушь.

Дело в том, что Агата моя никогда в глаза не видела Талейрана, и она ничего не может выкрасть у миллионщика Перетца, ибо совсем не покидает своих комнат.

И вообще, Агата чуть не молится на Перетца, своего истинного спасителя, и готова оказать ему любую услугу. Совершенно любую. Я уверена.

Так что содержание записки, которую я передала Агатке чрез Ру Лабори, от начала и до конца было чистейшею выдумкою. Что поделаешь! Выхода у меня не было.

Да, я готова сказать и написать что угодно, лишь бы отвратить государя Александра Павловича от мерзавки Агаты, нахально и самонадеянно посмевшей, в обход меня, искать благосклонности Его Императорского Величества.

Очень сильно надеюсь, что отосланная записка сослужит мне свою верную службу, и уже в самое ближайшее время.

Мая 26-го дня. Седьмой час вечера

Уф! Гора с плеч! Наконец-то! Я даже всплакнула с радости. Долгожданный миг всё ж таки настал.

Мерзавка моя Агата арестована и препровождена в венский тюремный замок.

Да, а миллионщик Перетц рвёт и мечет. В скобках замечу: он—бестия!—конечно, не поверил моей записке и приложит все усилия, дабы вызволить её. Но Агатку проклятую хотя бы на время убрали—и то слава Богу.

Обо всём происшедшем я узнала от Ру Лабори, естественно. От кого же ещё?

Он прибежал, рассказал мне, что записку передал (успел), но уже где-то через полчаса Агату увели под конвоем.

Слава Богу! Наконец-то удалось освободить государя от этой сущей пиявки.

И ещё. Ру Лабори в крайне взволнованном состоянии поведал мне, что в жизни блистательного и хитроумного князя Талейрана ожидается крупная и решительная перемена: как будто буквально чрез несколько дней он будет отправлен в отставку.

Неужто? Признаться, я как-то не очень в это верю. Полагаю, что великий Талейран уйдёт в отставку, только ежели сам этого вдруг возжелает.

Князь так феноменально, так феерически увёртлив, что, думаю, он и на сей раз как-нибудь выкрутится. Во всяком случае, так ведь всегда было до сих пор. Отчего же теперь должно быть иначе?

Может, паника милейшего дружка Ру Лабори есть именно паника и более ничего?!

Надобно будет обдумать как следует, не торопясь, но и не откладывая в долгий ящик.

Мая 27-го дня. Девятый час утра

Опять прибегал ко мне с раннего утра Ру Лабори.

Вид у него был совершенно растерзанный (от былой уравновешенности не осталось и следа): лицо залито потом, глаза готовы вылезти из орбит, руки трясутся.

Он крикнул мне прямо с порога, что всё рушится. Отставка Талейрана решена окончательно. Собственно, Людовик Восемнадцатый, по словам Ру Лабори, уже подписал её, просто бумага ещё не дошла до Вены.

До Бонапартовых «ста дней» князь умудрился быть на равных среди глав стран-победителей и даже сумел потеснить Россию. Но теперь-то Франция всё же стала реально стороной проигравшей.

И Талейран даже сам хочет уйти, дабы не подписывать унизительное соглашение. Но даже если

бы князь решил вдруг остаться, сие никак бы не удалось, ибо великий дипломат и непревзойдённый обманщик на сей раз, на мою беду, явно проиграл, и король просто в бешенстве.

К тому же Его Величество король Людовик Восемнадцатый не может не прислушиваться к рекомендациям российского императора, а Александр Павлович отныне и слышать не хочет о Талейране. И это со всею определённостию.

Ру Лабори во время рассказа своего был в страшной растерянности и чуть ли не рыдал, ибо его карьера теперь, из-за возможного (близкого) ухода Талейрана, находится на грани полнейшего обвала.

Но моё-то положение ещё хуже, и намного, ибо с отставкою и отъездом Талейрана я оказываюсь просто на улице, и более того — в ожидании неминуемого ареста.

Впрочем, кажется, я уже более или менее представляю, что мне надобно теперь делать.

Собственно, выход есть, очень неожиданный, но зато единственно возможный.

А не захватить ли мне два Талейрановых портфельчика, которые и сейчас лежат у меня на бюро, здесь, во дворце Кауница, и спешно бежать с ними к российскому императору Александру Павловичу?!

Наличие этих бесценных портфельчиков, мне кажется, и будет верною гарантией того, что меня русские не только не арестуют, а ещё и дадут надёжный приют, обласкают и приголубят. И особливо сам Александр Павлович.

Я уповаю на то, что российский император (а он, при всей ветрености своей, есть самый благородный из всех ныне живущих смертных) простит меня и примет в дар заветные портфельчики, а точнее, примет в дар сии портфельчики и в порыве царской благодарности простит меня.

Ха! Ещё бы не примет! Портфельчики, безо всякого сомнения, Его Величество очень даже заинтересуют, чрезвычайно заинтересуют, ибо это даст очень сильный козырь в борьбе с Талейраном, уже уходящим с активной политической арены, но всё ещё остающимся сильным и страшным противником для России.

А я уж постараюсь самым отменным образом заменить государю Александру Павловичу мою мерзавку Агату (лишь бы только не помешал как-нибудь недоброжелатель мой миллионщик Перетц, а от него мне можно и даже следует ожидать любой каверзы).

Как говорят русские, свято место пусто не бывает. К тому же я, признаюсь откровенно, и намного умнее её (Агатки), и гораздо, между прочим, соблазнительнее её. В этом у меня нет совершенно никаких сомнений, да и не только у меня. Собственно, никто нас и не пытается сравнивать — госпожу и служанку!

А то, что российский император, в силу либеральных идей своих заигрывающий с демосом, частенько предпочитает именно горничных, — сие совсем не страшно. Я ведь могу быть и горничной. И даже запросто, между прочим. Уже не раз пробовала. И получалось.

В общем, надо мне буквально хватать Талейрановы портфельчики и, более не раздумывая, прямиком бежать во дворец Хофбург, являющийся ныне, на время конгресса, резиденцией российского императора.

А проводит меня Ру Лабори, пока всё ещё секретарь князя Талейрана, — у него есть свои людишки в охране дворца, и ещё он, к счастью, приятельствует с генерал-адъютантами российского государя князем Петром Волконским и Александром Чернышёвым.

Думаю, всё пройдёт прекрасно, и все, уверена, останутся очень даже довольны.

Чует моё сердце, что быть мне отныне в услужении у государя Александра Павловича. И начнётся новая жизнь.

Приписка:

Да, наврала милейшая графинюшка с целый короб. И даже не просто наврала, а ещё и злостным образом напакостничала (а на это она великая, несравненная мастерица).

При этом не могу не выделить следующее.

Особенно подло и гнусно буквально всё, что написала Алина Коссаковская об российском императоре Александре Павловиче Благословенном и об его знаменитом пребывании в Вене, которое имело место по окончании Заграничного похода 1813–1814 годов.

Собственно, настоящая дневниковая тетрадочка представляет собою не рассказ о Венском конгрессе 1814–1815 годов, а самую настоящую клевету на Россию и великого её государя.

Но вот что весьма занятно и даже по-своему поучительно: как ни лгала Алинушка, но скрыть так и не смогла, что она не столько шпионка, сколько самая настоящая воровка, несмотря на свой графский титул.

Яков де Санглен, военный советник,
бывший директор Высшей воинской полиции,
Москва, мая 18-го дня 1857 года

Запись на обратной стороне обложки:

Жизненные силы потихоньку начинают меня оставлять. Я очень не хотел бы унести с собою в могилу давние ещё соображения свои об военной кампании 1813–1814 годов и её последствиях, почему как раз и тороплюсь оставить сии заметки.

В первую очередь хочу заметить, что графиня Коссаковская в своём дневнике не просто безбожно путает даты, а ещё и постоянно прибегает

к мошенничеству и даже к прямому подлогу. Вот что она делает.

Графиня, желая, как видно, чтоб её приняли за пророчицу, представляет произошедшие события, связанные с Венским конгрессом, но только как события ещё не случившиеся, а лишь назревающие.

Иначе говоря, Алина идёт на чудовищный обман: предрекает факты, зная, что на самом деле произошло, для чего и пришлось ей подтасовывать и даже произвольно менять хронологию.

Вот, вкратце, что и когда было.

3-го мая 1815 года были подписаны трактаты между Россиею, Австриею и Пруссиею, определявшие судьбу Варшавского герцогства; оно было присоединено к России под наименованием Царства Польского, за исключением Познани, Бромберга и Торна, отданных Пруссии, Кракова, объявленного вольным городом, и соляных копей Велички, возвращённых Австрии вместе с Тарнопольской областью. Государь Александр Павлович принял титул Царя Польского.

27-го мая был подписан акт германского союза, а 28-го мая—главный акт Венского конгресса.

Император Александр Павлович, крайне разочарованный и даже как будто взбешённый итогами конгресса, не стал дожидаться его окончания и покинул Вену ещё 13-го мая. А 31-го октября 1815 года новый польский король въехал в Варшаву.

Яков Иванович де Санглен, военный советник, Москва, февраля 12-го дня 1863 года

Часть шестая

Графиня Алина Коссаковская

Тайные записи, которые я вела в Париже, по окончании конгресса

1815 год, лето. Париж

Июня 30-го дня. Почти полночь

В пути было мне не до записей, так что теперь навёрстываю упущенное.

По окончании «ста дней», когда столица Франции капитулировала и бедный Бонапартик вторично отрёкся от престола, российский император направился в Париж в сопровождении императора Австрии Франца, генерал-адъютантов, графов Нессельроде и Каподистрия (как главных дипломатов), повара и избранных слуг. Я входила в состав этой небольшой свиты, но не имея, правда, никакой придворной должности.

Июня 28-го дня Александр Павлович был уже в Париже. Разместился Его Величество в Елисейском дворце, меня же поселил поблизости, в отеле «Моншеню».

Каждый вечер государь навещает меня. Он по-прежнему мил, нежен и исключительно пылок. Грех жаловаться, но я ощущаю в Александре Павловиче некие общие перемены, не очень-то приятные.

Как-то тускнеет чарующая мягкость, всегда поражавшая меня в этом великом человеке, и всё более проявляется жёсткость, нетерпимость и какое-то даже солдафонство в духе его сумасшедшего родителя, покойного Павла Первого.

Вчера в Париж вошли уже первые российские войска (третья гренадерская и вторая кирасирская дивизии). Вошли они церемониальным маршем, но тут случилась подлинная беда: три полка сбились с ноги.

Александр Павлович был в диком бешенстве, приказал арестовать полковых командиров, а солдат примерно наказать. После чего тут же произошли случаи повального дезертирства, впрочем, и до того происходившие. Государь тут же повелел графу Нессельроде снестись с французским правительством, дабы оно запретило укрывать беглецов и выдавало их русским.

Государь ласкал меня и одновременно рассказывал обо всей этой истории. А потом вдруг остановился и весьма запальчиво отметил: «Строгость причиною, что наша армия есть самая храбрая и прекрасная в мире».

Высказывание это в ту минуту было совершенно неуместно, но мне оно на многое открыло глаза.

Что ж! Некоторое помутнение государева разума и ступание Александра Павловича на стезю солдафонства—сие крайне выгодно врагам и соперникам Российской империи.

Июля 1-го дня. Полдень

На утренней прогулке случайно столкнулась я с миллионщиком Перетцем. Коммерции советник чрезвычайно учтиво поклонился мне, а потом вплотную приблизился и шепнул почти еле слышно: «Берегитесь, графиня. Рано или поздно я вас выведу на чистую воду».

Подходя к отелю «Моншеню», я вдруг обратила внимание, что за мною присматривают. Ну что за проклятый жид! Никак он не может успокоиться и всё тиранит меня. Как видно, мешаю я проворачиванию его отвратительных жидовских дел.

Июля 1-го дня. Одиннадцатый час ночи

Мария Антоновна Нарышкина (урождённая княгиня Святополк-Четвертинская) находится в Париже. Сие обстоятельство угнетает меня до невозможности. Когда Александр Павлович видит эту особу, действительно непередаваемо и даже невыносимо прекрасную, то вмиг забывает обо всём и обо всех.

Собственно, Мария Антоновна рассталась с российским государем, о чём знаю доподлинно.

Ещё в 1813 году она покинула пределы Российской империи вместе с дочкою своей от Александра Павловича Софией. Мотивировка при этом была такая, что Мария Антоновна везёт Софию лечиться от неизлечимой горловой болезни в тёплые края. Но главная причина та, что Марии Антоновне надоело двойственное её положение и что она не желает более быть некоронованною императрицею.

Приписка:

И вот что необычайно важно.

Когда София Нарышкина умерла, то Мария Антоновна отправилась в Святую землю. Покаянную же молитву совершила она не только в храме Гроба Господня, но и у останков стены Соломонова храма, а потом ещё даровала значительную сумму жидовской общине града Иерусалима.

Не правда ли, интересные фактики?

Яков де Санглен, военный советник

Ну что, высокомерная жидовка, отправляйся подалее и не попадайся более на глаза императору. Так будет для всех спокойнее. Так нет, сидит в Париже, и я знаю, что Александр Павлович навещает её.

Июля 2-го дня. Два часа пополудни

Я решила сделать ответный ход—разумею отношения свои с миллионщиком Перетцем. И даже сделала уже этот ход, наняв четвёрку пронырливых французиков, дабы они наблюдали за домом Перетца.

Между прочим, есть уже первый результат, весьма любопытный и даже обнадёживающий.

Как выяснилось, сей Перетц каждый день в пять часов пополудни является к Марии Антоновне на вечерний чай. Ясное дело, амуров между ними нет никаких, а вот отношения деловые есть.

Что же может связывать божественно прекрасную избранницу российского императора с денежным воротилою?!

Думаю, проблема вот в чём.

Покамест Мария Антоновна находится в зоне некоторой достижимости, Александр Павлович не посмеет причинить никакого вреда жидовским делам.

Так что Перетц, как великий жидовский радетель, и делает регулярные наставления, высказывает просьбы, дабы Мария Антоновна пусть и не возвращается к царю, но при этом хотя бы особо не удаляется от него. А он при виде её неизменно теряет голову.

Господи, ну как мне погубить этого дьявольски хитрого жида?!

Июля 2-го дня. Полночь

Навещал меня российский император. Услуги, что оказываю ему я, оценивает он очень даже высоко, а так, в целом, сердит, но не на меня, конечно.

Рассказал, что союзнички (австрияки да пруссаки) хотят отхватить от Франции по жирному куску.

«Но я не дам раздробить Францию»,—крикнул в ярости государь.

Такое вот было любовное свидание. Мило, ничего не скажешь.

Да, ещё Александр Павлович поведал мне, что будет непременно настаивать на снижении контрибуции. Поглядим—увидим.

Приписка:

Франция как обязалась выплатить семьсот миллионов франков, так и выплатила их. Только России досталось при этом лишь сто миллионов.

Яков де Санглен, военный советник

Июля 3-го дня. Одиннадцатый час пополудни

Во время утренней прогулки своей я увидела издали миллионщика Перетца. Тот был не один. Рядом с ним шла спутница, обладавшая, между прочим, чрезвычайно статною фигурою.

Завидев меня, Перетц обернулся и помахал мне ручкою, весьма игриво. Спутница же его лишь качнула чуть сильнее своим зонтиком (по чёрному муслину разбросаны нежнейшие белые кружева) и продолжала весело щебетать. Слов, увы, я разобрать никак не могла, но было видно, что беседа идёт самая приятная. В общем, девица, прогуливавшаяся с Перетцем, даже не сделала попытки оглянуться.

Любопытно: что это за особа?

Июля 3-го дня. Почти полночь

Вечером на Елисейских полях, неподалёку от дворца, я, к радости своей, обнаружила обладательницу чёрного муслинового зонтика с кружевами. Она шла со спутником, но на сей раз это был вовсе не Перетц. И тут меня ждало даже не разочарование, а страшная катастрофа.

Спутника обладательницы муслинового зонтика я узнала сразу, и в глазах у меня почернело от сделанного открытия: это был российский император (он в Париже разгуливает совершенно без охраны, ведь парижане видят в нём своего благодетеля и защитника).

Я увидела, как парочка дошла до дворца и исчезла в его воротах.

Теперь во что бы то ни стало необходимо выяснить, что это за девица под чёрным муслиновым зонтиком.

Июля 4-го дня. Пять часов утра

Есть важная для меня новость. В Париж из Варшавы прибыла польская депутация, во главе коей находится сенатор граф Замойский.

Александр Павлович его уже принял (вчера вечером), а сегодня граф Замойский встретился

со мною, и я наиподробнейшим образом поведала ему всё, что мне известно свеженького об российском императоре и о борьбе его с неверными союзничками своими.

Граф же, в свою очередь, рассказал мне о том, что деется в Варшаве. А там не всё так гладко, как хотелось бы.

Да, что было великолепно в герцогстве Варшавском, так это то, что жидам там житья не было. Были в Варшаве целые кварталы, где проживание им было запрещено, и много ещё чего приятного происходило. И нынешнее правительство Царства Польского пошло далее по сему праведному пути.

Граф Замойский сообщил мне, что Государственный совет Царства Польского именем государя Александра Павловича готовится привести в действие декрет короля Саксонского от 30-го октября 1812 года (он ведь был тогда герцогом Варшавским) об выселении евреев из деревень.

Жидовские депутаты, находящиеся безотлучно при Главной квартире российского императора, донесли Александру Павловичу об сём проекте. Вот подлецы!

Государь решил, что исполнение новых постановлений варшавского правительства касательно евреев должно быть приостановлено и что впредь без высочайшего разрешения никакие распоряжения варшавского правительства не могут приводиться в действие.

В Варшаве началась паника, вот и была собрана депутация графа Замойского и незамедлительно отправлена в Париж.

Александр Павлович во время давешнего разговора своего с графом со всею определённостию заметил, что исполнение декрета от 30-го октября 1812-го будет отсрочено и что пересмотру сие высочайшее решение уже никак не подлежит.

Более того, государь поведал графу Замойскому, что готовится проект (гнуснейший проект!), в соответствии с коим евреям Царства Польского будут предоставлены общие гражданские права с сохранением внутреннего самоуправления.

Рассказывая мне об этом, граф Замойский чуть не рыдал от обиды и возмущения. И я совершенно постигаю и одобряю его чувства.

Приписка:

Проект о представлении жидам, жительствующим в Царстве Польском, гражданских прав с одновременным сохранением внутреннего самоуправления таки был составлен, но ход ему не был дан.

Проект поступил в году, кажется, 1817-м на рассмотрение варшавского правительства, которое в лице Государственного совета и других учреждений самым резким образом высказалось против предложенной реформы и представило контрпроекты, основанные на ограничении жидов в их гражданских правах и уничтожении у них внутреннего самоуправления.

Александр Павлович не отстоял проект реформы и принял возвращение к политике бывшего под пятою Бонапарта герцогства Варшавского относительно жидов.

Его Величество уже забыл о благодарности своей жидам за их помощь в 1812–14 годах в борьбе против Бонапарта (в 1815 году государь благодарность сию ещё испытывал).

Миллионщик Перетц уже был разорён и потому уже не имел влияния. А разрыв с Марией Антоновной Нарышкиной стал окончательным. В общем, за жидов некому уже было хлопотать. Так что в этом смысле победа в Царстве Польском осталась, увы, за злодеем Бонапартом.

Так что графиня Коссаковская и граф Замойский совершенно напрасно горевали и печалились.

Яков де Санглен, военный советник

Так что, кажется, граф Замойский вернётся в Варшаву ни с чем, а жаль, и очень даже жаль.

Но я уж не буду выпускать вопрос о жидах в Царстве Польском из виду и, как могу, буду следить за колебаниями государя в данном отношении.

А натура Александра Павловича очень даже колебательная, то бишь склонна к весьма частым переменам мнений.

Июля 4-го дня. Двенадцатый час ночи

За отелем «Моншеню», где я квартирую, явно продолжают присматривать, и, конечно, это люди проклятого Перетца. Ну что ж, пусть.

Я решила, что тоже буду следить, но только не за Перетцем, а за Елисейским дворцом. Мне нужна, позарез необходима девица с чёрным муслиновым зонтиком. В общем, наняла я двух нищих, и они за ничтожную мзду всё мне разузнали.

Обладательницею муслинового зонтика оказалась не кто иная, как бывшая горничная моя Агата. Мерзавка Агата.

Что же получается? Проклятый Перетц таки добился её освобождения; я уверена, что он подкупил начальника венского тюремного замка. Агату освободили и доставили прямиком сюда, в Париж. Но это ещё не всё.

Перетц явно пред государем оправдал Агату во всех отношениях. Сей пронырливый жид точно убедил Его Величество, что записку писала именно я, но только факты, представленные в ней, все начисто выдуманы, и выдуманы именно с целию очернения Агаты. Так он, безо всякого сомнения, говорил.

И Александр Павлович поверил верному своему Перетцу. Настолько поверил, что пристроил Агату в Елисейский дворец на должность, скорее всего, какой-нибудь горничной.

Вот кошмар-то!

И государь, как видно, возобновил уже или непременно возобновит в самое ближайшее время прежние отношения свои с Агатою. Ещё бы! Его Величество ведь либерал. Правда, и меня Александр Павлович покамест не оставляет, но сие ничего не значит.

Подлючка Агата, войдя в фавор, ещё скажет обо мне государю немало «добрых» слов. Никаких сомнений нет: скажет. И как ещё скажет!

Кроме того, проклятый Перетц никак не успокоится, пока не уберёт меня. Обвинит во всех смертных грехах, припомнит, что я исполняла личные поручения самого Бонапарта, и таки придётся мне бежать без оглядки.

В общем, причин для тревоги есть немало. И всё же я попробую как-нибудь выкрутиться.

Июля 5-го дня. Восьмой час утра

Кажется, российский император в определённом отношении решительно сошёл с ума. Ей-богу!

Во всяком случае, так думают союзники Александра Павловича. А дело всё в том, что Его Величество, не удовлетворившись заключением малоудачных для России политических договоров, собирается образовать ещё какой-то «Священный союз».

Российский император намеревается скрепить общую связь государств актом, основанным на непреложных истинах божественного учения, создать союз, который бы связал государей и народы братскими узами, освящёнными религией, был бы для них, как Евангелие, обязателен по совести, по чувству, по долгу.

Слыханное ли дело: российский император предлагает нечто вроде политического евангелия!

Европейские монархи посмеются всласть, да подпишут. Что им, в конце концов?!

Да, прежде Александр Павлович был просто галантным кавалером и дамским любезником. Теперь же он, с одной стороны, солдафон, а с другой стороны, играет в религиозную экзальтацию. Должна сказать, что это чрезвычайно плохое и даже трудно вообразимое сочетание.

И вот теперь солдафон-мистик предлагает другим государям жить по евангелию. Каково?!

А ведь как славно и умно начиналось его царствование!

Впрочем, Польшу более всего устраивает именно свихнувшийся монарх на российском троне, ставший вдруг предлагать союзникам-завистникам дружбу по-христиански.

Проиграв дипломатические битвы, братства народов, видите ли, захотел. И смех, и грех!

Июля 5-го дня. Полдень

Был у меня ужасно неприятный и даже каверзный гость, такой гость, коего я ненавижу всеми фибрами своей души.

Да, это был не кто иной, как коммерции советник Авраам Перетц собственною персоною. Не человек, а сущий дьявол.

Чрезвычайно церемонно поздоровавшись со мною, сей Перетц вынул из портфельчика своего весьма объёмистую кипу бумаг: это были копии донесений моих барону де Биньону, который был представителем императора Бонапарта в Варшаве незадолго до начала страшной кампании 1812 года.

Молча и обстоятельно, не торопясь, коммерции советник разложил аккуратнейшим образом всё на столе, а потом вздохнул и молвил, тихо, но необычайно чётко: «Графиня, бумаги сии, искусно добытые моими людьми, совершенно точно подтверждают, что вы были союзницею Бонапарта и исполнительницею его злодейской воли. Посему в интересах Российской империи вам необходимо незамедлительно покинуть Париж, в противном случае вы будете арестованы. Такова воля императора Александра Павловича. Бумага о вашем заключении под стражу уже на руках у генерал-адъютанта Волконского. Он явится сюда завтра. В общем, исчезайте. Ежели бы не доброта Александра Павловича, томиться бы вам, графиня, в каменном мешке Шлиссельбурга. Сам я полагаю, что вам, как изменнице, место именно там. А теперь прощайте».

Об мерзавке Агате Перетцем не было произнесено буквально ни слова, но явно она с его подачи опять ходит в фаворитках у Александра Павловича. Я просто убеждена в этом.

Вот несчастье! Следующий-то раз буду горничную выбирать уж с умом.

А покамест мне надобно спешно бежать. Но куда?! Нужно решать незамедлительно.

Эх, был бы здесь Яков Иванович де Санглен: уж с ним я бы как-нибудь договорилась! Зря, зря его отстранили от дел.

От публикаторов:

Последние две строчки перечёркнуты. Судя по всему, это было сделано владельцем архива военным советником Яковом Ивановичем де Сангленом.

А. Зорькин, проф., Оксфорд
А. Рассветов, проф., Москва
20.12.2009

Часть седьмая

Графиня Алина Коссаковская

Петербургский дневник

(извлечения)

1816 год, зима

Декабря 15-го дня. Седьмой час утра

Настоятельный совет-угрозу проклятого миллионщика Перетца я не могла не исполнить и незамедлительно исчезла из Вены. Только отправилась я вовсе не в Париж, как упорно стали поговаривать, а в… Петербург. Да-да, именно в столицу Российской империи, чего недруги мои даже предположить, конечно, не могли.

Устроилась я, как мне представляется, очень даже удачно и, главное, надёжно. По рекомендации князя Адама Чарторийского меня взял горничной в дом свой главноуправляющий Петербургом генерал Сергей Кузьмич Вязьмитинов, управлявший по совместительству ещё и министерством полиции.

Но на самом деле я была взята Сергеем Кузьмичём вовсе не в качестве горничной и даже не для утех любви (генерал был совсем не по этой части и в одалисках надобности не имел).

Главноуправляющий Петербургом был страстный поклонник не дам, а музыки, и даже сам баловался сочинительством опереток. В общем, он мне напевал мелодию, а я играла, подбирала потом ноты и подыскивала слова.

Генерал Вязьмитинов души во мне не чает. Имея такую защиту, мне нечего бояться. Тут мне даже Перетц не страшен, тем более по окончании смертоносной бойни с Бонапартом он уже не очень ко двору при дворе.

Декабря 15-го дня. Почти полночь

Государь Александр Павлович из своих долгих заграничных вояжей прибыл в столицу свою декабря 2-го дня сего года.

По словам генерала Вязьмитинова, император казался скучен и даже как будто сердит, что ли. Может, по той причине, что никакими бурными восторгами Петербург его не встретил.

Известное дело, ледяные петербургские красавицы — не венские графини и принцессы, буквально исходившие от восторга при одном виде галантнейшего российского императора.

Может, плохо сказывалось на настроении и самочувствии Александра Павловича отсутствие в Петербурге Марии Антоновны Нарышкиной. Он, как видно, ещё не смог привыкнуть пока к её отсутствию.

Так или иначе, но в государе произошли несомненные перемены, и явно к худшему.

Обо всём этом я и написала в Париж Адаму Чарторийскому, нынешнему моему благодетелю.

Господин Чарторийский долго был другом Александра Павловича, а теперь стал его заклятым врагом. Он очень надеялся, что будет назначен наместником вновь образованного Царства Польского. Когда же этого не случилось, то рассердился и в бешенстве поменял Варшаву на Париж. А я для него теперь коллекционирую всё негативное относительно российского императора.

Генерал Вязьмитинов поделился со мною вот ещё каким умозаключением, а я тут же пересказала в записочке своей к Чарторийскому.

Происходит потрясающая метаморфоза.

В российском государе, до сей поры бывшем галантнейшим кавалером и гуманнейшей личностью, вдруг всё сильнее начинает проступать страшный батюшка Павел Петрович. Во всяком случае, Александр Павлович сделался гораздо более взыскательным и строгим по отношению к военной дисциплине: отныне запрещено офицерам носить гражданское платье и приказано обращать внимание на строжайшее соблюдение установленной формы одежды.

Коли послушать генерала Вязьмитинова, то получается, что бабкино (екатерининское) всё более отступает, заменяясь отцовским (павловским). Ежели это так (я ведь живу затворницей и всё знаю только со слов генерала), то и в самом деле налицо удивительнейшая перемена. И что же? Вскорости на троне российском может оказаться самый настоящий солдафон?

Но за отчизну мою как будто можно не волноваться. Царство Польское есть ведь слабость Александра Павловича. И по отношению к нему он показывает себя по-прежнему гуманнейшим и благороднейшим монархом. Но это всё именно покамест. Метаморфоза ведь только начинается.

Декабря 16-го дня. Полдень

Да, вот новость, мало кого удивившая и даже мало кем замеченная, но зато отрадная для моего мстительного сердца.

После упразднения министерства полиции, с образованием департамента полиции при министерстве внутренних дел, вышел, слава Богу, в отставку Яков Иванович де Санглен.

По высочайшему указу он был причислен к герольдии с жалованием в четыре тысячи рублей и удалился в деревню Клинского уезда, где и стал в уединении доживать свой век, хотя является ещё мужчиною в самом расцвете сил.

Приписка:

Боже мой! Ну что за злюка!

Яков де Санглен

Поделом этому отвратительному врагу Бонапарта, столько раз гнавшему меня и ещё умудрявшемуся вытягивать из меня денежки!

Приписка:

А вот это уже чистое враньё! И как только не стыдно!

Яков де Санглен

Коли Господь даст свидеться с государем, поведаю Его Величеству обо всех художествах сего господина. Хорошо, кабы он лишил его пенсии.

Когда генерал Вязьмитинов поведал, что де Санглен не только фактически, но и формально отправлен в отставку, я упросила его отправить Якову Ивановичу корзинку с сотней ярко-белых роз, но при этом чтобы корзинка была обшита траурным чёрным крепом.

Генерал с радостию выполнил просьбу мою.

Думаю, Санглен до сих пор ещё бьётся над разгадкой той прощальной корзинки. Ему ведь невдомёк совсем, что я пребываю не в Париже, а в Санкт-Петербурге. Это, я уверена, даже и хитрюге Перетцу невдомёк.

Кстати, дела сего миллионщика — и это ужасно приятно, — слава Богу, не очень хороши и даже плохи.

Российская казна (а это страшное и ненасытимое чудовище, поистине стоглавый дракон!) решительно задерживает Перетцу платежи, хотя в 1812 году гарантом того, что выплаты будут произведены полностью и своевременно, выступил самолично государь Александр Павлович.

Миллионщик — бывший! — объявил себя банкротом. Вот это счастье!

Имущество Перетца будет распродано. Оценено оно в полтора миллиона рублей, хотя он представил документов на четыре миллиона. Так что и тут казна русская облапошит честного еврейчика.

Ай да русская казна! Честь и слава тебе.

Безо всякого сомнения, банкиру за все его благодеяния и жертвы, принесённые в 1812 году, русские «воздадут» полною мерою. Ну и правильно. Впредь чтоб неповадно было чужакам помогать!

Декабря 16-го дня. Двенадцатый час ночи

Затворничество моё порядком уже надоело мне. Одно только музицирование с генералом Вязьмитиновым хоть как-то спасает меня, да ещё слушание его страшно интересных рассказов о современных петербургских происшествиях.

За последние дни одной из излюбленных тем у генерала стала фигура графа Аракчеева — кстати, недавнего кавалера моего, передарившего меня государю.

На основе вязьмитиновского рассказа можно составить целое досье, и прелюбопытнейшее.

Литератор Карамзин на балу у великой княгини Екатерины Павловны прямо в лицо хозяйке сказал: «Говорят, что у нас теперь только один вельможа — граф Аракчеев. Бог с ними и со всеми».

Ближайший к государю человек — генерал-адъютант князь Пётр Волконский — называет Аракчеева не иначе, как «проклятый змей», а ещё он выразился об графе так на приёме у Вязьмитинова: «Изверг сей губит Россию, погубит и государя».

Генерал-адъютант Закревский, в недавнем прошлом старший адъютант князя Барклая де Толли, заметил Петру Волконскому, что «Аракчеев — вреднейший человек в России».

Все эти резкие отзывы отнюдь не случайны.

Как видно, Александр Павлович сильно устал, разочаровался в преобразованиях и преобразователях.

Его Величество желает, дабы всё шло теперь по заведённому порядку, и ему нужны отныне лишь рабские исполнители. Вот и поднялся Аракчеев как главный раб, как раб рабов.

Министры потеряли всякое значение; заместо них всех к государю теперь приходит с докладом один граф.

В общем, Аракчеев вдруг немыслимо поднялся. Для России сие поистине ужасно, а по мне так происходит именно то, что надо.

Мне даже хочется быть поближе к «вреднейшему человеку в России», отхватить себе хоть малюсенький кусочек власти, да и выведать можно будет поболее.

Зачем, в конце концов, мне этот Вязьмитинов? Значение его падает и падает. Да и дурацкие оперы его, собственно, приелись уже.

А перебегу-ка я к Аракчееву! Авось примет меня. Надеюсь, он ещё не забыл мои ласки.

Приписка:

Вот тут уже налицо вся исключительная подлость натуры графини Коссаковской.

Яков де Санглен, военный советник

Ежели опять окажусь я при Аракчееве, пан Адам Чарторийский, я уверена, будет более чем доволен. Значит, буду довольна и я. Хотя, конечно, более всего я предпочла бы опять находиться под началом Бонапарта.

Бранка Такахаши

Счастливая Далия

Сегодня утром муж проснулся пораньше, вышел за газетой и цветами в подарок к моему дню рождения. Вернулся с букетом красных роз (других идей у него не бывает) и подарочным бумажным пакетом.

— Это висело на дверной ручке. Я открывать не стану, но если тебе есть в чём признаться, сейчас подходящий момент! — сказал он, ухмыляясь, и поцеловал меня в щёчку.

И говорит как всегда, и ухмыляется как всегда. Я тоже исполняю свою роль:

— Кто из многочисленных ухажёров может это быть?!

Это наш домашний театр. На самом деле он уверен, что я не способна изменить ему. Он никогда во мне не сомневался. И не ревновал — ни разу. Похоже, думает, что я не привлекаю других мужчин.

Неужели в самом деле я превратилась в непривлекательную тётку? Сегодня мне исполняется сорок пять, и я осматриваю себя внимательно. Вынимаю правую ногу из-под одеяла, поднимаю высоко, под прямым углом. Всё ещё гибкая, попрежнему подтянутая нога, не к чему придраться. Вокруг колена, правда, появилась сеточка лопнувших сосудиков, но если не воткнуться носом в ногу — не видно. По талии тоже не скажешь, что сорокапятилетняя мать двоих детей. Не зря делаю зарядку каждый день. Да и не наедалась досыта почти сорок лет. Если бы не получать удовольствие, хотя бы глядя в зеркало, это было бы чистое издевательство над собой. Волосы ещё пышные, и если вернуться к своему каштановому цвету, буду выглядеть ещё чуть-чуть моложе. Чёрный цвет, сколько ни экспериментируй с нюансами, мне не идёт. Это масть Далии. Всё-таки природа знает лучше. С каким цветом человек родился, тот цвет ему больше всего подходит. Приближаю зеркало близко к лицу, разглядываю кожу вокруг глаз. Морщин почти нет, но и блеска в глазах — увы, нет.

— Зеркальце, зеркальце на стене, кто всех красивей в нашей стране?

Зеркало молчит и отражает женщину среднего возраста, неловко улыбающуюся своему нелепому вопросу и недостатку уверенности в себе. Мой муж прав: я ему не изменю. Мужчин, в конце концов, привлекает взгляд.

Встаю, одеваюсь, получаю подарки от детей. В благодарность жарю им блины. Затем смотрю бумажный пакет. «Таинственный ухажёр» — всётаки Далия. Она сегодня открывает выставку в Германии и улетела первым утренним рейсом. По пути в аэропорт она подъехала к нашему дому и повесила подарок на дверную ручку. Не надо было читать письмеца из пакета: я же знаю, что подобная мысль может прийти в голову только Далии и только Далии не лень осуществить задуманное. Нет больше никого, способного на такой поступок. Ни одной женщины, а о мужчинах уж нечего говорить! Если бы моя лучшая подруга Далия была мужиком… у нас была бы любовь, о которой я всегда мечтала. Хотя… будь Далия мужиком, вряд ли бы она обратила внимание на женщину вроде меня. Мне же не везёт — ни наяву, ни в мечтах.

В пакетике лежали подарок и письмецо. Подарком оказалась та маленькая картина Далии, которой я так восхитилась несколько месяцев назад. И хотя, если я не ошибаюсь, она должна была стать частью этой выставки-инсталляции в Мюнхене, Далия не пожалела подарить картину мне, помня, как я подпрыгнула тогда у неё в мастерской и сказала: «Ой! Я её хочу!»

Позвольте представить: этот необычный человек с именем прекрасного цветка — Далия, моя подруга со школьной скамьи. Я тоже цветок — жасмин, но только в нашем классе, кроме меня, были ещё две Ясмины, тогда как Далия — одна-единственная на всю школу и, скорее всего, на весь Белград. Далия в девятом классе переехала из другой школы и заняла вторую половину моей парты.

— Здесь свободно? — спросила она, но мне это показалось скорее утверждением, чем вопросом, и я, как обычно, сделала отталкивающую мину.

По-моему, сначала спрашивают: «Можно ли?» — и садятся, только получив разрешение, а Далия, не дожидаясь моего «н-да», уже сидела. (Потом я узнала, что перед входом в аудиторию наш классный руководитель сказал ей, что в ряду возле окна есть одно свободное место и чтобы она там села.)

Мне, не привыкшей к общению с людьми, Далия, которая собеседнику смотрела прямо в глаза и постоянно улыбалась, казалась редким зверьком и даже инопланетянкой.

«Чё это она всё время улыбается?»—недоумевала я изо дня в день. Одноклассники были инфантильными и думали только, как бы развлечься. Одна Александра была умна и представляла мне конкурента в учёбе, но у неё явно что-то не так было с психикой, так что я не общалась ни с кем и открывала рот, только когда учителя поднимали меня отвечать. Такой мне Далия казалась чересчур болтливой. После того как я поступила в университет, а затем и начала работать, мне на каждом шагу стали попадаться люди, в десять раз более словоохотливые, чем Далия, и я поняла, что в этом смысле—она совершенно нормальная. А тогда она мне казалась и болтливой, и подозрительно весёлой. Короче—странный субъект попался, и я всем своим видом показывала, что ей не стоит переходить ту черту, которую я обозначила между нами.

Но оказалось, что Далия на эту пресловутую черту и не думает покушаться. Она, на самом деле, очень много времени проводила в своём мире и могла целыми днями не обращаться ко мне, ни на перемене, ни в течение уроков. Тогда было видно, что она в себе и что чем-то занята. Она что-то писала. Я со временем стала оттаивать и неприкрыто поглядывать через её плечо, интересуясь тем, что она делает. Она только улыбалась и просто говорила:
— Пишу стихи.

Помимо этого, она ещё и рисовала, и делала оригами. У неё были золотые руки: из любого мусора она могла сделать что-нибудь оригинальное.
— Далия, ты так многое умеешь,—сказала я ей однажды.
— Да нет, я только многим интересуюсь.
— Везёт же некоторым: сколько талантов! А я разбираюсь только в естественных науках.
— Нет, нет, это тебе везёт! Ты знаешь, куда двигаешься. Пора готовиться к вступительным экзаменам, а я всё ещё в раздумье…

«Раздумье» её выглядело довольно расслабленным. Когда я «в раздумье»—это борьба не на жизнь, а на смерть! И вообще—о Боже!—сколько энергии я потратила, злясь попусту. Когда встречаюсь с какой-нибудь неожиданностью, я взрываюсь: «Что за ахинея на этот раз?! И что будет следующее?! Что только на меня не нападёт?!» И схожу так с ума, и пытаюсь изо всех сил поменять положение вещей. Учёба мне удавалась, и тут я могла решить все проблемы, тогда как в жизни уйма дел, которые превосходят наши силы. Но я не умею проигрывать, так что иду до конца, пусть даже головой об стену. Заканчивается это, конечно, шишкой на лбу и неимоверной нервотрёпкой. Всё, что люди вокруг меня делают или говорят,—буквально всё мне действовало на нервы. Все до одного были дураками, и мне и в голову не приходило с кем-нибудь дружить. И другие тоже не пытались приблизиться к такому ежу, каким я была.

Почему Далия возилась со мной? Она совершенно комфортно проводила время в своём мире, наедине с собой. Возле неё люди могли находиться, но не обязательно. Я несколько раз собиралась было спросить, почему она, не обделённая друзьями, обращает на меня внимание, но, боясь услышать какой-нибудь иронично-двусмысленный ответ, так и не задала этого вопроса.

Шли дни, мы с Далией всё больше общались, а потом как-то естественно стали вместе возвращаться домой. Доходили до перекрёстка с цветочным магазином, говорили друг дружке «пока», и каждая уходила в свою сторону. В двенадцатом классе мы стали задерживаться у этого магазина и болтали какое-то время перед тем, как она поворачивала направо, а я налево. С приближением вступительных экзаменов мы всё дольше задерживались на перекрёстке. Целыми днями мы занимались—сначала в школе, потом дома, допоздна сидели над книгой, так что сбрасывали накопленный стресс тут, у цветочного магазина, болтая ни о чём.

Однажды, пока мы щебетали на перекрёстке, появилась мама Далии. Она увидела дочь и подошла к нам.
— Девушки, привет! О, это, наверно, Ясмина. А я—мама Далии. Кстати, у меня тоже была такая нелюбовь к французскому, как у тебя, Ясмина. Учитель был такой… с вывихом, как и ваш, впрочем. Но вы скоро заканчиваете школу—просто потерпите его ещё немного.

Я стояла с разинутым ртом: Далия школьными историями делится с мамой?!

Потом её мама добавила:
— А почему вы стоите на улице? Могли бы у нас, попивая кофеёк, наболтаться досыта. Далия, ты Ясмину приглашала?

Я запаниковала. Господи, что мне делать?! Если пойду в гости, потом я должна буду её пригласить…

Я скороговоркой сказала, что слишком задержалась, что срочно надо заняться учёбой, и раньше, чем они могли опомниться, меня и след простыл.

О том, чтобы приглашать Далию (либо кого-нибудь другого) домой, и речи быть не могло. Днём мать дома, так что не удалось бы провести гостя контрабандой—пришлось бы знакомить их. А это последнее, что я могла допустить. Она либо выпившая, либо рассказывает байки о своих любовных похождениях—в любом случае, мне было стыдно показывать её.

Далия ещё долго недоумевала, что делать, и в конце решила поступить на кафедру философии. В моём случае всё было давно решено: строительство. Однажды, когда мы с Далией стояли на «нашем» перекрёстке, она сказала:

— Мой папа — инженер-строитель и говорит, что если у тебя есть какие-нибудь вопросы, приходи и спрашивай, он тебе поможет во всём. Придёшь?

Я открыла было рот, чтобы в очередной раз уклониться, но в последнюю секунду передумала. Помогло бы поговорить с кем-нибудь опытным, а у меня в окружении нет никого, кто занимается этой профессией.

С тех пор я стала частенько бывать у Далии.

Уже пора переодеться, гости вот-вот станут подтягиваться. Выпивка — в баре наготове, канапе и пироги — на столе. Остаётся ещё взбить сливки и украсить торт. Всё в идеальном порядке! Я ведь до трёх часов ночи возилась на кухне.

Далия мне говорит каждый год:

— И почему ты это делаешь?! Кто ещё устраивает показ собственной кулинарии? Тебе не жаль того времени, которое ты могла потратить на что-нибудь другое?

— Да нет, почему?.. Раз в год мне не лень, — отвечаю я в таких случаях, но дело не в том, что «мне не лень» (ещё как лень!), а в том, что не хочу портить образ, который я годами с трудом создавала.

Образ «я всё могу, я идеальная женщина». Не только на работе преуспеваю наравне с коллегами-мужчинами, но и дом у меня всегда блестит, всегда сварено-нажарено, муж и дети постираны-отутюжены. «Ну и как?!» — бросаю я вызов миру. И когда слышу: «С ума сойти! Ты — чудо!» — я испытываю полное удовлетворение и знаю, что старалась не зря. Далия, однако, находит повод подтрунивать надо мной:

— Ну и ну! Наша миссис перфекция свечки *купила!* Неужели ты их не сама изготовила?!

Но я же стала перфекционисткой именно из-за неё. До встречи с Далией мне было всё равно, как другие меня видят. Мне было лень стараться произвести хорошее впечатление, да и смысла в этом я не находила. И вообще, сама жизнь лишена смысла — я тогда так думала.

Поначалу, когда Далия пристроилась возле меня, все наши разговоры быстро сдувались из-за моего «да не знаю, всё равно». Далия говорила о вещах, о которых мне нечего было сказать. Какой тут может быть осмысленный комментарий, если я не могу сказать ни «а, да, я тоже так думаю!», ни «по-моему, это не так». Оставалось это безжизненное «да не знаю, всё равно».

— У тебя, видимо, нет никаких пристрастий.

— А что бы я делала с какими-нибудь пристрастиями? Всё настолько бессмысленно. Если бы даже у меня какое-нибудь пристрастие и было, что бы от этого поменялось? Комментируй не комментируй — выходит одинаково. И вообще, что жить, что умереть — нет большой разницы.

— Ну и ну… А почему не совершаешь самоубийство?

У меня челюсть отвисла!

— В Бога веришь?

— Не-а.

— Тогда тем более! На том свете тебя не ждёт кара за грех самоубийства. Почему бы тогда не покончить с этим бессмысленным существованием?

— Подожди… ты это мне советуешь совершить самоубийство?!

— Боже упаси и сохрани! Если ты решишь самоубиваться, не вздумай оставлять записку: мол, Далия мне посоветовала! Я просто занимаюсь теорией, которая к активным действиям не имеет никакого отношения. Вот что я хочу сказать: когда живёт некто, кто в жизни не находит смысла, тогда многое теряет не только он, а и всё его окружение несёт урон. Да целая планета несёт урон! Чтобы его накормить и напоить, тратятся огромные природные ресурсы. Если он ходит в школу, для него печатают учебники и делают тетради. Сколько деревьев должны для этого быть загублены?! По мере того как исчезают леса, меняются качество почвы и климат. Затем — он одевается; когда его одежда становиться грязной, он её стирает, а стиральные порошки, отбеливатели и ополаскиватели — смерть для флоры и фауны рек и морей.

Что она несёт?! Эта девушка с луны свалилась… Я сидела с квадратными глазами и не могла ничего вставить. Всё, что пришло в голову, было:

— А те, что живут с ощущением смысла, планете не причиняют ущерба?

— Нет, мы все одинаково гадим. И человечество, и Земля обречены.

— Теперь ты звучишь, словно тебе всё равно!

— Некоторые вещи неизбежны. Всему приходит конец. Можешь плакать, но изменить не можешь.

— Я ведь об этом и говорю! Какой смысл в жизни, если все мы обязательно умрём?!

В тот момент вошёл учитель, и мы замолчали. Пока он заполнял классный журнал, Далия мне шепнула:

— Ты права: жизнь — бессмысленное явление. Вселенная бы ничего не потеряла, не случись здесь амёбы и всего, что из них произошло. Но если мы уж случились, то придётся пахать. И ты смысл либо найдёшь, либо сама создашь. Ведь есть так много…

Учитель приподнял бровь:

— Далия?!

На этом наш разговор завершился. А я с этого дня Далию немного боюсь, она меня отталкивает, но одновременно и притягивает, и вызывает уважение.

Как вспоминаю эти дни, мне стыдно за то, что я была такой недалёкой. Математику и физику я знала лучше любого парня и думала, будто это достаточное доказательство того, что я суперумна. Если бы мне теперь мои дети, которых я рожала в муках, сказали: «Жизнь не имеет смысла!» — я бы им без объяснений отвесила по оплеухе!

Я не могла понять, откуда у Далии такой всесторонний взгляд на вещи, откуда берётся такая глубина, тогда как я—её сверстница—такая поверхностная. Она, наверное, такой родилась, но решающее значение, скорее всего, было в воспитании. Родители с ней разговаривали обо всём. С приближением вступительных экзаменов я к Далии стала приходить чаще. В отличие от нашего дома, где из своих комнат никто не выходил, семья Далии всегда собиралась в зале. Её отец после работы возвращался прямо домой, а мама всё время так и была дома (она шутила, что, в отличие от поэта, муза поэтессы пребывает—а где иначе, если не?!—на кухне).

В доме Далии я испытала своего рода культурный шок: я впервые видела семью, которая спокойно разговаривает на самые разные темы—литература, цены, политика, мода, межличностные отношения… Поначалу я не принимала участия и чувствовала себя не очень уютно. У меня не было навыка обмена мнениями, и, по правде говоря, мои знания на все эти темы были крайне скудными. Но с каждым разом мне становилось всё интересней: первый раз в жизни ко мне относились как к взрослой и обращали внимание на мои высказывания, какими бы нескладными они ни были.

Родители Далии, оба на шестом десятке, были гораздо старше моих родителей. Они, наверное, долго наслаждались жизнью вдвоём и родили Далию только после того, как серьёзно захотели ребёнка. Она была не иначе как тщательно планированный ребёнок—это было видно из их нежного отношения к ней. В отличие от меня, рождённой по ошибке. Однажды я так и сказала Далии:

— Ты о чём говоришь-то?! У нас с тобой совершенно разные стартовые позиции! Я, с матерью-алкоголичкой, которая не упускает шанса заявить, что я не нужный ей ребёнок от не нужного ей человека,—и ты, с родителями, которые всевозможными способами показывают, что ты—осуществление их жизненной мечты. Прошу прощения, но—небо и земля!

— Много пьёт, да? М-да… тебе нелегко. Но… тебе не кажется, что ты слишком вошла в роль человека, обиженного судьбой? Неужели ты думаешь, что проблемы есть у тебя одной? Каждый человек время от времени получает по башке, заслуженно и незаслуженно. Мои родители действительно хорошо ладят между собой и заботятся обо мне, но долго желанным ребёнком была не я, а моя сестра. Я что-то типа утешительного приза.

— У тебя сестра?!

— Была… давно, ещё до меня. Её сбила машина в семь лет. Именно она была тем долгожданным ребёнком. Она родилась после многолетнего лечения от бесплодия. А после того, как её не стало, мама, которая и так не могла забеременеть естественным путём, больше и не пыталась завести ребёнка. К тому же ей было под сорок, так что она была твёрдо убеждена, что с материнством покончено. Мне мама прямо так не говорила, но я думаю, что она даже и не хотела больше детей. Я читала её стихотворения того периода: тяжёлое отчаяние, абсолютная потеря надежды. Для меня, например, это единственная ситуация, когда жизнь теряет смысл. Но в тридцать девять лет мама неожиданно забеременела, и то, что выглядело наступлением менопаузы, оказалось волосатым, на редкость уродливым ребёнком.

Я чувствовала себя так неловко, что начала заикаться:

— Извини, п-пожалуйста! Я н-не знала… Надо было мне сказать. Тогда бы я не была такой н-нетактичной…

— Во-первых, ты не спрашивала, а я не имею обычая устраивать выставку несчастья, просто так, без повода. К тому же… тебе может показаться, что я сильно умничаю, но… когда подумаешь, что тебе не везёт, ты подумай, что ты сама сделала или что ты сама не сделала, вместо того чтобы винить в этом судьбу, родителей или не знаю уж кого. Не сомневаюсь, что ты это и без меня знаешь, но люди такие вещи легко забывают, и не мешает напоминать им иногда.

— Ну, ты умная-преумная! Что ты этим хочешь сказать? То, что я родилась у таких родителей,—результат чего-то, что я сделала или, наоборот, не сделала? Это моя карма? Я, по-твоему, теперь плачу за свои плохие поступки в предыдущих жизнях?

— Да нет! Я только хочу сказать, что нет никакого толку от амплуа жертвы. Родителей не выбираешь, но как будешь жить дальше—решаешь ты сама. Теперь всё зависит от твоих усилий.

— Да что ты говоришь?! От моих усилий?

— Верно. Правда, немного везения тоже не помешает. А, да—ещё и улыбка!

— При чём тут ещё улыбка?!

— Вот, это, это! Я именно об этом! Такое выражение лица—ни-ни! Люди будут только бежать от тебя.

— Как я вижу, ты ещё не сбежала!

— А куда, скажи на милость, бежать мне, когда единственное свободное место—вот это, рядом с тобой?! Будь свободной какая-нибудь другая парта, разве ты думаешь, что я села бы возле такой мымры?

И она стала имитировать мою кислую мину, и хихикала, и ещё больше кривилась, и заходилась в хохоте, так что, в конце концов, я тоже не выдержала и рассмеялась.

Прошло немного времени, и я восприняла Далию, несмотря на то, что она умела посмеяться надо мной и смотреть на меня свысока. У неё была волшебная способность заставить понять, что она вас превосходит, и те, кто в ней это признавали, всегда могли рассчитывать на неё. Её

превосходство каким-то странным способом никогда не переходило в надменность. Не я одна была её фанаткой—таких было много. Бывало, правда, что в компании попадались и те, которые к ней не относились с «ох!» и «ах!», но и с ними Далия вела себя совершенно нормально. Не было тех отчаянных усилий очаровать всех без исключения, какие встречаются у людей, кои не могут жить, если не получают расположение публики. У Далии не было ничего, ни во взгляде, ни в жестах, что указывало бы на старание привлечь внимание. Я в таких случаях из кожи вон лезу! Мне не нравится, когда ведут себя очевидно отрицательно, но те, что «ни рыба ни мясо», действуют мне на нервы ещё больше, так что я обязательно стараюсь завоевать их симпатию. Не потому, что мне эти люди важны—для меня они только галочки, которые я себе ставлю; по-настоящему меня интересует признание одной только Далии. С годами, с мудростью, которую приносит возраст, я поняла, почему Далия никогда никого не «окучивала»: она знала себе цену. И не нуждалась в том, чтобы другие ей эту цену устанавливали. Она сама лучше знает, кто она и что она. Не рынок определяет её ценность—её ценность безусловна. Всегда та же индивидуальность, несмотря на окружение. Она, конечно, не была аутистичной, чтобы встречи с другими людьми в ней не оставляли никакого следа, но она ещё в том юном возрасте была совершенно сформированное создание, которое никакие обстоятельства не могли пошатнуть.

Я одной Далии позволила такое большое приближение, тогда как она сама всегда была окружена большим количеством близких друзей. Что не странно—она людей воспринимала такими, какие они есть. Никогда не сплетничала. Не радовалась чужим неуспехам. Она настолько отличалась от всех мне знакомых людей, что я поначалу была уверена, что она скрывает своё настоящее лицо. «Да она притворяется!»—говорили девки из класса. По правде скажу, я несколько лет ждала, когда она проколется. Но каким бы хорошим актёром кто-то ни был, играть роль без ошибки почти тридцать лет—не получится! Спустя некоторое время я поняла, что у Далии просто-напросто нет мелких человеческих изъянов, которые есть у обыкновенных смертных. Однажды я не выдержала и спросила:

— Есть ли кто-нибудь, кому ты завидуешь?

— Нет...—сказала она и ещё немного подумала.— Нет, никому не завидую.

— Ничего себе! Ты—святая!

— Святая!—смеялась Далия.—Я не святая, я просто зациклена на себе.

— То есть?

— То есть, по большому счёту, меня другие люди не интересуют... настолько, чтобы сравнивать себя с ними. Всё своё внимание я направляю на себя. Редкий случай эгоизма!

На секунду я испугалась, что она скажет: «А ты?»—но она сменила тему. То ли оттого, что в самом деле слабо интересуется другими людьми, то ли оттого, что мой возможный ответ был очевиден,—не знаю.

Мы с Далией познакомились, и следующие несколько лет я её «штудировала». Я никогда ни с кем не дружила, так что о людях знала я мало. Учитывая это, Далия тем более представляла загадку для меня. Когда я познакомилась с её семьёй и людьми, которые обычно её окружали, немного прояснилось, отчего она такая зрелая для своего возраста. Родители всегда обращались с ней как со взрослой. Затем, их дом был чем-то вроде салона: у них всегда собирались поэты и разные другие творческие люди. Талант, с которым она родилась, развивался в подходящей среде. Когда мы с ней познакомились, она мне казалась инопланетянкой! Далия обладала спокойствием и философским взглядом, а это всё-таки нехарактерно для шестнадцатилетней девушки. Я тогда себе говорила: Далия либо инопланетянка, либо фальсифицировала год рождения. Ей как минимум тридцать пять! А хорошо выглядит для своего возраста!

Нет, это, конечно, шутка, всерьёз я так не думала. Но я её—серьёзно—не понимала. А потом, под влиянием Далии и её мамы, я начала читать поэзию и была просто помешана на Цветаевой. Я читала и её стихотворения и письма, и всё, что другие о ней написали. Когда я узнала про её дочь Ариадну, мне, помню, что-то сжало грудь, потом отпустило и наполнило восторгом. Я подумала: «Ещё одна Далия!» Ариадна в три года читала и писала, а в шесть сочиняла так, что трудно было поверить, что автор—ребёнок. Значит, существуют! Каждые несколько десятилетий, каждые несколько тысяч километров рождается по одному такому исключительному таланту. Когда я это поняла, Далия не перестала быть такой уникальной, какой я её видела раньше. Наоборот: то, что казалось невероятным, теперь выглядело вполне убедительным и, как что-то реальное, осязаемое, стало ещё более привлекательно. Я начала Далию больше понимать, но какая-то часть её по-прежнему оставалась загадкой.

И остаётся по сей день.

Как всегда, первой приходит моя мама. Она легко касается моей щеки и говорит:

— С днём рождения! Но я думаю, что поздравлять надо меня: ведь в тот день старалась всё-таки я!

Это текст, который она повторяет последние сорок лет. Пока это говорит, она шарит глазами по бару со спиртными напитками. Мои коллеги с работы и крёстные детей—все хорошо знают мою маму. Она всегда выбирает человека, который выглядит лучше всех (мужчину, женщину—без разницы), и подходит для того, чтобы

якобы выпить вместе за здоровье именинницы. Затем начинает тихо, по секрету, рассказывать. О мужчинах в её жизни. Все они — само собой разумеется! — были без ума от неё. И все без исключения были красавцами. И боролись за её расположение. А женатые ради неё бросали жён и детей. Мне стыдно, но наши гости уже привыкли и умеют с ней обходиться. Когда один устанет кивать, второй займёт его место и какое-то время делает вид, будто внимательно слушает. А около девяти часов приходит отец и выполняет две обязанности: поздравить дочь с днём рождения и забрать домой жену, сонную, с заплетающимся языком. Мой папа — незаметный, тихий человек, который из-за мамы никого не вызывал на дуэль.

Тем временем Далия открыла выставку в Германии. Галерея сейчас уже закрыта, а Далия, скорее всего, ужинает с организаторами. Brava, brava!

Но всё-таки хорошо, что она не смогла прийти на мой день рождения.

Когда я нахожусь в одном пространстве с Далией, я выгляжу словно половая тряпка. Ничего собой не представляю. Когда мы с Далией вдвоём, это не настолько замечается. Я сосредотачиваюсь на теме разговора и иногда даже забываю, с кем разговариваю. В центре внимания — тема. Но когда нас окружают другие люди, центром внимания обязательно становится Далия! Все хотят услышать её мнение. А если говорит кто-то другой, то обращается к ней одной. Некоторые с начала до конца не отводят глаз с её лица, другие время от времени, на короткое мгновение, посмотрят и на остальных присутствующих, чтобы сразу вновь вернуться к её глазам. Меня не восхищает роль невидимки, но не могу не признаться, что в наблюдении подобного спектакля испытываю и определённое удовольствие. Этот взгляд, полный неловкости, сопровождает тень, которая на миг спускается на лицо беседующего. Могу биться об заклад, что он себе говорит: «Нельзя! Нехорошо по отношению к другим!» И хотя старается быть одинаково вежливым со всеми, он опять теряется в глазах Далии. Она, как и обычно, не делает ничего, чтобы завоевать этого — либо какого-нибудь другого — человека. Не стараясь привлечь внимание, она привлекает внимание всех собравшихся. Всегда и везде. Я, наоборот, если не приложу усилий, остаюсь совершенно незамеченной. Несколько раз мне говорили:

— А вот на днях мы собрались у друзей, и я говорю Далии…

— Знаю, я там была.

— Да? Действительно?

Я что — пустое место?! Дело ведь не в том, нравлюсь я мужчинам или нет. Всё значительно глубже, то, о чём я говорю затрагивает саму суть человека!

Конечно, нравится ли человек противоположному полу, в жизни также играет немаловажную роль. Кто говорит: «Мне наплевать!» — врёт, как сивый мерин! В молодости это чуть ли не важнее всего остального. Важнее, чем оценки, важнее, чем отношения с родителями. Если тебя заметил тот, кто тебе нравится, — о-о-о, ты на седьмом небе от счастья!

Потом меняются приоритеты, более важными становятся карьера, место в обществе и многое другое. Перестаёт быть концом света, если не все влюбляются в тебя с первого взгляда и вусмерть. Оно… приятно, если в тебя влюбляются с первого взгляда и вусмерть, но по сравнению с подростковой порой это перестаёт иметь такое значение. Те, кто не привлекает внимания яркой внешностью, бывают признаны и желаемы благодаря интеллекту. Про меня, например, не скажешь, что непривлекательна: ухажёры как были, так и по сей день замечаю на себе однозначные мужские взгляды. Под конец школы и в университете я была очень закомплексована, поэтому училась больше всех и закончила с красным дипломом — одна я в нашей группе. Потом я начала работать — и работала опять прилежнее всех! Если меня обгоняли в знаниях, мне было обидно, я завидовала и корпела над книгой круглые сутки, потому что терпеть не могу, когда кто-то лучше меня. И подолгу в чьей-то тени я не оставалась!

Но то, что я чувствую по отношению к Далии, — это другого сорта. То, что она получила с рождением, нельзя превзойти круглосуточной учёбой. Люди это либо имеют, либо не имеют. Далия имеет. Я не имею. Конец истории. Большинство людей этого не имеют, и для них на этом история заканчивается. На нет и суда нет! Но я, к несчастью, из тех, которые не мирятся с поражением. А, к ещё большему несчастью, единственный человек, который у меня вызывает не проходящий комплекс неполноценности, — это именно моя ближайшая подруга. Встаёт вопрос: как можно дружить с человеком почти тридцать лет и таить такое уродливое чувство? А ответ непростой.

Далия всегда очень много делала для меня. Пока я была гадким утёнком, она изо всех сил старалась убедить меня в том, что я выгляжу хорошо.

— Дэвушка, у вас зэркало есть? Нет, ты посмотри на себя! Я ещё не видала таких волос! Посмотри, какие они пышные! Вот моя коса — едва половина твоей! Можешь рекламировать шампунь. А заодно и пасту для зубов. И уж точно колготки! Посмотри на манекенщиц: даже в телике не выгуливают такие ножки, какие у тебя! Я дохну от зависти! Если бы у меня были такие ноги, я бы не носила ничего, кроме мини-юбок. Ни за что в жизни не ходила бы в брюках.

В пубертате меня замучили прыщики. Мне никто из мальчиков не нравился, так что проблема была не в том, что некрасиво смотрится (никто

на меня и не смотрел), но они иногда так страшно вспыхивали, что лицо у меня прямо болело. Мать всегда только, проходя мимо меня, брезгливо подбросит:

— Господи, какой кошмар! Ты опять объелась шоколада!

Не стоит подчёркивать, что мать в тот период я избегала ещё больше. А благодаря маме Далии проблему с кожей я решила относительно быстро: она меня отвела к своей подруге-дерматологу, и после нескольких процедур и обучения, как правильно ухаживать за кожей, лицо у меня изменилось до неузнаваемости. С тех пор следую простым правилам и покупаю косметику в аптеке, где её готовят специально для меня. Дёшево, эффективно, и никакой погони за «ланкомами» и «лореалями».

Мне все женщины завидуют. И та же Далия сколько раз вздыхала:

— Боже, какая кожа! Мне бы такую…

И всё же *я* завидую *ей*. Помимо прочего — тому спокойствию, с которым она признаётся другой женщине, что у той что-то лучше, чем у неё. Я этого просто не могу произнести! Но, несмотря на то, что мои ноги длиннее и что мои волосы пышнее, мужчины всегда теряли голову не от меня, а от неё.

То лето не забуду никогда. После вступительных экзаменов мы с Далией провели две недели на море, в Черногории. Однажды Далия осталась в гостинице, а я на пляже познакомилась с двумя симпатичными студентами. Было очевидно, что им нравятся моя фигура и моё малюсенькое бикини, но они вели себя по-джентльменски, и в том, что у них сверкают глаза, когда они смотрят на меня, я не находила ничего оскорбительного. Узнав, что я приехала с подругой, они сказали, что вечером собираются в джазовый бар, и пригласили нас присоединиться. Несколько часов плавания и загорания в их компании прошли в очень приятной атмосфере (к тому же один из них был как раз моего типа!), так что вечером мы с Далией отправились в тот бар.

Мы ещё и не подошли к их столику, когда я уже начала жалеть о том, что мы пришли. Как только они увидели Далию, они больше не сводили с неё глаз. А мы же ещё и не уселись! Нельзя было тут же сказать: «Ну, давайте, пока!» — развернуться и уйти, так что я еле отсидела час, стараясь скрыть злость и отчаяние. Хотя и не было надобности что-либо скрывать: эти два не замечали битву, которая происходила во мне. Словно меня нет, они изо всех сил пытались привлечь внимание Далии. Будто она — Солнце, а они — подсолнухи, парни напряжённо следили за каждым её движением, за каждой переменой на её лице. То, что я чувствую себя крайне неловко, заметила одна Далия. Она ещё вначале упомянула своего молодого человека, который остался в Белграде, посылая таким образом сигнал, что им нечего ожидать. Но они продолжали глазеть на неё, как заколдованные. Они походили на цирковых пуделей, которые по команде женщины в сверкающем платье подпрыгивают на задних лапках. С той разницей, что на Далии не было платья в блёстках — у неё сверкали эти её угольно-чёрные глаза. И не каким-то особым соблазнительным блеском. Я знаю её почти тридцать лет и могу сказать, что ещё не встречала женщины, которая флиртует меньше её! И этих двух студентов на черногорском берегу она и не гипнотизировала, и не прельщала, как сделало бы большинство женщин. Она была просто Далией — одинаковой со всеми, всегда. И всё же, сколько бы я ни покачивала своими длинными ногами и ни взмахивала пышными волосами, созданными для рекламы шампуня, эти два парня до конца вечера так и не обратили внимания на меня.

До гостиничного номера мы с Далией возвращались в гнетущем молчании. Так, наверное, чувствовал себя Наполеон после поражения в битве при Ватерлоо. Загибаю? Нет, не загибаю — у него должно было быть такое же отчаяние, от которого я задыхалась. Мне в этот день был выставлен вердикт, что я непривлекательна. И Далия это понимала. Она было начала разговор о музыке в том клубе, но, увидев, с какой неохотой я откликаюсь, не настаивала на беседе, и до конца вечера мы не проронили больше ни слова.

Не то чтобы я в тот день испытала поражение первый раз в жизни. Горького опыта у меня — на экспорт в страны третьего мира! Выглядит нелепо, что я так реагировала, но за девятнадцать лет жизни, до того дня, мои поражения были, в основном, от недостаточной учёбы. Стоило мне серьёзно позаниматься, и со мной никто не выдерживал сравнения! Если я приносила плохую оценку, я знала, как её исправить: сяду и занимаюсь. Были проблемы с родителями, и иногда становилось очень тяжело, но я всегда осознавала, что это, по сути, не имеет ко мне никакого отношения. Мама выпьет, начнёт задевать папу, вспыхнет ссора, но я знаю, что это не моя проблема. Да, мне грустно, мне обидно, но ссора родителей не перечёркивает моё существо. А потом я встретила этих двух молодых людей на морском берегу и была уверена в своём женском очаровании, но стоило появиться Далии, и они забыли, что я вообще существую. Мне было бы легче, если бы я могла сказать: «Она их увела у меня», — но она не сделала ровным счётом ничего. Просто в этот день я получила сертификат, который показывает: на рынке самок эта данная самка — я — не имеет никакой ценности.

У этой истории есть и продолжение: на следующее утро я опять встретила двоих любителей джаза. Далия сказала, что ей неохота купаться, и осталась в номере. Я предполагаю, что ей не хотелось их видеть, но я не могла это у неё уточнить.

О событии предыдущего вечера ни она, ни я не упомянули ни разу — по сей день.

Парни были явно не выспавшимися. Они не скрыли разочарования, услышав, что Далия не придёт. А потом «мой тип» начал причитать, как деревенская баба:

— А-а-а… я всю ночь глаз не сомкнул! Всё из-за твоей прекрасной подруги. Когда я увидел её вчера в баре, меня словно гром ударил. Какие глаза! Такой загадочной красотки я доселе не видал!

И так без конца и края о том, как он влюбился в Далию с первого взгляда. Словно я у него старый друган или сестра, что ли…

Такое у меня случилось впервые в жизни, вот почему меня это так задело. Было потом ещё несколько раз, но я уже была готова. Я ведь знала: если рядом Далия, я буду в её тени. Из всех мужчин, которые мне нравились, у одного моего мужа не текли слюнки при виде Далии — наверное, поэтому я за него и вышла замуж. Помню, мы познакомились, и он мне как-то сказал:

— Ты знаешь, Далия на редкость красивая, но в ней есть что-то такое, что не позволяет приблизиться. А ты мне нравишься, потому что нормальная, с тобой всё понятно.

Я не знала, как реагировать. Это, скорее всего, был комплимент, и я только прошептала:

— Спасибо.

Но мне же хотелось быть «фам фаталь»! Хотелось услышать: «Из-за тебя я потерял сон, из-за тебя у меня кусок в горло не лезет!» Да, смешно! Когда я вспоминаю эти годы, мне смешно, но тогда это были такие муки!

А потом я начала работать, у меня появилась семья, и то, что не все из-за меня теряют голову, не мешало жить счастливо. «Счастливо» — в том значении, в каком счастье понимает большинство людей: бывает, с мужем иногда ссоримся, бывает, дети иногда доводят до белого каления, волнуюсь за родителей, но… как бы это объяснить? Если бы меня спросили: «Ты счастлива?» — уж точно не сказала бы: «Нет, я несчастна». Всё, что касается важных вещей, более-менее у меня в порядке, и даже более — мне часто люди говорят: «Как я тебе завидую!» — но…

…Но они не знают настоящей зависти! Тот, кого мучает чёрная зависть, не умеет о ней говорить с лёгкостью. Если бы даже и захотел озвучить её, большой каменный ком застревает у него в горле. Мы с Далией часто друг дружке говорим: «Хорошо тебе!» — но это всегда имеет отношение не к таким важным вещам. «Как я тебе завидую! Если бы я надела блузку такого цвета, лицо бы у меня выглядело как несозревший лимон!» Или: «Молодец! Я не знаю, что сказала бы в подобной ситуации», — говорит она мне, а я никакой особой гордости не испытываю. Это всё мелочь, это всё ерунда. Зависть по отношению к целому чувствую я одна. Дело ведь не в «ох, как бы мне хотелось иметь глаза Далии», или «мне бы художественный талант Далии», или «если бы я могла быть такой спокойной, как Далия». Нет! Я не хочу украшений, я хочу суть, то, что Далию делает Далией. Иными словами, я бы хотела быть Далией.

Боже мой, это напоминает героя того романа! «Парфюмера»! Человека, у которого не было своего запаха, и он делал парфюмы из своих жертв.

Господи! Откуда берутся такие сумасшедшие мысли? Нет у меня желания убивать Далию из-за того неуловимого чего-то, которого у меня нет. Это правда, что пока она жива, будет кому напоминать мне о моём несовершенстве. Хотя… если бы её не стало, ничего бы не изменилось. Как раз наоборот: если бы она умерла, это была бы её абсолютная победа! Вряд ли появится кто-нибудь, кто затмит её, вот и осталась бы она такой непревзойдённой в вечности. Как памятник. Как легенда. Почему некоторым даётся всё, а другим ничего?

Боже, какая я мразь! Откуда у меня такие уродливые идеи? Лучше бы взяться за уборку. Благодаря посудомоечной машине, остаётся только помыть унитаз и принять душ: в постели буду уже около двух.

День рождения удался — в общем, как я и ожидала.

— Тебе сорок пять не дашь!

— Твои канапе были бы хитом даже на приёме у президента!

— Ты сама шила это платье?! Ну ты даёшь!

Но без разговоров о Далии не могли обойтись.

— Что, Далия не придёт? У неё выставка в Германии? Ух ты!

— Что есть, то есть! Я была на её предыдущей выставке здесь, в Белграде. Был и тот критик — помните его? Тот, что восемь лет назад о её первой персоналке написал ту гадкую критику. А теперь он ест из её рук!

— Я его видел по телевизору. Это тот, что передал Далии букет, целовал ей руку и всё время умилялся? Да? Я так и думал. А кстати, милые дамы — как вам хорошо: если вы красивые, вам открываются все двери. Мы, мужики, на эту карту ставить не можем.

— Что ты этим хочешь сказать? Картины Далии продаются не потому, что автор — красавица! Мир искусства жесток: если у тебя нет таланта, никакая красота не поможет.

— Нет, нет, я не говорю, что Далия не одарена! Но, знаешь, думаю, то, что она и красива, и талантлива, наверняка вызывает зависть. Особенно у женщин!

И всё в таком стиле. Мой день рождения превратился в моноспектакль, исполнительница которого даже не присутствует! Хотя я уже привыкла. Так же, как моя дочь моложе меня и нет ничего, что могло бы это изменить, так и Далия интереснее меня и нет ничего, что я могла бы сделать и из-за

чего ей хотелось бы быть Ясминой. На что ни посмотри, нет ничего такого, из-за чего Далия пожелала бы поменяться со мной жизнями, будь такая возможность.

Возьмём для начала работу. Я—инженер, а она—художница. Спросите у десяти человек: может, не все, но большинство выбрало бы искусство. Или философию. Быть учителем философии, кем Далия работала до того, как выбрала искусство, привлекательней, чем строительство. Да, действительно, я уже и забыла, что она работала в школе и сдавала экзамен за экзаменом в институте искусств! Правда, семья ей всячески способствовала, родители помогали с ребёнком, но когда она бросила стабильную работу и выбрала путь свободного художника, который человеку даже кусок хлеба не гарантирует, я так завидовала её решительности и мужеству! На такое способен человек, который либо безответственен, либо неимоверно в себе уверен. Когда я писала стихи, я об этом не могла даже сказать кому-либо, кроме Далии, а о том, чтобы бросить строительство и посвятить себя литературе, нечего и говорить!

Да… стихи… Бросает в жар от стыда каждый раз, когда вспоминаю то время.

Под влиянием Далии и её мамы я стала сочинять стишки. Я читала их стихотворения и думала: «Я тоже так могу!» Какое заблуждение! Если бы это было так легко, на свете были бы как минимум три миллиарда поэтов. Когда Далия на перемене или во время урока сочиняла стихотворения, у меня вспыхивало сильное желание писать самой. Поступив в университет, мы стали реже видеться, но при каждой встрече я себе говорила: «Как долго я ничего не писала!»—и решала срочно сесть и написать новое стихотворение. Боже, какой дурой я была! Я не знала, что стихи пишутся не решением, а рождением. Далия родилась с этим талантом. Но у неё была одарённость так же и к живописи, а ещё она изучала философию, и всё это вместе взятое мне, со склонностью лишь к точным наукам, казалось несправедливым. То, что и я пишу стихи, мне—по моему мнению—давало право критиковать её поэзию. «Неплохо»,—или: «Я читала новые стихи того мэтра и могу сказать тебе: ничего особенного—твои любительские стихи гораздо лучше»,—высказывала я своё строгое мнение, напялив мину признанного авторитета.

Она, с другой стороны, в моих стихах всегда находила что похвалить. А я не умею хвалить. Даже когда я восторгалась её стихотворением, я говорила, что оно хорошее, но обязательно добавляла: «Для любителя». Когда она интересовалась, написала ли я что-нибудь новое, я отвечала: «Да написала чушь какую-то, нельзя людям показывать, ещё править и править надо». Лоб у меня морщился, взгляд направлялся вдаль, словно пытаюсь с одной мне видимой матрицы вычитать божественные стихи, доступные лишь великим мастерам. Но великий мастер оставался недовольным, потому что его ничего не устраивало. И он признавал, что у Далии стихотворения неплохие—хотя и любительские. И это длилось до дня, когда я попросила её показать мне свои новые стихи. Это были пять очень красивых стихотворений, о которых я сказала, что они «ок», рекомендовала ей «это убрать, а здесь добавить одно-два слова, ради размера». Тогда впервые она мне сказала:

— Да? Редактор не считал, что надо что-либо поменять. Они напечатаны в предыдущем номере. Но если ты так думаешь…

Глаза у неё шкодливо искрились, а губы еле сдерживали улыбку. Она смеялась надо мной!

В одно мгновение у нас поменялись позиции, и я грохнулась с высоты, на которую так нагло забралась. Журнал, отнюдь небезызвестный в наших литературных кругах, печатал стихи Далии уже несколько лет!

— Почему это я никогда не видела твоего имени?

— Пишу под псевдонимом, конечно. И имя, и фамилия у меня на слуху, и все бы сразу поняли, чья я дочь, а мне не хотелось печататься по блату. Должны быть оценены мои стихи, а не родственные связи.

Ситуация требовала удивлённого восхищения, и я ради приличия сказала:

— Ух ты!

Но—чего греха таить?—я не могла обрадоваться её успеху от всего сердца. С тех пор не пишу стихов.

Далия так и не закончила институт искусств. Она себя называет «недоученный художник». Потому что у неё нет диплома. Но лёгкость, с которой она это говорит, и искорки в глазах говорят другое. Она так выглядит, когда говорит: «Мне эта длина юбки не идёт». Подумаешь! Сказать, что ей идёт—не идёт, сказать, что закончила—не закончила, но это всё—украшения, стразы. К сути не имеют никакого отношения. Далию заметили уже на третьем курсе, и она начала показывать—и продавать—свои работы на коллективных выставках, рядом с именитыми художниками. Диплом—кусок бумаги, который о таланте ничего не говорит. Я это понимаю головой, но в своей жизни я всегда настаивала на форме, так что не могу не завидовать людям, у которых хватает мужества обращать внимание в первую очередь на содержание.

А что касается выбора мужа—вот тут Далии везло как никому! Этот мой вроде бы тоже неплохой… но по сравнению с Профессором!.. И с Николой тоже. Встреча с Николой была просто джек-пот!

Закончив университет, Далия несколько лет проработала учителем философии в одной школе. Однажды она в городе случайно встретила профессора из её универа. Того—известного красавца,

в которого все студентки были влюблены. А Профессор был не из тех, кто ухлёстывает за своими подопечными. Впрочем, бывшая студентка — это что-то другое, и Профессор пригласил Далию в кафе, а несколько месяцев спустя они сыграли свадьбу.

Профессор был самым подходящим для Далии человеком. Их брак был очень счастливым — она прямо светилась. А когда у них родилась дочка — казалось, вот оно, то неземное счастье, для которого Далия создана. Но Профессор внезапно умирает.

Это был шок для всех, кто их знал! Он был на двадцать лет старше Далии, но разве это возраст для смерти?! Он казался таким здоровым и полным энергии! И вот — не стало человека, в один миг…

Впервые мне было жаль Далию. Я ей завидовала, но не было у меня ненависти к ней, я не желала ей несчастья. Мне было бы достаточно видеть её иногда неуверенной в себе или испытывающей какие-то неудачи, которые бывают у всех, — мне хотелось, чтобы она хотя бы иногда сходила с той высоты, на которую я не могу подняться. Я всё-таки не последняя дрянь, чтобы желать ей смерти близкого человека.

Родители Далии были уже достаточно пожилыми и больными людьми, так что похороны организовали мы с друзьями. Я старалась побольше быть с Далией и с малышкой. Казалось, что Далия тронулась умом: пока я ругала не то Бога, не то судьбу за такую несправедливость, она только молчала. Она даже не плакала. Было похоже, что весь этот переполох она понимает не больше трёхлетней Милияны. Я серьёзно испугалась за её психическое здоровье.

Она не плакала, но было очевидно, что потеря мужа выбила почву у неё из-под ног. И это понятно: они ведь были действительно дивной парой. А она не плакала, и боль росла и росла, и Далия день изо дня становилась всё бледнее и бледнее. Но она не была бы Далией, если бы не вызывала ревность, даже попав в такую беду! В чёрном, высохшая, как веточка, на бледном исхудавшем лице эти её чёрные глаза стали ещё крупнее и чернее, — прости меня, Господи, она была умопомрачительно красива. Олицетворение героини античной трагедии. Не было мужчины, которому не хотелось защитить её! Завидовать вдове — какой нонсенс! Если бы меня спросили: «Хочешь поменяться?» — я сказала бы: «Нет, спасибо!» — мне такой опыт не нужен. Но мне бы хотелось быть Далией — с достоинством принимать жизнь такой, какая она есть, не жаловаться, не беситься.

Далии действительно было тяжело после смерти Профессора, но её не ждала обычная судьба вдовы с маленьким ребёнком. Всё-таки она родилась под счастливой звездой!

По обычаю, Далия ходила в трауре весь год. Она вела тихую жизнь: ребёнок да работа. Правда, даже после того, как она сняла чёрную одежду, она продолжила жить уединённо. Посвятив себя дочке и работе в школе, она редко виделась с кем-нибудь, кроме родителей. Именно в тот период она начала интенсивно писать картины. Но у Далии нет хобби — она всё доводит до профессионализма. Она поступила в институт искусств, и ещё до окончания о ней заговорили. Кажется, Милияна пошла в первый класс, когда Далия бросила работу в школе и посвятила себя живописи. Мила была развитым не по годам ребёнком и полностью поддерживала мать. Доходы Далии были нестабильны, и иногда им приходилось жить довольно скромно, но я никогда не видела, чтобы Милияна требовала купить ей что-нибудь. Когда я в их компании, я понимаю, насколько мои дети избалованы.

Два года Далия занималась только картинами, а потом начала работать ассистентом художника-постановщика в Национальном театре. Она занималась искусством, получала небольшую, но стабильную зарплату и выглядела совершенно довольной. Стала выходить в свет — не так часто, но заметно. Большую часть дней она проводила в своём мире, и каждый раз, когда мы встречались, я понимала, что такой образ жизни ей идеально подходит. Она всегда была очевидно рада встретиться со мной, но не пыталась видеться чаще. Мне, как всегда, чего-то не хватало, а у неё глаза блестели, и выглядела она всё красивее и красивее.

Наверное, потому что была влюблена. На этот раз в красавца значительно моложе её — в популярного актёра Николу Панича. Вот уже десять лет как они женаты — и всё так же красивы и влюблены. Они прекрасно ладят между собой, Никола с Милияной тоже в замечательных отношениях; да что тут и говорить — все им завидуют. Ну вот действительно: одна женщина еле находит одного мужчину, чтобы с ним нормально жить и создать семью. Ищет, ищет, выбирает, и всё равно: как начнут жить под одной крышей — понимает, что не согласна на это, не воспринимает то, и потом либо расстаются, либо она закрывает глаза на некоторые вещи, лишь бы как-то вместе функционировать. Обычно так. А Далии повстречались двое мужчин! Она в одной жизни встретила двоих мужчин, которые её любят — да нет, они её боготворят!

А я говорю: «Далия никогда не жалуется!» На что, о Господи, жаловаться человеку, которому так везёт в жизни?! У неё есть любимая работа; её окружают люди, которые ею восхищаются; замужем за человеком, который её обожает. Милияна — красивая умная девушка, уже взрослая и не требует внимания матери (да и в детстве-то не требовала). Куда бы ни ходила с Милияной, Далия гордо знакомит со всеми свою дочь (смогу ли я когда-нибудь так?!).

Она, правда, в последнее время опять похудела и побледнела. Родители уже совсем старые

и немощные, Далия каждый день ходит к ним. И слышит ли кто-нибудь, что она жалуется?! Упаси Господь! А Милияна волнуется за маму и даже предложила ей поехать на недельку-другую в санаторий или на море: мол, пусть мама отдохнёт, начитается, а она будет заботиться о бабушке с дедушкой. Такой внимательный ребёнок! А меня хоть бы спросили: «Мама, ты устала?»

Да что и говорить — Далия родилась под счастливой звездой…

…думает Ясмина, пока её укачивают первые волны сна. Спокойной ночи, труженица!

А в подножье Альп Далия в гостиничном номере лежит и часами смотрит в потолок. Через два дня она возвращается в Белград.

Не хочет возвращаться.

Не хочет вообще никуда ехать.

Не хочет быть.

Ясмина, конечно, не знает.

Далия тоже не знает. Но чувствует. Безошибочно. И потому каждый день домой возвращается, влача ноги, словно они в кандалах.

Знаю только я — да эти двое.

Я видела на днях.

Никола подошёл к окну и нервно крикнул:

— Милияна, мама у подъезда! Срочно накинь что-нибудь!

— Да-а-а? А ты поищи хотя бы фиговый лист… тебе-то срочно надо прикрыться! — сказала, мурлыча, Милияна через голое плечо и пошла в ванную, вызывающе покачивая бёдрами.

ДиН юбилей

Юрий Беликов

Всё нормально — там «День и ночь»!

Мне чудится, «Дню и ночи» должны быть признательны все: восходы и закаты, жаворонки и совы, орлы и куропатки (далее — по списку!), — в общем, оба-два плеча нашей державы — от Балтики до Тихого. Уж не знаю, кто изрёк первым — Виктор ли Петрович, Роман ли Харисович, или Марина Олеговна не перечила, но в этом есть что-то библейское, первосотворённое: отделив Тьму от Света, Господь не отделил день от ночи.

И с той поры, вот уже два десятка лет, рождённый в Красноярске журнал, так и зовущийся — «День и ночь», стал творением не отделяющим, но скрепляющим, единящим.

Вы припомните, сколько их, разделяющих да властвующих?! К одним — ходи, к другим — не ходи. А как же Божий дар? Он не может и не должен умещаться. Он всегда — между днём и ночью. Даже если ты Иван Жданов и обмолвился: «Мы — верные граждане ночи, достойные выключить ток…» Кто бы спорил. Конечно, «достойные». Но ведь не «выключающие»? Или, напротив, когда Алексей Решетов (кстати, печатавшийся в серии «Поэты свинцового века» при свете и под покровом «Дня и ночи») пишет: «Пальто и шапочку надень — пойдём встречать обманный день…» — он ведь не пытается вместе с нами усомниться в чуде дня, потому что хочет уверовать в день чуда.

Так, не исключая полярного и опираясь на сердцевинно-срединное, «День и ночь» за двадцать лет служения чуду (а служить можно только высшему!), в отличие от тех, кто, может быть, распадался только на «День» или только на «Ночь», не отверг ни «граждан ночи», ни жаждущих встречи того самого «обманного дня». Ибо все — из одного детсада. Если продолжить Решетова, этот «детсад» обретёт вполне реальные очертания: «Обманем сильно сдавший сад, что он — как много лет назад».

Журнал «День и ночь» двадцать лет денно и нощно служил и продолжает служить «сильно сдавшему саду» отечественной словесности, желая видеть его таковым, каковым он был «много лет назад». Наверное, не за всем углядели садовники; возможно, ежегодный урожай сада мог бы быть иным — более плодоносным и щедрым; возможно, какие-то деревца и кустарники задушил вьюнок; но если это «Перевёрнутый сад», как в одноимённом стихотворении Новеллы Матвеевой, то и садовники порой чувствовали себя точно космонавты в состоянии невесомости. Когда человечество начнёт заселять другие планеты, возвращающиеся на Землю его разведчики, рассказывая об увиденном, будут произносить как сам по себе родившийся пароль: «Всё нормально — там „День и ночь“!»

Юрий Беликов,

поэт, член редколлегии «Дня и ночи», член Русского ПЕН-центра, обладатель Гран-при «Махатма российских поэтов», член Высшего творческого совета Союза писателей XXI века и прочая-прочая

Рон Палин

Карлица

В переводе с арабского Абдулла означает «раб Бога» и ничего больше. Трёхстопный анапест этого имени возносится на звонком прыжке первых двух букв алфавита, заканчивается двойным твёрдым «л» и всё ещё высоким «а», но строгая звуковая гармония не выдерживает взятой высоты и разрушается неблагозвучным средним слогом.

Абдулла—это имя тёмно-русого приземистого чеченца, родившегося в городе Грозный, в одной стране, в одночасье переставшей существовать, успевшего пожить на пространстве, не принадлежащем ни одной стране, пережившего две войны (активно не воюя) и уехавшего жить в маленькую страну в центре Западной Европы.

Отец Абдуллы был профессором грозненского института нефти и газа. Он относился со скрытым здоровым скептицизмом к исчезнувшему на его глазах в 1990 году развитому социализму и умер от обширного инфаркта, внезапно настигшего его в феврале 1998 года, где-то посередине временного промежутка между двумя чеченскими войнами. Кроме Абдуллы, у него было ещё одиннадцать дочерей от трёх быстро состарившихся жён. Из трёх его заветов, часто повторяемых единственному сыну: выучиться на горного инженера, жениться на здоровой чеченке и продолжить свой род,—Абдулла до своего отъезда за границу смог выполнить только один. Ещё при жизни отца, в советское время, он получил диплом горного инженера. В свои тридцать восемь лет Абдулла был женат уже в третий раз. Два первых брака Абдуллы оказались бездетными. Его третья жена, двадцатидвухлетняя красавица Мадина, с большими глазами, до краёв наполненными лазурным сиянием, быстро родила Абдулле дочку и больше не беременела. Для продолжения рода нужен был мальчик. Поиск четвёртой жены был приостановлен войной и последующими экономическими трудностями. В это же время чеченцы, живущие в Москве, открыли для себя новый, очень прибыльный бизнес, который можно назвать торговлей людьми из гуманитарных побуждений. Заплатив несколько тысяч долларов за голову, уезжающие получали шенгенскую визу в паспорте. Две блестящие буквы «EU» на многоцветном выпуклом штампе обозначали Европейское сообщество.

I.

Абдулла, его жена и маленькая дочка приехали в столицу Бельгии, город Брюссель, на польском туристическом автобусе. Ранним утром они стали в конец длинной очереди, протянувшейся вдоль стены здания с красивым названием «Маленький замок». «Замок» представлял собой коекак подлатанную королевскую казарму-конюшню, где ютилась служба министерства по делам беженцев. Вдоль крепостной стены кривой тонкой линией выстроились чернокожие мужчины и, более скученно, семьи афганцев, курдов и албанцев. Как только Абдулла с женой и маленькой дочкой стал в эту по-змеиному гибкую очередь, ему нестерпимо захотелось из неё выйти. Он не мог избавиться от ощущения, что стоял не в той очереди. Но нерешительность и какое-то отвратительное бессилие парализовали его волю. Вокруг толкались, спорили, махали руками чужие разномастные люди с беспокойными и непроницаемыми лицами. Мужчины и дети мочились прямо на красно-бурую кирпичную стену, отойдя метров на двадцать от конца очереди. Женщины и девочки ходили в туалет, наспех сколоченный из досок прямо на улице,—там тоже выстроилась очередь. Лет тридцать тому назад Абдулла стоял в коротких штанишках поверх застиранных колготок в очереди в детский туалет и стеснительно улыбался воспитательнице, отсчитывающей ему три мягких бумажных листочка. Образ строгой воспитательницы старшей группы детского сада постепенно испарился в утреннем брюссельском тумане. Абдулла упирался напряжённым взглядом в грязную, закрытую для движения брюссельскую улицу. На проезжей части мостовой распластался мёртвый высыхающий голубь. В смиренных, отрешённых позах и подозрительных взглядах взрослых беженцев скрывалось что-то гибельно-торжествующее. Может быть, они смутно догадывались, что пункт назначения достигнут, что в ближайшем будущем они станут тихо озлобленными получателями щедрых пособий для неимущих? Что же не позволило Абдулле покинуть эту очередь? Упорство стояния в различных безликих очередях? Привычка быть обманутым в странном сочетании с недоверием к обманчивым впечатлениям?

В полдевятого, со скрежетом металла по асфальту, открылась дверь, проделанная в огромных воротах замка. Толпа всколыхнулась разноречивым шумом. Полицейский с покрытым седым ёжиком затылком и восковым двойным подбородком встал в проходе и объявил в рупор по-французски, что сначала проходят те, кто имеет вызов на интервью. Абдулла заметил, что входящие показывают полицейскому какие-то листки. Стоящий рядом с ним маленький вертлявый африканец держал в руке такой же листок. Абдулла постучал ему по плечу и показал пальцем на листок—тот с готовностью протянул ему свой истрёпанный «документ». Вверху стояли выделенные жирным шрифтом слова на трёх европейских языках: «Королевство Бельгия». Далее шли ссылки на цифры статей законов, декретов и королевских указов. В нижней половине листа возле неразборчивого тёмного пятна фото можно было прочитать фамилию, имя и дату рождения. Многочисленные даты вызова на интервью были перечёркнуты и приписаны от руки. В самом низу утверждалось, используя метод от противного, что данный «документ» не является ни удостоверением личности, ни доказательством гражданства.

Пройдя через ворота и получив два номера, Абдулла и Мадина оказались в тесном зловонном зале. Взрослые и дети сидели в проходах между стульями, прислонившись к стенам. Выкрашенные в ярко-зелёный цвет стены по своей структуре и цвету были похожи на стены захолустного медпункта на Кавказе.

К удушливому запаху пота и немытой одежды они как-то притерпелись. Но духота в помещении с закрытыми наглухо окнами становилась с каждым часом всё более гнетущей. Унылые мысли путались в голове Абдуллы, потная рубашка прилипла к телу. Мадина молчала и только время от времени брала его руку, чтобы ненадолго подержать её в своих ладонях. Дочка поплакала и уснула на коленях у Мадины.

Ещё вчера, касаясь локтем прохладного оконного стекла автобуса, он с приятным напряжением в плотно сжатых губах наблюдал равнинную местность Бельгии. По зелёным лугам, прилежно расчёсываемым вольным ветерком, плыли тени дымчатых облаков. Стройные ряды разноцветных домов и цепочки подстриженных деревьев сопровождали на почтенном расстоянии дорожную полосу. Абдулла удовлетворённо кивал головой с размеренностью маятника каждый раз, когда Мадина восторженно показывала рукой то на гранёные шпили и ребристые своды средневековых костёлов, то на выглянувшие из-за крон деревьев фасады древних замков и современных вилл. С робким благоговением Абдулла взирал на ухоженные фермы и беспечно пасущиеся за низким ограждением стада совершенно белых коров. Коровы томно возлежали, пригревшись на солнышке, или паслись, выставляя напоказ огромное вымя. Горный инженер Абдулла прокручивал в мыслях живые картинки, похожие на рисунки красочного букваря первоклассника. Вот на этой странице счастливый новосёл Бельгийского королевства Абдулла работает помощником фермера, на следующей странице он перевоплощается в сгорбившегося на велосипеде почтальона в фуражке, а ещё через несколько быстро промелькнувших страниц—он становится механиком с чёрными руками и чёрной полосой на лбу, ремонтирующим велосипед кудрявого светловолосого школьника. Всё это было вчера, сегодня же отголоски этих приятных успокаивающих мыслей стали едва слышными за монотонным шумом убогой действительности.

Сутулый молодой человек в очках, с волосами хвостиком и острыми локтями, торчащими из вылинявшей тенниски, появлялся время от времени в зале ожидания. Спотыкаясь на каждом втором слоге, он выкрикивал в зал неудобоваримые фамилии. Вялые просители убежища выходили и снова возвращались в зал. Абдулла посмотрел на спящую дочку, почувствовал напряжение в висках, проглотил поднимающий к горлу комок, встал и направился в туалет, расположенный в другом конце зала. Мадина положила свой плащ на освободившийся стул Абдуллы. Абдулла перешагивал через тела спящих, жующих и смотрящих в пространство детей и взрослых, стараясь не задерживаться взглядом на лицах.

На выходе из туалета Абдулла услышал свою фамилию. Их провели в кабинет и показали на полдюжины стоящих перед столом стульев. Они заняли два стула, стоявшие ближе других к столу. Мадина вновь посадила дочку, немного повеселевшую от смены обстановки, к себе на колени.

По другую сторону широкого стола они увидели в профиль круглую краснощёкую чернобровую голову, посаженную на толстую шею и узкие плечи. Голова женщины-следователя слегка повернулась по направлению к ним, большие выпуклые глаза отстранённо отсняли и загрузили в краткосрочную память очередных просителей убежища. Пухлые ручки начали быстро, не останавливаясь, печатать, маленькое туловище со складками на животике заёрзало на стуле. Женщина-карлица задавала односложные вопросы, не дослушав ответа на предыдущие, не поднимая головы от экрана компьютера и обращаясь исключительно к переводчику—грузину с седыми усами. Через полчаса они вышли из бюро, а в четыре часа дня их вместе с одной из многочисленных групп из десяти человек провели в длинный коридор, взяли отпечатки пальцев, поставили вдоль стены и вручили под роспись каждому из взрослых листок с тусклым фото. В данном документе отрицалась

обоснованность их просьбы о предоставлении политического убежища.

II.

Режин Лёбек—так звали служащую министерства, ведущую допрос Абдуллы и Мадины,—была единственной дочерью в семье разорившихся фермеров. Её родители ежегодно в течение пятнадцати лет приписывали пару нолей к цифре поголовья коров на бланке запроса европейских субсидий. Мошенничество было раскрыто налоговой инспекцией, и ферму пришлось продать с молотка. Тем не менее, им удалось скрыть от фиска кругленькую сумму на заграничных банковских счетах и дожить безбедно до глубокой старости. Мать Режин решила родить первого и единственного ребёнка, когда ей исполнилось тридцать пять лет. (В большинстве семей зажиточных фермеров Бельгии рождается один ребёнок, что обеспечивает неделимый на части капитал при переходе по наследству.) У Режин вскоре после рождения врачи обнаружили аллергию на все без исключения молочные продукты, включая материнское молоко. Этим, наверное, объяснялось её отставание в росте, абсолютно круглая форма головы и некоторые другие отклонения в развитии.

Своё детство, отмеченное оспинами обидных прозвищ и жестоких оскорблений сверстников, она старалась не вспоминать. Одноклассники замечали её только для того, чтобы выразить ей своё презрение или выместить на ней накопившуюся злость. У неё не было друзей, домашние животные в доме были запрещены. Когда ей исполнилось четырнадцать лет, в классе появились два чёрных брата-африканца. Они плохо учились, занимались боксом, держались обособленно, их боялись и обходили стороной. Как-то, по совету родителей, Режин принесла в школу на свой день рождения шоколадные конфеты в блестящей обёрточной бумаге. После занятий двое чернокожих братьев увидели, как хорошо воспитанные, холёные подростки топчут ногами конфеты Режин на баскетбольной площадке перед школой. Братья-африканцы посчитали это подходящим поводом, чтобы проверить на деле свои боксёрские навыки. Честь Режин была защищена ценой нескольких кровавых носов, травля одноклассников в школе прекратилась. Учителя с кривой ухмылкой обсуждали вероятность возникновения отношений между спасателями и спасённой ими жертвой, впоследствии, увы, ни в коей мере не подтвердившуюся.

Ко времени описываемых событий Режин Лёбек уже перевели на низшую образовательную ступень, в класс профессионального обучения. Родители не придали особого значения этому факту, так как считали, что для успешного предпринимательства не нужен диплом университета. Любое дело хорошо, лишь бы приносило хорошие деньги,—пусть это даже будет салон для стрижки собак. Их волновало что-то совсем другое. У Режин отсутствовали упорство, мёртвая хватка, игривая хитрость и уверенность в своей правоте—качества, отличающие настоящих фламандских крестьян или выходцев из крестьян, которыми её родители обладали в полной мере. Режин сидела часами у телевизора, вместо того чтобы подстричь траву или помыть машину и получить за это двадцать евро. В возрасте тринадцати-четырнадцати лет Режин из всеядной потребительницы детского телевизионного канала превратилась в разборчивую зрительницу, особенное внимание уделяющую предвыборным баталиям дебатирующих политиков и комментариям всеведущих журналистов, подаваемым в качестве приправы к злободневным новостям. Примерно в это же время её родители заметили, что в развитии их дочки наметились позитивные сдвиги: по гуманитарным предметам в школе она стала получать невиданные ранее высокие оценки. Характер Режин также стал меняться, её самоуверенность и боевитость росли. Она научилась завоёвывать внимание и уважение учителей, язвительно отвечать на словесные нападки одноклассников. Однажды её даже показали по региональному телевидению. Режин продемонстрировала восхищённым телезрителям утреннего шоу оригинальный способ поедания йогуртов из пластиковых стаканчиков. Вместо срывания и облизывания фольги с последующим тщательным выскребанием йогурта ложечкой она прокалывала пластиковое донышко острым наконечником ножа, срывала фольгу с перевёрнутого верх дном стаканчика—и ровный аппетитный цилиндрик йогурта (вызывающий у Режин аллергию) соскальзывал на тарелку. В самом конце двухминутного прямого эфира самонадеянная уродливая девушка-подросток советовала производителям йогуртов выпускать стаканчики с двумя отверстиями на донышке, заклеенными отрываемой полоской.

Режин приобрела способность цепляться мыслью за мельчайшие, ничего не значащие детали повседневной жизни и превращать этих плохоньких заморышей в последовательные многостраничные теории. Она выполнила несколько блестящих проектов на темы охраны среды обитания редких рептилий, защиты сексуальных меньшинств и мусульманских женщин, у неё открылись замечательные способности к публичным выступлениям. Получив аттестат зрелости, она избрала факультет коммуникационных наук самого лучшего в Бельгии университета и без сожаления покинула родительский дом. Кроткая красота деревенских пейзажей, ухоженные виллы благополучных соседей в сени высоких вязов никогда не волновали её, а долгий взгляд молодой

коровы, провожающей группку разноцветных велосипедистов, багряные блики заката на тихой глади обсаженного рыбаками пруда она просто никогда не замечала.

Следует отметить, что образовательная система Бельгии предоставляет шансы для получения университетского диплома всем и надолго. Если студент проваливает дюжину экзаменов и зачётов, он продолжает учёбу и получает возможность пересдать экзамены на следующий год. Такого рода система обеспечивает постоянный переизбыток производства психологов, социальных работников, сопроводителей-ассистентов, советниц-диетологов, советчиков по отвыканию от курения и многих других узких специалистов. Режин после восьми лет учёбы получила диплом магистра коммуникационных технологий, а в министерстве внутренних дел для неё нашлась подходящая работёнка.

Чиновники федерального министерства, рассматривающие прошения о статусе беженца, обычно молоды, получают маленькую зарплату и меняются с частотой кассирш дешёвого супермаркета. Они работают в тройках, имеют очень ограниченную информацию о регионе, из которого прибывают просители убежища, и их мотивах. У каждой тройки есть свой начальник, который подписывает решения, следит за негласной квотой и передаёт подчинённым различные, часто противоречивые, инструкции сверху. Троек постоянно не хватает, беженские дела затягиваются на долгие годы. Режин, как и все её коллеги, в начале девяностых годов не могла предположить, что система приёма беженцев не только выживет, но и превратится в гигантскую структуру со своими многоэтажными башнями, наполненными многочисленными административными сотрудниками, своими лагерями приёма и тысячами социальных работников. Правительства создавались и падали, а вопрос беженцев и воссоединения семейных мигрантов оставался той костью, которую правые партии в последний момент бросали левым и которую те уже больше не выпускали из пасти. Перед Режин и другими недооценёнными и обделёнными работниками министерства открывались отныне необычайно привлекательные карьерные возможности.

III.

Беженской процедуре Абдуллы и Мадины суждено было растянуться на долгие годы. Девять лет находились они на общественном довольствии, в положении неприкаянных жителей Королевства Бельгии без права на работу. Абсурд их статуса «временно допущенных к проживанию» казался им полным и непреодолимым. Папка с шестизначным номером перемещалась из одного департамента в другой. Несколько раз им приходили заказные письма с приказами покинуть территорию Бельгии за подписью каких-то адъютантов. Каждый раз бесплатный адвокат отсылал в ответ заранее заготовленные многостраничные апелляции. При виде почтальона, подходящего к их дому, они испытывали болезненный страх. Последний отказ, после которого апеллировать было не принято, они получили в солнечный мартовский день 20.. года. За широким окном, покрытым пыльными разводами дождевых капель, появился почтальон с жидкими и длинными усами под кастрюльной фуражкой с сине-красной полосой. Он приставил свой велосипед к стене дома между парадной дверью и окном. Раздался резкий звонок в дверь. Абдулла вздрогнул всем телом и бросился, как ему показалось, с небольшим опозданием к двери. Расписавшись в получении заказного письма, он вошёл обратно в дом, распечатал конверт, достал из него скреплённую стопку листков и передал их в руки жены. Та присела на диван рядом с четырнадцатилетней дочкой, обе склонили головы над письмом. Те же волнистые каштановые волосы, та же ровная спина, то же имя: Мадина. Лучшая ученица греческо-латинского направления всматривалась в вычурный многостраничный текст с понятными по отдельности словами, но лишёнными всякого смысла предложениями и абзацами. Тем временем Абдулла нервно мял упругими пальцами конверт и вдруг достал из него голубой вкладыш. На вкладыше было написано: «Адреса организаций, помогающих уехать назад в ваше отечество». Дочка, тихая, задумчивая, не носившая мусульманского платка красавица, похожая в своём строгом школьном платье со сборками на испанскую сеньориту, принялась плакать, тихо сотрясая головой. Жена Абдуллы, которую скорее можно было принять за старшую сестру, чем за мать, гладила рукой собранные для школы в гладкий хвост волосы Мадины. Абдулла смотрел в упор на отпечатки пальцев на стекле микроволновой печи, которую он так тщательно вымыл изнутри перед недавним переездом из одного съёмного дома в другой. Сколько их было, этих переездов,—шесть, семь? Стол, стулья, просиженный, потемневший от старости диван, кухонная утварь—всё куплено в комиссионном магазине «Круговорот». На столе стояла фруктовая ваза с обнесёнными белой порошковой плесенью мандаринами и гниющими коричневыми грушами. В зеркале над столом он увидел свои напряжённые печальные глаза, заметно поседевшие виски. Ехать назад домой без денег, прожив почти десять лет в богатой, благотворительной и терпимой Западной Европе,—он заранее примерял на себя это унижение, которое ему придётся пережить.

В последующие дни Абдулла кричал на плачущую жену и, не позавтракав, уезжал с утра на велосипеде к знакомым чеченцам. Поездка на велосипеде в ближайший город успокаивала расшатанные нервы, удаляла его на безопасное

расстояние от ночных кошмаров. Похабно смеющаяся карлица из министерства приглашала его на танец, превращалась в огромного душегуба в тюбетейке, который кружил его в сильных руках, щекотал чёрной бородой, не выпускал из приторно пахнущего объятия, шептал в ухо, что скоро его зарежет и будет выписывать круги вальса с двумя Мадинами по очереди. Он пробуждался, и в резко распахнутые двери спальни врывались люди в чёрных масках. Ему приказывали одеться, заталкивали в грузовик, везли на вокзал, сажали на поезд. Долгие дни и ночи ехал он в вагоне с решётчатыми окнами, в бреду и из последних сил задавал вопросы охраннику, который доверительно признавался после недолгого молчания, что его везут в тюрьму в Казахстан.

Гладкая тёмно-красная велосипедная дорожка на одном участке его пути прерывалась коротким отрезком булыжной мостовой. Абдулла вставал с сидения и на прямых ногах прокручивал педали. Грудная клетка приятно расширялась, упругие потоки воздуха омывали широко раскрытые глаза, готовые тут же закрыться от летевшей навстречу мушки или веточки неподстриженного куста. Его пальцы крепко сжимали руль, ноги ритмично прокручивали педали недавно купленного велосипеда. В первый месяц жизни в Бельгии Абдулла подобрал выброшенный на улице подростковый велосипед. На этом обвешанном покупками вьючном ослике китайского производства исколесил он не один мусульманский квартал Брюсселя. Из-за тёмно-русых волос его принимали за русского или поляка. Когда он попытался один раз на своём зачаточном французском объяснить продавцу на арабском рынке, что он чеченец и мусульманин по происхождению, то тот только громко засмеялся жёлтыми зубами и чёрной бородой ему вслед. Ветерок приносил ему из-за оград вилл запах азалий и сухой хвои, запах Кавказа, запах разрушенного войной родительского дома. Он думал о страхе маленьких народов быть завоёванными, о том, что раньше люди воевали за независимость и право говорить на родном языке. Сегодня же в Бельгии тысячи приехавших чеченцев, ингушей, осетин, армян и грузин ходят в школу, учат голландский язык, так и остающийся для большинства из них языком уличных голубей или, в лучшем случае, языком цирковых собачек.

В последнее время Абдулла жил со своей семьёй крайне обособленно. Тем не менее, он никогда не переставал чувствовать себя частью постоянно растущей массы инородного населения Бельгии. Это было неприятное чувство. Он находился внутри огромного, живущего по своим странным законам муравейника с его постоянным рабочим жужжанием и интенсивным обменом информацией. Из рассказа одного беженца-отказника, снабжённого деталями, делающими его особенно достоверным, Абдулла узнал, что статус политического беженца в Бельгии можно просить неограниченное количество раз. Как это происходит? Тусклый, безжизненный голос государственного вахтёра-регистратора спрашивает из-за застеклённого окошка: «Это опять ты, Хассбюлятофф? Уже пятый раз будет за последние четыре года». И потом, уже в кабинете, другой усталый голос скажет внештатному переводчику, одинаково плохо владеющему как русским, так и французским: «Месье Саркис, спросите-ка у этого убогого просителя, есть ли у него новые доказательства политических преследований, и сообщите ему, что министерство социального развития удовлетворит его молчаливую просьбу о возобновлении гособеспечения». Сочувствующие друзья рассказали ему и о другом альтернативном способе получения права на проживание в Бельгии—недавно одобренной правительством процедуре «медицинской регуляризации». В сказочном бельгийском королевстве, называемом в народе «страной счастливых ленивцев», каждый второй врач-психиатр, с улыбкой доброго доктора Айболита, выписывал зачастившим на приём иностранным беженцам не только симпатичные коробочки антидепрессантов, но и справку о «посттравматическом синдроме». Абдулла быстро освобождал свою память от подобного рода информации, но яркое впечатление от посещения дома афганского пуштуна по имени Мухаммед оставило в его памяти неизгладимый след. Мухаммед в своё время учился в военно-политическом училище в Свердловске и неплохо говорил по-русски. Он приехал в Бельгию приблизительно в то же время, что и Абдулла. Было очевидно, что невзрачный афганец сумел добиться в бельгийской жизни несравненно больших успехов, чем Абдулла. Он уже давно имел не просто статус постоянного жителя королевства, но и полноценное бельгийское гражданство. Одна из его жён проживала с шестью сыновьями и двумя дочерьми в просторном, предоставленном социальной службой особняке, куда Абдулла и был приглашён попить пряного зелёного чая с молоком. Щуплый, уже довольно пожилой прародитель жил отдельно от своей семьи, в апартаментах на одной из улиц, прилегающих к мечети. Он лечился от лёгкой формы депрессии, не позволяющей ему жить в одном доме с женой и произведённым им потомством. Кроме этого, он имел ещё одну многодетную жену в соседнем городе и время от времени нелегально подрабатывал личным шофёром у местного имама. За чаем Мухаммед с нескрываемой гордостью хвастался своим месячным доходом, превышающим, по его собственным словам, зарплату премьер-министра Бельгии (кругленькая сумма детских пособий на пятнадцать детей, плюс перечисляемые прямо на его банковский счёт прожиточные

пособия двух отдельно от него живущих жён, его собственное пособие по инвалидности и премия многодетным семьям из фонда королевы), хохотал и поминутно отправлял себе в рот коричневые леденцы сахара-канди.

Посвящённый таким образом в реалии бельгийской действительности, Абдулла изо дня в день откладывал анализ своего незавидного положения в ней. Друзья, знакомые, дальние родственники в короткий срок снабдили Абдуллу различной информацией, сводившейся к одному: превратись в отвратное, гадкое насекомое, и тебя оставят в Бельгии. Он не знал, что делать со своей тоской и неприкаянностью по вечерам, засыпал с опасением пробудиться посреди ночи от не оставляющих его кошмаров, и только утро, как прежде, приносило ему привычное трепетное облегчение.

В этот тёмный декабрьский день дождь с самого утра с упрямством уличного идиота кропил окна мелкими визгливыми струйками. Прогулка на велосипеде отменялась. Абдулла проводил дочку и жену в школу. Жена продолжала посещать по второму кругу растянувшиеся на долгие годы курсы голландского языка. Он поднялся на второй этаж в крохотную каморку, сел на стул напротив тёмного экрана старенького компьютера. Недавно ему исполнилось сорок восемь лет. Кем он стал? От пронзительного ощущения «тюремности», «больничности» своего маргинального существования у Абдуллы больно сжалось сердце. Он отчётливо понимал, что главная часть его существа находится где-то в другом месте. Западная цивилизация, эпоха Возрождения, эпоха Просвещения — как это привлекательно звучало на уроках истории в шестом классе советской школы. Завораживающие созвучья названий европейских городов: Париж, Лондон, Рим, Амстердам, Брюссель… Мог ли он тогда подумать, что ему приведётся своими глазами увидеть Брюссель — город, целые кварталы которого колонизированы марокканскими, турецкими и африканскими обитателями, город, в котором первые этажи пустующих дворцов заняты мясными мусульманскими лавками, а по грязным мощёным улицам, камни которых, должно быть, ещё помнят стук копыт и колёс кортежей великосветской знати, женщины в чёрных балдахинах и платках катят коляски с младенцами мусульманского бэби-бума? Он попытался вспомнить годы учёбы в институте, свою любовь к точным наукам, поклонение культу естественных знаний, свои юношеские мечты о славе учёного-физика, избранного в элитное правительство автономной Чечено-Ингушской Республики. Он видел себя приглашённым в телевизионную студию «Останкино». Тридцатилетний Абдулла Юсупов на сцене при свете прожекторов сдержанно и содержательно отвечает на вопросы публики, нанизывает экспромтом, после коротких пауз, одна на одну молодые и свежие мысли.

Утром он сказал жене, что хочет возвратиться в Грозный. Жена должна была сообщить дочке по дороге в школу о его решении. В последнее время в ровном сиянии серых глаз дочки читался скрытый вызов, а в любом разговоре с ним она чуть сдвигала брови. Он любил дочь всё больше и больше, и теперь уже это было ясно ему самому: больше всего на свете. Это была чистая, жертвенная, немая любовь. Его рано повзрослевшая дочь, похожая на него каждой чёрточкой лица, холодно отдалялась от него. Иногда ему казалось, что она казнила его своим холодным, стальным взглядом за его прошлое с тайными мыслями о четвёртой жене и сыне и за его настоящее, в котором он, выхваченный резким дневным светом, неизменно выглядел жалким и никчёмным.

За окнами немного посветлело, назойливые звуки дождя казались немного приглушёнными. Абдулла спустился со второго этажа, сел на диван и принялся смотреть через окно на улицу. На стоянку перед костёлом съезжались автомобили, из них выходили люди и прятали под зонтиками свои хмурые рыхлые лица. Пробили колокола. Подъехал чёрный похоронный лимузин. Абдулла включил и прижал к щеке транзистор с горящей лампочкой и длинной антенной. В минуты душевной подавленности и немого одиночества он часто откидывался на подушки и приникал щекой с колючей седой щетиной к этому маленькому шипящему объекту с облезлой краской, должно быть привыкшему к его дыханию. Звуки и интонации родного языка, знакомая чеканная дикция дикторов неизменно приносили ему целительный, хоть и мимолётный, душевный покой. Он задремал на какое-то время, но выпавший из рук приёмник разбудил его своим падением и треском ломающейся пластмассы. За дверью безуспешно пытались вставить ключ в замок входной двери, и когда ключ всё-таки вошёл в замок, его со щелчком повернули. Открылась входная дверь, дочка с бледным лицом и горящими глазами вошла в дом первая. Жена тихо закрыла дверь. В припадке ярости, трясясь всем телом и упираясь в талию сжатыми в кулаки руками, дочка подошла к дивану. В изумлении и оцепенении выслушал он тяжёлые, как могильная плита, слова дочки, не позволяя своему сознанию до конца вникнуть в их смысл:

— Я не подчинюсь той участи, которую ты уготовил мне в своём косном, неприспособленном к жизни в Бельгии мозгу… Я ненавижу всех этих понаехавших сюда чеченских неучей в тюбетейках, с козлиными бородками, торгующих наркотиками и одновременно получающих пособие по безработице, этих недобитых паразитов, сидящих целыми днями на порносайтах и пять раз в день бормочущих бессмысленные молитвы, распластавшись

на коврике задом кверху… Я ни за что на свете не поеду назад в Чечню, где девушек крадут на улицах и насильно выдают замуж, а замужних женщин, подозреваемых в измене, сбрасывают с вертолёта на горные хребты.

Мать обхватила руками бьющуюся в истерике дочку. Хоть и не сразу, но ей всё-таки удалось вытолкнуть её на кухню. Он же продолжал лежать на диване в полной прострации, как после операции под наркозом. Жена спустилась к Абдулле в гостиную из спальни, где она уложила в постель как-то сразу присмиревшую дочку, обняла Абдуллу за голову и попросила у него прощения за дочку.

IV.

После того, как осуждённый главный педофил страны напал на конвоирующих его полицейских, одолел их, заставил снять с него наручники и был пойман только на следующий день в другом конце страны, правительство Бельгии вынуждено было подать в отставку. Социалистическая партия терпимости и прогресса (эспэтэпэ), воспользовавшись последовавшей за этим неразберихой, выдвинула свои притязания на портфель министра интеграции иностранцев. Именно эта партия в своё время выдвинула идею (единогласно одобренную правительством) об отмене наказания за побег из-под стражи под предлогом того, что любая попытка освобождения из тюрьмы является естественным стремлением человека к свободе. Теперь её лидеры утверждали, что перевоз заключённых в наручниках приводит к непредсказуемым проявлениям агрессии у заключённых моложе тридцати пяти лет. После недолгих закулисных переговоров и взаимных уступок между партиями правящей коалиции новым министром интеграции была назначена сорокадвухлетняя Режин Лёбек.

К этому времени к её уродливости привыкли не только зрители телевизионных новостей, но и известные политические мужи и дамы, коллеги и официанты в министерской столовой. Её простецкое круглое румяное лицо научилось при любых обстоятельствах профессионально складываться в мягко-резиновую улыбчивую гримасу. Таким улыбающимся клоуном-карликом казалась она во время телевизионных интервью, парламентских заседаний и королевских приёмов. Иногда, правда, ей приходилось хмурить чёрные густые брови и морщить лоб под короткой чёлкой в присутствии всеядных камер телевизионных новостей. Это случалось, когда ничем не брезгующие журналисты задавали ей вопросы о бурном и мутном потоке регуляризируемых мигрантов или же когда Режин беспокоили вопросами о скандале, связанном с её бывшим мужем. Режин к этому времени уже успела побывать замужем за африканцем из отдела разработки проектов помощи в развитии Африки. За три месяца до её назначения на пост министра её супруг был задержан в брюссельском аэропорту и обвинён полицией в контрабанде наркотиков с использованием дипломатического паспорта. Процедуру развода пришлось ускорить, чтобы не скомпрометировать личность будущего министра.

В это же время, предваряя первое в новейшей европейской истории назначение женщины-карлика на пост министра действующего правительства, произошло ещё два знаменательных события. Режин Лёбек, по мнению большинства газетных фельетонистов, выиграла воскресное телевизионное дебат-шоу. В самом начале она провозгласила себя последовательной сторонницей разнообразия в природе и обществе, потом она назвала своего оппонента навозным жуком и расистом, и в заключение, в неожиданном порыве искренности, призналась телеведущему, что у неё имеется оригинальное хобби — она разговаривает со стволами деревьев в своём саду. Вступление Режин в должность министра внутренних дел было, однако, омрачено другим событием. В дни Рамадана начались столкновения мусульманской молодёжи с полицией, и разъярённая толпа сожгла здание полицейской конторы в Брюсселе, освободив из камер задержанных накануне арабов. Всё правительство было в панике. Но вдруг в самый разгар конфликта беспорядки сами по себе закончились. На волне всеобщего вздоха облегчения новоиспечённый министр интеграции Режин Лёбек попросила у премьер-министра разрешения сделать первый шаг к умиротворению мусульманской общины. В вечерних новостях показали новоиспечённого министра Режин Лёбек, заявляющую о своём глубоком уважении к исламской религии и её религиозным представителям и о своём предстоящем посещении самой большой брюссельской мечети.

Забытьё прерывистого дневного сна не принесло Абдулле знакомого облегчения. За окнами становилось темно, старый шкаф, стол, комод приобретали всё более размытые, беззащитные формы. Мадина пристально смотрела на светящийся экран с мелькающими фигурками, ожидая официального сообщения о всеобщей амнистии долгожителей-нелегалов. В какой-то момент Абдулла скользнул глазами по экрану телевизора и от неожиданности увиденного стал медленно приподнимать голову с подушки, затем резким движением мальчика-гимнаста перевёл своё тело в сидячее положение. Он узнал это лицо, терзавшее его все эти годы в неотвязчивых и горестных кошмарах. Грубое, мясистое, немного приукрашенное визажистом лицо женщины-карлика самоуверенно и насмешливо обращалось к нему…

У него оставалась одна ночь на приготовления. Жена и дочка мирно спали на втором этаже

в разных спальнях. Нескончаемое количество коротких стежков двойной ниткой на внутренней стороне штанины, тесьма, вырванная из дождевика,—всё выходило как задумано, его руки работали чётко, лёгкая приятная дрожь в плечах не мешала работе. Полночи ушло на пришивание кармана. Вторую половину ночи он провёл, вышагивая лёгкой походкой по пустынным улицам пригорода. Редкие ночные автомобили проносились мимо с шипением насекомого, оставляя за собой ядовитый шлейф выхлопных газов. В прозрачной звенящей тишине не было места сомнениям, запутанный узел должен быть разрублен одним ударом. Под утро он вернулся домой; в гостиной горел оставленный им свет. Он снял со стены русский матросский кортик, купленный в антикварном магазине за сумму двух месячных пособий на проживание, вынул кинжал из ножен, просунул его в пришитый карман, подвязал рукоять тесьмой снизу и вышел из дома.

На улице возле соборной мечети стояло несколько припаркованных полицейских машин. Семья знакомых чеченцев жила в здании, примыкающем к мечети. Приученные к ранним визитам Абдуллы, они радушно встретили его и предложили чай. Он хотел бы помолиться в мечети. Туда ведь можно попасть через сад, избегая полицейского контроля. Ему помогли перелезть через забор. Недавно отстроенная мечеть была уже заполнена мужчинами. Он всовывал руки в карманы брюк, тут же их высовывал, слегка покашливал в кулак. В момент, когда Режин Лёбек в сопровождении двух телохранителей переступила порог мечети, Абдулла стоял в метрах десяти от входа. Его взгляд выхватил красные сапожки, ряд пуговиц, сверкнувших на коротком жакете, блестящее улыбающееся лицо. Он бросился навстречу карлице и ударил её ножом в основание шеи. Нож издал хлюпающий звук. Его руки и одежда покрылись пятнами липкой крови.

V.

Молодой, компетентный, но отнюдь не самый блестящий хирург университетского госпиталя склонился над прикрытым до пояса тельцем женщины-карлика с посеревшим лицом. Кровь у пострадавшей удалось остановить ещё в амбулансе, значит, сонная артерия не задета. Скорее всего, повреждены только дыхательные пути или нервные узлы. Если он протянет с началом операции ещё несколько минут, то она, несомненно, умрёт, и ассистирующие коллеги вряд ли смогут что-нибудь доказать. Антуан Алегарт, так звали хирурга, в руках которого находилась в эти минуты жизнь карлицы, долго натягивал резиновые перчатки. Он являлся сторонником правой националистической партии и питал тайную ненависть к левым политикам, считая их продажными, презренными в своём лицемерном словоблудии демагогами. Жизнь Режин Лёбек, уродливой бесстыдной стяжательницы, предательницы дела фламандского национализма, висела на волоске. В последний момент Антуан Алегарт всё-таки струсил, и благодаря его безвольным усилиям Режин Лёбек осталась в живых.

Когда из реанимационного зала вывезли кровать с низкой посадкой, обвешанную пульсирующими электронными датчиками, Жан-Пьер, старший советник Режин, статный седогривый мужчина в белой рубашке и тёмно-синем костюме, отвернулся к стене, сморщил лицо в болезненной гримасе и утёр ладонью застывшую на щеке одинокую слезу. Он только что проиграл пари чернокожему водителю-телохранителю Мохаммеду Аинбуомвану на десять тысяч евро. Их непосредственная работодательница, «малышка Режиночка», наперекор судьбе выкарабкалась с того света.

Через три недели Режин Лёбек выписали из больницы. Она вновь вступила в полномочия министра интеграции. В телевизионных новостях и на страницах газет снова замелькало лицо Режин. Отныне она держала голову с видимым наклоном влево. Её круглые фарфоровые глаза щетинились ещё более холодным блеском, и от этого всё, что она говорила, пучась взглядом в телевизионную камеру, звучало ещё более убедительно. На диаграммах популярности ведущих политиков среди пяти-шести разноцветных змеек светло-коричневая кривая Режин Лёбек и её небольшой партии неумолимо поползла наверх. Коллеги по правящему кабинету (один туз, двадцать пять валетов, семь дам всех известных мастей), сто двенадцать советников, видели теперь перед собой другую Режин—самонадеянную, заносчивую, спесивую «жёсткую тётку», уверенную в своей неуязвимости. Она рассчитывала, что, как генерал, вернувшийся с войны хромым и одноглазым, отныне она сможет положиться на народную любовь и неприкосновенность своего высокого поста.

Неожиданно для приближённых к правительству аналитиков Режин Лёбек удалось потеснить триумвират христианских демократов, традиционных социалистов и свободных либералов при обсуждении бюджета страны на следующий год и протолкнуть финансирование новой программы борьбы с поднимающими голову крайне правыми. Она выбила дополнительные средства для своего министерства. Миллионы евро выделялись на организацию многочисленных мультикультурных утренников и полдников, культурно-танцевальных и гастрономических фиест в целях наведения мостов между местным и иноземным населением и их слияния в одну дружную весёлую компанию. Вдобавок Режин Лёбек добилась финансирования амбициозного проекта выискивания научных,

прежде всего социологических, обоснований пользы цветного и культурно-религиозного «разноображивания» населения. Левые, постмарксистские интеллектуалы уже давно носились с этой идеей, подсказанной, как им казалось, само́й объективной реальностью, но только Режин взяла на себя смелость и выработала чёткую политику финансирования социологических исследований. Исследования выполнялись на заказ, незамедлительно обрастали пространными теориями и сразу использовались в качестве новейшего идеологического оружия. Неожиданно щедрое для несведущих финансирование дела глобального мультикультурализма предусматривало поэтапное выделение средств, которые могли быть заморожены или вовсе остановлены в любое время. Последнее слово оставалось за Режин и её советниками.

Наступил день парламентских прений по принятию бюджета. С самого начала дебатов одиозный лидер крайне правой оппозиционной партии и два его помощника позволили себе несколько необычайно резких выпадов в адрес премьер-министра и его коалиционного правительства. После недавней регуляризации десятков тысяч нелегалов подобные действия оппозиции были предсказуемы и даже в некоторой степени желательны для здорового демократического процесса. Никто не мешал им выговориться, но эти неотёсанные хамы, эти разбрасыватели навоза, ни разу не допущенные в правительственные коалиции, в которых перебывали все партии, включая даже партию защиты зверей и партию всеобщей дешевизны, превзошли на этот раз самих себя.

— Очередная регуляризация десятков тысяч нелегалов — это нарушение конституции. Вас будут судить наши дети, если вы доживёте до этого дня, — бесновались парламентарии-неудачники. — Вы знаете, что ваши чиновники умудрились разослать письма о регуляризации даже нелегалам-уголовникам, отбывающим тюремный срок, прямо на адрес тюрьмы?..

Премьер-министр включил свой микрофон и начал невозмутимо говорить о чём-то совсем другом. Этот обычный приём всегда срабатывал безотказно, но, увы, не в этот день. Оппозиционная партия, как оказалось, имела на руках ещё пару козырей. На обвинения в коррупции, к которым избиратели особенно чувствительны, политические лидеры вынуждены отвечать незамедлительно.

— Посол в Марокко (попавшийся на выдаче виз для фиктивных марокканских невест) будет незамедлительно уволен, если обвинения против него подтвердятся расследованием, — твёрдым голосом заявил премьер-министр.

На второй вопрос оппозиции премьер-министр предложил ответить своему министру Режин Лёбек. Дело в том, что шофёр и телохранитель министра, некий Мохаммед Аинбуомван, позвонил и дал распоряжение банковскому клерку продать свои акции за день до объявления банкротства крупного банка правительством. Клерк передал эту щепетильную информацию правым националистам. Таким образом, Режин Лёбек была вынуждена экспромтом отвечать на обвинения в предумышленной утечке правительственной информации и, по мнению обозревателей вечерних новостей, совсем неплохо справилась с этой трудной задачей. Она встала с места, вышла со склонённой влево головой к микрофону, нахмурила брови и заявила, что ей уже не в первый раз, не будучи ни в чём виноватой, приходится принимать удар на себя. Все поняли её намёк, и прения прекратились сами собой.

После штормовой сессии парламента Режин, всё ещё возбуждённая от пережитой серьёзной угрозы, поднялась со своим телохранителем и старшим советником на лифте на последний, двадцать шестой этаж правительственного небоскрёба. Над зелёной террасой с роскошным передвижным буфетом редкие облака проплывали по ослепительному, широко развёрнутому небу. С жадностью отобедав, Режин устроилась в электрическом шезлонге и принялась нажимать на кнопки пульта управления, то выдвигаясь вперёд миниатюрным туловищем с надутым животиком, то снова переходя в сидячее положение. Между пошитыми на заказ у портного королевского двора брючками и сапожками на высоком каблуке кокетливо просвечивала полоска белой кожи. Мохаммед отвёл глаза от этого свечения, отрыгнул чесночным майонезом, почесался в паху и сплюнул поверх пальмового горшка в прозрачно-голубой воздух. Стройный официант-марокканец предупредил мелодичным колокольчиком о своём появлении для выноса грязной посуды. Наступило время очередной читки научных докладов.

— Только покороче, дорогуша, — обратилась карлица-шеф к Жан-Пьеру, бывшему католическому священнику, лишённому сана после намеренного провозглашения своего гомосексуализма.

Режин не любила напрягать мозги над печатным текстом после изысканного обеда и предпочитала слушать густой баритон своего советника. Она пропустила начало читки, но постепенно стала с интересом вслушиваться:

— ...в ходе опроса об этноцентризме, проведённого командой Антверпенского университета, различным группам коренного белого населения Фландрии предлагалось анонимно ответить «да» или «нет» на четыре вопроса:

— Вы согласны с утверждением, что подавляющее большинство приехавших в Бельгию мусульман и африканцев живут за ваш счёт, злоупотребляя системой социального страхования?

— Будете ли Вы в состоянии проявить смирение, если ваша дочь приведёт к вам в дом своего

друга—выходца из представителей вышеупомянутых групп населения?
— Признаёте ли вы культуру (обычаи, танцы, язык и кухню) выходцев из стран третьего мира по меньшей мере равной западноевропейской культуре?
— Вы согласны с утверждением, что цветная молодёжь больших городов—это одно из самых ценных наших приобретений за последние десятилетия, наше светлое будущее?

При положительном ответе на первые два вопроса и отрицательном на последние два вопроса опрашиваемый попадал в группу с высшей отметкой этноцентризма».
— Вы желаете, мадам, просмотреть многочисленные графики и цветные схемы на последующих страницах?—хорошо поставленным, отстранённым голосом задал вопрос советник.
— Нет, дружок, перескажи мне вкратце заключение.

Через белую рубашку на фоне неба просвечивалась атлетическая спина Мохаммеда. Секс с молодым мужчиной горячих кровей очень важен для здоровья женщины после сорока лет… секс и чёрный шоколад… слово «секс» произносится одинаково на всех языках мира, игриво подумалось ей.

Советник тем временем продолжал:
— В заключение автор утверждает, что этноцентризм среднестатистического фламандца колеблется на отметке пятьдесят процентов и только с возрастом поднимается к отметке шестьдесят шесть процентов.
— Да, какой хороший результат, никогда бы не подумала, что у этих белых расистов такая заниженная самооценка.

Как только советник захлопнул папку и покинул террасу, Мохаммед в два прыжка подскочил к шезлонгу, достал из кармана раскладной нож и приставил его лезвием к открытой шее Карлицы.
— Ты будешь сегодня ночевать у меня,—ничуть не испугавшись, томным голосом проговорила Режин.
— Угораздил же Аллах вас, патронша, родиться женщиной…
— В этом моя сила. Я принимаю себя такой, какая я есть. К тому же власть и положение делают женщин необычайно «секси», не правда ли, мой глупенький Мохаммедик? Обожди, ты только что подал мне замечательную идею. Помнишь того чеченца, который бросился на меня с ножом?

VI.

Его сбили с ног, завели руки за спину и надели наручники. Кто-то ненавистный и тяжёлый равномерно дышал над ним и прижимал лицом к цементному полу. Он попытался поджать ноги к впалому животу, ожидая выверенных ударов в пах. Кто-то другой, опытный и расчётливый, наступил ему рифлёной подошвой на оголившиеся голени. Ударов не последовало. Абдуллу подняли, поставили на ноги и, поддерживая под руки, повели к полицейской машине.

Вой сирены внутри герметичного кузова был едва слышен. Он сидел, перегнувшись вперёд, руки в наручниках за спиной, упираясь взглядом в чёрный резиновый пол и бурые пятна крови на своих ботинках. Удерживать равновесие и не заваливаться на сидящих по бокам охранников стоило больших усилий. Работал кондиционер, и полицейские, один из которых сидел сзади, с оживлением обсуждали только что случившееся на местном диалекте. Так эскимосы обмениваются короткими фразами после охоты на тюленя.
— Пить,—простонал он в бессильном отчаянии.

Горячий обруч всё туже сжимал лоб и виски.
— Хэй, приятель, втяни язык, мы уже почти там,—отозвался сзади гулкий лающий голос третьего полицейского, до конца не прожёвывающего речевые звуки.

Сирена затихла, машина резко остановилась. Полицейские первыми выпрыгнули из машины и помогли ему спуститься на скользкий булыжник. Его повели, сгорбленного, жадно глотающего сырой воздух, через тюремный двор в здание с бордовым фасадом, белыми колоннами и лепными украшениями. В доме отдыха в Пятигорске отец заставлял его пить солёную минеральную воду, придерживал его сзади за седло во время прогулок. Вокруг клумбы, по пропитанному солнцем гравию, с лёгкостью оторванного листика шестилетний Абдулла прочертил свой первый круг на двухколёсном велосипеде. Белые решётки снаружи на окнах санатория он разглядел позже, когда с него сняли наручники и оставили одного в камере. На расстоянии четырёх метров от массивной железной двери с надзирательным глазком находилось матовое пластиковое окно. Центр тяжести узкого, слегка искривлённого пространства камеры приходился на стоящую вдоль стены железную кровать. Пол был покрыт красным линолеумом. Слева от двери, за перегородкой, Абдулла обнаружил стальной умывальник. Он нажал на кнопку, подставил голову под вырвавшуюся из крана шипящую струю и припал открытым ртом к холодной хлорированной влаге. Затем он приставил матрас к двери со змеиным надзирательным глазком и сел на железную сетку кровати.

Кожа на лице горела, тело дрожало натянутой струной, вот-вот разорвётся от напряжения, а может, кто-то терпеливый, спокойный и мудрый с лёгкостью выпустит из него дух, отсечёт горящую голову. Он слепо отдался нахлынувшему на него приливу бессилия и обречённости, но страх прошёл. Он отделён железной дверью и матрасом от своей прошлой жизни, от заживо проглоченных унижений, от косых взглядов и приторных улыбок,

от оцепенелых злобно-бессильных государственных служащих, от недовольных соседей, уродливых стариков и старух из двухэтажных буро-кирпичных избушек, выстроившихся сомкнутыми рядами по бокам шумной дороги. Он переменил свою участь: из бесправного инородца, презренного кандидата на получение статуса беженца он превратился в пятидесятилетнего бунтаря-убийцу, которого необходимо депортировать на родину вместе с женой и дочкой. Там все его знают, помнят его отца, ему не придётся долго сидеть в тюрьме.

По ночам Абдулла мучился больше кошмарами, чем бессонницей. Он садился не на тот поезд, мучительно спешил и опаздывал, искал жену и дочку, блуждал в немом отчаянии по вокзалам, полным бомжей и наркоманов, стонал от безумного одиночества. Под утро он овладевал податливым, знакомым и исступлённо-желанным телом жены и тут же просыпался. После завтрака его вели на беседу к тюремному психологу—молодой, чрезмерно полной женщине с полусонными колючими глазами. Он не сразу привык к модернистской несоразмерности её носа и лба, жирным абрикосовым щекам и семейке тугих угревых прыщей на висках. Когда она вставала и тянулась за папкой в шкафу, штаны начинали сползать вниз. Тяжёлое, неповоротливое туловище и белокурые завитые распущенные пряди—в качестве отчаянной попытки привлечь к себе внимание «противоположного пола». Заключённые называли её между собой Офелией. «Нет, он не хочет играть в волейбол после обеда, а по вечерам изучать нидерландский язык. Он не отказывается от послеобеденной прогулки по тюремному дворику. У него нет жалоб на отсутствие русскоязычного телевидения и Интернета. Он не ходатайствует о предоставлении недельного отпуска по семейным обстоятельствам в летний период. Его словарного запаса достаточно для беседы с адвокатом и следователем без переводчика». Папки с заполняемыми Офелией вопросниками становились с каждым днём всё тоньше, визиты Абдуллы в её кабинет (в котором она, по слухам тюремной братии, зачала трёх детей: одного от турка, другого от марокканца и третьего от нигерийца) делались всё короче и вскоре вовсе прекратились.

Настала очередь визитов к адвокату, проходивших в комнате отдыха, медитации и миролюбивой молитвы. Моложавый мужчина в прекрасно сшитом костюме шагнул ему навстречу. Отменная осанка, чуть выпяченная грудь, самоуверенная улыбка и крепкое рукопожатие. Усевшись в кресле, он заговорил сладко вибрирующим басом. На стене висели плакаты с лозунгами из разноцветных слов: «Поссоримся и помиримся», «Уступки и компромисс, мир и прогресс».

—Господин Абдулла, трибунал окружного суда назначил меня вашим адвокатом. Моё имя—Димитри Керкхофэ, для вас—просто Димитри. Позвольте мне вкратце объяснить ситуацию, в которой вы находитесь, и представить вам мой план вашей защиты. Я не слишком быстро говорю?

Абдулла покачал головой. Он первый раз видел прямо перед собой, а не на экране телевизора, подобного бельгийца: выхоленный, раскованный, ненавязчиво самоуверенный представитель престижной либеральной профессии.

—Это верно, что мотивом вашего вооружённого нападения на министра Лёбек было нестабильное, неблагополучное и бесперспективное проживание в нашей стране в качестве униженного нелегала?

Абдула неуверенно кивнул. Адвокат чуть выпучил свои умные внимательные глаза и продолжал:

—Никто не слышал вашего крика «Аллаху Акбар», поэтому мы будем категорически отрицать обвинения в исламском терроризме. Если вы подтвердите своё согласие с моим методом защиты, то вам присудят не более шести-семи, максимум восемь лет тюрьмы, с возможностью освобождения за хорошее поведение по истечении одной трети срока тюремного заключения.

Абдулла посмотрел на сидящего в кресле собеседника недоверчивым взглядом, открыл рот, крякнул, но не смог произнести ничего внятного.

—Вам разве не сообщили, что госпожа Лёбек жива, цела и почти невредима?—адвокат сделал паузу, хотел пошутить, но передумал и продолжал ровным голосом:—У неё пожизненное увечье в виде ограничения способности вращения головой и приобретённый эстетический дефект в наклоне шеи. Вам надо будет публично попросить у неё прощения.

—Меня не депортируют?.. вместе с женой и дочкой?.. из тюрьма здесь в тюрьма там?..

За годы жизни в Бельгии Абдулла приучил себя изъясняться односложными предложениями. Их было легче повторять переспрашивающим фламандцам. Адвокат сощурился, наклонил голову набок, покрутил глазами—всё это для повышения шансов на правильное восприятие Абдуллы. Потом широко улыбнулся:

—Это исключено, в Бельгии уже много лет не применяется насильственная депортация. Тебе, Абдулла, не стоит этого бояться…

Адвокат хотел продолжить и сказать Абдулле, что срок пребывания в тюрьме рассматривается законодательством как легальное проживание в стране, но Абдулла резко его перебил:

—Слушай, Димитрий, собачий ты хрен, я не боюсь ничего, понимай? Зачем ты мой адвокат? Много платят? Я хочу, хочу, чтобы меня депортировали.

Абдулла приблизился к адвокату, схватил его за лацканы пиджака, поднял из кресла и несколько раз встряхнул.

—Господин Абдулла, так нельзя обращаться со своим адвокатом,—быстро проговорил не на

шутку испугавшийся адвокат.—Если вы хотите получить лечение в психиатрической больнице, то можете мне сказать об этом напрямую. Я отвечу на все ваши вопросы. Мне платят жалкие центы за ведение вашего дела. Но, признаюсь, быть вашим адвокатом—это очень престижно, и это может улучшить мои заработки со временем,—адвокат шаг за шагом ретировался задом к двери.—Ввиду вашего возбуждённого состояния я вынужден на этом закончить нашу первую беседу. Вы можете мне доверять: никто ни о чём не узнает. У нас есть с вами общие интересы, не правда ли?—сказал он напоследок, покидая комнату отдыха и поправляя галстук.

VII.

Режин разбудила храпящего Мохаммеда:
— Выслушай меня. Я намереваюсь публично простить того чеченца с ножом. Это будет акт великодушия, трюк, который так ценится избирателями. Я создам комитет из представителей трёх основных религий, смешаю больное тепличное христианство с дикорастущим исламом, всё украшу декоративными кактусами иудаизма (Мохаммед сморщился и сделал недовольную гримасу), ну, так и быть, обойдёмся без евреев, в центре оранжереи будет бить неприхотливый фонтанчик буддизма. Так я создам новую религию терпимости, это ведь неисчерпаемый колодец, я заткну всем моим насмешникам рот, я заставлю их забыть, кто они и откуда взялись, я им всем дам понять, что они ниже меня… Ты, конечно, не сможешь это понять и оценить,—продолжала Режин, не замечая, что Мохаммед вновь погрузился в тяжёлую, липкую утреннюю дрёму.—Я до сих пор не проиграла ни одних телевизионных дебатов. Это ведь настоящее искусство, похожее на скачки с препятствиями. Одна неверная фраза в прямом эфире—и ты летишь с лошади в колючие кусты. Я никогда не отвечаю прямо на заданный вопрос. Мой самый отточенный приём—усыпить противника дружеским жестом, а потом хлестнуть наотмашь по его расслабленному коровьему крупу. Я могу это проделать несколько раз кряду, пока мой оппонент не выйдет из себя и не потеряет самообладание. И тогда я пускаю ему кровь, я становлюсь как одержимая, я слышу возгласы ободрения и аплодисменты сидящей возле телевизора публики. Я никогда не теряю контроль над собой, я хладнокровна в самые опасные моменты. А моё аргументирование, перечисление по многочисленным пунктам! Мой уверенный голос с хорошо поставленной дикцией (завтра опять к логопеду), мой невозмутимый взгляд, устремлённый в камеру! Уже предвосхищая победу, я вызываю из своей цепкой памяти заранее заготовленное заключительное слово…—Режин вновь толкнула в бок закатившегося бисерным храпом Мохаммеда.

Мохаммед проснулся окончательно и зашлёпал босиком, огромными чёрными ступнями, по паркету спальни, потом ещё более отчётливыми шлепками—по белому мраморному полу.
— Эй, слышишь меня? Мойся недолго, мне нужно, чтобы ты отнёс и искупал меня в ванне,—донёсся до Мохаммеда визгливый голосок Режин, который был тут же заглушён пущенной из крана сильной струёй воды.

После купания Мохаммед отнёс завёрнутое в полотенце, младенчески беззащитное тельце своей повелительницы обратно в постель. Там же и позавтракали. Режин давала распоряжения по телефону Жан-Пьеру. Тот должен был назначить встречу с чеченцем в тюрьме, обработать его психологически и предложить взамен на освобождение из тюрьмы сотрудничество в деле интеграции многотысячной и постоянно растущей группы мигрантов—выходцев с Кавказа. Мохаммед слышал часто повторяющиеся слова: тактика и стратегия, ключевая фигура, надёжная избирательная база,—и его скрытое восхищение своей любовницей росло, переполняло его. Надо будет снова заговорить с Режин о переводе его кафе в центре Брюсселя на бюджетное финансирование по статье культурно-просветительской деятельности. Да, крошка Режин, как строго она придерживается расписания, как негодует она, когда он задерживается в туалете… А эта её любовь к детям-калекам, к старикам и слабым инвалидам… В Африке она пыталась взять на руки этого безногого малыша с глазами, облепленными мухами… Помешана на своей работе, целыми вечерами сидит истуканом за письменным столом; кажется, ещё чуть-чуть—и свалится с высокого стула от усталости… не переубедить ни в чём, даже в мелочах; а с каким упорством она выскребает ложечкой остатки соевого йогурта…

Между тем Жан-Пьер положил телефонную трубку и выругался всеми известными ему ругательствами, а именно—двумя: «проклятый бог» и «дерьмовая дырка». Три дня назад его любовник, впавший в депрессию, покончил с собой, а тут ещё это унизительное, идиотское поручение карлицы—нетрудно выйти из себя. Впрочем, раздражение всегда шло на пользу его служебному рвению. Он тут же набрал номер директора тюрьмы, чтобы организовать встречу с чеченцем. То, что он услышал по телефону, заставило его с облегчением опуститься в рядом стоящее кресло и захлопать губами на выдохе.

Эпилог

После обеда заключённых выводили на получасовую прогулку в небольшой тюремный скверик, размером с детскую площадку. Из обрубленного ствола берёзы пробивались новые ветки с маленькими светло-зелёными листочками. Настороженность

и открытая враждебность мультикультурного тюремного населения друг к другу мирно растворялась в запахе распустившейся сирени. Абдулла блаженно вдыхал терпкую свежесть душистого воздуха. После купания в холодной горной реке сёстры долго растирали шестилетнего Абдуллу махровым полотенцем, сменили его мокрые плавки на сухие трусики, потом все втроём надели сандалии и стали спускаться по тропинке к шоссе. Редкие разноцветные «Жигули» сверху казались добрыми драгоценными жучками. Невидимые счастливые родители с радостными детьми сидели в этих автомобилях. Рядом с ним на скамейке сидел вор в законе Джабраил и рассказывал ему об окружающих тюремных обитателях. Вон там, среди бритых, коричневых, лоснящихся на солнце голых голов чернокожих,—гранёный череп Патриса, главаря банды «Чёрных ангелов». А вон тот усатый игрок в нарды—албанец Фатмир, на протяжении нескольких лет получавший пособия для неимущих одновременно в семи городах Бельгии. Он убил ножом социальную работницу, раскрывшую махинацию. А вон тот молодой красавчик с широкой улыбкой и маслянисто-чёрными глазами, завязавший живую беседу с надзирателем,—это марокканец Хусейн, зарезавший из ревности двух своих жён, привезённых из Марокко. Он скоро освободится и поедет за третьей.

Когда заключённые возвращались с прогулки, вахтёр на входе вручил Абдулле письмо. Конверт сверкнул знакомым почерком дочери. Ещё в коридоре, на ходу, он разорвал конверт и на одном дыхании прочитал небольшое полустраничное письмо. «Моя мама призналась мне, что ты не мой отец… ты кровожадный убийца. Мой друг купил мне пистолет, и если ты когда-нибудь приблизишься к нашему дому, я пристрелю тебя, как бешеную собаку…» Абдулла попытался скомкать письмо в руке. Но пальцы его разжались, лицо побагровело, он упал на каменный пол, глазные яблоки закатились, как бы пытаясь заглянуть внутрь черепа.

Месяц спустя в зале прибытия аэропорта Домодедово стюардесса с нежным взглядом, напряжённой улыбкой и золотистыми завитками выкатила в толпу встречающих коляску с парализованным чеченцем.

— Юсупов Абдулла, Абдулла Юсупов,—выкрикивала она мягким грудным голосом.

Две пожилые женщины откликнулись, назвались сёстрами, склонились и принялись целовать худое, наполовину помертвелое лицо Абдуллы. Из его груди вырвалось радостное мычание, а по его щекам, покрытым седой щетиной, прокатились две слезы. Сёстры взялись с двух сторон за ручки коляски, поблагодарили стюардессу и медленно направились к выходу.

ДиН ревю

Пётр Чейгин

И по сей день

Санкт-Петербург:
Издатель Виктор Немтинов,
2013.—304 с.

● ● ●

В полях умрут не связки голубей,
уголья радости и всплески Артемиды,
в полях умрёт закон: Воскресни и убей!

Я не свободен тень свою унять,
и с камня прокричать осколки колесницы,
и с лезвия росу в полынь ронять.

Позволю Вам зажечь мои ресницы,
но взгляд не упадёт на рукоять,
не кинется копьё во тьму страницы.

В полях умрёт закон: Воскресни и убей!
Но Опис с Фиалой на нас имеют виды,
И топчется в дверях пустынница акрида.

Михаил Манасян

Калепсия

Приезжайте к нам в Хор Вирап

О нашем посёлке говорят много и красиво. И речи, согласно восточному красноречию, льются то реками, а то и разливаются подобно дымке ладана. Говорят, что посёлок наш расположен у подножья некой горы, хотя нас с той горой разделяет колючая проволока. Говорят, что у нас есть даже река, но единственная «радость» от той реки—это нашествие комаров. Река-то есть, но она не нам и не туркам. Течёт сама по себе между двух границ, и только пограничники да пастухи видят её.

Говорят, что на вершине той горы, которую армяне называют Масис, а мир знает её под семитским именем Арарат, лежат обломки Ноева ковчега. Этот Ной якобы получил благодать от Всевышнего и спасся на ковчеге. А значит, согласно еврейским писаниям (армяне, конечно, не против), мир, то есть жизнь после потопа, начался у нас в посёлке. Кто этот Ной—еврей или армянин? Не знаю, но то, что оба народа с большой радостью видят в нём своего соотечественника,—это факт.

Если б вы знали, какими людьми может гордиться наш посёлок, то, конечно же, возлюбили бы его всем сердцем. Ведь сам великий карфагенянин Ганнибал помог царю Арташесу воздвигнуть город—город, руинами которого по праву наследия владеет опять же наш посёлок. Это был тот город, куда привезли отрубленную голову римского полководца Красса. Да что там Красс, ведь у нас был сам Григорий Парфянин, ставший просветителем всея Армении, да и вообще первым патриархом христианского государства. Он гостил у моих односельчан. Правда, это было семнадцать веков назад, но они встретили его как полагается—хлебом-солью. Давали ему воду и вообще всё, что полагается узнику. Даже больше: впоследствии благодарные христиане воздвигли над его темницей красивый храм. Да, вот ещё что: оказывается, Георгий, которого прозвали Победоносцем,—это сын старшего брата нашего Григория. Того самого, которого мы окрестили Просветителем. Я видел, как Георгий Победоносец убивает дракона. Очень удачная картина на московском гербе. Говорят, император России провёл здесь три дня в ожидании, когда рассеется туман, поглотивший библейскую гору. А с Папой Римским Иоанном Павлом Вторым где бы я мог повстречаться, если не у нас в посёлке? Или же получить благословление от Патриарха всея России Алексия Второго? Приезжайте к нам. Я хочу, чтобы ваше сердце увидело пробуждение Араратской долины, цветение абрикоса и слезу виноградной лозы.

Калепсия

Я не знаю, когда впервые услышал вдохновение. Не знаю: может, в той пощёчине от бабушки? Или от того нехорошего дяди на кресте, которого она всё время о чём-то просила? «Господи, лицо моё под пятой Твоей, омою ноги Твои слезами, Господи. Господи, прости грехи моим детям, одари всех здоровьем. Господи, благослови их, освяти день грядущий Твоей благодатью, вестью благой. За их грехи накажи меня, Господи. Позаботься о душе дочери моей, Асмик».

«Позаботься о душе дочери моей, Асмик…» Эту последнюю просьбу бабушка всегда произносила, заикаясь, каждое слово омывая слезами. Я не знал тётю Асмик, не знал, что это имя вообще значило для бабушки. Не понимал, почему она выговаривала каждую букву имени так, словно звала её издалека. Но всегда вместе с ней ощущал эту, чужую для меня, ребёнка, боль.

Наверное, из-за ревности к тёте Асмик—или же к Господу, во время очередной молитвы я спрятался за спину бабушки и как ни в чём не бывало начал передразнивать «таинство происходящего». Я до того увлёкся, что не заметил, как очутился в дальнем углу комнаты. Мои щека и ухо горели, словно мама приложила к ним противные горчичники. Ничего не понимая и не слыша, я, на свою удачу, вовремя рванул из комнаты, иначе воспитание могло бы продлиться долго.

Калепсия, Калэпсия—имя бабушки мне казалось смешным, хотелось хоть как-то отомстить. Я рыдал взахлёб, не понимая: за что? Но этот день, до сегодняшнего момента и до последнего в моей жизни, стал определяющим. Я глядел на свою старую бабку (правда, уже со двора—в распахнутое окно) и плакал вместе с ней. Она просила за меня прощения у своего Бога.

Вдохновение. Наверное, оно дышало мне в лицо, когда пьяный отец безо всякой причины избивал

маму. Когда в огромной семье со всевозможными родными и родственниками ты часто слышишь притаившееся молчание.

Нет, нет, всё это глупости. Первая литературная строчка, которую я воспринял впоследствии как данную свыше, был мой вопрос к маме: «Ма-а, мы чё, армяне, да?» Правда, она ничего не ответила. В тот день вся наша улица была наполнена криками и плачем.

«Ма-а, мы чё, армяне?»—тогда, в 1988-м, мне было шестнадцать лет, и это был не глупый вопрос. Мои родители переехали в Баку из северной Армении—Ленинакана. В нашей семье мы могли использовать одновременно два языка и один диалект, сильно отличающийся от литературного армянского,—это ширакский диалект. А также при надобности, в редких случаях, говорили на одном из тюркских языков. Старшие в семье, как правило, обращались к нам на ширакском варианте армянского языка, а мы уже отвечали на русском. Только с бабушкой переходили на её родной, как она говорила, не диалект, а язык; её огорчал не только русский, но и литературный армянский. Это так, жители северной Армении очень дорожат «своим» армянским языком. Мои родители прожили в Баку двадцать пять лет, используя в быту три языка, но за эти двадцать пять лет их ширакский диалект даже в произношении не пострадал. Мы, их дети, как и они, знаем по два-три языка. Но нас уже отличала одна, казалось бы, незаметная особенность: мы, дети Баку, уже не могли мыслить на языках наших родителей… «Ма-а, мы чё, армяне, да?» Тогда, после избиения жителей нашей улицы, я впервые задал этот вопрос, наверное, не маме, а самому себе.

Вдохновение… Оно не заставило себя долго ждать. Единственное, с чем я хочу сравнить его, так это с гнойным нарывом. Не понимая, что происходит, я, не сопротивляясь, принял всё то, что мне навязала толпа. В те дни я впервые почувствовал необходимость писать. Мысль лилась рекой, не замечая преград на пути. Высокие берега, косогоры, неприступные скалы, заторы по руслу, рукотворные дамбы—всё это будет потом, в Литературном институте. А сейчас надо писать. Надо обвинить во всех смертных грехах какой-то ислам; вспомнилось, как покойная бабка часто упрекала отца, что он не собирается возвращаться домой, что он растит своих детей в чужом краю. Надо, надо разозлиться на какой-то появившийся народ—азербайджанцев—и обязательно полюбить незнакомый тебе армянский. И я писал.

Армения—это мой Арарат, там Ной, там, как и в Баку, много солнца, много винограда. В Армении могила моего деда. Мы потом приедем и заберём бабушку, ведь она умерла, а могилу не тронут, с ней ничего не случится. В Армении я посажу в новом дворе такой же тутовник, как и здесь, он будет лучше этого…

Хорошо, что бабушка умерла, теперь её не будут тревожить воспоминания о резне. Она не будет вспоминать своего младшего брата, зарезанного турками. Теперь мы сможем спокойно смотреть фильмы, где есть большевики, Ленин. Всё хорошо. Ты не замечаешь, как приходит отчуждение. Дом становится холодным, неуютным. Двор постепенно захламляется необходимыми когда-то вещами. Начинаешь равнодушно подыгрывать обстановке, чтобы не сойти с ума.

Путь, возвращение в Отчизну, был нескончаемым. Опустошённая душа цеплялась за каждую мелочь, ей было мало тяжести сердца. Гардероб, телевизор, старый диван, кровати, книги, поцарапанные пластинки, словно память, удерживали её на этой земле. Потом—какая-то внутренняя паника, отвращение ко всему, и снова пустота. Хочется тишины, ты мысленно нащупываешь её где-то у себя внутри, чтобы погрузится в неё… От всего и от всех.

В час великого бедствия осознаёшь истинное значение таких слов, как «вера», «надежда», «любовь». Они словно ждут твоего отчаяния и являются к тебе в образе боли, страха и смирения.

Я часто спрашивал у Отчизны: Армения, кто тебя выдумал? Зачем ты позвала меня, чужого? Разве мне есть место среди твоих величественных храмов? Они чужды мне. Мне нет до них дела. Ты—не та, которую я должен любить. Ты, как покойница Калепсия, неустанно славишь Господа, забывшего о нас. Отпусти меня, позволь уйти и позабыть о тебе…

Диаспора

Задаёшься вопросом, зачем государству создавать в своих пределах чужеродную среду, и единственный логичный ответ, что приходит на ум,—это из благосклонности или же из снисхождения. В таком случае, спрашивается, оправдан ли такой поступок в интересах государства, да и по отношению к народу, которого ты приютил? Думаю, если государство преследует цель увеличения народонаселения в своих пределах, то на пути к интеграции с государствообразующим обществом диаспора—единственный непреодолимый барьер. Это некий, если хотите, недосягаемый горизонт для двух противоположных, движущихся друг к другу сторон. Вредоносность диаспоры очевидна, она не может быть оправдана её благими намерениями. Из первоначальной затеи, как обители на чужбине, диаспора превратилась в придорожную таверну, куда съезжаются все кому не лень—от негодяев до политиков. Эмигрировавший народ, во имя которого совершается так называемая забота, вряд ли извлечёт из того пользу. Он всегда останется чужим—засидевшимся гостем.

Государство, предоставившее ему кров, в нужный момент, если обстоятельства принудят, безо всякого угрызения совести готово отдать его на заклание. Словно вечное проклятье, будет довлеть над инородцем ещё одна беда. Лишённый чувства отождествления себя с государственностью вообще, он явится как вредоносный элемент и для своей Отчизны.

Как институты, диаспоры, образованные в более зажиточных странах, для своих малых родин несут в себе не меньшую опасность, чем, скажем, локальные войны, землетрясения или ещё какие бедствия. Экономически сильные страны искушают благополучием, а наличие диаспоры или компактного проживания, словно отчуждённого от всех пришлого этноса (думаю, по вине всё того же государства), облегчает процесс нового притока. Это—вывернутая наизнанку проблема, а обыватель всегда пытается решить сложности на фоне следствия, и ему просто нет дела до причины.

К примеру, зачем армянину, русскому, греку, еврею предоставлять некое культурное образование, когда на политической карте есть географическое образование их родины и каждый из них может беспрепятственно и благополучно осуществить свою мечту—быть армянином, быть русским, греком, евреем и т. д.? Думаю, проблем станет намного меньше, если каждый из нас, прежде чем покинет пределы Отчизны, задастся вопросом: я переезжаю в Россию—хочу ли я стать русским? Я еду в Канаду—буду ли я канадцем? Я живу в Армении—буду ли я армянином?..

ДиН ревю

В новой книге Николай Година в своей афористичной манере продолжает расставлять точки над *i*, отображая нашу многоликую жизнь

Челябинск: «Цицеро», 2013.—62 с.

Николай Година

i

• • •

Нашли страну, которую не жалко,
Где пошлая певичка—«наше всё»,
Где замогильно смутная гадалка
Цитируется, как стихи Басё.

Вялотекущий реализм отчизны,
Он мог быть худшим, если б не был им.
А мода на здоровый образ жизни
Попахивает затхлым и былым.

Споткнётся сердце вдруг на ровном месте,
Пойдут остросюжетные дела…
Но в снах берёз и в воробьином жесте
Ещё моя земля не умерла.

• • •

Сели воробьи рядком,
Надо видеть это:
Как один, все босиком,
Будто нынче лето.

Справа, кажется, мужья.
Слева, значит, жёны.
Обсуждают, слышу я,
Что-то напряжённо.

Холод, голод, в общем, быт.
Разные напасти…
На столбе ворона спит
Сном верховной власти.

Владислав Кураш

Ускользающая по волнам

Дуэль

…Факты будут считаться чем-то постыдным, Истина пригорюнится в своих оковах, а Поэзия со своими сказками снова вернётся на землю. Картина мира преобразится пред нашими изумлёнными взорами. Из пучины морей выйдут Бегемот и Левиафан и поплывут вокруг высоких галер, как они плавали на прелестных картах той эпохи, когда книги по географии ещё были пригодны для чтения. Драконы закопошатся в пустынях, и Феникс взовьётся в воздух из своего огневого гнезда. Жуя золотой овёс, Гиппогриф будет стоять в наших стойлах, а над головами у нас будет носиться Синяя птица с песнями о прекрасном, несбыточном, о пленительном и невозможном, о том, чего нет и не будет.

Оскар Уайльд

Они встретились на перекрёстке Терезова и Воскресенской. Встреча была неожиданной для обоих.

— Давно не виделись,—сказал Валентин, засовывая руки в карманы.

— Давненько,—согласился Алексей, засовывая руки в карманы.

Их лица не выражали никаких чувств—сложно было понять, рады они встрече или нет.

Они встретились совершенно случайно. Один шёл по Воскресенской в направлении Петропавловской. Другой поднимался по Терезова на Соборную. Было двенадцать часов дня—время ланча.

Встретившись, они моментально позабыли обо всех своих делах, полностью сосредоточившись друг на друге.

Валентин окинул Алексея взглядом и отметил для себя несколько немаловажных деталей: чёрный фетровый стетсон с большими полями, как у ковбоев, и широкий серый плащ с красноречивыми глубокими карманами. Алексей сделал то же самое, заакцентировав своё внимание на байкерской бандане Валентина с костяшками и черепами и харлеевской кожаной куртке с такими же, как и у него, красноречивыми глубокими карманами.

На перекрёстке было очень людно, что немного обескураживало обоих. Стараясь не выпускать Алексея из поля зрения, Валентин посмотрел на часы Спасо-Преображенского собора.

— Может, выпьем по чашечке кофе?—предложил он, не зная, как лучше поступить.

— Давай выпьем,—согласился Алексей, сам не зная, как лучше поступить.

Они зашли в «Чайкофф» и заказали кофе. Кафе было битком набито людьми, всё же нашёлся свободный столик. Не вынимая рук из карманов, они сели за столик друг напротив друга.

— Какими судьбами в Питере?—после некоторого молчания спросил Валентин, не зная, с чего начать.

— Проездом,—ответил Алексей.—А ты какими судьбами?

— Тоже проездом,—ответил Валентин.

Официант принёс кофе и счёт.

— Давно вернулся?—снова спросил Валентин, не спуская глаз с собеседника.

— Полгода назад,—сказал Алексей, не спуская глаз с Валентина.

— А я только вчера.

— Долго же тебя мотало.

За окном пошёл дождь, и в кафе набилось ещё больше людей. Чуть ли не одновременно их посетило желание закурить, но они не решились вынуть рук из карманов. На столике стоял дымящийся кофе.

— Где же ты всё это время был—в Лиссабоне?—спросил Алексей, разглядывая байкерскую бандану Валентина.

— Не только,—сказал тот, изучая ковбойский стетсон Алексея.—Из Лиссабона я уехал в Мадрид—еле ноги унёс. И месяц провалялся там в госпитале с воспалением лёгких.

— Признаться честно, я не ожидал тебя больше встретить,—сказал Алексей, продолжая внимательно разглядывать Валентина. Он всё ещё не верил своим глазам.—Я думал, ты утонул.

— Меня подобрали местные рыбаки, в трёх милях от берега,—слегка скривившись, сказал Валентин. Видно, эти воспоминания были ему неприятны.—Если бы не рыбаки, мы вряд ли с тобою встретились бы.

— А о Романе тебе что-либо известно?

— Нет. А тебе?

— Последний раз я видел его в Риме. Незадолго до того, как уехать домой. Но это было уже больше полугода назад. Он был очень жалок и выглядел

как бродяга. Занял у меня немного денег. Больше я его не видел. Зато видел Ангелину.
— Ну и как она поживает?
— Не знаю, но, судя по всему, дела у неё в порядке. Я с ней не разговаривал, я видел её только издалека. Она проезжала в шикарном ландо по Via Nacionale.
— Хорошо хоть у кого-то дела в порядке,— сардонически ухмыльнулся Валентин.— Ты-то чем здесь занимаешься?
— Я постоянно в разъездах. И дома бываю крайне редко,— скороговоркой ответил Алексей.

У него не было особого желания разговаривать о делах. И тем не менее, он спросил:
— А ты чем собираешься заниматься?
— Ещё не знаю. Для начала проедусь по старым знакомым. Огляжусь. Посмотрю, что к чему.

Дождь закончился, и кафе опустело.
— А я думал, что ты не вернёшься. Не страшно?— снова сардонически ухмыльнулся Валентин.
— А кого мне бояться?— впился глазами в Валентина Алексей.
— Ну, не знаю,— многозначительно ухмыляясь, отвёл в сторону взгляд Валентин.

Какую-то долю секунды он не смотрел на Алексея.
— А ты, я вижу, никого не боишься,— на этот раз сардонически ухмыльнулся Алексей.
— Страх— удел слабаков,— совершенно серьёзно сказал Валентин.
— Вот и поговорили,— задумчиво произнёс Алексей.
— Вот и поговорили,— утвердительно повторил за ним Валентин.

Стараясь не выпускать Валентина из поля зрения, Алексей посмотрел в окно, на часы Спасо-Преображенского собора.
— Ну, мне пора,— сказал он, вставая из-за стола.
— Я заплачу за кофе,— оставаясь на месте, сказал Валентин.

На столике стоял остывший нетронутый кофе. Не вынимая рук из карманов, ощущая спиной на себе тяжёлый взгляд Валентина, Алексей прошёл через небольшой зал кафе и вышел на улицу. На улице он с облегченьем вздохнул и быстро зашагал прочь. Пройдя несколько кварталов, он остановился и огляделся по сторонам, но никого подозрительного поблизости не увидел. Только тогда он вынул руки из карманов, в одном из которых был снятый с предохранителя девятизарядный бразильский люггер калибра девять миллиметров. Он жадно выкурил сигарету, постоял ещё несколько минут, поглядывая по сторонам, и пошёл дальше.

Когда Алексей вышел из кафе, Валентин с облегчением вздохнул. Посидев ещё минут десять, убедившись, что никого подозрительного поблизости нет, он вынул руки из карманов, в одном из которых был финский нож ручной работы с широким клиновидным лезвием двугранной заточки. Он жадно выкурил сигарету, рассчитался с официантом и вышел из кафе. На секунду задержавшись в дверях, он подозрительно огляделся по сторонам и быстро зашагал прочь в противоположном направлении.

Снова пошёл дождь, подгоняя одиноких прохожих, щедро поливая тротуарную плитку на обезлюдевших улицах.

Ускользающая по волнам

…Она всё время убегает вдаль,
скользя по грани призрачной мечты,
и сердце жжёт безжалостная сталь,
когда в тумане исчезаешь ты…

Из старинной рыбацкой песни

Рано или поздно, под старость или в расцвете лет, Несбывшееся зовёт нас, и мы оглядываемся, стараясь понять, откуда прилетел зов. Тогда, очнувшись среди своего мира, тягостно спохватясь и дорожа каждым днём, всматриваемся мы в жизнь, всем существом стараясь разглядеть: не начинает ли сбываться Несбывшееся? Не ясен ли его образ? Не нужно ли теперь только протянуть руку, чтобы схватить и удержать его слабо мелькающие черты?

Между тем время проходит, и мы плывём мимо высоких, туманных берегов Несбывшегося, толкуя о делах дня.

Александр Грин

Это был конец. Он стоял на вершине восьмидесятиметрового утёса, на самом краю небольшой смотровой площадки, к которой от подножия вела крутая извилистая лестница, вырубленная прямо в скалистом склоне. Под утёсом бушевало и пенилось неспокойное штормовое море. Он напряжённо вглядывался в горизонт в надежде увидеть хоть слабый отблеск призрачного мерцания.

Холодный порывистый ветер безжалостно трепал его драное грязное рубище, обжигая морозной свежестью всё тело. Длинные, доходившие до самых плеч волосы постоянно сбивались и мешали смотреть. Не отводя глаз от линии горизонта, он каждый раз убирал волосы с лица и, точно гребнем, заскорузлыми огрубевшими пальцами откидывал их назад.

Как он ни вглядывался, но ничего, кроме бушующих волн и вспышек молний на грозовом небе, он не видел. Он был в полном отчаянии. Невдалеке, возле большого камня, лежали тубус с холстами и кожаная дорожная сумка с красками, кистями и неоконченной рукописью.

Пошёл дождь. Он даже не шелохнулся, всё так же напряжённо продолжая вглядываться в горизонт. До самого вечера он простоял, как изваяние, на утёсе. И только когда начали сгущаться сумерки, видно, потеряв последнюю надежду, он

с трудом оторвал свой взгляд от линии горизонта и бессильно опустился на камень, возле которого лежали его вещи.

Немного помешкав, он достал из сумки рукопись, пробежал глазами последние строчки, предельно сосредотачиваясь на прочитанном, заставляя работать мысль. Но мысль не работала. По щекам покатились огромные, как горошины, слёзы. Руки безвольно опустились вниз, пальцы разжались, и рукопись выпала на холодные мокрые камни. Подхваченные ветром страницы шумно поднялись в воздух и, клубясь в хаотичном полёте, точно пчелиный рой, быстро унеслись в сторону моря и исчезли в темноте.

Вот и всё, это конец, подумал он и решительно шагнул к пропасти. Но в последний момент, у самого края, он вдруг вспомнил о жене и дочке и остановился. Больше двух лет он их не видел и ни разу не думал о них. Тёплые воспоминания волной нахлынули на него и окатили приятным жаром.

«Как там они сейчас поживают?»—пронеслось у него в голове. Перед глазами вспыхнул яркий домашний очаг, запыхтел самовар на столе, ожили давно забытые лица.

И вдруг ему стало как-то одиноко и неуютно на этом голом скалистом утёсе. И его, точно магнитом, потянуло туда, к ним, домой. И когда он уже повернулся, направляясь к лестнице, чтобы поскорее спуститься вниз, ему показалось, что где-то вдалеке, в кромешной тьме, там, где бушевала стихия, мелькнул слабый, еле заметный отблеск. Он резко обернулся назад, напряжённо вглядываясь в темноту. Да, это было оно—призрачное мерцание. Оно ускользало в бушующую даль по чёрным волнам, бесследно рассеиваясь в темноте.

Он машинально потянулся за ним рукой, словно желая схватить его, задержать, удержать хотя бы на какое-то мгновение, и, оступившись, сорвался с утёса вниз. Кромешная тьма и морская пучина поглотили его навечно. Это был конец.

А началось всё с самого обычного дорожного романа. Он ехал в Арциз, она—в Татарбунары. Он сел в Полтаве, она—в Кировограде.

Уже месяц стояла жаркая летняя погода. Несмотря на открытые окна, в вагоне было невыносимо душно.

Когда она вошла в купе, его словно озарило—появилось непривычное ощущение внутренней полноты. Ему показалось, что в колышущейся глубине её голубых, как морская акварель, глаз мелькнуло нечто важное, значимое, то, чего ему так не хватало все эти долгие годы.

Лёгкое возбуждение будоражило и вдохновляло. Ему тут же захотелось нарисовать её портрет. Он достал из сумки блокнот и карандаш и чёткими, твёрдыми штрихами сделал быстрый набросок. Закончив, он показал его ей. От неожиданности она вспыхнула, как алый лепесток пламени,—щёки залило краской смущения, сердце гулко заколотилось в груди.

Она взяла у него карандаш. «Спасибо. Очень похоже. Меня ещё никто никогда не рисовал»,—написала она в блокноте под рисунком. Она сказала бы больше, если бы могла говорить, но, к сожалению, она была немой.

—У вас такие красивые, глубокие глаза,—восхищённо произнёс он.—Если в них заглянуть, то можно утонуть и пропасть навсегда.

Она не услышала того, что сказал он, потому что была глухой. Зато она прекрасно умела читать по губам, поэтому поняла всё, что он сказал. После этих слов в ней точно что-то перевернулось, и она внимательней взглянула на своего собеседника и в его невыразительной заурядной внешности вдруг разглядела нечто важное, значимое, то, чего ей так не хватало все эти долгие годы.

Он сделал ещё один набросок и окончательно вскружил ей голову. «Я боюсь потерять с вами голову»,—написала она под рисунком.

—Я тоже боюсь этого,—сказал он, приступая к следующему наброску.

Так продолжалось до позднего вечера. А когда в вагоне погас свет и все улеглись спать, он достал из сумки ещё один блокнот и начал писать роман. Замысел и сюжет созрели моментально, поражая своей простотой и гениальностью. К утру первая глава была готова. Он с трудом заставил себя оторваться от записей и сделать перерыв. Такого с ним давно уже не было. Вдохновение пьянило и кружило голову, как молодое вино.

Он шёл на поводу у чувств и интуиции. Она тоже не могла совладать с собой. Таким образом, самый обычный дорожный роман превратился в нечто большее.

Они встали в Одессе и никуда дальше не поехали. С вокзала они пошли на Пантелеймоновскую, оттуда свернули на Ришельевскую, с Ришельевской—на Малую Арнаутскую, с Малой Арнаутской—на Белинскую, с Белинской—на Пидерсовский бульвар, и так далее, пока не дошли до Ланжерона. На околицах Ланжерона, почти у самого моря, они сняли небольшой захудалый домик с видом на порт и морвокзал и остались там жить.

Они решили начать с чистого листа. Прошлое их больше не волновало и не заботило, словно ничего и не было прежде. Они больше не вспоминали и не думали о прошлом. Было лишь настоящее, до краёв наполненное вспыхнувшими чувствами и переживаниями, очень похожее на красивую выдуманную сказку, никак не увязывающуюся с тем уродливым и несовершенным миром, в котором мы с вами живём.

На фоне южного субтропического пейзажа их жизнь выглядела очень романтично и привлекательно. Днём они купались и загорали на пляже,

вечером он с мольбертом выходил на Дерибасовскую рисовать портреты и шаржи, чтобы немного подзаработать. Она садилась в кафе напротив и весь вечер с любопытством наблюдала за ним. Когда он заканчивал, они вместе возвращались домой, и она ложилась спать, а он садился за свой роман.

Тех денег, что он зарабатывал, вполне хватало, чтобы удовлетворить все их скромные потребности и капризы. С плетёной корзиной по утрам они заходили на Привоз за фруктами, мясом, овощами и вином. Она любила всякие кружева и безделушки и часами могла стоять у галантерейного прилавка, рассматривая выставленные на продажу наряды. Время от времени он покупал ей понравившиеся платьица, в которых она порхала как мотылёк и выглядела шестнадцатилетней девочкой.

В их покосившемся штукатуреном домике со скрипучим дощатым полом, огромной деревянной кроватью, круглым растрескавшимся дубовым столом и несколькими расшатанными стульями было уютно, светло и просторно. Свежий морской ветер, насыщенный едким запахом йода, шевеля занавесками, врывался в распахнутые настежь окна вместе с лучами восходящего солнца и приносил с собой отдалённый рокочущий шум прибоя с пронзительными голосами голодных чаек, басистыми гудками пароходов и еле слышным гулом работающей портовой техники.

Возле их домика был крохотный яблоневый садик, в котором они, прячась от нестерпимого зноя, любили проводить послеполуденные часы. Она дремала, покачиваясь в старом верёвочном гамаке, а он, устроившись напротив, прислонившись спиной к шершавому стволу яблони, пыхтя, как пароход, своей неизменной капитанской бриаровой трубкой, рисовал её.

И чем больше он рисовал, тем больше это его захватывало. Весь дом был увешан её портретами, не считая целой стопки тетрадей и блокнотов с набросками и зарисовками.

Работа над романом шла быстро. Она захватывала ещё больше, чем живопись. В начале осени он закончил последнюю главу и приступил к редактированию, после чего отдал свой роман издателю.

Когда бархатный сезон был на излёте и с моря подуло морозным холодом, его роман напечатали в местном журнале, за что он получил небольшой гонорар. Особого удовлетворения ему это не принесло. Он ожидал чего-то большего, а чего — он и сам толком не знал.

Вдохновение исчезло так же неожиданно, как и появилось. Вместе с вдохновением исчез интерес к живописи и творчеству. Он перестал рисовать, забросил мольберт и краски и доставал их только тогда, когда выходил на Дерибасовскую подзаработать.

Он часами бродил по безлюдным голым пляжам, обдумывая сюжет нового романа, но ничего стоящего ему в голову не приходило, а то, что приходило, ему не нравилось, и от этого он очень злился на себя, на всех вокруг и порой даже на неё.

У него опять появилось ощущение внутренней пустоты, мучительное, неприятное, гложущее и не дающее покоя. В один миг всё утратило своё значение, важность и смысл. Он напряжённо вглядывался в колышущуюся глубину её голубых, как морская акварель, глаз, но ничего там не видел. Ничего больше там не было, кроме голубой бессмысленной бездны. От отчаяния он чуть не лишился рассудка. Он не хотел терять то, что было ему так дорого.

Как-то, прогуливаясь по морскому берегу, далеко-далеко за линией горизонта, в том месте, где море сливается с небом, он увидел неестественное, еле заметное призрачное мерцание. Он долго стоял, всматриваясь в горизонт, не в силах оторвать глаз от чарующего мерцания. А когда мерцание исчезло, у него вдруг появилось уже хорошо знакомое чувство внутренней полноты и желание рисовать. Он поспешил домой и без промедления принялся за работу. Весь день он рисовал, а вечером засел за новый роман. Его прямо распирало от вдохновения и жажды творчества.

На следующий день, во время прогулки у моря, он снова увидел призрачное мерцание и застыл как очарованный, жадно пожирая его глазами. Конечно же, он понимал, что это обычная игра света и тени, но никак не мог объяснить себе, почему она так притягивает, завораживает и наполняет его сущность смыслом и значимостью.

Он стал ходить к морю каждый день, чтобы полюбоваться таинственным, загадочным призрачным мерцанием, которое вдохновляло его и приводило в неописуемый восторг. Со стороны это походило на тихое помешательство, но ему, по большому счёту, было наплевать на то, что думают о нём люди. Он настолько погрузился в глубины своего творческого воображения, что перестал обращать внимание на других и даже на неё. Постепенно она отошла на второй план. Он бросил писать её портреты, а со временем и вовсе потерял к ней всякий интерес. Но, охваченный эйфорией творчества, он этого не замечал.

Внешне их жизнь совершенно не изменилась и выглядела такой же благополучной и счастливой, как и прежде. На самом же деле внутренняя связь между ними была разорвана окончательно и бесповоротно. Она это видела и понимала. И её глухонемое сердце рыдало от горечи и душевной боли. И тем не менее, она не спешила ставить точку. Напротив, она ужасно боялась этого и до последнего надеялась на переменчивость судьбы.

Однажды, в самый разгар сезона штормов, во время одной из прогулок у моря, ему показалось, что призрачное мерцание, точно хвост кометы, стало ускользать в бушующую даль и меркнуть

среди разгулявшихся чёрных волн. В тот же день вдохновение покинуло его. Всю ночь он промучился в бреду и кошмарах, а утром, чуть забрезжил рассвет, поспешил к морю и проторчал там до самого вечера, но ничего похожего на призрачное мерцание он больше не увидел. В его жизни опять началась чёрная полоса, полная пессимизма и отчаяния.

Все последовавшие за этим дни, с утра до вечера, он проводил на пляже у моря, напряжённо вглядываясь в безграничную даль, в надежде увидеть хоть слабый отблеск призрачного мерцания. Но всё было напрасно.

Каждую ночь ему снился один и тот же ужасный сон: призрачное мерцание ускользало от него среди бушующих волн и растворялось в штормовой пелене. Это было невыносимо. После долгих раздумий он принял окончательное решение.

— Я уплываю на другой берег моря. Ты поплывёшь со мной? — сказал он равнодушным, безучастным голосом, пересчитывая все свои деньги. — Здесь ровно на два билета до Стамбула.

От неё не укрылось его безразличие. Она впилась глазами в его губы, но он больше не произнёс ни слова, продолжая пересчитывать деньги. На какое-то мгновение она растерялась. Женская интуиция и рассудок подсказывали ей бросить его, никуда с ним не плыть, порвать с ним раз и навсегда. Но влюблённое безрассудное сердце не желало подчиняться законам здравого смысла и человеческой логики. Оно подчинялось лишь законам любви и безрассудных чувств.

Когда он закончил считать деньги и снова посмотрел на неё стеклянным холодным взглядом, она утвердительно кивнула головой.

Весь рейс от Одессы до Стамбула он простоял на палубе парохода, отчаянно вглядываясь в неспокойную штормовую даль. И только перед Стамбулом, когда судно входило в Босфор, он увидел огненный хвост призрачного мерцания, скользившего по линии горизонта.

Первое время они жили в Кумкее, почти на самой окраине посёлка, в старой заброшенной рыбацкой лачуге. Туристов здесь практически не было, поэтому его картины спросом не пользовались. Они перебивались с хлеба на воду: чтобы подзаработать хоть какие-то гроши на пропитание, он вынужден был ходить с местными рыбаками в море.

В Кумкее он создаёт целую серию полотен о нелёгких буднях простых рыбаков. Эти картины заметно отличались от его предыдущих работ: выполненные на холсте, в композиционном, стилевом и техническом отношении они были безупречны и блестящи.

Но, к сожалению, в Кумкее некому было по достоинству оценить картины, и поэтому их автору приходилось влачить полунищенское существование. Но это нисколько не удручало его. Призрачное мерцание озаряло морскую гладь, вдохновение ни на миг не покидало его, всё своё время он посвящал творчеству, работа над романом близилась к концу. Несмотря на невзгоды и трудности, он был счастлив.

И она, глядя на него, стоически переносила лишения, и радовалась за него, и была счастлива, оттого что они вместе, оттого что он рядом, оттого что он счастлив.

Всю зиму они прожили в Кумкее, а в начале весны, следуя за призрачным мерцанием, перебрались в Стамбул. Там его ждали громкая слава и успех. Совершенно случайно в Стамбуле он сошёлся с группой молодых художников-модернистов, которым покровительствовал один очень богатый меценат-коллекционер.

После нескольких выставок его картины начали раскупаться за баснословные деньги. Он стал богат и знаменит. Наконец-то мытарства закончились.

Они поселились в шикарных апартаментах в самом престижном районе города, начали вести великосветский образ жизни, ездили в собственном экипаже с кучером и лакеями на закорках, посещали аристократические клубы и собрания.

Но такая жизнь быстро наскучила ему. На первом этаже своих шикарных апартаментов, в огромной гостиной, он устроил мастерскую, где занимался живописью, принимал клиентов и заказчиков, организовывал шумные вечеринки с собратьями по искусству.

Всё это было лишь прелюдией подлинного успеха. Настоящая слава пришла к нему после того, как он опубликовал свой роман. Он опубликовал его на собственные средства отдельным изданием. После этого о нём заговорили критики и искусствоведы, принуждая и Академию искусств сделать официальное признание новоиспечённого классика, что в конечном итоге и произошло. У него сразу же появились последователи, подражатели и ученики.

К ученикам у него было особое отношение. Своих учеников он безмерно любил и всячески опекал. В основном это были молодые, начинающие художники. Они толклись в мастерской с раннего утра до позднего вечера. Двери его мастерской были открыты для всех желающих, а их было немало. Для каждого находилось место в мастерской, каждому уделялось достаточно внимания. Он был отменным учителем. Платы за уроки он ни с кого не брал. Ученики его обожали и боготворили. С отеческой щедростью и великодушием он открывал им секреты своего мастерства и всю свою широчайшую душу.

Лишь об одном он никому никогда не рассказывал — о призрачном мерцании. Это был его самый сокровенный секрет — секрет его вдохновения и таланта. Даже она ничего не знала об этом.

Ежедневные прогулки у моря стали для него теперь жизненной необходимостью и потребностью.

Он ходил к морю на рассвете, когда весь город ещё спал, и приступал к работе только после прогулки. От этого теперь зависело всё: и вдохновение, и настроение, и вся его жизнь. Без призрачного мерцания он больше не мыслил своего существования, ни о чём другом он больше не думал.

И о ней он тоже больше не думал. Словно её и не существовало, словно её и вовсе не было. Вечно занятый самим собой и своим творчеством, он её просто не замечал.

Её влюблённое глухонемое сердце разрывалось на части от обиды и горечи. Но она смиренно прощала ему всё, лишь бы он не бросил её, лишь бы он был рядом. Без него её жизнь не имела бы смысла и значимости. Без него незачем было и жить. Она любила его ещё больше, чем прежде, и от этого только страдала и мучилась. Ничего, кроме мук и страданий, не приносила ей эта любовь и ничего хорошего не предвещала.

В те минуты, когда они были вместе, она считала себя самой счастливой на свете; по крайней мере, ей так казалось. На самом же деле она была глубоко несчастлива. Она предчувствовала близящийся конец и подсознательно уже готовилась к этому.

Он же, окрылённый успехом, купаясь в лучах громкой славы, жил в мире своих творческих иллюзий и наслаждался жизнью в полной мере. Он ничего не предчувствовал и ни к чему не готовился. И особо не задумывался о завтрашнем дне. Он жил днём сегодняшним и был благодарен Господу Богу за каждый прожитый плодотворный день.

И всё же, находясь на вершине славы и имея целое состояние, к деньгам и славе он был совершенно равнодушен. Деньги и славу он воспринимал как должное, как предопределённое и неизбежное признание высокого мастерства и незаурядного таланта, как заслуженную справедливую награду за ежедневный титанический труд, требующий неимовернейших усилий и стараний, как утверждение своей собственной значимости.

Его новый роман ещё не был закончен, но уже, судя по наметившимся сюжетным и идейным направлениям, обещал стать шумной сенсацией. Читательская среда, подогреваемая слухами и жёлтой прессой, как неспокойное море, волновалась в ожидании нового шедевра, тем самым создавая ещё больший ажиотаж вокруг неодиозной фигуры творца и его эпатажного творчества.

Но шедевру так и не суждено было увидеть свет. И мир, как ни странно, ничего не утратил от этого. И ничего не произошло. И Земля не отклонилась от своей орбиты, и океаны и моря не выступили из своих берегов, и небесная твердь не рухнула на наши беспечные головы. Всё осталось на своих местах, как и было до этого многие миллионы лет.

А в его жизни снова началась чёрная полоса. В один прекрасный день призрачное мерцание растворилось в морской синеве и безвозвратно исчезло. Как это бывало и прежде, повинуясь необъяснимому внутреннему влечению, собрав все свои нехитрые пожитки, а их за последнее время накопилось не так уж и мало (часть имущества пришлось распродать, часть—раздарить и раздать знакомым, часть—просто оставить), остальное погрузив на транспортные платформы, интуитивно выбирая маршрут, он двинулся вслед за призрачным мерцанием вдоль юго-западного побережья Мраморного моря по направлению к Дарданеллам.

Она безропотно последовала за ним. Их сопровождали лишь немногочисленная прислуга, в основном занимавшаяся багажом, и несколько самых преданных учеников, не пожелавших расставаться со своим учителем. Переправившись через пролив, они обосновались в Кумкале, неподалёку от холма Гиссарлык, на котором располагалась Троя, некогда открытая Генрихом Шлиманом.

Огромный трёхэтажный особняк, в котором они поселились, построенный из красного лабрадора, своим внушительным видом и торжественным фасадом с множеством портиков, башенок и балконов напоминавший султанский дворец, находился далеко за городом, уединённо возвышаясь над обрывистым скалистым мысом, сильно выступающим в море. Это был райский уголок. С террасы открывался вид на бескрайнюю лазурную плоскость моря, полумесяцем изгибающуюся по линии горизонта. Прямо оттуда, не вставая с удобного кресла-качалки, можно было теперь любоваться призрачным мерцанием в любое время суток.

В старом заброшенном парке, разбитом на склонах окаймлявших холмов, было полно всякого зверья и диковинных птиц. По ночам из парка доносились леденящие душу пронзительные крики павлинов, которых в этой местности обитало превеликое множество.

От самого дома к морю спускалась извилистая крутая тропа, выходившая на широкий песчаный пляж, золотой лентой тянувшийся вдоль всего побережья.

Такого творческого подъёма у него ещё не было. Переполняемый вдохновением и идеями, он всё время проводил в мастерской, занимавшей практически весь третий этаж (там, в смежных комнатах, жили и ученики). В минуты отдыха в одних купальных костюмах, с полотенцами на шее они все вместе ходили купаться и загорать на пляж. А по вечерам устраивали шумные весёлые застолья, неизменной распорядительницей и хозяйкой которых была она.

На фоне творческого подъёма разыгрались, как молодое вино, и вновь вспыхнули угасшие было чувства, обостряя и без того обострённое восприятие творца. Они вносили новые, еле уловимые, но достаточно значимые оттенки в богатую палитру

его воображения и весомо выплёскивались на холсты и бумагу неудержимым потоком красок и слов.

Он не мог не заметить этого, и не оценить, и оставить без должного внимания. Его снова безудержно потянуло к ней. Он снова начал писать её портреты, заставляя её часами просиживать в мастерской, позируя ему и его ученикам. Он снова нуждался в её постоянном присутствии и испытывал дискомфорт и нервозность без неё. Он вёл себя как шестнадцатилетний пацан, влюбившийся в первый раз. Он заваливал её цветами и дорогущими подарками, куражился перед ней, устраивал всякие сумасбродные выходки.

Каждую ночь, когда они оставались одни, одержимый страстью и желанием, он тянул её в постель, чего давно уже не случалось. Но своим правилам он не изменял. После того как она засыпала, он садился за свой роман и работал до самого упора, пока глаза не начинали слипаться, а мысли путаться в голове.

Столь неожиданный поворот в отношениях подействовал на неё весьма благотворно. Окружённая (буквально осаждённая) его слишком уж пристальным чрезмерным вниманием, она расцвела, как майская роза, и казалась ещё более привлекательной, чем прежде. Невозможно было устоять перед таким напором. Болезненные пессимистические настроения покинули её, и она вновь ощутила приятный дурманящий вкус полноценной жизни. Она никогда ещё не была так счастлива, даже в первые дни их знакомства.

«Остановись, мгновенье, ты прекрасно»,—беззвучно воскликнула она как-то, стоя на балконе в его объятиях. Это был неудержимый порыв души и сердца. Он понял по движению немых губ, что она хочет сказать (он давно научился понимать её без лишних жестов), и, словно в унисон ей, заорал во всё горло то же самое, давая свободу безудержному порыву души и сердца.

В Кумкее они прожили всё лето. За это время им было создано и продано порядка тридцати монументальных полотен. Его и без того немалое состояние, исчислявшееся в баснословных суммах, увеличилось в два, а то и в три раза. Роман был практически окончен—оставались последние главы.

Окрылённый взаимными чувствами и вдохновением он строил далеко идущие планы. Ему было мало того признания, которое он получил в Западной Азии. Ему казалось, что он прозябает здесь в глуши и забвении. Он хотел покорить весь мир. Он чувствовал в себе силы победителя, триумфатора. Своё триумфальное шествие он решил начать с Европы, куда докатывались лишь отголоски его великой славы, и оттуда победоносным крестовым походом двинуться на Штаты, альма-матер современной мировой моды и культуры, где его вообще не хотели признавать и считали провинциальным выскочкой.

После этого, покорив весь мир, он собирался вернуться на родину, где планировал основать свою собственную академию искусств, которой, по его глубокому убеждению, суждено было бы стать у истоков возрождения оторванной от родных корней, пропитанной духом западничества национальной культуры. Он грезил о великих свершениях и готовил себя к жертвенному подвигу во благо мирового прогресса.

Но судьбой ему было уготовано совершенно другое. Вместо триумфа, всемирного признания и великих свершений его ожидали бесславный конец и полное забвение. Однажды он просто исчез, бесследно и навсегда, точно в воду канул.

Он был слишком заметной фигурой, чтобы исчезнуть незаметно. Его исчезновение вызвало широчайший и незамедлительный резонанс практически во всех слоях общественности, среди коллекционеров, знатоков и ценителей современного искусства, оживив и без того живой интерес к его творчеству, благодаря чему цены на его картины молниеносно взвинтились ввысь, его романы начали публиковаться колоссальными тиражами. Многие на этом хорошенько погрели руки, сколотив себе целые состояния, после чего интерес к нему резко угас, а со временем и вовсе пропал. Его картины осели в частных коллекциях и больше не появлялись ни на аукционах, ни в экспозиционных галереях, а его романы можно было встретить разве что на полках букинистических лавок. По прошествии нескольких лет о нём вообще забыли, словно его и не было никогда.

Всё это время она ждала его и верила, что он обязательно к ней вернётся. Первые дни после его исчезновения она была в замешательстве. Замешательство сменилось полной растерянностью и отчаянием. Прислуга и ученики, сами будучи в замешательстве и растерянности, как могли пытались утешить её и поддержать, но этим только раздражали её и бесили ещё больше. Она никого не хотела видеть, все ей были противны. Обстановка в доме складывалась напряжённая. Она была на грани нервного срыва. Отчаяние и бессилие что-либо сделать—найти его, разыскать—сводили её с ума. Дурные мысли не покидали её ни на минуту. Присутствие посторонних тяготило её. Чувствуя это и видя (она не скрывала своего раздражения и неприязни к ним), ученики один за другим разъехались по домам. Следом за ними разъехалась и прислуга. И она осталась одна в огромном трёхэтажном особняке. Это принесло ей некоторое облегчение и временное спокойствие.

Нервное напряжение, в котором она пребывала всё последнее время, давало о себе знать. Она была подавлена и угнетена. За несколько дней из молодой, полнокровной, жизнерадостной красавицы она превратилась в сломленную горем, не по годам постаревшую, убогую, несчастную женщину.

Серой безжизненной тенью бесцельно блуждала она по дому и в окрестностях парка, не находя себе места. Каждый день она взбиралась на высокий восьмидесятиметровый утёс и оттуда часами (бывало, что и до позднего вечера) наблюдала за бескрайним морским простором. Она устремляла свой взор вдаль, к линии горизонта, напряжённо вглядываясь в колышущуюся синеву моря, сливающуюся с густой небесной акварелью, словно силясь заглянуть за эту непроницаемую ограничивающую черту, предательски скрывающую от неё его след.

Если бы она только знала, где он и куда направляется, не раздумывая, отправилась бы за ним, разыскала бы его и всеми правдами и неправдами вернула бы назад. Но, к сожалению, как и подавляющее большинство обычных людей, она не обладала экстрасенсорными способностями ясновидения. Сердцем чувствуя, что он обязательно к ней вернётся, она решила ждать его, сколько бы ни пришлось, чего бы ей это ни стоило. Она была сильной женщиной с недюжинной волей и терпением. Она готова была ждать его хоть всю жизнь.

Временное спокойствие и кажущееся облегчение вернули ей прежнюю твёрдость и уверенность в себе. Но ненадолго. Она не смогла справиться с собой. Одиночество и дурные мысли доводили её до исступления, нервы и переживания окончательно подорвали её здоровье. Она стала быстро угасать и, в конце концов, не выдержала.

Не покидавшая её ни на минуту мысль о его возвращении со временем превратилась в навязчивую болезненную идею, всецело овладела ею и помутила её рассудок. У неё начались галлюцинации и видения. Дошло до того, что видения не прекращались сутками, путая умопомрачающий вымысел с действительностью. В такие моменты она полностью теряла ориентацию в пространстве и времени, утрачивала контроль над собой и не отдавала себе отчёта. Когда же к ней ненадолго возвращался рассудок, она с ужасом в сердце осознавала всю безысходность своего плачевного положения, но ничего с этим поделать не могла. А рядом, как назло, не было никого, кто бы мог помочь и поддержать её. Вообще-то ей никто и не нужен был, кроме него. Только он один мог помочь. Как ей не хватало его тогда! Если бы он только знал об этом.

Последние дни она была на пределе. Психическое расстройство сломило её железную волю, подавив сознание и подчинив себе все её мысли. Она чувствовала, что конец близок, и с покорностью приговорённого спокойно ждала его. В один миг все ощущения как-то притупились, и ею овладело убаюкивающее, укачивающее меланхолическое безразличие. О нём она практически больше не думала. Он её больше не заботил. Её вообще больше ничего не заботило. Она пребывала в приятной умиротворённой полудрёме. Когда последние силы покинули её, она слегла, но даже не заметила этого, настолько притуплён был её помутившийся разум. У неё началась длительная вялотекущая агония. Она погрузилась в предсмертное коматозное состояние и уже больше не приходила в себя.

Но перед смертью к ней всё же ненадолго вернулось сознание. Она с трудом приоткрыла глаза, и её ослепило яркое восходящее утреннее солнце. Она вдохнула полной грудью проникающий сквозь приоткрытые створки окон холодный влажный ноябрьский воздух, наполненный едкими запахами моря. До ушей доносились отдалённый шум прибоя и крики голодных чаек. Поёживаясь и жмурясь от нестерпимого солнца, она долго соображала, где она и что с ней произошло. К ней понемногу начала возвращаться память. И тут она вспомнила о нём. И её точно громом шарахнуло. Нахлынули воспоминания, обжигая жаром оживших чувств и переживаний. Появилось смутное необъяснимое ощущение, что он где-то здесь, где-то рядом, где-то совсем близко.

Подчиняясь внутреннему порыву, она вскочила с постели и выбежала в гостиную. Но там его не было. Она обошла весь дом, заглядывая во все комнаты. Но дом был пуст. Она вышла на террасу, осмотрела парк, но и там никого не было. Из парка она направилась к морю. Ощущение того, что он где-то рядом, не покидало её. Напротив, оно росло и придавало ей сил.

Неспокойное ноябрьское море пенилось и рокотало. С моря веяло морозным холодом. Она вся продрогла и куталась в тонкую шерстяную кофту, которая была на ней, но это её не спасало от холода. Впереди возвышался огромный восьмидесятиметровый утёс.

По вырубленной в скалистом склоне крутой извилистой лестнице она поднялась на смотровую площадку, расположенную на самой вершине утёса. Отсюда открывалась бескрайняя панорама неспокойного морского простора. Она подошла к обрывистому краю площадки и заглянула вниз. Внизу бушевала стихия. Резкий приступ тошноты и головокружения заставил её отшатнуться и отступить назад. В чистом, прозрачном, как стекло, небе, почти над самой головой, холодным серебром искрилось солнце. Шторм усиливался. Огромные волны разбивались о каменный остов утёса, безжалостно сотрясая его так, что мурашки пробегали по коже.

Она не знала, что делать. Она была в полном замешательстве. Силы покинули её. Дрожа всем телом, заслоняясь рукой от обжигающих порывов ледяного ветра, она опустилась на камни и зарыдала. Немые слёзы бессилия душили её. Это был конец.

Погода начала портиться. Небо заволокло серыми клубящимися тяжёлыми тучами. Пошёл дождь. Но она даже не шелохнулась.

Крупные холодные капли стальными иглами впивались в кожу. Ветер хлестал по лицу и срывал одежду. Внизу глухо рокотало разбушевавшееся море, раз за разом яростно обрушиваясь на берег многотонным прибоем. Утёс ходил ходуном, и, казалось, вот-вот рухнет в морскую пучину. Дождь не прекращался весь день.

До позднего вечера она просидела на утёсе, промокшая и окоченевшая, рыдая взахлёб, не в силах удержать слёз. А когда сумерки сгустились так, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно, лишь слышен был нескончаемый рёв штормового моря, время от времени освещаемого ослепительными вспышками молний, у неё началась истерика. Она вдруг ясно поняла и осознала, что ничего сверхъестественного уже не произойдёт, и он не вернётся к ней, и они никогда больше не будут вместе, и нечего ждать его и тешить себя напрасными надеждами. Она вытерла слёзы мокрым рукавом и поднялась с камней. Да, это был конец. Жизнь окончательно утратила свой смысл. Не чувствуя ног, она решительно шагнула в темноту, направляясь к краю пропасти. Но в последний момент, когда оставалось сделать заключительный шаг, она вдруг вспомнила о муже и сыне, которых не видела вот уже больше двух лет, и остановилась.

Воспоминания тёплой волной нахлынули на неё, обжигая сознание и согревая всё тело изнутри. В памяти ожили давно забытые лица. Перед глазами вспыхнул тёплый домашний очаг, запыхтел чайник на плите. И вдруг ей стало как-то неуютно и одиноко на этом голом скалистом утёсе. И её, точно магнитом, потянуло туда, к ним, домой.

Не раздумывая, она бросилась к лестнице, спустилась с утёса, вернулась в дом, чтобы переодеться и взять кредитку с деньгами, позвонила на вокзал, забронировала одно место на вечерний поезд до Стамбула и заказала такси.

На вокзал она прибыла незадолго до отправления. За щедрые чаевые носильщики помогли ей погрузить багаж и сесть в вагон. Поезд отправился строго по расписанию, и она навсегда покинула Кумкале.

В это время по северной дороге под проливным дождём, в драном грязном рубище, с огромной дорожной сумкой через плечо и тубусом в огрубевших заскорузлых руках, заросший и давно не бритый, изменившийся до неузнаваемости, изнеможённый долгими скитаниями и мытарствами, он входил в Кумкале. Было уже совсем поздно. Город казался вымершим. Он прошёл по пустынным обезлюдевшим улицам, на которых не встретил ни единой живой души, и, не задерживаясь в городе ни на минуту, по южной дороге направился к особняку, туда, где жил всё последнее время до своего бегства, туда, где бросил её.

Когда он добрался на место, было уже глубоко за полночь. Ни в одном окне не горел свет. Дом был погружён в ночной полумрак. Он долго стучал и трезвонил, но никто не ответил. Дверь оказалась незапертой, и он вошёл в дом. В доме никого не было. Дом был пуст. Не очень-то заботясь по этому поводу, он перекусил тем, что нашёл в холодильнике, и, скинув мокрые лохмотья, завалился спать, убаюкиваемый барабанящим по окнам дождём.

С первыми лучами рассвета он встал с постели и поспешил на террасу. С террасы открывалась впечатляющая панорама штормового моря. До ушей доносился оглушительный рёв прибоя. Тяжёлое свинцовое небо, нависавшее над самой головой, казалось, вот-вот обрушится и раздавит всё живое под собой. Ледяное дыхание моря острыми иглами впивалось в кожу, судорогами пробегая по всему телу.

Он стал всматриваться в штормовой горизонт, но ничего, кроме бушующих волн и низких клубящихся облаков, он не видел. Он был в полном отчаянии. Грубо выругавшись, он вернулся в дом, достал из своей дорожной сумки рукопись, пробежал глазами последние строки, предельно сосредотачиваясь на прочитанном, заставляя работать мысль. Но мысль не работала. Это был конец.

Он больше не мог вынести эту невыносимую муку. С тех пор, вот уже больше года, как он покинул Кумкале, он не написал ни одной строчки, не создал ни одного полотна. Да, это был конец.

Не раздумывая, он выхватил из сумки огромный охотничий африканский скинер с каплевидным шероховатым дамасским клинком серого оттенка, имеющим фальшлезвие на скосе обуха и острый крючок для вспарывания брюшины, и, крепко сжимая клёпаную берестяную рукоять, резким движением решительно направил его взлетающим остриём себе в горло. Но в последний момент, когда оставалось сделать завершающее усилие, его рука дрогнула, и он замешкался. Ему показалось, что где-то вдалеке, среди бушующих волн, мелькнул слабый, еле заметный отблеск. Он выпустил из рук скинер, схватил сумку и тубус и устремился на террасу.

По самому краю горизонта, рассекая огненным хвостом чёрные волны, скользило призрачное мерцание и ускользало вдаль, бесследно рассеиваясь в штормовой пелене. Повинуясь гипнотическому влечению, он бросился за ним. По тропе он быстро спустился на пляж и, увязая в мокром рыхлом песке, стараясь не упускать из виду призрачное мерцание, побежал вдоль полосы прибоя.

Вдруг на некоторое время мерцание замерло, озаряя всё вокруг слабым, еле заметным струящимся светом. Возбуждённый и взбудораженный, он тоже замер, не в силах оторвать глаз от чарующего мерцания. Мягкий полупрозрачный свет мерцания согревал изнутри и вдохновлял. Руки сами потянулись к рукописи. Но в тот же миг мерцание, точно гаснущая звезда, вспыхнуло

и погрузилось в пучину бушующей стихии. Раненым зверем он заметался по пляжу, яростно рассекая кулаками холодный воздух. Он долго бесновался, но мерцание так и не вынырнуло из морской пучины. Да, это был конец.

Впереди возвышался огромный восьмидесятиметровый утёс, к вершине которого вела вырубленная в скалистом склоне отвесная лестница.

Вот и всё, это конец, подумал он и обречённо шагнул на ступени.

Анатолий Вершинский

Многих тысяч дней и ночей!

В 1981 году я навсегда уехал из Красноярска, но связи с родным краем не порывал. Приезжал к родителям (а после их смерти — к могилкам), навещал родственников и друзей. Пока выходил альманах «Енисей», печатался в нём. Сергей Задереев, тогдашний главред «Енисея», всё хотел свозить меня в Овсянку, познакомить с Виктором Петровичем Астафьевым. Но я так и не решился на эту встречу. И побывал на родине знаменитого земляка уже после его кончины.

Цикл стихов, написанных в 2004 году под впечатлением гостевания в Овсянке, я послал по электронной почте на адрес Романа Солнцева, который вёл в то время «День и ночь». И немедленно получил ответ! Моё письмо к нему не сохранилось (часть компьютерного архива безвозвратно пропала на «посыпавшемся» жёстком диске), но ответ Романа Харисовича и фрагменты нашей последующей переписки чудом уцелели. Вот отрывок из первого его письма: «Уважаемый Анатолий, Ваши стихи я ставлю на открытие №9–10 журнала „День и ночь“… Рад, что Вы живы-здоровы. В этой сутолоке давно не слышали о Вас. Роман Солнцев. 27 октября».

Разумеется, я тотчас откликнулся, поблагодарил за обещанную публикацию, задал какие-то уточняющие вопросы. И на следующий день получил второе письмо: «…Номер мы сдаём числа 20 ноября — выйдет он к 15 декабря. Мы Вам вышлем пару номеров (или, если родственники заглянут в редакцию, передадим эти номера им). К сожалению, нынче мы работаем в странных обстоятельствах: отдаём почти весь тираж в библиотеки Сибири и России, и можем авторам ещё дарить экземпляры, а вот в киоски на продажу, как прежде, не можем для вольных читателей отдавать (а мы отдавали по копеечной цене, понимая, что денег у народа нету) — в таком случае мы будем приравнены к коммерческим предприятиям и должны будем платить большие налоги. Мы Вам вышлем на днях последний на сегодняшний день номер (№7–8). Ваш будет №9–10 (ноябрь). Стихи Вы по-прежнему пишете хорошие, чистые. Я надеюсь, что позже напечатаем и просто свободную подборку… С поклоном из Сибири Роман Солнцев. 28 октября».

Вот так я начал печататься в журнале «День и ночь».

В 2007 году Роман Харисович скончался, и у редакционного руля встала Марина Олеговна Саввиных. Оказалось, она тоже меня помнила — по публикациям в периодике, по первым книжкам…

Зачем я, рядовой автор, каких сотни, все эти подробности вспоминаю? Не затем, чтобы похвастаться: вот, мол, какой я хороший стихотворец. А затем, чтобы поделиться своей уверенностью: с таким же вниманием «День и ночь», в лице своего руководства, в лице всех сотрудников редакции, относился и относится ко всем авторам. И авторы платят журналу тем же. Оттого и хорошеет он год от года, несмотря на финансовые и прочие трудности.

А теперь — время для тоста. Ведь юбиляра чествуем!

Пусть долгие годы живёт и процветает красноярский, российский, международный журнал «День и ночь», пусть прекрасная Шахразада изящной словесности ещё многие тысячи дней и ночей рассказывает свои поучительные истории, смягчая жестокосердный нрав очередного Шахрияра — общества потребления.

Слишком витиевато? Так на то и тост.

Анатолий Вершинский, Москва

Лилия Газизова

Я узнаю эту ночь

● ● ●

Е. И.

Ты говоришь,
Что не хочешь писать сценарии
К сериалам,
А хочешь уехать далеко
В маленький город
И писать стихи.

Вижу тебя,
Неторопливо идущую по улице
Малоэтажных домов.
Ты наслаждаешься тем,
Что никуда не спешишь.
Ты идёшь
На концерт большого оркестра,
Приехавшего сюда на гастроли.

Будут играть Брамса.
Я знаю,
Что ты любишь
Другую музыку,
Но мне захотелось,
Чтобы ты слушала Брамса.
Ты сядешь
В одном из задних рядов
И закроешь глаза.
С первых же тактов
Ты будешь счастлива…

…По дороге в гостиницу
Тебе на мгновенье
Захочется остаться в этом городе,
Но, справившись с собой,
Ты начнёшь деловито собирать чемодан.
Скоро твой поезд
В обратную жизнь.
И тебе не захочется
Опоздать на него…

● ● ●

На окна повесили
Красную сетку
От комаров.
Утреннее и дневное небо
Теперь всегда вечернее.
Теперь всегда закат.

Жалость ко мне

Странные были глаза
У поварихи
Одного книжного издательства,
Куда я зашла пообедать.
«Дюймовочка,—сказала она,—
Возьми котлетку!»
Я весила сорок четыре килограмма.
Вокруг все говорили:
«Какая ты хрупкая—
Как девочка!»
Мне было двадцать лет.
И я привыкла к восхищению.

В глазах поварихи
Одного книжного издательства
Была самая настоящая жалость,
Точно у матери
К больному ребёнку.

Жёлтый цветок

Я жёлтый закрытый цветок,
Не обязательно роза.
Скорей, одуванчик,
Что после заката
Желтизну свою прячет.

Дышать приходится тем, что есть:
Обрывками слов и снов,
Междометьями взглядов,
Распутицей бессознательного.

Правда, закатному цветку
Почти нечего терять—
Кроме жизни
Короткой и жёлтой.

● ● ●

Я узнаю эту ночь
По походке.
Она придёт неожиданно,
Как приходишь ты,
Размывая границы предметов,
И без того размытые
Моей близорукостью.

Знаки

Люблю день прошедший
Не за то, что прошёл.
За те знаки, что он расставил,
А я разгадать не успела.

Знаю, напомнят они о себе
Паутинкой, сверкнувшей на небе,
Или звуком упавшего яблока.

А может, проснусь
С чувством тревожным?
Кто знает…

Буа

Еду в Буа.
Не в предместье Парижа
И не в обитель печали русской.
В Буа, татарскую провинцию,
Родину отца моего.
Там разыщу своё детство.

• • •

Мне нравилось,
Когда поэт Марк Зарецкий
Курил мои сигареты с ментолом.
Говорил, от них легче дышать.

Приятно было,
Что дарственную надпись
На моей первой книге—
«Поэту. Человеку. Мэтру»—
Он с удовольствием
Показывал многим…

Нет больше Марка Давидовича.
Время другое.
Радуюсь реже.
Сигареты курю
Без ментола.
Да и надписи
Стали другие.

Михаил Горевич

Не разорвутся связующие нити!

Когда юбиляр—человек, то ты поздравляешь его с этим приятным событием и желаешь здоровья и долгих лет жизни, новых откровений и творческих удач. Меняется ли нечто, когда юбилей у журнала? В общем-то, нет. Потому что настоящий литературный журнал близок и дорог своим читателям, иногда он почти «член семьи», друг, который приходит в дом—каждый раз всё тот же, под тем же названием, со сходным нарядным оформлением. И одновременно каждый раз таинственный: что же там под обложкой, какие подарки он принёс вам на этот раз?..

Моему самому любимому журналу «День и ночь» 20 лет. Прекрасная, «юная» дата и возраст, когда у журнала уже сложился свой особенный характер. А он, на самом деле,—особенный, такой, что «День и ночь» не спутаешь ни с одним другим изданием. Даже больше скажу, «по секрету»: ни один толстый столичный журнал не приближается сегодня к «ДиН»-у по литературному уровню, умению выбрать авторов согласно их таланту, а не табели о рангах. И вместе с тем это региональный журнал, близкий настоящим проблемам России в её трудные времена. Мне кажется, что такое соединение сейчас спасительно—иначе порвутся «связующие нити языка», а вслед за этим может быть разорвана на части и сама страна. И то, что «ДиН» существенен в решении такой высокой задачи, конечно же, заслуга редакции, и в первую очередь—фантастического главного редактора, Марины Олеговны Саввиных.

Я благодарен журналу за то, что он счёл мои работы достойными своих страниц, за недавнее издание романа «Венецианец», написанного мною в соавторстве, в качестве приложения «ДиН-роман», за радость ожидания каждого номера. Долгих лет жизни журналу! Виват!

Михаил Горевич (Москва)

Константин Потапов

Одиночество в Сети

Кассетное

В чьём-то детстве порвётся кассетная нить,
хлопнет форточкой, звякнет фарфором с комода…
В надоевший июль въедет лепетом спиц
нежный август две тысячи стёртого года.

Те веранды и кухни—всё сдвинется с мест.
Пианино, начав, нерешительно смолкнет.
И вся жизнь разлетится одной SMS
дробью бусин, ракушек, магнитиков с моря.

Вот и ты. Застрелившийся в профиль с руки.
Чуть не в фокусе. Молод. Летящие брызги.
Восемь, девять, щелчок и шипенье. Гудки.
«Добрый день. Я звоню из непрожитой жизни».

Из не спевшихся песен, не обнятых плеч,
позабывшихся дат, неотправленных писем,
западающих клавиш, сорвавшихся встреч
разлетится по карте сверкающий бисер.

Нет, нельзя. Нет, нельзя дать забытых имён
нашим дням, нашим прожитым в прошлом поездкам.
Нет, не смей. Пусть не август. Пусть солнечным днём
не порвётся в прошедшем кассетная леска.

Нет, не дай мне любви и разлуки, не дай
мне такое несчастье, случайность, нелепость:
в снегопаде пытливо разглядывать даль,
веря в Бога, любимых, последний троллейбус.

Лучше просто сквозь парк, позабыв обо всех,
подчиняясь законам не логик, но лирик.
Этот вой захлебнувшихся в плёнке кассет—
верно, самая лучшая музыка в мире!

И парад фонарей не признает мой лик,
и не звякнет в карманах привычная мелочь.
В моём детстве отныне никто не болит:
«Добрый день, я всё тот же смеющийся неуч».

Добежать до деревьев на той стороне.
Оглянувшись украдкой, погибших застукать.
Этот город, затихший на вдохе, втройне
станет ближе и больше с последней разлукой.

В добрый путь. До вокзала. На поезд к шести.
Не тревожь в гамаках задремавшее лето.
Пусть за всех уходящих в ветвях шелестит
нашим прерванным детством кассетная лента.

Одиночество в Сети

Дорогая, хотел написать давно, но не было марки.
Таланта. Повода. Провода за горизонт.
Я живу всё там же, первый от арки,
но знакомого мало отыщет твой взор.
Человечество—очередь в супермаркет,
что обсуждает новый сезон.

Дорогая, места наших любовей зарастают вай-фаем,
из старых знакомых ни одного вообще.
Из людей всё больше подростков. Они не скрывают
превосходство вещей. Превосходство вещей
стало залогом общего блага.
Те, кто не хочет его разделить,—
ошибка в системе, подобие бага.
Я и сам не прочь бы щёлкнуть delete,

но нет таких клавиш вне всяких раскладок,
и каждый мой выдох—в вечный он-лайн.
И тенор в опере больше не сладок,
так как не может жахнуть «прощай»,
а только бессчётные «до свиданья»,
не в силах более вырваться из.
Точнейшей теорией мирозданья
отныне становиться чей-то плейлист.
Ты в плюсе, так как совсем не седая,
если листать фотографии вниз.

Дорогая, отвернись к стене и спи, просто спи.
Где-то за стенкой скрипят рессоры,
множа он-лайн или просто СПИД.
Мир состоит из каких-то спин,
мелочи, логинов, прочего сора,
но стихи не растут. Без USB
я раньше был счастлив, слушая соло,
или когда солист группы «Сплин»
мне подпевал на каждое слово.

В данном безверье не знаю, что гаже:
быть динозавром иль выйти сухим
из Стикса опять. Ну не с нашим же стажем
забвенья лабать этим хипстерам хит?
Дорогая, для них я обычный гаджет,
что пишет рассказы, песни, стихи,
причём устаревшей модели настолько,
что впору примерить к слуху «Adios».
И если б не сотня таких же осколков,
что любит рифмованное нытьё
в моём исполненье, то я бы вышел
из всех сетевых, закрывая чат.
И слава, что воя такого не слышит
никто, кроме этих забытых волчат.

Встало у горла застрявшим лифтом,
так что сидеть да тыкать «Reset».
О поколенье бесцельных кликов,
надкусанных яблок и прочий десерт.
Кончиком пальцев запутались в липком.
Стыдно сказать—Глобальная сеть.
Где-то за стенкой скрипят рессоры,
множа он-лайн или просто СПИД.
Их отличает мышленье в сто сорок
символов, чтоб помещалось в твит.

Дорогая, ты знаешь, что я тебя выдумал
из лучших припевов, фильмов, цитат.
Так нужно. Если становишься идолом,
то забываешь родной адресат.
А я всё надеюсь, что будешь мне выдана,
вылезешь первой же ссылкой на сайт.

Дорогая, прости, но аккаунт угнан,
не отвечает, заклинило нерв.
От нашей эпохи не угли, но угги.
Души погибших ушли в Интернет.
Имя твоё отсутствует в «Google».
Значит, тебя не было, нет.

● ● ●

Ладно, пускай, хорошо.
Короткая стрижка. Кольцо на большом.
Взгляд птичий умён, невинен.
Главный вопрос навсегда решён:
если самум в её жизнь пришёл —
искренне верить в ливень.
Такие растут из джинсовых шорт:
смотри, как легко опрокинула шот.
Так жизнь твою опрокинет.

В глазах её Нил.
Ты вежлив, мил,
с берега смотришь на волны.
Шагнёшь — и влипнешь. Это не ил —
в горле рекой — горячий винил.
Не то чтоб в ней много подводных
Течений — скорей, дрейфующих мин:
из клавиш лепишь взорванный мир,
разбросанный файлами ворда.

Характер дурной,
двойной, дрянной.
Волной бросает в осадок.
Если ты с миром, она — с войной.
Из песни любимой — мотив иной,
бонус с забытых бисайдов.
А если с ковчегом — ковчег на дно,
по берегу бродишь — спасённый Ной —
средь груды убитых касаток.

А если всё так,
пусть пекло рта
раскрашено самым алым,
но ей от тебя — вообще ни черта,
и просто отныне такую считай
воплощением нежного ада.
А если она совсем мечта,
запомни её в самых общих чертах:
чтоб знать наизусть каждый атом.

Дирижёр

Зал полон. Сжат в точку. В монокль. В зрачок.
И вдох затаили пред выдохом горны.
Смотрите! застыл поднесённый смычок
к скрипичным, натянутым в ужасе горлам…
Секунда — и взрыв. Захлебнутся в аккордах.
Пойдёт из артерий и вен, горячо!
Из самых предсердий, из вскрытой аорты!..
Но медлит. Все взгляды на нём. Обречён.

И тронул тихонько. С опаской. Легко.
Повёл чьим-то детством, в обход, берегами…
Чуть слышно. На пальцах. За хрупкой рукой —
все, полными слёз, не дыша, не моргая…
И вдруг разревелась громада орга́на!
И грянуло. Ливнем. Потоком. Рекой.
Взметнулось страницей. Смелей. Ураганом.
И руки в мольбе: успокой! Упокой!

Но нет. Не сдержать. Слишком долго держал
в себе тишину одичавший оркестр.
Теперь — лихорадкой, в испарину, в жар!
И воздуха мало, и звука, и места.
И только погибнуть. И пасть. И воскреснуть.
Зал вымер. Зал сжался до точки. Зал вжат
во взмокшую спинку притихшего кресла:
Спаси! Успокой! Ведь неужто не жаль?..

Но нет. Не спастись. Море требует жертв.
Лицо ошалевшей от скрипа скрипачки.
Смотрите! упавший изломанный жест.
И фрак его в брызгах бемольных испачкан
до локтя! Смотрите! Он сдался. Он прячет
изящных виновниц за кругом манжет.
Расстрелянный залпом разверзнутых жерл,
склонённый пред музыкой вдвое, он… плачет.

Александра Закирова

Чеховские декорации

* * *

Когда мы, наконец, состаримся, друг мой Вэл,
Станем чинно разгуливать в сладком дыму акаций;
И ажур наших шляпок будет стерильно бел—
Две живые и тёплые чеховские декорации;

Когда нас разведёт по углам и опять схлестнёт,
И остынет, и станет новой литературой
(И ещё через время)—поймётся тогда, что рот
И язык его—это дар рода «на смех курам»;

Что стихи есть болезнь и пожизненное ярмо,
Их не пожелаешь ни другу, ни даже шефу,
Что они не окошко, а сломанное трюмо—
Отражение, фикция, неутомимый блеф;

Что в активе у нас лишь один только завтрашний прах
И что хвастать нужно совсем не хорошим слогом,
А умением отжиматься на кулачках
(В наши годы-то!)
И шарлоткой ещё (немного).

Так поди же попляши

муравей муравей что за сволочь тебя кроила
почему ты такое безжалостное горнило
почему без тебя ей сразу приходят вилы
прямо здесь под большим и красивым её кустом

как готовила дом как стол тебе собирала
яркой радугой перекрашивала забрало
только только
только только
этого мало
погляди как последний взрывается вальс бостон

у зимы нет глаз и холодные злые пальцы
вот приходит зима под протяжный напев нанайца
вот зима крошит лапки сяжки надкрылья
зайцем
не проехать в июнь никуда не приводят мечты

стрекоза не сшила ни шубки ни спасжилета
у неё ни припасов ни совести ни ответа
но придёт когда-нибудь лето огромное лето
и тогда муравей
ну с кем же попляшешь ты

● ● ●

Это гнев—одноглазый ротвейлер, жестокий пёс,
Разевающий реверберирующую пасть.
Он тебя впечатает тушей в гравий и грязь,
Чтобы после ты встал каменюкою в полный рост.

Это ревность, солёная, как пошехонский сыр,
Кровожадная, как молодой африканский царь,
Обвивающая твою грудь краснорылая тварь,
Оставляющая по себе цепи чёрных дыр.

Это ярость—копытом грохочущий бык-голштин,
Это страх, неуют, дискомфорт и нехватка снов;
Это плохо, чудовищно, невыносимо, но—
Это лучше болота.
Лучше, чем полный штиль.

● ● ●

Быть добычей чьей-то, заботой, забавой, отравой—
не твоё, а твоё—укладываться на правый
и недвижно слушать, как увещевает картавый
голос: как хорошо проснуться-де одному.
Что бы ты ни чирикала и чего б ни умела,
не тебя целуют отчаянно под омелой;
если что и есть, что ты бы сейчас посмела,
то—пожалуйста: в одеяло уткнуть корму.
Чем отвратнее зелье, тем сновиденья слаще,
нос в сплошном табаке, лоб сметаною щедро умащен;
в молоко попадаешь, и чем попадания чаще,
тем дороже тебе вернувшийся бумеранг.
Погляди, как красиво влетает он прямо в руки,
отсекает пальцы, и сыплются вниз со стуком;
если ради чего и есть перемалывать муки,
то, пожалуй что,
ради памятных этих
ран.

Арматура

Я вернулась в город, что бьёт меня по щекам,
приводя в шестое, забытое было, чувство,—
чтобы вспомнила, как это: воюще, гулко, пусто,
чтобы стопы в балетках не чувствовали песка.

Как он всаживает в уши звон, а в глаза—салют,
как роняет на землю уверенною подсечкой;
неразумно, недобро и, уж конечно, невечно,
но такое правило здесь: если любят—бьют.

Я несу его дар арматуриною в груди:
глубоко засевшей, шипастою, раскалённой.
Он ласкает меня асфальтом, стеклом, бетоном
и на всех переходах подталкивает:
«Иди».

Сергей Николаев
Лес болит

● ● ●

Как набросок беглый редактируешь долго-долго,
так и дворником нужно работать годами, чтобы
ощутить возможную грозную близость Бога,—
ты очистил землю от мусора, пыли, злобы,
от своей гордыни. И значит, на мир без боли
ты спокойно смотришь: мир не хорош, но дворник
может всё изменить—на лёд набросает соли,
на скамейке оставит бомжу заводной джин-тоник,
деревянной лопатой снежные сложит кучи,
вытрет потную шею и скажет себе: «Ну что же,
ты, как мог, потрудился». Мчатся по небу тучи,
опирается крепко на обе ноги прохожий.

● ● ●

Тёплый ветер. Вечерние розовые облака.
Словно тени на шёлке, качаются камыши.
Меж холмов извивается задумчивая река.
Так живи, так думай, так на земле дыши.

После будет совсем другая, наверно, боль
и другая радость: искал—не нашёл нигде.
Звон цикады, песок на губах и речная соль,
и бегут круги по тёмной живой воде.

Поплывёшь, забудешь, всё потеряешь,—нет,
улетишь на крыльях в доверчивый небосвод.
Ветер листья ласкает, горний струится свет.
Человек уходит, и птица в кустах поёт.

● ● ●

У дороги штабеля бесхозных брёвен,
склон холма усеян густо валунами,
и один, замшелый, страшен и огромен,
неприкаянный, здесь брошен ледниками.

Не за нами ли охоту, ах, родная,
он устроил—дожидается мгновенья,
чтобы ринуться навстречу, подминая
зазевавшиеся, сонные растенья.

Серый снег лежит под соснами тугими,
ручейки в лапту весеннюю играют,
и вершины свой монашеский прокимен
без конца глухому небу повторяют.

● ● ●

Лес болит, укрытый небом,
полный снов необъяснимых.
Сосны, в сумерки обуты,
на ногах застыли длинных.

Нет, не просто снег вечерний,
а зимы наряд тяжёлый.
Никого уже не видно
в чаще дремлющей за школой.

А с утра там пили водку,
в банки били из винтовки,
хохотали, как безумцы,
ради лесозаготовки.

Лес болит, стоящий смирно,
полный сумерек и страха,
и лежит на всём метельный
снегового свиток праха.

● ● ●

Платформа «Ленинский проспект»—
садишься в электричку.
Там подозрительный субъект
бульварную «клубничку»

распродаёт по пятьдесят,
и едет без опаски
рабочий дремлющий десант
на дачные участки.

А ты сидишь, дурак, изгой,
читаешь Пастернака.
Нет, ты—не Пушкин, ты—другой.
Но кто-то пнул, однако,

твой тощий синий рюкзачок.
Смотри, почти Рамсеса
ровесник—бойкий старичок:
—Как барин, ишь, расселся!

В тисках зажатый, как строка,
сопишь: «…без проволочек
и тает, тает ночь, пока
над спящим миром лётчик…»

● ● ●

С трудом чемодан и коробки
в плацкартную пыль распихали.
Вагон, вроде парусной лодки,—
ура!.. наконец!.. хали-гали!—
поплыл в темноту потихоньку.
Качало перроны и стрелки,
а ты объясняла ребёнку
казашки, что в Питере белки,
что там на заливе «Ракета»,
что лучший на свете, безбедный
тот город на Севере где-то,
чудесный, морской, заповедный…

Из чёрного злого металла,
над нами, на полке багажной,
коляска сквозь ночь громыхала
подножкой разболтанной страшной…

● ● ●

Побрякушки, носки, сковородки
продают у метро. Приглядись:
жизнь проходит—у смерти короткий
разговор и алмазная высь.

Бесконечно далёкая птица
Лебедь, Рыбы, Змея, Скорпион…
Люди спорят, хотят прицениться,
пьют, едят, и пищит телефон.

Молодуха в киоске с цветами
подсчитает свои барыши…
Вот и всё… Только высь между нами!
Не толкайся, не плачь, не дыши!

● ● ●

В посёлке лесном Петтеярви,
где щебня вагоны стоят,
платформа в сосновой оправе
и домики частные в ряд.
Там любят, конечно, кого-то
и грядки копают с утра.
Прекрасная, в общем, работа,
но спят в гараже трактора.

И некому выйти на поле,
где вырос бурьян до плеча.
А жизнь (полоумная, что ли?),
с горла у сельмага хлеща,
не знает ни дна, ни покрышки,
фольгой серебристой сырок
покрытый подсунув мальчишке:
—Покушай «Орбиту», сынок!..

● ● ●

Жить нельзя, но почему-то надо—
надо воздух родины вдыхать,
поле неродящее пахать
тяжко, безвозмездно… А награда…

Впрочем, я не знаю, что такое
предложить… Возможно, не могу
ничего… Свирепую пургу
где-нибудь в ночном Металлострое.

● ● ●

Мне любой привяжите бантик,
жить на родине—дело чести.
Кто-то скажет: «Да ты романтик!»
«Мазохистом» другой окрестит.

Человеку совсем не хлеба
надо, но синевы и света.
Я врастаю корнями в небо
на несчастной земле вот этой.

Здесь дожди навсегда отвесны,
сосны звонкие вертикальны.
Здесь унылы, как вьюги, песни,
и глаза у людей печальны.

Тем узорчатый выше терем,
чем наглее хозяев сила.
Только здесь мне даны по вере:
мир, и женщина, и могила.

● ● ●

Села на холод под форточкой—
это тебе не Тифлис.
Красной акриловой кофточкой
ты, наконец, утеплись.

Скоро завоет, закружится
мутная зимняя мгла.
Сердце сожмётся от ужаса,
тень поползёт из угла.

Скверная, скользкая, длинная,
грозно обнимет тебя.
Но не сдавайся, любимая,
скомканный чек теребя.

Есть у нас чай с макаронами
и рафинад кусковой.
Кто-то же светит огромными
звёздами над головой!

Сергей Цветков

Вернись мне

После дневного ливня

Голуби греются в луже, как японские обезьяны.
Город делает выдох после дневного ливня.
Всплески дорог смывают прохожих волнами океана.
Небо подчёркнуто горизонтом, словно у гейши линия
делает длиньше глаз. Домá словно в рисовом поле
словами растут, подражая японской манере письма.
Чёрной ниндзей тянутся по красной от крови кровле
провода, затаив в себе смерть, оставляя убитых без сна.
Люди несут зонты головами вниз, протирая
их от воды уверенным сжатием победителя,
как протирают мечи от крови врагов самураи.
Город похож на иероглиф, если посмотришь бдительно
сверху, приравнивая себя к ветру и капле.
Тучи, как чашки с рисом, опять опрокинуться жаждут.
Строительный кран вдалеке застыл в Енисее цаплей.
Фонтаны раскрыли пасти, успев умереть от жажды.
И новые капли разбились о землю, как камикадзе.
Небо сделало харакири ритуальным мечом грозы.
Но не слёзы, не кровь заструилась на землю, не дождь, как мне кажется,
а с отцветающей сакуры лепестки цветов бирюзы
и нефрита. И где-то вверху руками развёл император
огромные двери, скрывавшие тайну его короны—
она не достанется смертным. Солнце—как жёлтый кратер,
выжженный в небе огнём пролетающего дракона.

Панцирь

Я знаю, что нет чувства сильнее разлуки,
когда распадается сердце на
отдельнощутимые стуки.
Я знаю, что между тобою и мною длина
расплавить пытается наши руки,
скреплённые, как стена.
Я знаю, что вечность, как ни крути, одна
на двоих, я слышу на береге звуки
твоих песнопений со дна
глубокого океана, где я полумёртвым моллюском,
с оторванным панцирем, захлёбываюсь от-
сутствием и молюсь к вам,
богам расстояния, приоткрывая рот;
я ношу в себе океаны чувства,
но никак к тебе не всплывёт
пузырь моих письм.
Вернись мне.

Очарованный странник

Я шёл к тебе тысячи лет, не зная дороги,
ориентируясь по огням твоего дыхания.
Я шёл к тебе тысячи лет, распарывал ноги
о камни. Не ел и не пил—меня кормило искание.
Я шёл к тебе тысячи лет. Были стёрты
ступни в болтающиеся рукава. Я полз
к тебе тысячи лет, тысячеротый,
тысячеглазый и собранный из тысячи звёзд.
Я шёл к тебе тысячи лет.

Я шёл к тебе тысячи лет, меня постоянно
окружала глубокая, грязная осень.
Я шёл к тебе тысячи лет. Беспрестанно
я слышал предсмертные крики обглоданных сосен.
Я шёл к тебе тысячи лет. Сухие деревья
трещали, когда поклонялись мне.
Я шёл к тебе тысячи лет. Осеннее зелье
хлестало ручьями из вен извне.
Я шёл к тебе тысячи лет.

Я шёл к тебе тысячи лет. Каждый второй шаг
повторял на всю Вселенную твоё ненаписанное имя.
Я шёл к тебе тысячи лет, пиная зелёный шар.
Каждую тысячу лет находил тебя и проходил мимо.

Про страх

Как бы ты ни барахтался в грязной яме—
тебе не выбраться: стены такие же грязные.
От всех усилий только слабее станет
одежда, крепким узлом на тебе завязанная.
Волосы—в камень, руки—в глину.
Ты не заметишь, как сердцем тяжёлым врастёшь
в голодную и жаждущую тебя трясину,
как станешь корнями великого дерева. Рожь
будет расти из глаз и мышц.
«Это не ты смотришь в пропасть,
а пропасть в тебя»,—говорил Ницше.
Махала лопастями заря,
раздирая края у ямы,
как рану дерёт ребёнок
из любопытства, зря мы
думаем, не зарастём от
страха. «Падающего подтолкни».
Вылизывает себя плаха
в центре твоей груди.
А рядом пустая пещера,
и камнем завален вход.
Выживших после расстрела
никто никогда не вернёт.

Камни

Архитектура осени на глазах—
красными ветками паутины.
Хочется спать, хочется лезть назад
в тело секунд. Секунды неуловимы
глазом, отравленным отражением.
Хочется стать секундой.
Выйти за грань рождения…
Всё обернулось Тундрой:
холодно, время в стрелках
замерло, затекло;
луна огромной тарелкой
спряталась за стекло
белой метели, еле-
еле торчали ели,
безвременьем всех их ели
эти пространства без грани.
Я шёл на ощупь ногами.
Я чувствовал небо ступнями.
Я шёл на ощупь степями.
Я чувствовал ноги ногами.
Я видел: секунды нагие
лежали в сугробах, как гири,
как камни в Долине смерти
двигались к выходу.
Время вокруг меня.
Прошлое где-то ря-
дом развалился
боками,
ждёт меня дверью, окном,
стрелкаминутамирами
движется этот дом
камнем навстречу ко мне,
время собирать камни.
Больше я не секунда
в архитектуре Тундры—
чувствую я ногами
ковра зелёный пергамент,
пахнет тушёной капустой,
крики в соседнем зале,
хлопанье, бёдра, талии—
всё вокруг много. Оставили.

Варвара Юшманова

О цветах-людоедах

* * *

Люди отчаявшиеся жгли костры,
Жгли за тех, кому уже не поспорить,
Не потанцевать во хмельке, не построить
Свой шалаш, не увидеть
изломанной нервным спазмом сестры
Или брата ссутулившегося, лопатки его остры,
Как крылышки незадиристого цыплёнка.

Люди думали: им бы, печальным, в рай.
И прицениваюсь: надо бы меньше врать.
Но теперь что толку назад свои сказки брать,
Жизнь—она ведь не киноплёнка.

О цветах-людоедах

Да, пусть не советуют мне замужние дружненько.
Лучше вашего знаю я о любви.
Падала в эту скважинку,
Пила из неё, захлёбывалась.

Любовь, она—как цветок-людоед.
Приманит тебя горячими лепестками
Малиново-безысходными,
Сводящим с ума ароматом,
Сирены криком.
Раззявит зубастую пасть—
Не успеешь пискнуть—
И с сердцем тебя, и с пятками поглотит.

И вот ты внутри: из стебля её тугого
Твой стан выпирает ужином анаконды.
Ты намертво схвачен,
Выпуклый и живой.

Кому-то дано немного, кому-то годы.
Но время иссякнет,
Будет твой дух обглодан.
Огромный цветок тебя изрыгнёт наружу,
Остатки тебя,
Потроха души.

Ты встанешь неровно. Перед тобой без края
Раскинется поле таких же цветов-людоедов,
Прекрасных,
Поющих песни о самом главном.
И ты направишься к ним или от них.

* * *

Потусторонние стуки в моей груди.
Чьи-то миры исхожены, нужно новых.
Зовы нестройные.
Господи,
Будь же со мною, не уходи.
Пообветшали мои основы.

Перевяжи лоскутами
Трещины,
И во мне
Звуки и стуки глуше проступят,
Столько
Их в глубине.
Сердце моё нестойко,
Сердце моё слабеет на самом дне,
Сердце моё кричит-дребезжит, как сойка,
Маленькое, гнутое, как фасолька.

Это стучит сгущённая чернота,
Будто смолою пооблепила душу,
Думает—струшу…
Может, и так.

Может, прорвётся паводком эта мгла,
Оползнем, всё сметающим на ходу.
Господи,
Мой единственный виадук,
Я бы с тобою всё перешла,
Я бы с тобой не верила в стук…
тук
тук

● ● ●

Я заведу себе чёрного пса. Буду ласковой.
Буду правильно думать и правильно говорить.
Будет наш дом игрушкою пенопластовой
Зябко скрипеть в сонливые январи.

В вёсны мы будем вместе искать подснежники,
В месяцы лета—ямки копать в песке,
Лихо трепать акации и орешники,
Осенью шалою не делясь ни с кем.

Жить бы и жить—и радоваться столетию,
Лопать пломбир и прочую ерунду.
Только мы с ним друг друга ещё не встретили.
Хоть я и знаю—скоро его найду.

Будет ноябрь. Снег будет, тихо падая,
Жаркий пожар листвы за окном тушить.
Чёрная сука, добрая и лохматая,
В муках родит частичку моей души.

Правый путь

Как из моря выходит истина,
Орошая водой траву.
Я же с небом довольно искренна,
Потому до сих пор живу.

И, бросая себя яростно
В самолёты и поезда,
Я всегда сознаю с жалостью,
Что они летят не туда.

Есть ли в мире причал ласковый,
Или вечный обман прав,
Забавляя меня сказками
Об уюте чужих трав?!

Не блеснёт на них капля чистая,
Не поспится на них в бреду…
Где-то ждёт меня путь неизбранный.
Но когда я его найду?..

Сергей Ставер

Ты прости меня, розовый ветер…

Красноярск, 2013.—136 с.

● ● ●

Рыбарям сопутствует удача:
Ветер стих, на речке тишь да гладь.
Кулики лишь, вскрикивая, плачут,
Не хотят гнездовья оставлять.

Скоро осень… за седой осокой
Спит камыш—коричневая зыбь…
Тополя с берёзками у окон
Смотрят сверху на уснувших рыб.

На яру, укутанное дрёмой,
Спит село… не слышно голосов…
В серебристом мареве над домом
Показалось солнца колесо…

Делу—труд, ирония—приметам…
Светел август—осень далека…
Я пришёл к тебе, река, с рассветом—
Рыболова принимай, река.

Всплеск—волне, а сердцу—песня всплеска.
Здравствуй, мир желаний и утрат…
Вновь клюёт! Трепещет детства леска,
Поплавки с волною говорят.

● ● ●

Года текут, бегут секунды,
И улетают журавли…
Зачем живём? Идём откуда
На эти пастбища земли?

Кто нас позвал соединиться?
Кто научил и кто помог
Засеять мудростью страницы
И одолеть судьбы порог?

Порок избыть и вырвать с корнем
Рассадник зла—и на века
Уйти от бешеной погони,
От стрел смертельных степняка

В леса Владимира и Клязьмы,
В чащобы Пинеги и Цны!
Где в синих плёсах блещут язи
В алмазах ласковой волны

Где Русь всё та же, та же… та же!
Как в стародавние деньки…
Где сети солнечные вяжут
И ловят звёзды рыбаки.

Марина Саввиных

Отдаю огонь…

Аслану Галазову[1]

Мело, мело по всей земле…
БП

Послезавтра — в центре февраля,
Где пищит фальцет оповещенья,
Ходит смерч, от смерти отделя
Всякого, принявшего крещенье…
Опрокинув грешное лицо
В зеркало студёной иордани,
Причастишься ласковых страданий
И взойдёшь на красное крыльцо.
Там гуляет море-океан,
Там вкушают мёд святые звери:
Жёлтый лев по имени Аслан
И в ветвях трепещущие пери,
Белый волк, и чёрная змея,
И телец, окутанный багрянцем…
Родина забытая моя,
Кто к тебе вернётся иностранцем?
Тот ли, кто в траву твою швырнёт
Кровью окроплённые знамёна?
Или тот, кого метель взметёт
Выше крыш — к звезде Армагеддона?

● ● ●

Ю. М.

Есть люди такого масштаба,
Что Богу уже всё равно,
Мужик перед Ним или баба,
Поэт или прапорщик… Но
Кому доводилось на деле,
Презрев и бесчестье, и честь,
В своём человеческом теле
Нести Его страшную весть, —
Тот знает — как тягу к карнизу
В заплёванном нашем быту —
Друзей, подстрекающих снизу,
И падших врагов высоту,
Значенье хвалы и проклятья
И непревзойдённую стать
Для модного рукопожатья
Мерзавцу руки не подать.

21.12.12

В. А.

1.

Невыносимый свет струится от земли,
Из белой темноты, желанной и колючей,
И крест серебряный — как будто грудь прижгли
Между ключиц — на самый крайний случай.

Спасительным тавром беспамятных клеймят.
Беру огонь в рукав — как принимают схиму…
Скит станет дом. Дом раскрылится в сад.
И ласточки заблещут по Кыштыму.

Штрихами быстрых крыл очертится зенит,
И выпадет из уст кощунственное слово —
Но Бог простит меня, поскольку храм — стоит
И звонница к заутрене готова.

2.

Пламя моё встаёт —
лиственницей, куницей…
Рыжею головой,
гулкою булавой…
Цифрой сторожевой…
жёсткою власяницей…
Падающей водой…
жалящею травой…
Нет бы его стряхнуть!
Нет бы в него взглянуть!
Нет бы его обнять —
и обратиться разом!
Но предаёшься — путь;
но отвечаешь — суть;
но припадёшь — и в грудь
входит нездешний разум…
Боже! Ещё огня!
Радуйся сквозь меня!
Воля Твоя, что я —
искра Твоих усилий,
пто в душегубке дня
пепел — моя родня,
что отдаю — огня! —
больше, чем испросили…

1. Написано 19 января 2013 года, на Крещенье, а 15 февраля над Челябинском взорвался метеорит. Только чудом обошлось без серьёзных разрушений и жертв.

Древоград

Владикавказу — с любовью

1.

Дзауджикау… свет моих нежных чинар,
Строгих сестёр на дольней тропе серебра…
Руны вершин сквозь медленный утренний пар —
Рваной ли раны края или нервный росчерк пера?

Дзауджикау… твой ствол непреклонен и прям…
Звук из-под сердца, которое стало струной…
Рог полумесяца дерзок. Но Терек — упрям.
И золотистые барсы играют со мной.

Дзауджикау… сила твоих мертвецов…
Шум твоих крон… голоса премудрых камней…
Вечно желанная чаша на пире отцов…
Вечным заклятьем сплетённые пальцы корней…

Дай обниму тебя, брат, бархатистый орех.
Липа благая, позволь прижаться щекой
К светлым морщинам твоим…
Остуди мой праздничный грех…
И надели моих пчёл целебной строкой…

2.

Вообрази себя деревом!
Может, ты — ясень? А может, застенчивый клён?
Или, скорей, созерцающий символы грецкий орех…
Снова рассвет беспокойным лучом раскалён,
И изливается жар из небесных прорех.
Только прильнуть — стволовые посланья прочесть…
В чуткие ветки втянуть подступающий код…
Это — она? земляного бессмертия весть?
Это душа в сопредельную душу растёт?
Пламя-росток над собой разбивает зенит,
Словно бы сто миллионов рассветов назад…

Я же расту в тебя! Слышишь? шумит и звенит
Память моя горловым исступленьем дриад…

3.

Камни, со мной говорите!
Гёте

В хранилище костей, во глубине корней —
Громоподобный гул клубится и клокочет…
И травы вплетены в изложницы камней,
Откуда стройный хор заслуженных теней
Всё гуще и темней струится и стрекочет…
Ладонь моя течёт, как лист течёт с куста,
По розовой стене, сатин лаская вдовий…
О луковицы глав… о золото креста…
О мраморные волны изголовий…
О чернота цветов, обвивших колесо,
И горькое вино необратимых оргий…
И бронзовый Коста… и каменный Васо…
И в красных облаках витающий Георгий…

4.

Уезжаю, уезжаю…
Древоград охвачен светом
увяданья и паренья…
и не надо быть поэтом,
чтобы плыть в его печали,
чтобы стыть в его тревоге,
чтоб стоять в его начале,
у предела, на пороге…

«Там, за далью непогоды,
есть блаженная страна,
не темнеют неба своды,
не проходит тишина…»

Там, под сению Кавказа…
Там, по манию небес…
Всё и здесь… всегда и сразу…
В предвкушении и без…

По пространству световому.
По дорожке световой.
Прямо — в омут, в вечный омут,
в — горный ливень с головой…

В ту весну — с предгорий вьюжных…
В ту страду — колёс и плах,
где Христос в цепях жемчужных
и рыдающий Аллах!

● ● ●

Осень Осетии —
недопустимая роскошь
для куртизанки старой,
в костёр бросающей кольца…
По серебру гобеленов —
рыжих заплаток россыпь…
красный фонарь,
не дразни меня,
успокойся!
Не соблазнят червонцы,
шкуры пёсьи да лисьи —
я лишь вдыхаю дым
солнечной гекатомбы.
— Полно, — мне говорят, —
это *такие* листья…
падают как платки,
рвутся внутри как бомбы…
Но затаи в себе кровь,
запахни ветки…
не оступись
на границе души и тела!
Верная смерть —
вырвавшимся из клетки.
— Я так хочу!
— Ты сама
этого захотела!

Евсей Цейтлин

Снег в субботу

Из книги «Послевкусие сна. Дневник этих лет»

У них было особое выражение глаз. А мне казалось даже — особый запах. И уж точно — особая походка.

Это походка одиноких людей.

Я сразу обратил на них внимание — лет двадцать назад, когда только начал записывать рассказы советских евреев.

Иногда это был всего лишь лёгкий всплеск слов и жестов — сбивчивые, как торопливый выдох, исповеди в очередях у американского и нидерландского посольств (последнее, как вы знаете, долго представляло в Москве интересы еврейского государства), затем — у израильского консульства.

Преодолевая страх, они приходили за вызовами и визами. И я запомнил их, с кем-то вроде бы подружился.

Но потом многие потерялись, куда-то исчезли. Только лица и голоса по-прежнему живут в моём блокноте.

Без языка

…Неподвижное, окаменевшее будто, лицо. С ним явно контрастирует надрывность речи.

— Вы не догадаетесь, *за что* я ненавижу общество «Память»…

Она делает паузу, но мне ничуть не хочется гадать. Всё равно мне не придёт на ум её довод.

— Не могу перенести, что *вынуждена* говорить на их языке!

Ловит мой недоумённый взгляд.

— Я не в каком-то переносном смысле — в самом прямом. Я общаюсь, мыслю, читаю, мечтаю — только по-русски.

Она истерична, в основном лишь себя и слушает. Всё же, не будучи права, приближается неожиданно к истине.

— Они… они презирают меня. Самоё суть мою презирают. А я вынуждена пользоваться *их* языком. Они твердят, что евреи спаивают русский народ, сгубили деревню, испортили культуру. Это демагогия? Но вот лучший их аргумент: я отвечаю им на *их* языке. Что у меня своего, еврейского? Действительно пустоцвет, перекати-поле…

Молчу по-прежнему, боясь согласиться с ней, по больному ударить. Хотя знаю: здесь почти всё — правда… В голове её, конечно, мешанина из прочитанных книг: Ремарк, Хемингуэй, Кафка, Булгаков… В разное время эти авторы были модны, каждым она увлекалась недолго. Но ведь, скорее всего, любит она — действительно любит — Есенина: чувствует надрыв души, что таится за бедными рифмами, за сравнениями типа «голова моя машет ушами, как крыльями птица». Вероятно, ещё ей близки в Есенине безоглядность искренности, безотчётное стремление к исповеди.

В почтовом отделении на Большой Ордынке спрашивает меня:

— Нет ли у вас ручки?

И тут же, признав во мне *своего*, разъясняет:

— Надо написать собственные данные, чтобы прислали из Израиля вызов. Ведь и вы, не правда ли, пришли сюда за тем же?

Нет нужды объяснять ей что-либо. Просто мы вместе отправляемся к израильскому консульству, где она опускает в ящик свой конверт. Стоим потом в толпе. Вслушиваемся в повторяющиеся, как на пластинке, разговоры. Идём обратно к метро, вдыхая резкие запахи весны.

— …В Израиль едут из-за детей, а у меня их нет и не будет…

Несколько коротких, внезапных вроде бы фраз. И вот уже её жалкая, смятая, пролетевшая почти жизнь лежит передо мной.

Ей сорок девять, выглядит много моложе: так случается порой именно с теми женщинами, которые махнули на себя рукой. Чёрная резинка скрепляет пышные рыжие волосы. Ничуть не смущена она тем, что на синем плаще красуется масляное пятно, а серые туфли исцарапаны по бокам.

Она преподаёт в ПТУ какие-то технические дисциплины. В последние годы, сама замечая за собой несдержанность, всё-таки выучилась контролировать себя на службе: молчать, выглядеть деловой и собранной. Однако это трудно давшееся искусство растаяло, точно его и не было, в феврале.

Да, в феврале девяностого, когда в Москве и других городах томительно ожидали погромов.

В те дни, думая исступлённо об одном, она полурока однажды проговорила об антисемитизме. Класс смотрел на неё с недоумением. И конечно, донесли директору. Тот вызвал её к себе, морщился, выдавливая слова, но не попросил, как ждала она, заявления об увольнении—попросил «не отвлекаться на занятиях от темы».

У метро прощаемся. Зачем-то обмениваемся телефонами, хотя ясно, что не позвоним друг другу никогда. И вот она уже исчезает в потоке ног и локтей, в запахах пота и продуктовых сумок, в гуле той речи, которая пока ещё так ненавистна ей и по которой потом не сможет разучиться тосковать.

Еврейское счастье

Мокрый, уже с утра темноватый мартовский день. Гудящая—всё та же—толпа. Она выплёвывает одни и те же слова, точно шелуху от семечек: багаж… билеты… погром…

Как с неба, упало другое словцо: счастье.

Почудилось? Но и назавтра, и через день слышу завистливое: евреям хорошо сейчас!

Иногда утверждают это лишь интонацией, взглядом: русские, украинцы, грузины—все те, кого заносят сюда сладкие мечты об отъезде.

Ах, старый этот, с огромной бородой, анекдот! «Жена-еврейка—не роскошь, но средство передвижения». Слышали? Теперь за фиктивный брак по пять тысяч дают.

Всё равно, конечно, вздрагиваю.

—Нам-то счастье…

На этот раз словцо, точно рахат-лукум, тает во рту молодого бакинского еврея. Улыбчив, польщён вниманием посторонних людей—они расспрашивают подробности бакинского погрома.

—Нам-то ещё счастье… Дали армянам всего год сроку для выезда из Баку, а евреям—три. Русским? Пять…

Не знаю, так ли это. Скорее всего, сроки выдуманы молвой. Но думаю я не о том, а о его унизительной радости. Древние у неё корни: поднимается порой дух еврея, если оказывается он не самым презираемым, стоит не на последнем, но хотя бы так—на предпоследнем месте.

Тем же днём—ещё встреча.

Тоже двое бакинцев. Тоже молоды, более того—молодожёны.

Издревле таинственный союз: армянин и еврейка. Соединившись, не побоялись они умножить вечную печаль своих народов.

Во время погрома скрывались неделю в азербайджанской семье, но всё это слишком известно по рассказам беженцев, чтобы описывать сейчас подробно: трепет от каждого звонка в дверь; духота кладовки, где прятались, теряясь в догадках; наконец, билеты на самолёт («заплатили в шесть раз дороже!»); сейчас, в Москве,—у дальних-предальних родственников…

—Что было бы, если б вас поймали?—спрашивает кто-то.

Он пожимает плечами—не желает ни на кого взваливать тяжесть своих слов.

Она отвечает:

—Самое малое—отрезали бы уши… Тогда нам это постоянно снилось—из ночи в ночь.

Она смотрит в сторону, зато все соседи по очереди—на неё. Хрупкая, миниатюрная. Несмотря на неустроенный быт, волосы тщательно уложены. Она изящна в чёрных своих ворсистых брючках, в кожаных белых сапожках, в белой нейлоновой курточке. Всё это, конечно, ради него. Не знает она, что похожа на своих библейских сестёр—наивных девочек, которые вырастали в мудрых старух. Но знает, вижу, другое: счастливые её глаза неуместны здесь, в этой толпе. Потому часто опускает веки, пытается скрыть то, что всё же открыто любому внимательному взгляду: нежность, решимость перехитрить судьбу, спокойное ожидание горькой, как у всех нас, дороги.

1991, очередь у американского посольства

Снег в субботу

Сегодня пустынно здесь: суббота. Евреи сегодня должны думать о вечности, прогнав суету. На тротуар падает тихо снег. Прохожие редки, они не успевают—как в будни—превратить снег в хлюпающее месиво. Тепло. И милиционер у консульства не прячется в будку. Прохаживаясь у металлического барьера, он думает о своём.

Всё же время от времени подходят люди. Прочитывают объявления на бетонной стене, которые странны именно тем, что стали теперь обычны: телефоны и адреса кооперативов упаковщиков, грузчиков, правила бронирования билетов, предложения о продаже и покупке квартир. Переписывают в блокнот необходимое, разбегаются—кто куда.

В полдень здесь надолго задержится старый еврей. Утренний поезд привёз его из подмосковного городка. Ему сказали, что консульство работает ежедневно, и он, как почти все в России, забывший о законах еврейства, поверил. Не встретив никого, кроме милиционера, старик всё не решается обратиться к нему. Наконец спрашивает:

—Скажите, сегодня есть кто-нибудь из дипломатов Израиля?

—У них выходной… В субботу им не полагается заниматься делами…—роняет милиционер важно.

—Да, да,—переступает с ноги на ногу старик.

И опять—неожиданно, преодолевая себя:

—Мне сказали, здесь можно оставить свои данные для вызова на постоянное жительство…

— Можно,—подтверждает милиционер.—Если хотите, дайте мне, я опущу конверт в специальный ящик.

Старик молчит: ну как доверить *такое* гою, тем более—милиционеру? Тот поставлен органами, собирает, конечно, информацию; однако что делать? Неужели приезжать снова? Он вопрошающе смотрит на милиционера. Тому едва ли больше двадцати, у него ясные глаза, пухлые детские щёки.

Я стою к ним спиной, лицом—к стене с объявлениями. Оба они не обращают на меня внимания. Наконец оборачиваюсь. И вот уже бросается ко мне старик—с радостью. Он сразу оценил характерность моей иудейской внешности. И заранее приготовленный конверт дрожит в его руке:

— Посмотрите, пожалуйста… всё ли верно?

Чуть прикрывает листок ладонью—и от снега, и от глаз милиционера. Я замечаю прежде всего год рождения: 1910. Вижу также: на листке—одна фамилия. «Значит, и едет один». А мысли старика сейчас—о другом. Интересуется у милиционера процедурой оформления документов, отправкой багажа. Тот неожиданно оказывается в курсе всего (во время дежурств память, как магнитофон, зафиксировала однообразные разговоры людей). И почему-то теперь это не удивляет старика.

Так стоим, почти облепленные хлопьями снега. Потом старик идёт разыскивать что-то в пустых магазинах. Медленно, без лишних движений, скользит по снегу допотопными своими ботами, которые когда-то, лет тридцать назад, помню, называли «прощай, молодость».

Карта

Случайная, как почти всегда, встреча. Знакомимся с ним в одном московском доме, куда он приезжает прямо с вокзала, едва сойдя с саратовского поезда. У наших общих знакомых ждёт его переданное с оказией письмо от израильских родственников. Ну а там, в конверте,—легко догадаться: вызов «на постоянное жительство».

Я и сейчас хорошо вижу его. Вот сидит, развалившись в кресле-качалке; при неосторожном движении подскакивают резко вверх пыльные полуботинки на толстой подошве; мятые брюки, коричневые синтетические носки. Он нерешителен и оттого развязен нередко. Ставит его в тупик даже простой вопрос:

— Вам кофе?

Он понимает: это жест вежливости (хозяева торопятся куда-то), однако отказаться не может—выпивает две чашки, опустошает тарелку с бутербродами («Извините, возьму ещё один».— «Ну конечно, конечно»).

Ещё больше он говорит. Слова плотно облепляют его, точно скрывают важное. Хотя скрывать нечего, уже через несколько минут всё ясно. Разумеется, не знает он, почему всё-таки решил уезжать: «Логике это не поддаётся». Наконец-то—в сорок два—защитил диссертацию, дали в институте должность старшего научного сотрудника, строит дачу. «Антисемитизм, конечно, существует, но меня-то никто не трогал…»

Всё это обычно, и я перестаю его слушать (не узнав ничего про родителей, с которыми он вместе живёт).

Я слушаю песни Окуджавы, которые звучат из соседней—детской—комнаты, а смотрю на Б.

Можно было бы назвать его симпатичным, но рыжая густая борода совсем не идёт ему, не вяжется с растерянным выражением глаз. Обычно борода придаёт лицу определённость, законченность какую-то, однако он—самое воплощение растерянности. Может, оттого и не уходит, засиживается до неприличия в гостях, что ждёт инстинктивно подсказки…

Когда мы снова—случайно же—встречаемся на Большой Ордынке, Б. помят ещё более. Живёт в кооперативной гостинице (в комнате на четверых); несколько дней, видно, не принимал душ: в разрезе плаща проглядывает чистая рубашка, которую он достал из саратовского чемодана, но голова лоснится, а на воротнике плаща—перхоть.

У консульства он переходит нетерпеливо от группы к группе. А в глазах—всё то же ожидание: кто-то—кто?—должен ответить на его сомнения.

Он рад встрече со мной (старый знакомый!) и вскоре приглашает перекусить в полуподвальном кафе. Мы идём туда долго: как всякий провинциал, Б. знает в Москве только несколько мест общепита. В кафе он водружает на поднос две порции сосисок, тарелку булочек, два стакана некрепкого, на сгущёнке, кофе. И беспрестанно опять говорит, точно не желая прислушаться к голосу внутри себя, а может быть, как раз заглушая тихий этот голос.

После сидим на скамейке. Он закуривает и достаёт из портфеля карту Израиля, которую купил у спекулянта. По-детски шевеля губами, повторяет вслух древние названия. Я думаю: миллионы людей с трепетом произносили в течение тысячелетий те же сочетания звуков, которые для него почти ирреальны.

Наконец он замолкает и смотрит куда-то вбок от меня.

Лев Бердников

Правитель главного почтамта

К 230-летию со дня рождения Фёдора Аша

Если бы в XVIII столетии существовала «Книга рекордов Гиннесса», в неё непременно бы вошёл Фридрих Георг Аш (1683–1783). И не столько потому, что прожил он по меркам того времени на удивление долго—целый век. Существенно то, что на одном только месте он прослужил Отечеству верой и правдой при двух императорах и четырёх императрицах. Место это—Санкт-Петербургский почтамт, где Аш по воле императрицы Екатерины I директорствовал с 1726 года.

Фридрих был уроженцем Силезии. О его воспитании и образовании определённых сведений нет. Видно лишь, что он свободно владел многими европейскими языками и обладал «писарской способностью», что весьма поспособствовало его карьере. Согласно одной из версий, Аш приехал в Россию и «скоро нашёл себе пропитание», сделавшись письмоводителем у генерала-фельдмаршала Адама Вейде (1661–1720). Заслуженный военачальник, участник Азовского и Прутского походов, баталий при Нарве и Гангуте, Вейде был истово предан Петру и, один из немногих, пользовался его безграничным доверием. Зловещую роль сыграл он в умерщвлении «непотребного сына» царя Алексея Петровича, не испытывая при этом никаких душевных борений, а всё потому, что «не допускал ни возражений, ни размышлений относительно приказаний императора». Справедливо ли сие известие или нет, но безусловное послушание монарху было внушено и Фридриху Ашу.

А по другим, более надёжным сведениям, двадцатичетырёхлетним юношей Аш явился в ставку российского генерал-поручика от кавалерии барона Карла Эвальда фон Ренне (1663–1716), стоявшего с армией в Польше как раз на Силезской границе. Отважный вояка и вместе с тем тонкий психолог, фон Ренне быстро оценил способности смышлёного силезца и сделал его своим личным секретарём; с тех пор они уже не расставались. Фридрих Георг, которого на русский манер стали называть Фёдором Юрьевичем, неотлучно сопровождал своего патрона во всех военных походах. А армия барона блистательно проявила себя в славной Полтавской баталии, где сам военачальник демонстрировал чудеса бесстрашия, устремляясь в самое пекло битвы. Есть предание, что он чуть не взял в плен самого короля Швеции Карла XII. К слову, фон Ренне оказался единственным боевым русским полководцем, раненным под Полтавой, и тогда же, в 1709 году, был пожалован царём в полные генералы от кавалерии.

В 1710 году войска фон Ренне отличились при взятии Риги. Но, пожалуй, самой впечатляющей была его победа 25 июля 1711 года, в результате которой капитулировала несокрушимая, казалось бы, твердыня—турецкая крепость Браилов. В день капитуляции этой фортеции царь наградил генерала высшим российским орденом Св. Андрея Первозванного.

А что «генеральский» секретарь Фёдор Юрьевич Аш? Немалую лепту в победы русского оружия внёс и он, хотя и не отличился на поле брани. Его предназначение было в другом: этот силезец с самого начала был облечён особым доверием начальства. Ему было поручено заведовать всей корреспонденцией армии (в том числе и самой секретной). Именно к Ашу стекались сводки, депеши, реляции, все самые свежие оперативные сведения, без которых никакие военные успехи были бы немыслимы. Это понимал и царь, который пожаловал Фёдору Юрьевичу тысячу рублей—сумму по тем временам весьма значительную.

Востребованным остался Аш и после кончины фон Ренне: его назначают флигель-адъютантом к одному из ближайших военных сподвижников Петра, генералу Роману Христиановичу Боуру (1667–1717), бывшему в то время начальником кавалерийской дивизии на Украине. А по смерти Боура жена покойного генерала Ренне Анна-Люция де Преен, получившая назначение обер-гофмейстерины при дворе Курляндской герцогини Анны (будущей императрицы Анны Иоанновны), взяла Фёдора с собой в Митаву, где он обретался до 1719 года.

Памятуя об успешной работе Фёдора Юрьевича в качестве начальника армейской почты, Пётр I затребовал Аша в Вену—состоять при российском посланнике в Австрии генерале-поручике Вейсбахе (1665–1735) и вести дела «по секретной экспедиции». Работой его остались весьма довольны,

и сменивший Вейсбаха на посольском посту Павел Ягужинский объявил, что государь «старание иметь будет его, Аша, с авантажем определить».

Пётр I вознамерился поставить его правителем Петербургского почтамта, но «понеже тогда вакации не случилось, то определён он, Аш, при здешнем почтамте секретарём». Царя пленил не только высокий профессионализм Аша, но и его кристальная честность и неподкупность, столь редкие в России. Достаточно сказать, что его предшественника, почтмейстера Г. Г. Краусса, изобличили в ряде неблаговидных поступков и отдали под суд за незаконную выдачу подорожных и получение из-за границы золота и драгоценностей. Современники свидетельствуют: Ашу было совершенно чуждо мздоимство, к тому же он отличался исключительной исполнительностью и аккуратностью. Однако пост Петербургского почт-директора он получил уже после смерти Петра, монаршим указом от 25 февраля 1726 года.

Чтобы представить себе круг обязанностей нашего героя, надлежит перенестись в Северную Пальмиру начала XVIII века. Работники почты являли собой тогда, говоря современным языком, особую группу риска. Ведь езда по дорогам матушки-России была в ту пору делом крайне опасным: на трактах хозяйничали шайки беглых солдат и голодных крестьян. Потому власти распорядились к каждой почтовой карете приставить вооружённых конвоиров, взяв с них предварительно клятву на верность. Пётр придавал работе почтарей (впрочем, он не любил это русское слово, предпочитая ему иноземное «почтальоны») особое значение. Для обслуживания ямского пути от Москвы до Санкт-Петербурга монарх повелел прислать со всех городов и весей страны пять тысяч ямщиков. Архивные документы позволяют нам воссоздать, во что были одеты и как несли службу подчинённые почт-директора Аша: «...в сухую погоду им было положено носить зелёные кафтаны с красными обшлагами и отворотами, а в дождь—длинные серые плащи с васильковыми обшлагами и отворотами. На голову они надевали треугольную шляпу с красными отворотами, на грудь вешали медную бляху с орлом». Полагалось, чтобы курьер возвещал о своём прибытии звуками рожка (для обучения игре на этом инструменте Аш даже пригласил из Мемеля немецкого почтальона). Но как ни бился Фёдор Юрьевич, не помогали даже наказания и штрафы: появление русских ямщиков неизменно сопровождалось залихватским посвистом и криками.

Петербургский почтамт переехал в 1716 году из жалкого одноэтажного мазанкового дома (недалеко от современного Марсова поля) в выстроенный по соседству каменный двухэтажный особняк (на месте нынешнего Мраморного дворца). Помимо своего непосредственного назначения—координировать работу связи, почтамт стал своего рода незаменимым культурным центром столицы. На первом этаже разместилось почтовое делопроизводство, в парадном же зале наверху Пётр закатывал свои знаменитые ассамблеи, а то и просто приезжал обедать. Здесь останавливались приглашённые царём именитые заезжие иноземцы. Голштинский камер-юнкер Ф. В. Берхгольц заметил по этому поводу: «В почтовом доме обыкновенно остаются все пассажиры до приискания квартир, потому что гостиниц, где модно было останавливаться, здесь нет». Во дворе здания каждый день ровно в полдень играли на трубах и рожках двенадцать музыкантов.

В 1735 году здание второго Санкт-Петербургского почтамта сгорело. Рядом с Зимним дворцом, на Миллионной улице, в 1740-х годах было выстроено новое трёхэтажное здание, куда и переместился наш почт-директор со своим штатом и где проработал до самой смерти. Здание это вошло в историю как Третий Петербургский почтамт.

Этим-то новым помещением Аш был крайне недоволен. Почт-директор буквально бомбардировал вышестоящие инстанции, убедительно доказывая всю нецелесообразность размещения почтовой конторы в этом месте и требуя её перемещения в более подходящее и просторное. Аш упорно твердил, что здание неудобно: отсутствуют дома с квартирами для чиновников, «теснота помещений и двора не позволяет заготовить достаточное количество дров на зиму», да к тому же и доступ к почтамту значительно затруднён. Исследователь российской почты А. Н. Вигилев утверждает, что, «несмотря на свои положительные качества, Аш являлся безынициативным человеком». Между тем поведение Фёдора Юрьевича в отношении сего новопостроенного почтамта демонстрирует как раз обратное.

К сожалению, инициатива Аша, несмотря на всю её полезность и очевидность, не нашла поддержки власть имущих. В результате деятельность нашего героя традиционно связывается именно с Третьим почтамтом, столь им нелюбимым. Как и встарь, здесь во дворе звучала музыка, на верхотуре громко пировали важные визитёры, а неподалёку находились конюшни для почтовых лошадей и каретные сараи.

Эта внешняя, «шумная» сторона деятельности почтамта успешно скрывала от досужих глаз его каждодневную рутинную работу, связанную с государственными секретами. Речь идёт прежде всего о перлюстрации писем. Некоторые историки даже сравнивают Фёдора Юрьевича с почтмейстером Шпекиным из гоголевского «Ревизора», подвизавшимся на сём «неблаговидном» поприще. Но подобные упрёки едва ли основательны. Аш был верным слугой царя, и чтение всей почтовой корреспонденции было вменено

ему в должностные обязанности именно Петром, который, как о нём говорили, был «вникать во всякие горазд». Почт-директор лишь неукоснительно выполнял указ царя от 1716 года: «...чтоб ничего о военных и государственных делах в письмах не было!» Особенно строго в условиях Северной войны (1700–1721 годы) контролировалась почта, идущая через Выборг в Швецию. Мера эта, таким образом, полностью отвечала государственным интересам молодой империи.

И при последующих российских венценосцах почт-директору надлежало исполнять те же обязанности. Так, при императрице Елизавете Петровне канцлер А. П. Бестужев наново обязал Аша вскрывать и копировать все письма зарубежных послов (даже к дамам), уходившие и прибывавшие из-за кордона. Это касалось и всех частных писем, пересекавших российскую границу. Наиболее интересные послания копировались.

Как же осуществлял наш герой сию многотрудную работу? Ввиду щекотливости и секретности дела Фёдор Юрьевич самолично вскрывал конверты, прочитывал депеши, показывал подчинённым подлежащие копированию места, а затем снова запечатывал конверты — и концы в воду! Не всегда, правда, это оказывалось возможным. До нас дошло письмо Аша канцлеру А. П. Бестужеву от 1744 года с жалобой на тяжёлое дело перлюстрации иностранной корреспонденции: «Последние два письма без трудности распечатать было можно... Тако же де куверт (конверт.—*Л. Б.*) в почтовый амт (почтамт.—*Л. Б.*) в Берлин легко было распечатать, однако ж два в оном письме, то есть к королю и в кабинет, такого состояния были, что, хотя всякое старание прилагалось, однако ж отворить невозможно было. Куверты не только по углам, но и везде клеем заклеены, и тем клеем обвязанная под кувертом крестом на письмах нитка таким образом утверждена была, что оный клей от пара кипятка, над чем письма я несколько часов держал, никак распуститься и отстать не мог. Да и тот клей, который под печатями находился (коли хотя я искусно снял), однако ж не распустился. Следовательно же, я, к великому моему соболезнованию, никакой возможности не нашёл оных писем распечатать без совершенного разодрания кувертов». Каждодневное скрупулёзное чтение депеш вызвало у нашего почт-директора целый букет глазных болезней, и императрица Екатерина II писала ему сочувственные и весьма благосклонные письма.

Аш имел точные копии печатей всех иностранных послов, аккредитованных в Северной столице; их изготовили по его требованию умельцы-гравёры из Академии наук. В архивах Москвы и Петербурга сохранилось множество частных писем, скопированных почт-директором. В Российском государственном архиве древних актов, например, хранится дело с приложением «от разных иностранных при Российском дворе Министров (послов) на почте посланных писем».

Чтение дипломатической почты было сопряжено с тем бóльшими трудностями, что послания часто писались тайнописью, и их надлежало переводить с цифирного языка на словесный. По существу, это была поистине ювелирная работа по дешифровке секретных шифров, и этим занимался петербургский почт-директор. Понятно, что Фёдору Юрьевичу необходимо было и знание европейских наречий, чем он и обладал, а если появлялась потребность в новом языке, он с лёгкостью и удивительной быстротой им овладевал.

Немного истории. Своего апогея дело криптоанализа достигло в XVII веке, когда в Европе начали появляться первые службы дешифровки корреспонденции. Во Франции такую службу, по предложению кардинала Ришелье, возглавил Антуан Россиньоль — автор дипломатического шифра, представляющего собой слогово-словарный код на шестьсот компонентов. В Германии буквенный лозунг заменяют цифровым, цифры в котором обозначают число шагов, на которое букву шифруемого сообщения сдвигают вправо по алфавиту. Благодаря простоте применения этот шифр широко использовался и в XVIII веке.

В России тайнопись существовала уже в XII–XIII веках, но официальной датой появления криптографической службы считается 1549 год (царствование Ивана IV), когда был образован Посольский приказ, при котором имелось специальное «цифирное отделение». Шифры использовались такие же, как на Западе: значковые, замены, перестановки. При Петре I появляются специальные коды для шифрования — «цифирные азбуки».

В русскую дипломатическую практику шифрованную корреспонденцию ввёл вице-канцлер П. П. Шафиров, который разработал для сношений с государем особый код. Именно ему первому Пётр поручил дешифровку дипломатических депеш. Примечательно в этом отношении письмо Шафирова русскому послу в Париже А. А. Матвееву от 1706 года: «Почты заморской движение ныне весьма пресеклось, и уже третья неделя не бывало никому писем... При сём (цифирные.—*Л. Б.*) азбуки две новые посылаю, понеже старая наша уже во многих случаях пропадала в войсках, и, может быть, что есть и в неприятельских руках».

Есть основания думать, что Аш овладел секретами дешифровки под руководством Шафирова, бывшего его непосредственным начальником (тот одно время курировал почтовое ведомство России). Во всяком случае, вице-канцлер знал и ценил способности Фёдора Юрьевича вести секретную корреспонденцию: в 1719 году он рекомендовал Аша как прекрасного чиновника для подобного рода работы.

Круг лиц, знавших ключ к чтению тайнописи, был чрезвычайно узким. Известно имя лишь одного сотрудника, помогавшего почт-директору Ашу в сём деле—будущего профессора, а в то время адъюнкта Академии наук И. А. Тауберта. С 1743 года они вместе трудились над дешифровкой французских, английских и прусских депеш.

Жизнь Фёдора Юрьевича была не слишком богата внешними событиями и, по существу, замыкалась на его беспорочной долголетней службе. Нам известны лишь некоторые ступени его карьерного роста. В 1744 году императрица Елизавета Петровна пожаловала ему полковничий ранг, а также вечное владение мызой Хотинец, что в Ямбургском уезде, с двумястами девяноста шестью крепостными душами. Окончил же он свои труды и дни в чине статского советника.

В 1762 году он вместе с потомством был возведён австрийским императором Францем I в баронское достоинство Римской империи. Указом императрицы Екатерины II от 11 марта 1763 года Ашу было разрешено принять этот титул и пользоваться им в России. Диплом на это звание был, однако, получен потомками Фёдора Юрьевича уже после его смерти, в 1783 году. Герб баронов Ашей, помещённый в V части Общего Гербовника дворянских родов Всероссийской империи под №126, имеет характерный девиз: «Virtute Duce» («Добродетель нас ведёт»).

И действительно, барон был не только честным и усердным службистом, но и добродетельным семьянином, отцом шести сыновей и трёх дочерей. В историю российскую вошли трое его сыновей. Старший из них, Иван Фёдорович Аш (1726–1807), был видным дипломатом и долгое время находился в Польше в качестве полномочного министра российского правительства, дослужился до чина действительного тайного советника. Два других сына пошли по медицинской части. Егор Фёдорович Аш (1727–1807) был доктором медицины и защитил диссертацию в Геттингенском университете, с которым был тесно связан. По заданию императрицы Елизаветы Петровны он по всей Европе исследовал места, где находились целительные колодцы минеральных вод. Интересно, что при утверждении Медицинской коллегии в России в 1763 году он стал первым её членом. Третий брат, Пётр Фёдорович Аш, жительствовал в Москве, где получил известность как искусный эскулап, и также состоял членом Медицинской коллегии.

В конце XIX века род баронов Ашей пресёкся.

ДиН юбилей

Евгений Минин

Стихи—не сироты!

Дорогая редколлегия журнала «День и ночь»! У вас и название символическое, потому что вы о нас, авторах, думаете день и ночь. Я благодарен пермскому поэту Юре Беликову, который привёл меня в журнал ещё в те времена, когда редакторствовал Роман Солнцев. С тех давних пор и тянется наша дружба. Если во многие журналы авторов пропускают по пропускам и абонементам, то у вас всегда широко открыты ворота, и от автора требуется совсем немного—крупица таланта, независимо от того, где живёт автор.

Журнал для любого литератора—это дом для его произведений; автор готов спать под открытым небом, только чтобы у его стихов, рассказов, повестей и рецензий была крыша над головой. То, что мои стихи и пародии попадают в любящие руки редактора и редколлегии, вдохновляет на новые строки.

Перефразируя Осипа Мандельштама, можно уверенно сказать: «И строки, и стихи—всё движется любовью». В вашем холодном краю живут люди с тёплыми душами и сердцами, и я признателен вам всем. Когда-то написал грустное стихотворение «Просьба»:

Поэт, не веря в это сам,
ведёт забвенье за собою.
Я обращаюсь к небесам
с одной-единственной мольбою:
казни за прошлые грехи,
за неуклюжие остроты,
но лишь не оставляй стихи—
они почти всегда сироты…

Я думаю, что мои стихи не останутся сиротами: в далёком и холодном Красноярском крае живут близкие мне люди, и у них всегда найдут кров стихи и мои, и многих других неизвестных мне авторов.

С благодарностью.

Евгений Минин, поэт, пародист, издатель
Иерусалим

Анатолий Вершинский

Имя речной богини

Светлой памяти моей бабушки Анны Васильевны, урождённой Хижненко

От прошлого остаются осколки, но и они драгоценны…

Моя бабушка по материнской линии — родом с Черниговщины. Девятилетней девчонкой оказалась в Енисейской губернии, в Канском уезде, куда в начале XX века перебралось крестьянское семейство, насчитывавшее вместе с нею шестерых детей. Муж тёти, маминой сестры, — уроженец Тернопольской области. Тоже из семьи переселенцев, только более поздних и совсем не добровольных.

В годы моего деревенского детства домашние застолья непременно сопровождались пением. А пели родственники славно. Так что украинские песни я, сибиряк по рождению, чалдон по отцу незнамо в каком колене, узнал и полюбил с малых лет.

От покойных родителей мне достался десяток чудом уцелевших патефонных пластинок, как принято именовать грампластинки, изготовленные из шеллака и рассчитанные на скорость вращения 78 оборотов в минуту. (Для тех, кто не застал эру патефонов, поясню: шеллачные диски хрупки, как стекло, и содержать их в целости и сохранности гораздо сложнее, нежели долгоиграющие виниловые.) В числе музыкальных произведений, записанных на этих пластинках, есть и знаменитая песня «Верховино, мати моя». Недавно я снова слушал её. И опять споткнулся на рефрене: «Дана, шіді, річка, дана, дана…»

Что означает эта фраза? Сетевой поиск по ней привёл на форум сайта «Українські пісні». По утверждению одного из форумчан, в опубликованный текст «Верховины» вкралась неточность: в два слова записали одно — «шідірічка», производное от «шіді-ріді». В гуцульских народных песнях, образы и мотивы которых использовал Михаил Машкин, автор слов и музыки «Верховины», встречается именно такая припевка: «шіді-ріді, дана». Её и примем за исходный вариант.

Начнём со слова «дана». Популяризаторы славянской архаики пишут его с заглавной буквы, считая именем языческого божества. Основания для этого как будто есть. Выдающийся историк XIX века Н. И. Костомаров полагал, что Дана — богиня воды в славянской мифологии, покровительница рек, ручьёв и водоёмов: «Как вода, начало вещей, вечно прекрасная, вечно свежая, она была дева и вместе жена, т. е. супруга солнца. Так Длугош описывает её… Она была совершенно тождественна с греческою Дианою, или Артемидою. Эфесская Диана представляла первоначально существо воды и была поэтому равнозначительна Изиде, принимаемой в смысле стихии…»[1]. Ян Длугош, на которого ссылается Николай Иванович, — польский историк и дипломат XV века. Его главный труд, «Анналы, или Хроники славного Польского королевства», более известный как «История Польши», основывается на многих источниках, включая русские летописи.

Прозрачной представлялась Н. И. Костомарову этимология имени Дана: в нём исследователь усматривал общий корень с названиями рек Дон, Дунай, Днепр (лат. Danapris, др.-русск. Дънѣпръ), Днестр (Дънѣстръ) и некоторыми другими. Специалисты по языкам иранской группы установили, что гидронимы с корнем «дън-» / «дон-» восходят к скифо-сарматскому слову dānu «вода, река» (черта над буквой указывает на долготу гласного); то же самое означает в современном осетинском слово don. Дунай, по Максу Фасмеру, своим именем обязан кельтам (кельт.-лат. Dānuvius), но корень, вероятно, также индоиранский (ср. авест. danu «река», др.-инд. dānu «сочащаяся жидкость»).

Казалось бы, эти выводы лингвистов подтверждают предположение историка о том, что богиня воды получила у восточных славян имя Дана. Ведь несомненны их древние связи с южными соседями, ираноязычными обитателями Причерноморья — сарматами и аланами. Да и кельтам, западным соседям древних славян, была известна богиня с очень схожим прозванием: Danu — мать-прародительница, давшая имя клану богов Племён Дану, которые приплыли в Ирландию с полулегендарных северных островов, где постигли мудрость и магию друидов. Слово, схожее по звучанию и родственное по высокому смыслу, есть и в санскрите, литературном варианте одного из древнеиндийских языков: dāná «дар, дарение».

1. *Костомаров Н. И.* Славянская мифология. Киев, 1847. С. 41.

Славянская богиня рек, подательница вод, питающих землю, а значит, и всех на ней живущих, вполне могла носить имя Дана. Но была ли у славян такая богиня? Или это всего лишь плод фантазии российского историка, пытавшегося реконструировать славянскую мифологию по образцу греческой? Ни Ян Длугош, ни другие средневековые книжники не упоминают имени Дана. Не встречается оно в русских летописях, в других старинных документах. У славян это слово сохранилось только в народных песнях — в рефренах, смысл которых неясен. Убеждённый в том, что многократно повторяющиеся припевки обращены к объекту религиозного поклонения, историк предположительно отождествил песенную Дану с Девонией поляков, Девой прибалтийских славян и Мокошью славян восточных. Позднейшие исследователи пришли к выводу, что «Девония», «Дева» и диалектные варианты этих слов действительно имеют отношение к Мокоши, но представляют собой не имена подобных или тождественных ей богинь, а её эпитеты.

Мокошь (она же Макошь, Макешь, Мокуша, Макуша) — единственное женское божество, которое Владимир Святославич незадолго до Крещения Руси включил в общерусский языческий пантеон во главе с Перуном, созданный киевским князем в тщетной попытке тем самым духовно сплотить разноплемённое население молодого государства. Согласно Б. А. Рыбакову, Макошь (он предпочитал такое написание) — богиня судьбы, удачи или богиня плодородия и благоденствия[2]. Существование у славян культа Мокоши подтверждается многими источниками, включая русские летописи. «Дана» в числе её эпитетов нигде не значится.

Частое упоминание этого слова в песенных рефренах и его ираноязычный корень, семантика которого связана с водой, — единственные аргументы в пользу того, что Дана — имя речного божества. Улики, что называется, косвенные и специалистов не убеждают. Современной наукой Дана причислена к персонажам так называемой «кабинетной» мифологии; гипотеза Н. И. Костомарова признана несостоятельной. (Что не мешает его последователям включать Дану в перечень славянских небожителей.)

«Статуса богини» лишена официальной наукой не только гипотетическая покровительница славянских рек. Распространена точка зрения, что все «непонятные» рефрены обрядовых песен: «ой, дид-ладо», «лель-люли» и другие — представляют собой или бессмысленный набор звуков (вроде эстрадного «ла-ла-ла»), или до неузнаваемости изменённые заимствования из других языков. Например, существует версия, что «ай-люли» — искажённое «аллилуйя»[3]. (В свою очередь, это молитвенное слово происходит от др.-евр. «халелу-Йя'х» — «хвалите Ях[ве]».) Тот факт, что в трудах европейских историков XV–XVII веков слова «Лада», «Лель» и некоторые другие приводятся в качестве прозваний языческих богов, противники расширения славянского пантеона относят на счёт недомыслия или фантазии средневековых книжников, которые-де неверно интерпретировали чуждый им фольклор.

Так или иначе, в отношении слова «Дана» известная определённость есть: это либо действительно одно из имён забытой языческой богини, либо некий эпитет, «оторвавшийся» в незапамятные времена от определяемого им лица или явления, а позже, в эпоху романтизма, персонифицированный как женское божество. То есть в любом случае речь идёт о персонаже мифа, действующем в культурном пространстве современности — независимо от того, насколько древен этот миф.

Обратимся к выражению «шіdi-ріdі». (Далее, чтобы не путать одинаковые по начертанию символы кириллицы и латиницы, будем пользоваться латинскими буквами.) Что это — сложное слово, словосочетание, фраза? Самое простое объяснение: рифмованная бессмыслица. Самое экзотическое: древняя припевка сохранила, «законсервировала» в себе архаичную, дославянскую, общую для индоевропейцев лексику: shi (фонетический вариант si как результат перехода переднеязычного согласного в шипящее) — «она» (ср. англ. she, нем. sie); di — «делает, творит» (ср. укр. діє «действует»); ri «река» (ср. исп. río, порт. rio, англ. river).

Полностью фраза переводится так: «Она творит, реку творит — Дана». Гипотезу предложил Александр Знойко, автор нескольких работ, посвящённых происхождению славян, их древней культуре и мифологии[4]. По основному роду занятий Александр Павлович Знойко — инженер, специалист в области физической химии. До 1949 года работал в НИИ химического машиностроения. Пиком его научной карьеры явилось участие в советском ядерном проекте — в качестве руководителя одной из секретных лабораторий МГУ имени М. В. Ломоносова (с сентября 1949 по декабрь 1954 года). Достижения на этом поприще, понятное дело, не афишировались. Известность (и признание в определённых кругах) Знойко получил как историк-краевед, популяризатор оригинальных и, мягко говоря, небесспорных воззрений на этногенез и культуру славян.

2. *Рыбаков Б. А.* Язычество древних славян. М., 1980. С. 599.

3. *Гальковский Н. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Харьков, 1916. Т. 1. С. 35; М., 1913. Т. 2. С. 295.

4. *Знойко О. П.* Міфи Київської землі та події стародавні. Киев, 1989 (по-украински имя автора — Олександр).

На первый взгляд, предложенное А. П. Знойко прочтение гуцульской припевки логично. Но автор гипотезы не был профессиональным лингвистом. Насколько основательна его версия?

Гуцулы — немногочисленная общность, относящаяся к автохтонному населению Карпат. Их исконные занятия — отгонное животноводство (преимущественно выпас овец), рубка и сплав леса, разнообразные художественные промыслы. В семье славян место гуцулов чётко не определено. Одни исследователи называют их этнографической группой украинцев, другие включают в состав особой славянской общности — русинов. По распространённой версии, русины происходят от тиверцев, уличей и белых хорватов, живших в Восточных Карпатах ещё в VI–VII веках н. э. Лингвисты спорят, что представляет собой наречие, на котором говорят русины: самостоятельный русинский язык («четвёртый восточнославянский»), или особую группу русских говоров, или совокупность диалектов украинской мовы. Сами русины видят себя отдельным народом. Соседние с Украиной государства, где исторически сложились крупные русинские общины: Словакия, Польша, Венгрия, Чехия, Сербия, — официально признали русинов национальным меньшинством. Закарпатский областной совет в 2007 году принял решение признать проживающих в области русинов коренной национальностью Закарпатья. Киев отказался предоставить им статус национального меньшинства. Гуцулы, с официальной точки зрения, не являются частью русинской общности. Гуцулов и русинов, проживающих в Украине, республиканские власти предпочитают рассматривать как разные субэтносы единого украинского народа.

Область проживания гуцулов — часть ареала расселения тех индоевропейских племён, результатом смешивания которых и явился славянский этнос (по одной из гипотез, которая опирается на данные археологии, палеоантропологии, генетики и лингвистики, этногенез славян происходил на территории от верхнего Днестра до левобережья Среднего Поднепровья). Вполне вероятно, что в словесном творчестве карпатских горцев, в условиях их относительной изоляции от остального мира, сохранилась наиболее архаичная, ещё дославянская, лексика. Это предположение приоткрывает завесу тайны и над фольклорной Даной: так могло называться древнее индоевропейское божество, след от которого стёрся — осталось только имя в ритуальной формуле, донесённой до наших дней народными песнями.

Методами лингвистической компаративистики — сравнительно-исторического языкознания — реконструирован язык, названный праиндоевропейским, сокращённо ПИЕ. (Применяется и несколько иное название: индоевропейский праязык.) Предполагается, что он в значительной мере соответствует реально существовавшему языку, вернее, совокупности близкородственных диалектов, на которых говорили индоевропейцы до разделения их общности на дочерние группы. Лингвистами составлены праиндоевропейские корнесловы, насчитывающие несколько сотен корней.

Допустим вслед за Александром Знойко, что рассматриваемое выражение — осмысленная фраза, состоящая из односложных слов, и поищем их соответствия в сводном ПИЕ-корнеслове. Мы легко убедимся, что гипотеза Знойко не лишена оснований — по крайней мере, на уровне лексики. Но есть ещё законы грамматики.

В синтетическом языке, каким является праиндоевропейский, грамматические отношения выражаются словоизменением посредством флексий, то есть окончаний (в отличие от языка аналитического, например современного английского, где ту же задачу решают преимущественно служебные слова). Осмысленные фразы на синтетическом языке, как правило, не могут состоять из односложных слов, представляющих собой «голые» корни, а точнее — основы с нулевыми аффиксами (аффикс — вспомогательная часть слова, которая присоединяется к корню и служит для словообразования и выражения грамматических значений). В праиндоевропейском языке едва ли не единственное исключение из этого правила — использование чистой основы глагола в качестве формы повелительного наклонения второго лица единственного числа. (Отмеченная особенность отчасти сохранилась в нынешних индоевропейских языках; ср.: нем. legen «класть» — leg! «клади!», русск. «стоять» — «стой!» и т. п.). Названное ограничение сужает выбор возможных синтаксических построений фразы: вероятнее всего, это повелительное (побудительное) предложение с обращением к одному лицу.

Сразу оговорюсь: любая реконструкция в нашем случае будет грешить натяжками: выделенные из непонятного выражения слова сопоставляются с корнями гипотетического праязыка, воссозданного лингвистами в различающихся (пусть и ненамного) вариантах на основе нескольких живых и мёртвых языков… В этом уравнении слишком много неизвестных, чтобы решить его однозначно.

Опуская промежуточные выкладки, интересные, наверное, лишь тем, кто увлекается лингвистикой, приведу вариант реконструкции, который мне показался наиболее убедительным: «Se deu, reī deu, Danā!» — «Себя твори, на бегу твори, Река!»

Действительно, река сама себя создаёт в движении: стоячая вода — уже не река, а болото.

5. См.: Праиндоевропейский язык. Этимологический сайт Игоря Гаршина. www.proto-indo-european.ru

(Необходимые пояснения. Форма глагола в повелительном наклонении *deu образована от корня *deu- «делать, творить»; местный падеж существительного *reī «в беге, на бегу» — от корня *rei- «течь, бежать»; *eu и *ei обозначают односложные сочетания звуков — дифтонги со слоговым гласным *e и неслоговыми *u и *i. *Danā — звательный падеж гипотетического имени девы-реки *Danā. «Звёздочкой» слева принято помечать слова, корни и другие элементы реконструируемого языка. Дужка над буквой, так называемая «кратка», обозначает краткость гласного.)

После распада индоевропейской общности, подчиняясь фонетическим законам языка в разные периоды его развития (праславянский, славянский, древнерусский), архаичная молитвенная формула могла приобрести знакомое нам звучание. Со временем её первоначальное значение забылось. Имя речной девы сменило окончание звательного падежа (в праславянском *-ě, в старославянском и древнерусском -о) на окончание именительного и стало восприниматься как благозвучное, но труднообъяснимое слово. При этом свой сакральный характер высказывание, видимо, сохраняло, благодаря чему переходило из песни в песню.

И поныне в знаменитом рефрене угадывается интонация обращения к той, чьё имя называется неоднократно. Возможно, эта интонация, это имя, даже будучи не понятыми на уровне рассудка, задевают потаённые струны в подсознании человека, затрагивают глубинные пласты родовой памяти.

Не в этом ли *вспоминании давно забытого* состоит секрет воздействия гуцульской припевки на людей, казалось бы, далёких от карпатских горцев с их самобытной культурой? Из сообщения информагентства: «На песенном конкурсе „Евровидение-2004" победила певица из Украины Руслана Лыжичко с песней „Дикие танцы"… Руслана часть песни пела на украинском. В тексте песни значительное место занимает припев „шиди-риди-дана". По мнению ВВС, это звукосочетание произвело большое впечатление на европейских слушателей…»[6]. Отдавая должное иронии СМИ насчёт обострённой чувствительности западных меломанов, рискну и далее утверждать: привлёкший их пристальное внимание рефрен — не просто звукосочетание, но осмысленное высказывание. Маленький фрагмент, чудом сохранившийся осколок древней речи.

Почему не могут обойтись без него сегодня новомодные авторы и исполнители? И почему не смог обойтись вчера — создатель «Верховины»?

Эмоционально и мелодически сочинение Михаила Машкина напоминает гуцульские народные песни (многим знакомые по кинофильму Сергея Параджанова «Тени забытых предков»). Разумеется, это не те задорные наигрыши, под эстрадные интерпретации которых лихо отплясывают с выкриками «гоп, шіді-ріді» современные *хлопці тай дівчата*, а песни плавные, протяжные, близкие по мелодике православным молитвословиям. Исследователи давно заметили, что у духовной и народной музыки много общего. «Церковная музыкальная культура создавалась певцами, хорошо знавшими народную музыкальную стихию… Культовые напевы христианского периода содержат в себе интонации древних обрядовых песен, подобных колядкам, плачам, былинам. Часто эта связь таится в глубине, она проявляется в отдельных элементах попевок…»[7]

Песенное творчество гуцулов Михаил Васильевич изучал, что называется, в полевых условиях: приходил с баяном туда, где совершались традиционные обряды (бракосочетания, похороны и другие действа), где звучали праздничные или горестные песни. Сидел у костра с овчарами, просил их спеть. Зачарованно слушал, запоминал слова, затверживал, проигрывая, мелодии. Не всем нравилась эта активность «чужака», выходца из Приднепровья. Некоторые закарпатские старожилы обвинили Машкина в плагиате. В частности, до сих пор муссируется версия, что мелодию «Верховины» он подслушал у здешнего песельника Ивана Гринюка и выдал за свою, а слова переиначил. Ну не хотят поверить ревнители малой родины, будто пришлый человек мог настолько проникнуться красотой и щедростью их земли, что назвал её своей матерью и воспел как никто другой до него! Что же касается заимствований… Музыканты и литераторы испокон веков черпают мотивы, сюжеты и образы в сокровищнице народной культуры, огранивают её алмазы, превращая их в бриллианты. Это не воровство, но творческое осмысление общего наследия.

…Как выразить высшую степень восхищения? О безукоризненно сложённом человеке мы говорим: «красив как бог», о гениальном произведении: «божественно», о совершенной красоте: «неземная». Нет на свете эпитетов и сравнений выше тех, которые связаны с главными духовными ценностями людей, с вероисповедными понятиями.

Создатель подцензурного произведения искал наиболее экспрессивный, как мелодически, так и словесно, образ, способный одухотворить, приподнять над обыденностью явленный ему чудесный мир («Верховино, мати моя, / Вся краса чудова твоя… / У мене на виду») — горную, а по сути горнюю область, где плывущие облака — будто пасущиеся на весеннем лугу овцы («…За горами далі гори / Синіють вдалині. / А над ними хмари

6. УНИАН: Руслана пообещала сделать всех счастливыми // Севастопольская газета. 2004. №21.

7. *Владышевская Т. Ф.* Музыкальная культура Древней Руси. М., 2006. С. 26.

плинуть, / Наче вівці в полонині… / Пасуться навесні!»). Вдохновенная пастораль — чем не картина земного рая? Недаром в торжественном ладе «Верховины» угадывается величавый строй богородичных песнопений.

То, что не дозволялось обозначить словами, автор выразил музыкой. А вербальным ключом, открывающим двери в простор фантазии, в стихию народной жизни, где нераздельно сплетаются будничное и сокровенное, мирское и сакральное, стала загадочная припевка с часто повторяющимся именем — не то нарицательным, не то собственным. Принадлежность к фольклору делала этот рефрен идеологически «безвредным». (К тому же автор, как бы предупреждая возможные вопросы, заменил непонятное «ріді» на созвучное «річка» — река. Теперь соседнее слово «Дана» могло восприниматься на слух как название этой самой «реки». Загадочное «шіді» списывалось при надобности на «местный колорит».)

Выбор фольклорного мотива оказался безошибочным. Ведь что представляет собой Верховина? Так в народе зовётся высокогорная зона в пределах Украинских Карпат, по которой проходит водораздел. На северных склонах Водораздельного хребта берут начало Днестр и его приток Стрый, на южных — Уж и Латорица. То есть Верховина — дарительница вод, источник плодородия для нижних земель. В известном смысле, Верховина и есть Дана. Мифическая речная дева олицетворяет водоносный горный край, она — гений, дух этой местности. Вот почему её прозвание — просто Река, на языке индоиранских кочевников, которые растворились в карпатских праславянах, но оставили потомкам характерные черты облика и темперамента, навыки отгонного пастушества, названия нескольких здешних рек и важные для скотовода и плотогона слова: «собака», «ворс», «багор» и некоторые другие.

Песня о Верховине перекликается также с хитами довоенной поры. Автор верен духу времени и в своём сочинении использует прямой отсыл сразу к двум жизнеутверждающим советским маршам. Сравните слова Михаила Машкина: «Верховино, мій ти краю, / Хто твої тепер пізнає… / І села, і міста?.. / Я сміюсь на повні груди, / Радію, мов дитя…» — и знаменитые, ставшие афоризмами строки песен Василия Лебедева-Кумача (музыка Исаака Дунаевского): «Я другой такой страны не знаю, / Где так вольно дышит человек» («Песня о Родине», 1935); «Мы можем петь и смеяться, как дети…» («Марш весёлых ребят», 1934). «Верховина» создавалась в конце пятидесятых, когда режим государственной власти, чрезвычайно жёсткий в условиях предвоенной, военной и послевоенной поры, сменился более мягким, а успешное восстановление разрушенного войной народного хозяйства порождало надежду на столь же своевременное построение коммунизма — «земного рая» в его материалистическом варианте. В задушевной песне крестьянский сын Машкин рачительно соединил то, что потомственному гуманитарию показалось бы, скорее всего, не сочетаемым: архаику языческого поклонения матери-природе, традицию православного молитвословия и новацию времени — пафос индустриального переустройства жизни («спів заводів», «Перетворюють в нас люди / И край свій, і життя»). При кажущейся эклектике смыслов и образов получилось нечто цельное, органичное, а попросту говоря — живое.

В эпоху пролетарских революций значение некоторых слов существенно изменилось, они как бы подстроились под новую реальность. Коммуной стало называться не общежитие братьев во Христе, но объединение последователей антихристианского учения — марксизма; под духовностью понималась приверженность гуманистическим идеалам, а не исполненность Духом Святым. Происходило и обратное воздействие: явления новой действительности, называемые «старыми» словами, частично перенимали их исконный смысл. Запретив «религиозную пропаганду» в светских произведениях и резко ограничив доступ большинства людей к произведениям церковным, богоборческая власть не могла наложить запрет на культуру в целом. А европейская культура (в самом понятии которой коренится «культ») с первых веков от Р.Х. произрастала в разгорающемся свете христианского вероучения. Этот свет проник в её поры, напитав собою этику и эстетику всех социальных систем, кроме откровенно человеконенавистнических и потому нежизнеспособных.

Подлинные художники и в подцензурные времена умели говорить с читателем и зрителем на языке высокой духовности — в изначальном значении слова. Поэты писали о сердечной привязанности к Родине и Природе, к матери и возлюбленной, а получались признания, обращённые к Первоисточнику этого чувства, ведь, по слову евангелиста Иоанна, «Бог есть любовь» (1Ин. 4:8). Композиторы сочиняли музыку на мотивы народных мелодий, и их творения обретали божественное звучание. Ибо «глас народа — глас Божий», а где ещё народ выражает себя так полно и откровенно, как не в песнях своих?

Сознавал ли автор «Верховины», что за гимн он создал, отчего музыкально-поэтическое произведение о небольшом уголке Земли так тронуло сердца людей в разных концах света? Если и не знал, то догадывался.

Уместен в этой связи и другой вопрос: был ли Михаил Васильевич Машкин верующим человеком? Он родился 25 ноября 1926 года в Украинской ССР, в селе Новоалександровка Днепропетровской области. Для православных этот год знаменовался

известием о том, что утром 30 июля близ Киева двум пастушкам-подросткам явился Спаситель. Весть о явлении Христа и распространение пересказанного отроками повеления Его были призваны укрепить веру прихожан в условиях активизируемого властями раскола Церкви на Украине... Новорождённого крестили, в чём убеждает имя, которое он получил: на 21 ноября по новому стилю приходится Михайлов день — празднование Собора Архистратига Божия Михаила и прочих Небесных сил бесплотных.

Разумеется, крещение в младенчестве не спасает от безверия в сознательном возрасте. Показательнее другое. Пятнадцатилетним подростком Михалко Машкин вместе со своим отцом выступил с оружием в руках против немецко-фашистских оккупантов, был в 1943 году схвачен, допрошен СД и вскоре препровождён в Маутхаузен. От газовой камеры уберёгся чудом: назвался именем умершего в лагере сверстника. А в марте 1945 года Машкину вторично было даровано чудесное спасение: ему помогла бежать из плена пожалевшая его юная австрийка, член «Гитлерюгенда», и до прихода советских войск он сотрудничал с местным подпольем... Говорят, на передовой атеистов не бывает. А среди тех, кто выжил в концлагере?

И ещё несколько штрихов из биографии поэта и музыканта[8]. По возвращении из Австрии он поселился в Закарпатье, отошедшем по итогам войны от Венгрии к Украинской ССР. Женился. Его супруга Вера Сергеевна происходила из семьи священника. С 1954 года Машкины жили в селе Долгое (по-украински Довге) Иршавского района. Жена заведовала сельской библиотекой, а Михаил Васильевич до своей трагической кончины в 1971 году бессменно руководил народным ансамблем песни и танца «Боржава», созданным при Довжанском деревообрабатывающем комбинате. Так что творческая работа, достойный круг общения и условия для самообразования у Михаила Машкина были.

Разве может человек с такой судьбой и в таком окружении оказаться существом бездуховным?

Историко-лингвистический розыск подошёл к концу, а вопросы остались. Их теперь даже больше. И это хорошо: значит, предмет исследования не такой уж пустячный, каким вначале мог представляться читателю... Надеюсь, не представился. Не станет читатель принимать за пустяк то, что относится к *мудрости народа*, как правильно переводится на русский язык иноземное, но не чуждое слуху слово «folklore».

ДиН юбилей

Евгений Степанов

Разговор о душе

Я очень люблю журнал «День и ночь». Не только потому, что я там печатаюсь, а потому что журнал — замечательный. Разнообразный, яркий, не ангажированный ни одной литературной группой. Главный редактор Марина Саввиных и редколлегия представляют на суд читателей все формы и жанры литературы, прозаики и поэты журнала говорят с читателями о наболевших жизненных проблемах, говорят о душе. И это — главное. Поэтому читать журнал «День и ночь» интересно и красноярцам, и москвичам, и пермякам, и калининградцам, и жителям других городов и весей России и русского зарубежья.

Важно, чтобы этот журнал обязательно был в каждой российской библиотеке, продавался в печатных киосках, получал (равно как и другие литературные журналы) всестороннюю государственную поддержку. Потому что журнал сеет разумное, доброе, вечное. И это не красивые слова, это правда.

Евгений Степанов,
президент Международного
Союза писателей XXI века

1. Подробнее см.: *Туряниця Ю.* Перервана пісня Михайла Машкіна // Ежедвухнедельник «Ужгород». 2010. № 2.

Александр Силаев

Критика нечистого разума

Введение с извинением

Здравствуйте! Наверное, надо как-то объясниться по поводу текста. Начнём с того, что есть две новости. Как водится, хорошая и плохая.

Хорошая в том, что этот текст можно читать, начиная с любой страницы и на любой странице заканчивая. Плохая новость — что не все сочтут новость № 1 такой уж хорошей. Кому-то может показаться, что книга должна походить на книгу — с началом, кульминацией, концовкой и чтобы были части и главы. И список использованной литературы.

Можно догадаться, откуда такая безалаберная книжка взялась: это, в основном, сборник интернет-постов, кажется, с 2008 по 2010 год. Она не планировала быть книжкой, её заставили.

Но попробуем-таки структурировать кучу. Список использованной литературы был бы возможен, названий на двести, но пусть лучше это останется в её бессознательном (если предположить, что у кучи может быть некое бессознательное).

Для начала книжку пришлось как-то назвать. «Критика нечистого разума» — название тривиальное, так мог бы назвать свой опус начинающий копирайтер. Это хорошо, ибо выражает наше смирение и отсутствие мании величия. К тому же аббревиатура ещё более тривиальна, и буквы «кнр» уже несут не только смирение, но удобство в запоминании. Далее, придумав эти три слова, мы проверили и убедились, что их придумал много кто ещё. Таким образом, нас можно даже обвинить в плагиате, и это уже оригинальный подход и смирение, плавно перетекающее в постмодернизм.

Далее. На части куча всё-таки делится. Но это сильно неравномерные части.

Первая — аперитив. Или, если угодно, тест. Давайте придадим хаосу геометрический вид и вообразим, что он имеет форму треугольника. И возьмём три угла. Три статьи, специально не похожие друг на друга. Про политику для какой-то официальной газеты (писано просто). Про литературу — предисловие к одному сборнику (писано с претензией). Про мышление — просто коммент из диалога (писано отчасти на философском арго, не понта ради, просто так экономнее). Если ни один из углов вас не трогает, всю дальнейшую геометрию можно смело отложить.

Часть вторая — как бы центр тяжести нашего треугольника (у треугольников действительно бывает такая штука, как центр тяжести, правда-правда). Если в первой части было упражнение на растяжку нашего интереса, то здесь медитация, концентрация, дистилляция. Наверное, типовой образец того, что же всё-таки хотел сказать пресловутый автор.

Третья часть на порядок больше всего остального. Медленное, от руки, закрашивание нашей фигуры.

Наверное, нужно добавить, что прошло время, я дожил уже до 2013 года и местами сильно не согласен с автором этой книги. Процентов на двадцать. Или на тридцать. Это нормально. Перестав соглашаться с автором, я могу посмотреть на текст, так сказать, извне. Оценить его. Прийти к выводу, что автор, с которым я не согласен, всё же не идиот, с ним есть зачем и почему спорить.

Теперь я могу рекомендовать его писание добрым людям.

Часть 1. По углам

Граждане на виду

В разговоре о гражданском обществе обычно подразумеваются два тезиса. Никто эти штуки специально не оговаривает: мол, и так всем понятно. Во-первых, считается, что гражданское общество — это такое благо. Во-вторых, считается, что в России дело с этим обстоит не ахти. Отсюда и течение разговора: а как бы сделать так, чтобы оно, хорошее, у нас приключилось? Это не самый радостный взгляд на реальность, но вообще-то он её… приукрашивает. Как говорилось в одном коротком анекдоте, жизнь жёстче. Хотя и интереснее.

1.

Неприятное известие заключается в том, что гражданское общество в России всё-таки есть. Но это не совсем то, что можно поставить в красный угол и явить дорогим гостям как национальную гордость. Иногда это нечто такое, что хочется скорее задвинуть тапком под диван, пока дорогие гости не загляделись: а чего это там у вас такое копошится?

Любой разговор «по понятиям» (а уж тем паче по понятиям философическим и научным) уместнее начать с прорисовки самих понятий. А что мы вообще имеем в виду, ставя слова в данное сочетание? На понятиях вообще обычно стоит копирайт от классиков, и мы не можем трактовать их по своему произволу. Что, например, имеет в виду Георг Гегель, внося в политическую философию это самое «гражданское общество»? А там сказано примерно так: это территория между государством и семьями. Всё, где уже не семья, ещё не государство, а люди состоят в каких-то связях.

И если с этой формулой в голове мы окинем российскую географию и не забудем российскую историю, то увидим много прелюбопытного. Мы увидим сети связей, мало того что не прописанных в реестрах и табелях государства, но ещё для государства непрозрачных. Сети земляков, одноклассников, однокурсников, вместе служивших, вместе пивших, вместе спавших, вместе завербованных, вместе верующих и вместе грешивших. Это сильно разное, но всё аккуратно по Гегелю. От «пацанов с одного двора» до «методологического сообщества имени Щедровицкого», от «я с ними бухал» до «бывших разведчиков не бывает».

Всё это зачастую устойчивые компании, в полной боевой и деловой готовности, способные «решать проблемы». Зачастую для решения проблем специально созданные. Например, то, что разумеется под бандитскими бригадами,—упало не с неба, а было ответом на ситуацию почти полного исчезновения государства в недавнем историческом прошлом. У человека проблемы от «не вернули долг» и «выкинули с работы» до «изнасиловали жену», легальной управы нет, не говоря об экономическом арбитраже, и он вспоминает, что с кем-то когда-то, например, занимался спортом или служил в каких-то хитрых войсках. Проблема решается, а внезапно обнаруженный силовой ресурс начинается использоваться по прайсу. Дальше—больше, и вот мы уже видим то, что на политкорректном жаргоне можно назвать «непрозрачным субъектом экономической активности».

Если мы посмотрим совсем цинично, то «непрозрачный субъект» окажется в ядре почти любых легальных процессов. Не обязательно это сразу «мафия», давайте без сильных выражений, скажем просто: «личные отношения». Вопрос: где кончаются должностные инструкции и начинаются эти самые отношения? И если они вступают в противоречие—чему следуют? «Ты больше другу веришь или бумажке?»

В итоге возникает ветвь власти, неформальная, не прописанная ни в каком законе, но более чем влиятельная, назовём её «Баня». Есть, значит, власть исполнительная, законодательная, судебная, а ещё есть Баня. И у Бани есть сильные преимущества. Для государства она, как правило, непрозрачна, а государство лежит перед ней на блюдечке, очевидное и доступное. Это раз. В отличие от официальных структур, Баня оперативна в решениях—это два. Наконец, если человек вхож и в государство, и в Баню, решения Бани для него приоритетнее, чем решения государства,—это три.

Вот это и есть наше с вами российское гражданское общество. Иногда его называют коррупцией.

По сути, это такая социальная сеть. Ограниченность доступа искупается её действенностью. Любой желающий может ощутить себя с людьми, получив страничку в «жж» или «вконтакте». Можно обмениваться записочками и фоточками. Следующий уровень социальной сети, её, говоря масонским жаргоном, градус—это когда сеть даёт возможность «решать проблемы». Чем выше градус, тем реальнее проблематика. «Заступиться за человека», «продавить вопрос», «освоить бюджет».

Даже живущие на периферии этих процессов чувствуют, как это работает. Очень даже эффективное гражданское общество. Любое государственное решение увязнет в нём, как в болоте. Не будем демонизировать наших «общественников»: увязнет как хорошее, так и плохое. Если будет найден рецепт достижения всеобщего счастья за пятилетку, увязнет счастье. Если некий тиран решит истребить народ, увязнет истребление. И в обоих случаях Баня не проиграет.

2.

Сомнений в его силе нет, но… какое-то оно неправедное выходит, наше гражданское общество. Парадокс, но оно, скорее, антиобщественное. Могли бы для чего хорошего собираться. Песочницу починить. Район очистить от преступности. Страну модернизировать. А здесь такое ощущение, что граждане, собираясь больше трёх, непременно удумают, чего бы такое «попилить», «освоить», «продавить», «вломить» и кому за то «откатить», чтобы оно катилось и дальше.

Можно сказать, что общество таково, чтобы уравновешивать государство. А можно сказать, что общество само первое начало, и это государство такое, чтобы его уравновесить. Спор смахивал бы местами на выяснение первородства между курицей и яйцом.

Вообще, очень популярная в российских интеллигенциях тема—о государственном зле. Но, простите, «каждый народ заслуживает своё правительство». И, как писал ещё один классик, Марсель Пруст, «общество есть амплификация наших душ» (да простится излишне учёное слово). Что на душе, то в городе и в мире. И добавим к теоретикам практика. Сто лет назад премьер Столыпин уже думал в нашу тему и сокрушался: подлинное гражданское общество в России не случится, пока в ней не случится энный процент подлинных граждан. Каковые граждане, самовольно собираясь больше

трёх, в подавляющем большинстве занимались бы чем-то добрым, и не иначе.

Социальную полемику, кто первый начал—российское общество или российское государство, честнее завершить в сфере антропологии. Позволим себе несколько картинок на тему.

Одна из первых российских Дум. Не из тех, которые в конце двадцатого века, а из тех, которые в начале. На выходе из здания задерживали депутата. Он свинтил в уборной унитаз и пытался его вынести. «Поилку для свиней сделаю»,—объяснил себе депутат от крестьянства, первый раз увидевший вещь. Все партии в парламенте так или иначе подразумевали эмансипацию народных масс. Октябрьская революция была неизбежна.

Теперь сценка из двадцатых годов, от писателя Виктора Ерофеева. Иностранец приезжает в московскую гостиницу и просит швейцара его разбудить рано утром. «Если сам проснусь—разбужу»,—отвечает швейцар. Что произошло? Человек отказался выполнять свою прямую работу. Ерофеев перебирает варианты: «Каждому давать взятку—дорого, с каждым пить водку и дружить—ещё дороже, а что делать-то?» Сталинизм был неизбежен, выводит писатель-либерал.

Конец восьмидесятых годов. Московские школьники пишут сочинение на тему, кем хотят быть. Большая часть девочек пишет—«валютной путаной», среди мальчиков популярны «киллер» и «рэкетир». Те же профессии, названные по-русски, уже не так романтичны, но общая картина профориентации примерно ясна. Национальная разворуйка так, как она случилась, была ещё не худшим из шоков. «Лихие девяностые» были неизбежны.

Во всех трёх случаях сценарий примерно схож: люди начинают и проигрывают. Можно сказать: виновато плохое государство. Можно сказать: виновато несовершенное гражданское общество. Виноватят пофамильно: Сталин, Ежов, Берия, Чубайс, Березовский, добавить по вкусу. А как всё-таки точнее? А точнее так: каждый народ заслуживает правительство, которое имеет, а если правительство имеет народ, то это скорее БДСМ-игра по любви, нежели изнасилование.

Пенять на государство—пенять на зеркало из поговорки. Оно лишь наличествует и соответствует. Чему соответствует? Нашим душам, привет Марселю Прусту. Любые борцы с любым режимом, сказав своё зычное «А» про нелюбимую власть, по правилам интеллектуальной честности обязаны договорить «Б»: чему она соответствует. Ничего сложного.

Она всегда соответствует нам.

3.

Можно перекладывать с больной головы на патентованных козлов отпущения и вообще куда подальше, но простейшая статистика восстановит поруганную честность. Есть такие показатели, как число убийств на душу населения, число смертей в ДТП и от алкоголя. Догадайтесь с одного раза, какая страна тут держит лидерство по Европе, продолжая полагать себя европейской?

Усложним вопрос: можно ли здесь перевести стрелки, например, на правительство? За бедность населения оно, пожалуй, ещё могло бы ответить, но нравственный закон уже явно не в компетенции любых компетентных органов. Людей можно разорить, но хорошего человека нельзя подвигнуть на убиение невинного топором или арматурой. Также сложно вынудить население выпивать или кататься смертельным образом. Весь кошмар продолжается, по большому счёту, добровольно, по зову беспредельных сердец.

Разбавим пафос анекдотом. Хмурым дождливым вечер мужик идёт выносить мусор. Не дойдя до бачков, вываливает содержимое на полдороге. Оглядывается на кучу: «Во Путин страну-то довёл».

Мы снова хотим как лучше, но снова делаем кучу, оглядываясь в поисках автора. «Среда заела»,—так поясняли генезис кучи левые разночинцы в девятнадцатом столетии. Коммунисты продолжают ругаться с либералами на предмет большей антинародности Сталина или Ельцина, но точнее всего тема врагов народа раскрыта прозаиком Пелевиным: «Если заговор против России существует, то в нём участвует всё её население». Можно, конечно, гонять в своей голове чубайса (или шугать берию по углам), но возрождение России начинается с мусора, донесённого до урны. Пока мусор не донесён, мужику из анекдота сложно всерьёз обидеться на расхищение бюджетов всех уровней. Там всего лишь неаккуратны, как и он сам. Просто возможностей для неаккуратности больше. Повезло тем мужикам.

Вот есть тема учреждения «мирового финансового центра в России». Наивному прагматику кажется, что надо построить много новых красивых зданий. А потом в них самозародятся фондовые рынки и инвестиционные банки, если к зданиям пришпилить названия. Была такая теория зарождения жизни в средние века: считалось, например, что мыши самозарождаются в грязи. А в красивом здании обязательно зародятся деньги. Более разумный скажет что-нибудь о таргетировании инфляции и региональной валюте. Но проблема снова в антропологии. И звучит так: в каком месте земного шара людям проще доверить подержать чемодан с деньгами? Так, чтобы не потеряли по глупости и не украли по уму? И взяли свои законные 0,03 процента за трансакцию?

Пока деньги проще доверить в городе Лондоне, их будут доверять в городе Лондоне. А если где-то в третьем мире случится много-много денег, их всё равно свезут в Лондон. В Москву или Мехико не

свезут просто из опасения, что тамошние кадры порешат всё. Если даже бывший московский мэр не рискует остаться в Москве, кто там вообще не рискует?

У философа Мераба Мамардашвили было про то, что такое героический пафос. Без всякого надрыва. Не надо помирать за родину, вообще не обязательно помирать. Это просто способность быть одному. Стоять и не падать. Делать что-то одному. Не воровать, когда все тырят. Выполнять обещания, когда все кидают. Не врать, когда все гонят. Быть вежливым, когда все борзеют.

Главное — в одиночку. Проблему российского гражданского общества философ видел так: все хотят быть хорошими, но только все вместе и с понедельника. «Понедельник» может сильно варьироваться: от «сперва построим коммунизм» до «сперва поправлю дела». Ну и понятно, что это откладывание часа «Х» ровно на бесконечность. Та же бесконечность следует из соборного эгоизма «что мне, одному за всех?».

А можно обойтись без этих условий.

Снова литература — кому и зачем?

1.

Вопрос, только кажущийся банальным: зачем люди пишут? Можно ответить тавтологией: потому что не могут не писать (есть такая бородатая, но сильная заповедь: «можешь не писать — не пиши»). Ну а почему не могут-то?

Рискну предположить, что пишется, по большому счёту, затем же, зачем и читается, — ради кристаллизации опыта. Его извлечения и формулирования.

Иногда, чтобы что-то понять о жизни и о себе, приходится отправиться в путешествие, и не обязательно это перемещение на далёкие расстояния именно тела. Можно сказать иначе: решиться на приключение. И опять-таки, это не обязательно прогулки тёмными ночами в тёмных районах. «Всё то время, что мы не рисковали и не мыслили, можно считать потерянным», — сейчас уже не помню авторства: возможно, это Марсель Пруст; возможно, Мераб Мамардашвили, начитавшийся Пруста; возможно, всего-навсего и я сам, начитавшийся того Мамардашвили, который начитался Пруста. Но речь идёт — о том самом. Занятие писательством — рискованное. Главный его результат — извлечение опыта о мире и о себе — гарантирован не более, чем философу его мысль или конкистадору его добыча.

Отсюда, кстати, и определение графомании. Это когда пишется, пишется — а не щёлкает внутри то, ради чего. Вроде как пьёшь и не напиваешься. Человек пишет, но не меняется. И уж подавно не может дать другим то, чего не сделал с собой. Увы. Литература — вот эти чёрные буковки на белой бумаге — тонкий орган изменения самонастроек души. Графомания же — в лучшем случае бесплодная страсть по тому же самому.

2.

Суть произведения редко лежит в его сюжете. Сюжет — это как бы тропинка, по которой тебя везут, а то, что тебе хотят показать, — скорее пейзажи территории, по которой идёт дорога. Говоря немного затасканным языком, «авторское видение мира». Обычный писатель подмечает редкие виды во вполне описанных ареалах нашего житейского атласа, великий — творит миры со своей особой флорой и фауной (говорим же мы: «мир Набокова», «мир Пелевина», «мир Стругацких»). И в видении лежит какой-то опыт, можно сказать с привлечением философической лексики, различая «экзистенциальное» и «онтологическое», а можно заверить и в лексике вовсе иной — опыт этот всегда «чисто конкретен» и всегда «по жизни». Автор что-то такое видел, чего ещё не видело большинство. Или чувствовал. Или мыслил. И ему ценно — увиденное, почувствованное, помысленное. Вот это и будет «месседж» литературы (да простится мне басурманское слово в разговоре о русской словесности).

Произведение отлично от вещи тем, что не исчезает в процессе своего потребления. Если курицу съел один, её уже точно не съест другой. Произведением, в отличие от вещи, можно делиться, не обделяя себя. Вот писатели и делятся.

Но ведь бывает, что пишут «в стол»? И не только графоманы — но и великие (ну, скажем, если бы душеприказчики Кафки не нарушили его завещания, выпотрошив тот «стол», мы бы никогда не узнали Кафку)? «В стол» — даже и без надежды? А делиться — всё-таки во вторую очередь. В первую очередь, рискну уж заметить, пишется для себя, а потом уж городу и миру. В чём закавыка: скорее уж произведение создаёт автора, нежели автор — произведение. Тот человек, который есть автор текста, сам возникает только в процессе писания. В то время как плотник явным образом предшествует своему столу, писатель только и возникает в письме. Иначе — зачем писать текст, как сказано, ради опыта, если он уже у тебя, лежит где-то в файлах сознания? Видимо, не лежит. Не допишешь — не поймёшь. Себя не узнаешь. Вот эта мучительно-экстатическая страсть по себе и есть «не могу не писать».

3.

Как уже почти сказано, товаром в произведении является не байка («Зачем мне читать про жизни других людей вместо проживания своей?» — резонно говорил Борис Гребенщиков), но образ мира. Иногда покупается такой образ, что неким, более искушённым, бывает грустно: «Что же за

пипл, если он хавает это?» Но если мы на первом курсе аспирантуры, не будем свысока смотреть на восьмиклассников, пусть даже почтенного возраста. Тем более сетовать на то, что их больше. Конечно, больше. Им нужны соответствующие письменные пособия. Сетующий на «попсу» всегда имеет альтернативу—заняться самим собой, начав с нескромного поздравления: всё-таки он кончил начальную школу жизни, что было вовсе не гарантировано.

Тем более странно шить «аморалку» (на ум всплывает Сорокин, но и Булгакову вообще-то легко пришить—от старой антисоветчины до утончённого гностицизма). Вспоминается фраза: «Если бы книги могли нести хоть какое-то зло, весь мир бы уже давно лежал в руинах». Видимо, самое худшее, что может сотворить книга с читателем,—это ничего. Что бы по факту ни было содержанием текста, сам акт чтения—против энтропии и искупает не только аморалку автора, но и аморалку читателя, вычитывающего любимую фигу там, где её и не было (те же Ницше и Толстой были неглупы, но не могли же приложить страховку от идиотизма ко всем своим сочинениям).

В конце концов, большая часть глупостей и зла не оттого, что люди читали плохие книги (смотрели плохие фильмы, слушали плохую музыку и т.д.), а оттого, что с ними не происходило ничего. И самые худшие книги, соответственно, никакие и лишь приближаются к нулевой отметке, неизменно при том сохраняя знак «плюс».

4.

Писательство—конечно же, не профессия в нынешней РФ. Ну вот представим себе, что некто выполняет работу (допустим, красит и белит), а затем его подводят к рулетке: «Если сейчас выпадет зеро, мы тебе даже заплатим». Не великая тайна, что на десять пишущих—один, публикующийся «как надо» (в книгах и журналах, более-менее развозимых по всей стране), на десять публикующихся—один, живущий с гонораров или своего имени.

Уместно ли сетовать? Если писательство что-то вроде взятия уроков у себя самого, если это гимнастика странных мышц, отвечающих за силу понимания-восприятия—как звучала бы претензия? «Я занимаюсь медитацией, но мне за это не платят»? «Качался в тренажёрном зале, но мне за это не аплодировали»? Полноте. Жадность губит не только фраера, и бонус в виде денег, чинов, аплодисментов—не более чем бонус: всегда возможный, никогда не гарантированный.

Однако писательство, будучи провальным как профессия, вполне состоятельно как призвание, даже и сейчас. Это более, чем личная медитация: занимаясь, по сути, собой, ты можешь—о чудо!—быть ещё интересен людям. Десятку. Тысяче. Миллиону. Зависит от текста и места, куда попадёт текст. «Мы живы, пока держим живыми других». И если выпало что-то значить для других без посредника—надо как-то сильно не ценить это, чтобы искренне и всерьёз завидовать приказчикам среднего звена и офисному пути средней руки.

5.

Отдавая отчёт в конкретности пространства и времени—Россия, начало двадцать первого века,—сложно спорить: литературное слово—в кризисе. Можно говорить долго: «иные формы репрезентации реальности вытесняют слово большей энергичностью» (Виктор Ерофеев), «автор мёртв» (совокупный Французский Постмодернист) и т.д. Можно долго, потому не будем и начинать. Оговорим, что не столь даже проиграв, сколько пропустив сражение, слово ещё может выиграть более важное, а даже и проиграв—станет работать на сопредельные области: кино, рок, масс-медиа, публицистика, компьютерные реальности. Коверкая поговорку, слово терпит лишь пиррово поражение: испарившись в одном месте (положим, неторопливый роман а-ля девятнадцатое столетие), оно тут же начинает конденсироваться в другом (положим, интернет-блог).

Сложно вообразить мир без литературы, если понимать её широко: порядок слов, рассказывающий истории и дающий порядок интерпретации нашего мира. И даже если представить сумасшедший мир, где люди перестали делиться историями, без слов и интерпретаций не обойдётся даже и дурдом. Можно «спасать литературное слово», но можно и успокоиться: само спасёт кого надо. Кому надо.

Про мышление из комментов

Давайте попытаюсь—к определению мышления. Сложно, чёрт... Один из вариантов давайте мягко означим.

Фиксация в сознании смены имплицитных культурных стереотипов, определяющих нас в нашем восприятии и деятельности. То, что после запятой, можно опустить—это и так понятно, ну её, тавтологию.

В основной части значит каждое слово. Не более чем «стереотипов», например. А что не стереотип? Да всё стереотип. Имплицитных—потому что мы каждый раз не вынимаем их заново, они как бы по умолчанию работают. И речь идёт именно о фиксации во внутреннем или внешнем разговоре. Вот там, где есть фиксация,—оно самое.

Это несколько такое буддистское понимание, что-то подобное, кажется, Пятигорский говорил Щедровицкому. То есть в этой парадигме мыслит вообще не индивид—это совершается на психофизиологии индивида.

Давайте такую метафору. Сознание—комната, окна которой выходят на улицу—культуру. И оттуда дует. И что-то улетает, что-то прилетает. Наши «представления»—не более и не менее чем ценный мусор, который навеяло с улицы. Что значит ценный? Целесообразный, так скажем. Фундирующий в успешности наших практик.

От чего зависит «качество» «мусора»? Во-первых, оттого, куда выходят окна. На какое пересечение информационных потоков. В этом смысле аспирант столичной кафедры философии имеет ощутимые преимущества перед свинопасом. У него такая улица, что с неё лучше веет. Во-вторых, насколько открыты окна—можно означить это как личную склонность, любопытство.

А мышление—как бы демон, который сидит на подоконнике. И регистрирует, что вылетело и что залетело. Работа мышления—это работа вот этого демона записи, не более. Он не решает, чему залететь, чему улететь. Это как-то по-другому зависит. Но он страшно нужен. А почему?

В этой картине есть полагание своего рода «дарвиновского отбора» концептов. Что вот это вдувание-задувание антиэнтропийно. Что худшее постепенно меняется на лучшее. Если люди с годами живут, а не просто так, они обычно умнеют. Именно поэтому. А во-вторых, есть некая необратимость или почти необратимость: умный не может стать дураком, он может только сойти с ума, это другое. И вот здесь важен демон на подоконнике: именно его регистрация придаёт обмену характер, близкий к необратимости.

Чем «заучил» отлично от «понял»? Понял—это значит понял, что именно ты отбросил, что именно взял, пережил на себе смену представления. И значит, вот этот акт присвоения нового реален—ты не можешь или почти не можешь забыть. Ну, например, историю в средней школе я понимал, а химию учил. Поэтому экзамен по истории сейчас сдам, а по химии нет.

Теперь к научному и прочему разному другому мышлению. Если под картиной мира понимать не карту дополнительных территорий, а призму, сквозь которую ты видишь то, что видят и остальные, но так, что ты можешь быть в этом определён по восприятию и деятельности. Очки такие… чёрные ли, зелёные ли, с диоптриями, но без них никуда. Без них непонятно, например, за кого я в данной ситуации.

Я бы вообще этот смысл определил как некий дополнительный элемент описания системы, не имманентный самой системе. Но необходимый для действия в ней. Именно это импортируют из заграничной (трансцендентальной) области религия и философия.

И нет человека, который бы так или иначе не пользовался плодами этого импорта. Другое дело, что он не сознаёт эту вещь как импортную, не знает, кто импортёр, и даже вообще не вычленяет это как не само собой разумеющееся. Но вообще-то «обыденные представления»—это некие руины религий и философий… Те замок построили, а потом он развалился, там козы ходят, а между камней туземцы живут. Но камни оттуда.

Наука иногда просто замолкает, если ей предложить занести именно вот это, играющее эту роль.

Продолжение следует

Юрий Годованец

Восемь небес Юрия Беликова

Предварительный вдох

Я давно уже поменял пушкинские местоимения места и времени: «Поэт, не дорожу любовию народной. Восторженных похвал прошёл минутный шум; услышал суд глупца и смех толпы холодной, но я остался твёрд, спокоен и угрюм. Я царь: живу один...» И далее—в том же кристальном ключе, вплоть до «колеблемого треножника».

Так я ещё недавно безмятежно размышлял, пока по столичному небу не засквозила бегущая интригующая строка: в московском издательстве «Вест-Консалтинг» выходит книга Юрия Беликова; и вот она—с библейским названием: «Я скоро из облака выйду»! Не скрою, сумасшедшая физическая радость держать в руках новую книгу гениального друга из Перми—как в ту самую эпоху метафизического застоя—трепещущее невозможное метеоритное чудо. Тем более что книга сия предполагает «на месте века двадцать первого / узреть инопланетный сплав».

Первое Облако

(В переводе с дельфиньего)

Недавно Юра написал мне: «Вы над Москвой облака разгоняете? Вопрос: куда движутся они? Разумеется, в мою сторону. Я их пасу».

Разогнать облака нетрудно, а собрать их в боевой порядок или вложить одно в другое, да так, чтобы пластически каждое оказалось на своём отдельном небе,—это большое искусство.

Вот почему сразу оказалось, что облако, из которого выйдет поэт, не одно! И поэту предстоит сбросить с себя одно за другим восемь облаков, а восьмёрка—октагон—символ бесконечности.

Начиная с «Монолога непроизносимого» имени исландского вулкана Эйяфьятлайокудля, первое облако посвящено самым разнообразным способам движения голоса, языка и смысла, включая старую кассету, книги мёртвых, клавиши книжных корешков, перезахоронение праха убиенного в уральской зоне Василя Стуса, ультразвуковое пение поэта с поэтом («Вознесенский говорит голосом пришельца...»), полковой марш. «Марш долгового облака», собственно, и дал сигнальную побудку названию книги. Поэтому поговорим о нём особо.

Вначале историческая конкретика. Четвёртый Норфолкский полк англичан во время Галлиполийского сражения в Первую мировую полностью вошёл в лежащее у него на пути облако, а обратно не вышел. Облако поднялось и растаяло в небе. Даже эта конкретика уже наполнена философской символикой: а сколько к тому канувшему полку прибилось и прибивается? Униженных и оскорблённых, отверженных и загнанных, угнанных и непонятых:

Пока нас Земля забывает,
в полку прибывает полку,
но в облаке места хватает—
стоит над Землёй, набухает.
Эй, кто облака разгоняет!
Что с этим-то? «А не могу...»

Но поэт сгущает исторические и философские смыслы до разряда молний, до того самого космического, инопланетного эффекта:

Мы здесь не состарились вовсе—
такие, какими вошли.
Из облака выйдем авось мы,
но в облике этом и свойстве
найдём ли признанье Земли?
Узнаем ли сами Земли?..
Узнаем ли мы, не узнаем ли мы,
что мы не узнаем Земли?

Крепчайший поэтический градус. Изумительный мастер! Недаром Евгений Евтушенко включил эту балладу наряду с другими стихами Юрия Беликова в антологию «Десять веков русской поэзии». Но любоваться совершенством отдельных образов и строчек мало, хочется познать, как устроен и работает иерархический механизм книги, ибо, на мой взгляд, именно поэтическая книга (не сборник по определению) и является долгожданной единицей творческого высказывания—крупной художественно-симфонической формой.

Второе Облако

(Речь Ивана)

Во втором облаке меня начинает одолевать догадка, что Пушкин не совсем прав, что мой высший суд—это не я сам, а кто-то ещё, Иван, например, или

Беликов, или зимний рыбак, которому «не хватает лунки», или «перевёрнутый» Маяковский («Я интересен. Этим и поэт»), или Вадим Рабинович, коему посвящено одно из кодовых стихотворений этого облака, а может, и книги,—«Волею алхимика». В том же письме про ежегодный московский разгон облаков Юра рассказал о своей последней встрече с героем стихотворения, произошедшей менее чем за месяц до его внезапной кончины. О том, как Рабинович—поэт, философ и знаток алхимических тайн—живо выхватывал своими искрящимися небесными очами слушателей вот этих исполняемых Беликовым строф, словно желая зачерпнуть ту же подтвердительную глубину понимания, что тогда, во время прочтения, сияла в нём самом:

Не упрекай меня серебряным
и не кивай на золотой,
я и в свинцовый с его цербером
не собираюсь на постой.
Но я плесну азарта унцию
в состав из вынутых веков
и над ретортой побезумствую,
и вот уж новый век готов…

Итак, Беликов трудится над составом нового века. А рецептура?.. «Стань рекой, человек», ибо поэт «впадает в океан», предварительно, как «бобыль домой студентку», впустив в себя пустоту.

Третье Облако

(Замашки императора)

В принципе, когда я читаю стихи, я забываю о себе. А когда я пишу, я забываю о стихах. Но когда я читаю стихи Юрия Беликова, то постоянно вспоминаю о себе! А когда я пишу, то не могу забыть его стихов. Потому что Беликов—это удивительный камертон поэтического слова, и далеко не камерный:

Снимаю скрепки с рукописей,
как сапоги с мёртвых…

Третье облако, с «Замашками императора», уже волею верлибра подрывает пушкинский призыв: «Ты царь: живи один»,—ибо любой, кто чувствует себя императором, «исподволь готовится к встрече со своей тайной дочерью», остаётся «перед клеткой с бурым медведем, / позабытой среди России, / на развилке лесной дороги», «кормит бездомных собак», в баньке по-чёрному, ставшей своего рода невольным лучевым оружием, по самооговору автора свалившим «работоспособного Исаича», поминает Солженицына, и даже беликовские гуси Пушкина ищут. А сколько скрепляющего медного звона в его «Сказе о волшебных силовых кругах», где отворяется едва ли не физическая, державообразующая тайна церковных колоколен с переходом на всё тот же космическо-инопланетный уровень:

Страшно, когда Земля
вращается вхолостую—
ни солнце и ни луну,
ни звёзды не задевая.

Четвёртое Облако

(Сквозь пальцы)

Стихотворение «Гармонь, разорванная надвое» я давно знаю и люблю:

Я представил, что Россия, как гармонь, со мной взята,
я услышал сквозь мехов свистящий вздох,
как бегут по-на две стороны Уральского хребта
запыхавшиеся пальцы поездов.

Тут поэт в обнимку всю Россию берёт, когда «половина той гармони уползает на восход, / половина уползает на закат». И из этого облака никогда ни ему, ни нам не выйти, несмотря на сквозное движение железнодорожных составов, нашествие всех стран, проникновение заоконно-враждебного крика в материнский сон, почти мольбу о заштриховке всего, что привиделось автору,—«до синего ворона аж!»—крошащимся карандашом дождя.

Обнимая Родину, как гармошку, сжимая меха, поэт не даёт ей распасться.

Пятое Облако

(Не смотри)

Это лирическая книга тончайшего письма, где поэт науськивает на девушек сирень, ловит их бреднем поношенной куртки, одухотворяет «Философией бёдер», исследует на фоне печки и храма, измеряет своим аномальным, с точки зрения докторов, не читавших первую его книгу «Пульс птицы», сердцебиением («Ты не знаешь, кто сердце моё обул? / Не сезонные, чай, сапоги…»), поскольку это облако означает соитие мужского и женского начал в одно целое.

Но, как и следовало ожидать, эти пограничные упражнения с физической реальностью («Я, набравший избыточный вес, / с горизонта почти исчез, / как на станции Кез ирокез») завершаются предположением, что:

Может, так вот и Бог, сколотивший миры,
ударяется в некий торец,
чтоб затем убедиться: до этой поры
не был равен творенью Творец?

Шестое Облако

(Мины молитв)

Если облака как таковые—это взвешенные в атмосфере продукты конденсации водяного пара,

видимые на небе с поверхности Земли (впрочем, и с поверхности наднеба), то шестое облако Беликова всё состоит словно из капелек святой воды и представляет собой индивидуальный Молитвослов поэта.

Без этого из облака не выйти! И внезапно открывается, что сегодня любовью народной надо дорожить, потому что она—внеземного происхождения, наподобие оконной рамы, которая «живицею плачет»:

Да ведь и сам ты—как старая рама!..
Вроде морили, травили и лаком
так покрывали, что Господи, знамо,
длань возложил—ну а ты и заплакал…

Более того, народную любовь надо заслужить, а для этого—написать стихотворение «Человек, предавший зверя», о котором после публикации его в «лг» было точно сказано оренбуржским собратом Беликова Владимиром Молчановым, что оно «вызывает мороз по коже»:

Я умираю в собаке, которую предал.
Жду, что умру.
Дабы, мой след опознав, не считала она его следом
в Божьем миру.

Но дальше, когда подступает крещендо:

И всколыхнулась, взыграла людская клоака:
—Пробил твой час!
—Люди!—Он молвил.—Во мне умирает собака…
Впрочем, и—в вас!

Как свидетельствует рассказ книги Исход о явлении Бога Моисею на горе Синай: и сошёл Господь в облаке, и остановился там близ него, и провозгласил имя Иеговы. А когда израильтяне вышли из Египта с разрешения фараона и вступили в пустыню Аравийскую, Господь шёл перед ними днём в столпе облачном, показывая им путь.

То есть облако в мировом искусстве знаменует о присутствии Бога и является посредником между горним и дольним миром, духом и материей, сном и реальностью.

Седьмое Облако

(Неопознанный махатма)

Из седьмого облака выходят два Юры—поэты Беликов и Влодов. Облако, куда они вместе вошли в 1992 году, стало машиной времени. «Почему тебя величают «Махатмой российских поэтов»? Гипербола или что?»—любопытничаю я. «Или что,—перекатывает слова Юра.—Вот ты назвался Паханом нашей словесности. Это—в натуре? Или—балаганишь?» Звучит взаимно колкий диалог двух Юр. Один из которых (Влодов) запустил в народ крылатое двустишие: «Прошла зима. Настало лето. Спасибо партии за это!» А другой (Беликов)—сталкер Пермского треугольника. Вот отчего, как нитка пульса, и в этом облаке, теперь уже устами Влодова, вновь возникает инопланетный мотив:

«Над Переделкиным обыденно светилась странная крупная звезда.
—Гляньте-ка, это ж летающая тарелка,—гутарили стоящие на аллее литераторы.—И вчера была в это же время… Через час-другой уйдёт на восток…»

Но то, о чём не ведомо завсегдатаям Дома творчества, приоткрывает бесприютный Влодов: «Я-то знал, что сия странная звезда всегда сопровождает моего друга». Это облако—икона в иконе, автопортрет в портрете.

Восьмое Облако

(Участь книги)

Нам так не хватает прошлого, чтобы построить будущее! Нам так не хватает настоящего, чтобы спасти прошлое! И поэт выбирает небесную точку опоры—облако, которое может перевернуть Землю.

Так что же выходит из облака? Эта книга! Хотя именно восьмое облако как бы отторгает все семь предшествующих:

Скряга я пусть, сквалыга,
столпник, чернец в дому,
только нет слаще мига—
знать: у тебя есть Книга,
отданная—Никому.

Неслучайно здесь же возникает фантом Пушкина, за всех своих последователей в пересказе автора заявившего: «Все мы на лицах ищем / оттиски наших книг…» Потому что скоро грянет лавина поэзии! Вышел Беликов, выйдут другие. Тот самый канувший в «набухающем облаке» полк. Как известно, Юрий—вождь движения дикороссов, сетевой организации не только без организационной структуры, но и без сети как таковой. В основе объединения—свобода, творчество, любовь. Показательно, что, благодаря подвижнической воле Беликова (опять—«Волею алхимика»!), их даже признал исключительно украиноязычный журнал «Киевская Русь», опубликовав на языке оригинала (то бишь—русском!) и при этом назвав «уникальным явищем». На скрижалях дикороссов значится, что они «прорастают самосевом, не надеясь на приход Садовника и любовь Родины». Так поэзия в частности и литература в целом становятся для России делом государствообразующим.

Выход книги прямо из облака—оригинальный издательский приём, который показывает, что сама природа наэлектризована поэтическим текстом. Таким образом, книга—как художественное произведение—это сложный артистический фокус и—в то же время—это живой фокус творческого мироощущения евразийского масштаба.

Заключительный выдох

Моё мнение простое и ясное: книга Юрия Беликова «Я скоро из облака выйду» — это роман! Роман «Доктор Живаго», но только почти без прозы, а из одних стихов. Сквозь призму узнаваемой биографии автор, связывая нас с классиками (Тредиаковский, Данте, Фет, Мицкевич, Золя, Гоголь, Достоевский, Вольтер, Толстой, Гёте, Сервантес, Солженицын, Стус, Вознесенский. Маяковский, Пушкин, Блок, Шаламов, Каменский, Бодлер, Шукшин, Влодов и др.), физически выразил состояние нашего переломного метафизического времени, состояние ожидательное, состояние тесной пустоты, состояние, которое просто необходимо наполнить мощным художественным простором:

> Пусть, волею моей взлелеяна,
> история отступит вспять,
> но я заставлю Менделеева
> его таблицу переспать…

Это слышится всё из того же стихотворения с посвящением Вадиму Рабиновичу. А заканчивается оно так:

> И ты почтишь поэта скверного,
> потомок, прах его поправ,
> на месте века двадцать первого
> узрев инопланетный сплав.

Опять-таки тот самый! Как явствует из вышеупомянутого письма Юры, Вадим Львович переспросил: «А кого вы имели в виду под „скверным поэтом“?» — «Себя, конечно», — заверил его Беликов. Потому что гениальное не страшится быть скверным.

Учитывая космический масштаб книги, существует угроза, что весь тираж может на корню скупить Роскосмос для отряда подготовки космонавтов и других подразделений, поэтому тем, кто хочет испытать радость взять её в руки, надо спешить… Ведь поэт предупредил: «…отданная — Никому».

ДиН стихи

Александр Гиневский

Белый день

• • •

Борису Михайлову

Воздух холоден. Воздух недвижен —
Синеватой подёрнут слюдой.
Утопая в снегу до лодыжек,
Зябнет куст, а поодаль другой

Омертвело. Подобьем коралла —
Иглы инея — ломкий налёт.
Жизнь ветвей всё же тлела помалу
Из метели в метель напролёт.

Черноту их графических линий
Обескровил Декабрь-снегодей.
Разве в этом он только повинен —
Сотворитель и бед, и затей.

Вдруг пронзительно-нежно, зовуще
Птичий посвист… опять и опять…
До души дотянулся из кущи
И намерен в ней торжествовать.

Белый день! Без единой помарки, —
И за то ещё благодарю,
Что из тюбика выдавил жаркой —
Алой краски на грудь снегирю.

Над книгой

Владимиру Эрлю

Я перелистываю книгу.
Хозяин её
умер в прошлом году,
и я его
никогда не знал.
В книге
некоторые мысли
подчёркнуты ногтем.
Я испытываю волнение,
перечитывая подчёркнутое,
и тихо оплакиваю
столь близкого мне
человека,
которого так
и не встретил.

Андрей Канавщиков

Наступление творческих хоббитов: противоядие диалога

Они стоят рядом — Иосиф Бродский и Юрий Кузнецов. Это два фактических столпа русской поэзии второй половины двадцатого столетия, два полюса, две самых цитируемых и почитаемых фигуры двух различных спектров поэтических пристрастий отечественных ценителей рифмованного слова.

Как правило, если какой-то поэт внутренне для себя отторгает Бродского, то он высоко ценит Кузнецова. И наоборот. Это, возможно, чересчур обывательская и упрощённая позиция, но никуда от неё уже не денешься. Это аксиома, не требующая доказательств.

Поэтические предпочтения могут быть выражены ярче или мягче, откровеннее или по касательной, но наличие поэтического противовеса с течением времени не только не исчезает, но лишь делается более характерным.

Точнее и концентрированнее других очевидную параллель Бродского — Кузнецова обозначил Владимир Бондаренко: «Юрий Кузнецов, на мой взгляд, это последний великий поэт 20-го века. <…> Если Рубцов шёл от русской песни куда-то в мировую культуру, ввысь, то Юрий Кузнецов как бы опускался с этого… мирового поэтического олимпа в русскую национальную традицию. <…> Неслучайно… высоко его оценивает и лучший друг Иосифа Бродского Евгений Рейн. Он его называет тоже последним трагическим поэтом России. Они и родились в один год. И оба вышли, скорее, из Державина, чем из Пушкина. Один представляет более либеральную традицию русской поэзии, другой — более традиционную и консервативную, но в целом они по-своему близки друг другу».

Бондаренко отлично обозначил вектор развития и степень поэтических ожиданий поэтов от собственного ремесла. То есть вторая половина двадцатого столетия прошла под знаком схождения с высот мировой культуры до русского национального голоса. Некий демиург, много познавший и много повидавший, несёт свой огонь в народ, просвещая и возвышая некую заведомо ниже его находящуюся массу.

Здесь они однозначно схожи, Кузнецов и Бродский. Со своими планетарностями и намеренными философскими обобщениями, где нет ни Акакиев Акакиевичей, ни станционных смотрителей в принципе. Показательно сравнение поэта и русского человека с лежачим камнем у Юрия Поликарповича:

> И ты поэт, угрюм ты или весел,
> И ты лежишь, о русский человек!
> В поток времён ты только руку свесил.
> Ты спишь всю жизнь, ну так усни навек.

А вот уже полярная планетарность от Иосифа Александровича. Со всё тем же мотивом народной статичности, когда чётко разделены две ипостаси — творческая, созидательная, и созерцательная, пассивная. С теми же пресловутыми камнями.

> Эти стихи о том, как лежат на земле камни,
> простые камни, половина которых не видит солнца,
> простые камни серого цвета,
> простые камни, — камни без эпитафий.

На самом деле эту перекличку, философскую и семантическую, между Кузнецовым и Бродским, Бродским и Кузнецовым можно вести долго. Что совершенно излишне, благо Бондаренко прекрасно определил исходный пункт — Державин.

С одной стороны — пресыщение знаниями, совершенство, мастерство, а с другой — тайное ожидание будущего Пушкина, который бы откликнулся своей «божественной простотой» на знание демиурга-творца, оживил совершенство теории собственной ежедневной практикой.

> Я царь — я раб — я червь — я бог!
> Но, будучи я столь чудесен,
> Отколе происшёл? — безвестен;
> А сам собой я быть не мог.

И нобелевский лауреат Бродский, и поэт-почвенник Кузнецов лучше многих других, безошибочно почувствовали вот именно это ожидание грядущего Пушкина, этот разлад, часто трагический, между словом и делом, между накопленными знаниями и бытом, между душой и телом народными. Глубоко символично, что на роль столпов заката двадцатого поэтического столетия с разных идеологических и художественных фронтов выдвинулись самые крупные свои представители,

чтобы прийти на одно поле, где лежат всё те же пресловутые люди-камни.

По сути своей вершинными проявлениями русской поэзии этого времени стали глубоко трагические концепции, несущие изначальные разрушение и хаос, смуту и разлад. У Бродского подобная интонация звучит предельно откровенно:

> По выпуклости-гладкости асфальта,
> по сумраку, по свету Петрограда
> гони меня—любовника, страдальца,
> любителя, любимчика разлада.

Но наивным было бы полагать, что стихи Юрия Кузнецова более в этом смысле оптимистичны и позитивны. Вместо индивидуалистической проповеди у него всё это оформлено лишь в более понятные почвеннику одежды и мифологемы. Взять хотя бы посвящение Юрия Поликарповича «Отцу» 1968 года, всё проникнутое болью и страхом за будущее:

> — Отец!—кричу.—Ты не принёс нам счастья!..—
> Мать в ужасе мне закрывает рот.

Эффектно сказано, но фактически—весьма двусмысленно. На грани инфантилизма и потребительства. В стихах словно предполагается, что отец должен обеспечивать бытие сына и своей семьи, а сын должен предоставляемые ему автоматически блага не менее автоматически потреблять.

Нечто по русской поговорке: «Отчего парень с лошади упал? Оттого, что мать криво посадила». Словно бы кривая посадка на лошадь избавляет самого парня от необходимости держаться в седле и представлять из себя что-то самоценное не только в родстве с отцом и не только в качестве звена поколений.

Не говорю, что разрыв поколений—это хорошо. Не говорю, что это—легко. Но за констатирующей частью обязательно должна начинаться позитивная программа, то, как именно ты сам планируешь держаться в седле. Когда даже отец предал, когда нация—не такая, когда всё вокруг—не то и не так. И вот здесь начинались откровенные проблемы.

Поэт, надо отдать ему должное, прекрасно понимал необходимость позитивной программы. Станислав Куняев вспоминал: «Юрий Кузнецов, который жил в высших духовных сферах, старался выразить не мировоззренческий, а религиозный смысл войны, условно говоря, между добром и злом, этой вечной Третьей мировой, вышедшей на историческую финишную прямую в XX веке. По поводу моих небольших восстаний: дискуссия „Классика и мы“, письмо в ЦК и т.д.—он говорил так: „Стас, какие-то цели у тебя слишком приземлённые. Ты воюешь с конкретными лицами: критиками, писателями, историками, а я борюсь со всей мощью тёмных сил, я не хочу различать их лица, фамилии… Ты всего лишь лейтенант, ты идёшь в атаку, пуля тебе в лоб попадёт, ты споткнёшься, упадёшь и даже не поймёшь, что уже погиб“. То, что он назвал меня лейтенантом Третьей мировой, мне льстит. У Кузнецова есть стихи „В тишине генерального штаба“. Он с этих позиций смотрел на всё, смотрел как идеолог генерального штаба, который воюет с силами мирового зла. У меня же очень конкретное мышление, в отличие от Юрия Поликарповича. Я ему говорил: „Юра, каждому—своё. Вот у меня есть свои окопы, есть враги на той стороне, есть своя линия фронта… С меня вот так этого хватит“».

Остроумная версия. Станислав Юрьевич любовно и бережно оберегает имя Кузнецова даже от невольных теней, которые могут быть брошены на святыню. Но и мне не забыть то ощущение страха и апокалипсиса, которое встречается хотя бы при чтении «Семейной вечери» Кузнецова 1977 года. Подчёркнуто религиозных и подчёркнуто страшных. Стихи начинаются с того, что:

> Седая старуха, великая мати,
> Одна среди мира в натопленной хате
> Сидит за столом.

Хата—натоплена. То есть люди здесь живут, есть кому жить и кому топить печь. Но семейная встреча проходит под знаком полного разобщения и совершенного неотмирного разрыва всех возможных связей.

> Пришельцы глядят на пустые стаканы,
> Садятся за стол и сквозят, как туманы,
> Меж ночью и днём.
> <…>
> Все гости пусты и сквозят, как туманы,
> Не тронута снедь, не початы стаканы…
> Так кто же тут был?

Да, нива потом «вновь созревает». Да, «красное солнце смолкает лениво за тёмным холмом». И вроде бы религиозное единение побеждает скорбь, и гости всё-таки начинают пить за «старым столом». Но даже в пробуждении своём и возрождении перед ликом Великой Мати гости оказываются невольно разобщёнными:

> Солдат за победу, поэт за свободу,
> Вдова за прохожего, мать за породу,
> Младенец за всё.
> Бродяга рассеянно пьёт за дорогу,
> Со свистом и пылью открытую Богу,
> И мерит своё.

Даже объединительный тост не делает гостей ближе друг другу. Помыслами и порывами они все находятся совсем в различных пространствах. С трудом соединяемых и если чем и близких, то исключительно памятью о некоей былинной старине, о времени, которое сейчас утрачено.

У Кузнецова в качестве эпатажно-программного частенько выделяют его «Я пил из черепа отца», но вряд ли это правильно, поскольку тяжёлое, бьющее по нервам чувство утраты и горя является главенствующим практически во всех его произведениях. Гармония во всех её видах и проявлениях у Юрия Поликарповича периодически куда-то ускользает, размывается, превращается в самопародию.

Учитель хоронил ученика…
И слышалось на торжестве особом
Глухое бормотанье старика:
— Он шёл за мной, как я за этим гробом.
Он дым хватал от моего огня,
Язык богов ловил с чужого слуха.
Он только смертью превзошёл меня,
На остальное не хватило духа.

Тонким существом своей души и Кузнецов, и Бродский предчувствовали распад СССР, европейские войны, погружение Советской Империи в пучину феодализма, технологическое крушение общества потребления. Реальные события просто подкрепили дышащей плотью то, что в своих стихах поэты видели за десятилетия до горящей Югославии или крови в коридорах Дома Советов.

Неслучайным выглядит даже эпический склад речевого пространства у обоих авторов, с их тяготением к поэмам, к большим формам, к непременным обобщениям. Когда даже небольшие по размерам стихи менее всего напоминают простую зарисовку или заметку, претендуя на цельный философский образ.

И Кузнецов, и Бродский выглядят в исторической перспективе своего рода предвестниками Русского хаоса перестройки. Гениальные алконосты распада пропели свои печальные песни, чтобы потом, за ними, не было уже ничего, даже отдалённо напоминающего реалий СССР. Они в предельно концентрированном и незамутнённом виде явили то, что тогда же прорывалось у многих, но не было пока что оформлено столь беспощадно и бескомпромиссно.

И там, где другие пока ещё видели личные мотивы, Кузнецов с Бродским сумели увидеть планетарный хаос. Для сравнения можно привести стихи Валерия Хатюшина 1976 года, написанные практически тогда же, когда Юрий Поликарпович «пил из черепа отца», а Иосиф Александрович, этот «один из глухих, облысевших, угрюмых послов второсортной державы», составлял книгу «Конец прекрасной эпохи».

Жизнь моя — бедная мачеха.
Что ж мы друг друга мучили?
Рос я доверчивым мальчиком,
Думал — живу для лучшего.
Верил в людей отзывчивых.
Глупый, на что надеялся?
Добрым я был, улыбчивым.
Хмурым и злым я сделался.
Сколько ненужного, ложного
Мною у жизни куплено…
Сколько в меня заложено,
Сколько во мне загублено!..

Это потом уже Валерий Васильевич не сомневался, откуда дул разрушительный сквозняк, а тогда у многих, у слишком многих теплилась надежда поверить в то, что ощущаемый ими разлад можно преодолеть лейтенантскими методами и тактикой. Поэты искали причины разлада в себе, сострадательно мучились приступами вины перед окружающим несовершенством.

Даже Евгений Евтушенко отметился многозначительной, с нынешнего уровня понимания, поэмой оруэлловского 1984 года «Дальняя родственница», когда герои мучительно вспоминали, как слово «отчаяние» будет звучать по-английски.

Шёл разговор в глобальных облаках
о феллинизмах
и о копполизмах,
а тёть Марусь вошла
тиха, как призрак,
в своих крестьянских вежливых носках.
С косичками серебряным узлом
присела чинно,
не касаясь рюмки,
и сумками оттянутые руки
украдкой растирала под столом.

Самозваная элита вспоминала, да ничего не могла, а тётя Маруся в вежливых носках, эта учительница английского, с лёгкостью вспомнила. Почему? Да потому, что просто не могла этого слова из её мира не знать. А вспомнив, вдруг оказалось, что это сакрально знакомое слово бесполезно ей, но вооружает новым знанием чуждую ей «элиту», чтобы впоследствии всё-таки взорваться конфликтом языков и миропонимания.

Поздняя советская лирика буквально сочилась этими перезрелыми соками распада. Не было веры уже не просто в идеалы, но не было также и веры в общество, в семью, в самого себя. Поздняя советская лирика разрушительна и саморазрушительна. И чем лучше, чем достойнее авторы, тем эта тенденция виделась отчётливее, откровеннее. Тем сильнее рвались нервы в строках Юрия Кузнецова, тем циничнее матерился Иосиф Бродский.

Невольно возникает вопрос: если русская поэзия второй половины двадцатого столетия обозначала и оформляла заключительный этап окончания холодной войны (она же — Третья мировая), апеллируя к опыту Г. Державина, то не прервалась ли одновременно позитивная пушкинская линия? Была ли она вообще, наряду с очевидными ростками упадка? Чем и в ком себя утверждала?

Ключевой фигурой здесь представляется пермско-екатеринбургский поэт Алексей Решетов (1937–2002). В отличие от поэмоориентированных авторов, он предпочитал миниатюру, зарисовку, набросок. Его стихи не сдвигали тектонические пласты, не взрывали подсознание. Гениальный Юрий Кузнецов, в принципе, точно обозначил своего коллегу при знакомстве с его стихами: «У него короткое дыхание!»

Алексей Леонидович не столько творил в высоком смысле слова, сколько просто общался с читателем. Этак хитро прищурившись на солнышке и неторопливо дожидаясь ответа, который, возможно, услышит только он.

Любимая, стой, не клянись, всё равно
Кого-то из нас утомит постоянство.
Но я тебя брошу, как птицу в пространство,
А ты меня бросишь, как камень на дно.

И всё! Только четыре строки. А если настаёт время грусти, то и она у Решетова есть только грусть, есть только то, что она есть:

Как стойко держались берёзы
В суровые дни, в январе,
А нынче—весенние слёзы
Бегут и бегут по коре.
Так женщины наши в груди
Тревоги и горести прячут,
А если и плачут, то плачут,
Когда уже всё позади.

Трагедийные интонации у Решетова не грозят чумой и библейской моровой язвой. Его лирический герой по-человечески слаб, а если в чём и силён, то опять-таки—по-человечески, без больших обещаний и большого полёта.

—Тебе слабо писать, как Пушкин,—
Сказала мне гражданка N.
—Слабо,—ответил я подружке,—
Но ведь и ты—не Анна Керн.

Стихи Решетова, при всей своей непритязательности, оставляют надежду. В них есть конкретное человеческое тепло. Когда видишь перед собой не демиурга, а живое существо, может быть, чуть пьяное, чуть беспомощное, но близкое уже тем, что оно понятно.

К тому же Решетов не переигрывал с иронией, и юмор не превращался у него в некую эзоповскую фигу в кармане. Даже юмор его—в меру, как полагается в спокойном общении, без искромётных сатирических аллюзий. Этот человек не высмеет тебя, не подколет ради красного словца, с ним не состязаешься в интеллектуальных поединках, с ним просто легко и уютно.

Возникает ощущение, что при любом ядерном грибе над головой мы сохранимся и диалог не прервётся. Даже это пресловутое «короткое дыхание»—что оно, если не предчувствие глобалистического передела мира, когда у людей зачастую не хватает ни времени, ни сил на то, чтобы осознать что-то более глубокое, чем четыре-восемь строк линейного текста?!

В мелькающий клиповый век Алексей Решетов пытался говорить со своими современниками на одном, диалогово оправданном, языке. Не боясь скомкать речь, оборвать её на полуслове, понимая, что если читателя удастся зацепить четырьмя строчками, то у него неизбежно появится потребность в следующих, а самый распрекрасный разговор может так и остаться монологом, если не улавливать ответного движения глаз.

Знакомая припевочка
Слышна издалека,
Неведомая девочка
Идёт от родника.
А ветер вьётся около,
Горят цветы кругом…
В одном ведёрке—облако,
И солнышко—в другом…

Для обычного советского партийного оптимизма—сказано слишком хорошо и умно. Для вскрытия первопричин и первооснов бытия—слишком мало и слишком бытовыми словами. Но, пожалуй, именно в Решетове и его линии русская поэзия сумела сохранить пушкинскую прозрачность и ту неуёмную жажду жизни, что определяет её. Счастливо соединив внимание к философской глобальной проблематике с так называемой тихой лирикой, став неким симбиозом Юрия Кузнецова и Владимира Соколова.

Интонации пророка, оракула или, по меньшей мере, избранного не отвергались и не высмеивались, но весьма существенно менялись, если речь шла уже не о том, чтобы собрать стадион, но о том, чтобы хотя бы докричаться до одного-единственного собеседника, находящегося от поэта напротив. И вдруг оказалось, что именно короткое дыхание помогает сейчас бежать рядом с собеседником по его бытию и быть адекватным его духовным поискам.

Почему бежать? Да просто потому, что у нас нет другого народа и других людей, и если горделиво потерять то, что имеется, пренебрегать диалогом в принципе: дескать, несолидно и мелко нам, творцам, со всякой мелкотой туповатой общаться,—то очень скоро и монологи не понадобятся. Они просто звучать будут на других языках. На английском, на языках национальных окраин, но не на русском. Язык не существует отдельно от своих носителей. Время не существует отдельно от пространства. Душа в текущей жизни не существует отдельно от тела.

Сейчас решетовское знамя подхватил и его, а точнее—пушкинскую, традицию ведёт Николай

Александрович Зиновьев из Краснодарского края. Это та же самая нацеленность на диалог, приоритет малой формы, намеренно сниженный образный ряд. Но в то же время и уверенное развитие решетовских тем. Что немаловажно—с прекрасным пониманием того, кто именно находится в его генеральном штабе, когда Зиновьев посвящает памяти Юрия Кузнецова свои стихи «Ветер перемен», а Кузнецов пересылает свою книгу в зиновьевский Кореновск.

О даре Зиновьева так говорил Валентин Распутин в 2005 году на фестивале «Сияние России» в Иркутске: «Талант Зиновьева отличен от других ещё и тем, что он немногословен в стихе и чёток в выражении мысли, он строки не навевает, как это часто бывает в поэзии, а вырубает настолько мощной и ударной, неожиданной мыслью, мыслью точной и яркой, что это производит сильное, если не оглушающее впечатление. В стихах Николая Зиновьева говорит сама Россия».

У карты бывшего Союза
С обвальным грохотом в груди
Стою. Не плачу, не молюсь я,
А просто нету сил уйти.
Я глажу горы, глажу реки,
Касаюсь пальцами морей,
Как будто закрываю веки
Несчастной Родины моей…

Здесь нет парадоксальных и неожиданных живописных образов, нет глубокой филологичности с непременными скрытыми ироническими цитатами. Здесь просто звучит принцип диалога со своим читателем, доведённый до абсолюта. Если многим из ныне пишущих поэтов, кажется, совершенно безразлично, как и что у них прочитают, когда свои труды они неосознанно или осознанно адресуют лишь литературным критикам, Николай Александрович пишет в высшей степени адресно, видя своих героев, слыша их голоса.

Это и «похмелённая бригада» пьяненьких строителей, возводящих «божий храм», это мать, которая «притворяется живой», чтобы «донянчить внучат», это одноклассница «Катька-полстакана», это, наконец, сам автор, который тщательно, подостоевски выстраивает своеобразный дневник со стихами, которые начинаются словно с оборванного прежде разговора:

А я видел, как били бомжа
За кольцо колбасы. Били долго.
Били с толком его, не спеша,
С беспощадной улыбкой—
Как волка.
Он пытался им туфли кусать,
Под прилавок хотел закатиться.
И никто не посмел заступиться,
Только я вот решил… написать.

Автор даже в мелочах не отделяет себя от своих героев, ему в корне чужда маска или роль олимпийского бога. Даже знающий больше, даже понимающий больше среднестатистического гражданина, он не пытается навязать свою правду или утвердить её иначе, чем через христианскую любовь, чем через внутреннее индивидуальное очищение. Зиновьева трудно представить в барском кабинете, в дорогом автомобиле, он подчёркнуто народен. Он до последней запятой—свой, проверенный. Человек, который может ошибаться, но который тебе хотя бы не соврёт.

Для страны, в последние десятилетия буквально изнурённой разнокалиберной ложью, приватизациями, ваучерами, карманной оппозицией, которую проплачивает сама действующая власть, этот эффект честного диалога видится поистине животворным. Корчащейся, безъязыкой улице, ждущей объясняющих себя слов, поэт щедро предоставляет нравственные основания для жизни, для того, чтобы верить в будущее, чтобы не утонуть в отчаянии.

Иллюзия образованности—это лишь иллюзия. Наличие диплома о высшем образовании нисколько не гарантирует, что человек автоматически обрёл способность самостоятельно анализировать явления жизни и давать им имена. Диплом о высшем образовании ничуть не отменяет теории элит с её всего лишь пятью—десятью процентами людей, которые способны понимать окружающее без подсказки лидеров мнений.

Часто люди под понимание жизни маскируют бойкость языка, его остроту, банальное интеллектуальное хамство, как в шукшинском рассказе «Срезал», совершенно не становясь от этого более самостоятельными духовно. Постиндустриальное общество, формально пичкая людей знаниями, как и любое другое общество в принципе, не учит и не может научить людей вразумительному пользованию этими знаниями.

На подобное учение и сейчас, как и во все века, призваны исключительно поэты и писатели. Именно их слово даёт безъязыкой улице голос. И как научат поэты и писатели говорить улицу, какими словами и образами, так она и будет в дальнейшем общаться. Улица забудет, кто её научил, она станет считать, что сама до всего додумалась (как же—она же очень умная!), но реально каждое слово имеет первоисточник.

В «Литературной газете» в 2007 году свет увидела чрезвычайно важная статья Екатерины Фёдоровой «Кризис писателей среднего возраста», где автор методично и скрупулёзно разбирает, как демо-глобалистская власть в России планомерно выбивает из интеллектуального оборота тех пишущих, кто в годы своего становления застал советское время, перестройку, реформы и кто может всё это честно оценить. Без страшилок про

ГУЛАГ и одновременно без сладкого сиропа в адрес тех, кто кровожадно призывал «раздавить гадину».

Фёдорова пишет:

«Пришла к убеждению, что среднее поколение писателей специально «выбили». Потому что они — участники и свидетели не самых доблестных действий властей. А правда в освещении этого периода не нужна. Старшее поколение легче перенесло всё, что случилось в эпоху «перемен», потому что было защищено званиями, наградами, пенсиями, дачами и квартирами. <…>

Молодые не вкусили прелестей переходного периода, потому что были защищены в силу возраста родителями. Да и сама молодость сглаживает трагедии. Они могли видеть, могут помнить, но, скорее, в качестве наблюдателей.

Среднее поколение писателей вынуждено все эти годы ходить ежедневно на службу и превращаться в тех самых актёров народных театров, которые днём стоят у станка и только вечером могут заняться тем, к чему лежит душа. <…>

Выбивая из ремесла писателей среднего возраста, власти сознательно разрывают живую связь времён.

Но разрыв живой связи не просто опасен. Он смертелен. Условно говоря, если ваши дети не родили внуков, то ваша история, личная, на этом закончилась.

Так и здесь. Поколение, не связанное с русской литературой пульсирующей связью, будет лихо писать, как они съели собаку. Но традиций русской литературы вживую они не восприняли, по наследству им это не передалось. И они что угодно могут передать потом по наследству следующему поколению. Но не живые традиции русской литературы. Можно стать подражателем. Но не продолжателем.

Одним из признаков дилетанта является его убеждение, что до него никто этим не занимался. <…>

Писателям некогда жить. Они то работают, то пишут, а созерцать, осмысливать, «расслабиться», вырвавшись из потогонной системы, у них нет возможности.

Спрашиваю товарища: мол, куда в отпуск? Отвечает, что в отпуске будет писать. То есть, освобождаясь от одной работы, он берётся за другую.

Не знаю никакой другой профессии, где творческие люди в массовом порядке совершенно профессионально занимались своим делом бесплатно. Чтобы профессиональный певец ходил выступать бесплатно — я даже не представляю. А зарабатывал бы на это, беря дополнительные частные уроки (работая учителем), дежурства в больнице (будучи врачом), сочиняя статьи в издания, где хорошо платят. Можно представить, что обладающий голосом человек где-то трудится (зазывалой, например), на заработанные деньги шьёт концертный костюм, арендует зал, зазывает зрителей и бесплатно поёт? А потом ещё и диски свои дарит? Поступают ли так художники?

А ведь писатели среднего поколения именно так вынуждены выходить к своему читателю, будучи самыми преданными своей музе людьми. Сейчас едва ли не половина публикуемых книг — самиздат.

Старшее поколение творческих людей государство якобы вынуждало творить «на тему». А разве рабочий у станка мог отказаться делать деталь для ракеты, будучи пацифистом? А учитель — не тот урок или отсебятину? Где свобода? В какой области деятельности, за которую хочешь получать деньги, она есть? Писатель мог писать в стол. А рабочий в свой стол не мог работать на станке. В свободное время — пожалуйста».

Конечно же, статья Екатерины Фёдоровой не осталась без внимания. Через несколько номеров в «ЛГ» двадцатилетний студент Алексей Трудов, который совершенно ничего не понял из прочитанного, просто поёрничал над идеей отлучения писателей от читателей. Свёл вопрос до некоей дискуссии, до некоего обмена мнениями. На том всё и заглохло.

Хотя достаточно посмотреть, с писателями какого круга встречается руководство России, какие возрастные рамки имеют многие литературные премии, чтобы понять совершенно неслучайный характер попыток раскола слова и улицы. Когда поддерживают или стариков, чтобы спокойно дожили, или молодых, которые привыкли к коммерции, при этом жёстко контролируя степень влияния на массы тех, кто способен синтезировать в себе историческое единство СССР и православия, Советской власти и имперского духа России.

Николай Зиновьев относится именно к этому разряду «выбиваемых», которых никак не удаётся «выбить». Поэзия для него — не хобби, не приятный досуг, не занятие от скуки, не ремесло, не бизнес, это Служение, это диалог, своеобразная летопись того, как Божественное Слово пытается дойти до своих носителей, кто его воспримет и услышит.

Не всегда этот диалог выходит простым. Часто он беспощаден и рвёт душу не меньше, чем его отсутствие. Такое вот, например, замечание:

> Вот сменила эпоху эпоха.
> Что же в этом печальней всего?
> Раньше тайно мы верили в Бога,
> Нынче тайно не верим в Него.

Не верим-то не верим, но «Он» — с большой буквы. И это тоже есть одна из неотъемлемых примет нынешнего бытия. Парадокс русского духа, от которого нельзя отмахиваться, если мы хотим честно смотреть друг другу в глаза. Как и в той особенности, которую поэт остроумно и тонко осмысливает, через вороха грязи и лжи

о мифической русской лени. Зиновьев не уходит в сторону от неприятного разговора, он просто делает верные акценты:

Она не встанет на колени
Ни перед кем и никогда.
А от геройства ли, от лени—
Не всё равно ли, господа?!

Часто поэта упрекают в излишней мрачности его стихов. В тяжести красок, в апокалиптичности. Вопрос только в том, кто упрекает: городские интеллигенты со своими квартирами, машинами, уютными жёнами, начальники от литературы, разнокалиберная творческая обслуга.

В действительности у Зиновьева нет намеренных триллеров, написанных с садистской целью пощекотать нервы. Его скупость изложения видится, наоборот, с одной стороны, невозможностью молчать, чтобы остаться честным перед своим народом, а с другой стороны—намеренным нежеланием даже лишней запятой вызвать подозрение, что ты любуешься окрестным разрушением. Скупость летописца с обожжёнными нервами—вот стиль Николая Александровича.

Муж погиб в Афганистане,
Сын—в Чечне на поле брани.
И остался в этой мгле
Жутким, сумеречным светом,
Вместе с нею в мире этом
Внук, сидящий на игле.

В каждом стихотворении Зиновьева видишь живых людей. Там нет манекенов, схем, там каждое обобщение ноет свежей раной, там за каждой фигурой видны выражение лица, одежда, походка. Собственно говоря, стилистически здесь мы видим продолжение пушкинско-советской традиции показа простого человека—станционного ли смотрителя или доярки. И не вина автора, что реалии жизни его героев существенно изменились.

Однажды после пьянки
Проснёшься сер и хмур,
В окно посмотришь: янки
На завтрак ловят кур.
Чужим гортанным смехом
Буравят тишину
И тащат на потеху
В сарай твою жену.
Взлетают пух и перья,
Кровавится рассвет,
А у тебя с похмелья
Подняться силы нет.

Показательно понимание сути творчества, которое формулирует Николай Зиновьев в стихах «В пивной». И бес, и Бог гонят его из этой пивной, только бес утверждает, что «тебе не пара эти алкаши», а Бог гонит со словами: «Но только помни: это твои братья». Дилемма поднимается до глубоких религиозных обобщений. До смиренной мудрости и беспредельной любви к своим ближним.

Но как же мне потом креститься
Рукой, махнувшей на людей?

В стихах Зиновьева регулярно прочитывается вполне определённый политический подтекст. Он имеет свою гражданскую позицию, никогда не лебезит и не юлит. Он знает, что потерял вместе со своей страной, и знает, кто в этом виноват. Но в то же время поэт не опускается до громыхания словесного, до газетных агиток, всегда оставаясь человечным, доступным и открытым для того, чтобы услышать ответ.

И своего рода критерием истинности поэзии Николая Зиновьева звучит его любовная лирика. Трепетная, чистая и опять-таки человечная, не книжная, не вымученная, не нарочито-паточная:

Дай Бог мне славу и почёт,
Богатства дай—всё будет мало!
Всё будет словно бы не в счёт
Без губ её, горящих ало.
Пусть Бог меня вдруг нищетой,
Как ледяной водой, окатит.
Но даст глаза и губы той,
Одной-единственной! И хватит.

Решетовское умение решать поэтическую задачу построения текста на диалоге и парадоксе Зиновьев довёл до абсолюта. А соединение с пушкинской классической линией превращает поэта в ярчайшего представителя русской поэтической традиции. Он видится сейчас наиболее последовательным и цельным выразителем того пласта культуры, который на время ушёл в сторону за эпохальными полотнами Юрия Кузнецова и Иосифа Бродского, но без которого немыслимыми являются и миссия поэта в современной России, и дальнейшее развитие русской поэзии в целом.

Пренебрегать возможностью диалога—значит, утратить связь с улицей, как определял наречение явлений именами Маяковский. Делать вид, что диалог не нужен или не важен,—потворствовать разрушению преемственности традиций и открывать дорогу в русскую поэзию разрушителям, которых гениально разоблачил Кузнецов, но который не достучался до широкой массы, до массового читателя именно потому, что из своего генштаба далеко не всегда считал непосредственный диалог благом.

Кого мы обманываем? Хотя бы те же эпатажные строки «Я пил из черепа отца» правильно были поняты лишь близким кругом Юрия Поликарповича, теми, кто разделял его убеждения, кто разбирался в его весьма непростых художественных и эстетических поисках. Многих сложная стилистика построений Кузнецова лишь отпугивала или дезориентировала.

Алексея Решетова же или Николая Зиновьева можно читать одинаково и в университетской аудитории, и в пивной. И часто—с практически идеальным уровнем понимания. Когда то, что написано, именно так, без расхождений и разночтений, слышится. Не говорю, что это хорошо, что это большой комплимент, но суть остаётся неизменной.

Сейчас стихи Николая Зиновьева и поэтов его круга, его предпочтений—это тот последний мостик между русской традицией поэзии и современностью, последняя надежда на сохранение преемственности, на то, что разрыв, старательно культивируемый демо-глобалистами, будет преодолён.

Иначе знамя русской поэзии однажды банально упадёт к ногам творческих хоббитов, тех, для кого творчество—лишь способ занять свободное время. Тех, кто вышел на пенсию, тех, у кого выросли внуки, тех, кто болеет и т. д. Служение будет в таком случае уверенно заменено на самовыражение. На всё то, что мы прекрасно можем сейчас лицезреть в Интернете.

Когда какой-нибудь автор состряпает некую красивость типа «Осень руки мне ложит на плечи», а пара десятков дилетантов поспешит эту красивость расхвалить в выражениях «Восхитительно!», «Супер!», «Замечательно!», «Прекрасно!». С целым ворохом смайликов и картинок. Когда никто даже и не заметит, что в русском языке нет такого слова—«ложит».

Причём с обилием слов-обманок и слов-прикрытий вроде: «Мне слава не нужна», «Я пишу для себя», «Все мы тут невеликие поэты» и т. д. Но упаси вас Боже принять эту игру всерьёз и посоветовать «пишущему для себя» и читать свои стихи только себе, под подушкой, по ночам! На вас тут же соберут всех собак под крики о некоем «собственном мире» или, что чаще, «собственной вселенной», которую все видят и ценят, и только вы, чёрствый и тупой бездарь, из зависти не понимаете. Понятие диалога, несмотря на всю свою элементарность, не так-то легко и крайне редко даётся.

Часто интернет-дилетанты из тех, кто пограмотнее, любят прикрываться именем Эдуарда Асадова, у которого при желании и технические огрехи можно отыскать, и по части образов небогато. Но, во-первых, фронтовик Асадов в 1944 году потерял зрение и попросту был лишён возможности оттачивать свои стихи посредством глаз. А во-вторых, пресловутая простота Асадова как раз из области пушкинской традиции диалога.

Он не столько самовлюблённо солирует, сколько реально болеет душой за своих героев. Всё ли у них получится так, как он хочет, всем ли будет хорошо? И темы Асадов подбирал острые, на грани, чтобы будили ум, теребили душу. Хотя бы это его классическое—«Ночь»—из книжки 1963 года «Во имя большой любви», которая вышла аж несколькими изданиями:

Как только разжались объятья,
Девчонка вскочила с травы,
Смущённо поправила платье
И встала под сенью листвы.
Чуть брезжил предутренний свет.
Девчонка губу закусила,
Потом еле слышно спросила:
— Ты муж мне теперь или нет?

Дальше парень отказался жениться, и над этой непритязательной историей плакало несколько поколений советских людей.

Думается, что Юрий Кузнецов и Эдуард Асадов—это два полюса, две стороны одного большого явления. Сверхфилософское усложнение и не менее сверхфилософское, осмысленное упрощение. А между ними золотой серединой, неким балансом сил, гармонией, упорядоченностью традиции видятся Решетов и Зиновьев. Которые пили из двух источников и сумели генерировать в своём творчестве многие ответы на больные вопросы бытия. Которые сумели сохранить востребованность поэзии не только у литературной критики, но у читателей прежде всего. Они сохранили саму такую генерацию, как читатели.

Синяя тетрадь

Ольга Титова

Литературный лицей, 10 класс

Чиновничье

Я жила в среднем по всем городским показателям районе, ходила в очень среднюю школу. Да и сама продолжала эту цепочку, обучаясь более чем средне. В моём донельзя среднем классе был стандартный набор типажей, и количество характеров не превышало числа карт в колоде. Несколько хорошеньких глупышек, несколько не хорошеньких не глупышек да несколько молодых людей, умеющих рассказать обо всех своих богатых переживаниях в двух словах: «кароч» и «ваще». Также у нас имелся худенький мальчик, который даже в столовой опирался на собственные умозаключения да на исследования британских учёных. И нетрудно догадаться, что и остальные классы были укомплектованы столь же стандартно. Учителя — со своими вечными «А голову ты дома не забыл?!», «На контрольной не будете списывать!» и тому подобным — у нас тоже были довольно шаблонными персонажами. Из нашей общей серой массы выделялся только директор — Прокофий Егорович. О нём я как раз вам и расскажу.

И не о нём одном. Так уж сложилось, что мы с ним проживали на одной лестничной клетке, и моя мама водила тесное знакомство с его семьёй. Поэтому я тоже была всегда осведомлена о том, что у них происходило.

Итак, в квартире напротив (где, собственно, и жил Прокофий Егорович), помимо него, проживала и его престарелая матушка — Клавдия Сергеевна. Если вы уже представили себе маленькую-маленькую склочную старушку с клюкой, то вы ошиблись наполовину. Почему так? Потому что женщина эта была настолько массивна, что не каждый вор решился бы выхватывать сумочку у эдакой баржи, что одним своим властным взглядом заставляла плакать младенцев. А про характер — сущая правда: Клавдия Сергеевна отравляла жизнь всем соседям и даже мэру города.

Прокофий Егорович был полной противоположностью матери. Он был невысоким, мягким во всех смыслах, и даже когда шаловливые семиклассники — право, настоящие малыши, — попадали бумажным шариком по его белой щеке, то он расплывался в умильной улыбке, с обожанием глядя на своих «деток».

Клавдия Сергеевна всячески ругала власть прошлую, власть действующую и власть будущую. Она собирала под нашими окнами подруг и жаловалась всему миру на то, какая власть продажная, а она, несчастная слабая женщина, беззащитная.

Прокофий Егорович относился к властям лояльно. Ему нравились жилистые дяденьки за трибунами, он сам невольно ставил себя на их место и с ужасом осознавал, что у него не хватило бы смелости. Да и о какой власти могла быть речь, если он уже был директором школы, в которой обучалось столько очаровательных детишек? Узнала бы об этом его мамочка — сразу бы захлебнулась возмущением: она-то во снах видела его (да и свои тоже) генеральские погоны.

Тем, что её сын был директором школы, Клавдия Сергеевна гордилась и всегда хвасталась перед подружками: «А вот у меня сынок должность высокую занимает в об-ра-зо-ва-тель-ном (она специально говорила по слогам, дабы все прониклись и почувствовали важность обузы, лежащей на плечах Прокофия Егоровича) аппарате! Вот у тебя, Доська, сын кто? Сантехник! Фи, как ты его воспитала, даже нормального образования дать не могла. А у тебя, Катька, кто? Военный? Сила есть — ума не надо! Велика мудрость — на это продажное государство служить». Старушка обладала удивительным свойством принижать заслуги всех остальных людей. Скажи одна бабка, что её сын сам Господь Бог, Клавдия Сергеевна сию минуту записалась бы в атеисты. Так она могла сидеть под окнами часами, пока во двор не заедет на своей голубенькой «копейке» наш Прокофий Егорович. Матушка его расплывалась в горделивой улыбке: «Директор мой едет!» — и встречала сына тумаком. Это для остальных он директор, а для неё — нерадивый сынок, бросивший носки под кровать!

Как большинство старушек нашего времени, Клавдия Сергеевна проводила свой пенсионный возраст за просмотром обличительно-скандальных передач. По телевизору показывали очередное шоу с громким названием «Отравиться хлебом! Умереть от воды!». Женщина не могла удержаться

от восклицаний при виде фиолетовых куриных окорочков, колбасы из саранчи и прочего содержимого прилавков. Старушка настолько испугалась помереть, откушав крокодилятины вместо сала, что во время рекламы бегала на кухню за сердечными каплями. Под конец передачи её властная рука потянулась к телефону и набрала номер директора моей школы.

— Простиков Прокофий Егорович слушает,— ответил сын Клавдии Сергеевны.

Женщина сжала накрашенные фиолетовой помадой губы, набрала в лёгкие побольше воздуха и требовательно воскликнула:

— Сын! Я требую, чтобы ты слушался свою мамочку!

По другую сторону телефонной линии что-то громко зашелестело и упало. Сын не то что слушался, он боялся даже подумать что-то против матушки.

— Да, мама…— как-то обречённо ответил директор школы.

— Возьми на кухне в столовой два окорочка! Я желаю приготовить сегодня ужин, который не будет вредить нашему здоровью.

— А разве раньше вредил?— удивился мужчина.— Давай я лучше по дороге домой их куплю.

— Да ты что! Ты что!— возбуждённо воскликнула Клавдия Сергеевна.— В этих магазинах только отраву и продают! А деткам должны давать полезные продукты. Так что марш в столовую, и чтобы без окорочков дома не появлялся!

— Ну вот именно,— слабо сопротивлялся директор,— деткам. Мама, неужели ты хочешь, чтобы кому-то из детей не хватило обеда?

— Никто от этого не умрёт!— категорично заявила женщина.— Я всё сказала!

«Я всё сказала!»— было точкой в разговорах между матерью и сыном. И если матушка директора произносила эту твёрдую, как политика Сталина, фразу, то у Прокофия Егоровича действительно не оставалось выбора.

И сейчас, горько вздохнув и пожалев обделённого ребёнка, он отправился в столовую.

Через несколько дней, когда директора не было дома, Клавдия Сергеевна вела великосветскую беседу с такой же властной подругой. Та ужасно возмущалась маленькими порциями в школьных столовых, даже поговаривала, что из-за этого её внученька Марфушенька такая худенькая и бледненькая. Сама Простикова страстно вторила ей, винила школьную власть, президента России, почему-то президента США и даже Рюрика, с которого и начался кошмар. То, что «внученька Марфушенька» училась в нашей школе, Клавдию Сергеевну совсем не волновало.

Не прошло и полугода, как Клавдия Сергеевна, увидев в положении своего сына золотую жилу, решила использовать сей ресурс по полной. В нашей школе становилось всё беднее, запланированный ремонт так и не провели, зато состояние директорской квартиры заметно улучшилось, а мама видела соседку даже с географической картой, которую старушка притащила на очередные посиделки, чтобы наглядно показать, как продажные чиновники завоёвывают мир. Но, так или иначе, стараниями учителей (и немного директора) нашей школе дали профиль, и поступать теперь в старшие классы сюда можно было только после специальных отборочных экзаменов.

Однажды вечером беседа бабулек нашего двора зашла в русло семейных ценностей, и одна старушка стала слёзно жаловаться на то, что её обожаемого внука выгнали из школы за неуспеваемость, регулярные драки и просто возмутительное поведение. И тут у матери Прокофия Егоровича проснулось чувство взаимопомощи, она захотела показать своё превосходство, а точнее— превосходство своего сына, а заодно и помочь подруге с проблемой.

И в тот же вечер она поставила своему директору условие:

— Или ты принимаешь Васеньку в свою школу, или ты меня совсем не любишь!

— Мама…— мягко отвечал Прокофий Егорович.— Я был бы рад принять его к нам, но теперь наша школа принимает новых учеников только через вступительные экзамены, а этому ребёнку, с его-то результатами, вход к нам заказан. Если ему проще поступить в техникум, зачем тратить два лишних года?

— Ничего *ты* не понимаешь!— горько воскликнула старушка.— У него ранимая душа, а ты хочешь мальчика в техникум. Ты даже не знаешь, какие там дети учатся! Погубить ребёнка захотел, ирод!

Прокофий Егорович засопел: ему очень не хотелось губить ребёнка и ввязываться в скандал с матушкой.

Так в нашем классе появился невежественный и грубый Вася, к которому даже нельзя было подступиться: недоросля охраняла сама Клавдия Сергеевна.

По прошествии некоторого времени, в магазине, стоя в очереди, мать нашего директора решила заняться своим любимым делом— поскандалить. А причины старуха всегда находила очень легко: ну вот не понравилась ей молодая женщина, что, по убеждению самой Клавдии Сергеевны, грубо её оттолкнула. Наша героиня начала громко стонать да причитать, что эта молодая женщина чуть ли не швырнула бедную старушку на прилавок, едва не сбила бабушку. Продавцы и покупатели отмалчивались: все они не понаслышке знали характер мучительницы нашего района, и никто не решался вступать в спор. Молодая женщина, обвиняемая чуть ли не в запланированном покушении на драгоценную Клавдию Сергеевну,

спрятала смешок в ладошку, чтобы не показаться невежливой. Матушку директора это настолько оскорбило, что она заголосила ещё громче. Но, видимо, и это молодую женщину нисколько не смутило.
— Бабушка, ну что же вы цирк устраиваете? Ведь понятно, что это всё плод вашей больной фантазии,—весело ответила она, вызвав лютое негодование у старушки и молчаливое одобрение со стороны остальных.

Впервые Клавдию Сергеевну поставили на место, что ей, разумеется, ужасно не понравилось. Она запомнила молодую женщину до мельчайших деталей и вознамерилась отомстить. Подняв на уши все свои связи с платочками и тростями, она, наконец, узнала, что эта самая нахалка, покусившаяся на гордость самой матери директора нашей школы, была учительницей физики, которая только недавно устроилась и переехала в этот район.

В тот же вечер Порфирий Егорович подвергся тяжелейшим моральным пыткам.
— Мама, да как же ты не поймёшь!—директор говорил тихо, но глаза у него блестели.—Уволить человека только из-за того, что вы с ней чего-то не поделили! Это же тебе не шкаф казённый взять!
— Поречка, разве ты не понимаешь, что эта училка обидела старушку?!—заламывала руки Клавдия Сергеевна.—А ведь она может так любого ребёночка обидеть почём зря. Уволь её!
— Нет, как это ты не понимаешь?! Если будут подозрения на её некомпетентность, то я проведу с ней беседу. Но ведь даже жалоб не поступало!
— Ах, значит, жалобы! Ну ладно, Порфирий, будут тебе жалобы!—мстительно прошипела старушка, а потом заявила намного громче:—Я всё сказала!

Так или иначе, но через месяц учительницы физики в нашей школе не стало. Никто не знает, стараниями Порфирия Егоровича или хлопотами предприимчивой Клавдии Сергеевны. Вот только терять такого учителя нам было очень жалко, да что уж поделать.

А потом я окончила школу и уехала учиться. Мне довольно часто звонила мама, но о директоре нашей школы мы почти не разговаривали. И лишь однажды, перед самыми каникулами, на мой вопрос о здравии Порфирия Егоровича она сказала:
— А разве я тебе не говорила, что его посадили? За хищение казённого имущества. Да ты знаешь, когда в школу с проверкой пришли, там столько всего выяснилось!..

Когда я приехала домой, Порфирия Егоровича дома действительно не оказалось. Зато Клавдия Сергеевна всё жила в квартирке напротив. Она так же ругала власть, трясла уже высохшей рукой, которая теперь никому не казалась грозной. На улице старуха не показывалась, а если и выходила из квартиры, то только для того, чтобы купить в магазине самое необходимое. И как она закипала, когда старушки на лавках, бывшая её свита, подхихикивали, увидев её, и рассказывали друг другу истории о бывшем директоре нашей школы да о его честолюбивой матушке, отличавшейся склочным характером!

Инга Юронен

Литературный лицей, 8 класс

Ленивая Лень

Здравствуйте! Я—Ленивая Лень. Живу практически в каждом доме; можно сказать, что обитаю везде. Наверное, вы задумывались, почему вы не хотите что-либо делать. Так вот, на самом деле желание не делать то, что вам нужно, возникает не просто так. Я подхожу к вам и шепчу на ухо: «Зачем тебе делать сейчас это задание? Можно же сделать его потом, а сейчас лучше сходи погуляй с друзьями». Вы идёте и гуляете. Затем вы возвращаетесь после прогулки и садитесь за уроки, а я вам говорю: «Ой, ну зачем тебе всё это нужно? Оно же в жизни тебе не пригодится, лучше посиди в социальной сети, поставь лайки на те фотки, которые тебе нравятся, это же будет гораздо полезнее, ты поможешь друзьям повысить их статус в обществе, а если ты просто сделаешь домашнее задание, то ты будешь эгоистом. А так ты не сделаешь и потом спишешь у человека, который старался для тебя, иначе можно сказать, что он делал задание впустую». И вы делаете то, что я вам говорю. Вы полностью в моей власти. Я вами управляю.

Иногда попадаются люди, которые не подчиняются мне никогда. Это чаще всего отличники. Я их не люблю. Мне очень не нравится, когда со мной борется множество людей, это обычно бывает перед экзаменом. Все сразу становятся зубрилами, и никто меня не слушает.

Наша работа передаётся из поколения в поколение. Своими высокими достижениями я обязана своей бабушке Скуке. Да-да, у меня есть родственники, но многие ушли уже в отпуск. Ведь невозможно работать вечно, лень ведь.

Алексей Теплицкий

Литературный лицей, 10 класс

Без названия

Я—это ваша жизнь и ваша судьба, так было всегда, так есть, и так останется до конца. Я жестоко до слёз и до слёз милосердно. Я всегда несправедливо. Меня не обмануть никому, даже самым искусным лжецам.

Я центр средоточия мира: всё вертится, строится и рушится во мне. Я—каждая ваша эмоция,

мысль, горе и радость. Я самое уничижаемое и самое возвышаемое в мире. Я бесценно, хотя вы не цените меня. Многие благодарности, а чаще проклятия адресованы мне. Я меняю и выворачиваю наизнанку ваши жизни. Одно мгновение — и вы счастливейший из людей, другое — и скорбь разъедает вашу душу и сердце.

Я сумасшедший король, который однажды будет свергнут. Не вами. Однажды меня не будет…

Во мне живёт каждое ваше действие. Ваши мысли непостижимы для меня, но каждый из вас непременно думает обо мне, строит планы или даже расписывает целую жизнь, пытаясь играть со мной. Я везде и повсюду. Я ваше всё и всё ваше целиком. Я яд, которым пропитано всё, и я награда всем живущим. Я непостижимо, непредсказуемо и непонятно для вашего разума, закрытого от меня. Я хотело бы играть вашими судьбами, но через меня ими играет Кто-то другой, тоже непостижимый для вас. Вы мои рабы, а я ваш. Нет в мире ничего свободного, потому что всё зависит от меня, все вы — мои заложники, а я, правящий вами, ваш же слуга. Мне не отвязаться от вас никогда до тех пор, пока шаги мои не остановятся. Вы дарованы мне так же, как и я даровано вам. Я равнодушно взираю на ваши слёзы радости и горя, ваши эмоции и отношение ко мне. Я не могу стоять на месте, хоть на миг остановиться, я вечно иду в одном ненарушаемом ритме. Так захотел мой Создатель. Я никогда не смогу открыться людям до конца, хоть и имею огромное желание. Нет таких людей, способных понять меня, постичь. Я обнимаю вас и погружаю в сладчайшую радость. Я обнимаю вас и погружаю в неимоверную печаль. Но вы от «а» до «я» вашей жизни — в моих объятиях. Каждый ваш следующий шаг — следствие моих действий, но я никогда не смогу вершить ваши судьбы или хотя бы изменить их так, как мне интересно.

Вы ничтожны, а я велико. У нас есть лишь одна общая черта: мы не знаем будущего. Ваша жизнь без меня не существует. Самая сложная зависимость — зависимость от меня, и каждый в большой степени от меня зависим. Однако вы — счастливейшее, что есть в мире, а я — несчастнейшее. Я лишь инструмент. Самое страшное оружие и самое великое создание. Но всё-таки лишь инструмент. Я самое несамостоятельное и несвободное в мире. Вы же награждены великим даром, который зачастую не цените, — правом выбора. Вся ваша жизнь — выбор, вы всегда его имеете. И вы счастливы. У меня нет выбора — и я несчастно. Вся ваша жизнь проходит во мне, но мне не дано её познать. Вы умираете, если я выпускаю вас из своих объятий, и никто меня не благодарит за это, человечество не любит смерть во всех её проявлениях. Если бы я имело выбор, я выбрало бы смерть, я безумно устало. Я буду идти вперёд всегда, но с неизменной верой, что когда-нибудь мой Создатель разрешит остановить этот мой размеренный, неторопливый и мучительный шаг. Я самый жёсткий механизм. Я ваш палач. Ваше прошлое, настоящее и будущее. Но для нас с вами всё же наступит миг прощания. И «времени уже не будет» (Апок. 10:6).

Лера Абрамова

Гимназия № 10, 7 класс

Кошкин порядок

В мою комнату кошка однажды зашла
И порядок по-своему там навела:
Подвинула лампу, со стула упала,
Плакат порвала, фоторамку сломала,
Столкнула флакон с дорогими духами,
И что с ними стало — поймёте вы сами.
Цветочный горшок чуть не перевернула,
И в тумбу с комодом, и в шкаф заглянула,
Решила «примерить» колготки и брюки,
И вещи теперь даже страшно взять в руки.
Косметика тоже пришлась ей по вкусу,
Ещё ей безумно понравились бусы.
Как здорово было качаться на шторе —
Гардина и штора обрушились вскоре.
И вот, наконец, моя кошка устала.
«Хозяйка такой красоты не видала!» —
Подумала кошка, свернулась клубочком.
А дальше, как автор, поставлю я точки…

Наташа Семёнова

Лицей № 2, 9 класс

Книга, которую я не дочитала…

У любого человека есть такая книга, которая ему вроде бы и нравится, но сюжет не трогает, да и сама она доверия не внушает. Ты бы и рад взять и отложить её на какую-нибудь самую высокую полку, чтобы глаза лишний раз не мозолила, но не можешь. Чувство долга не позволяет. И вот ты читаешь её, но так невнимательно, что пропускаешь аж по пять страниц, к середине уже ничего не понимаешь, и тут ты всё-таки забываешь о долге и просто убираешь её подальше.

Задаёшь себе вопрос: «А почему она меня не тронула?» И часто затрудняешься ответить. У меня такое однажды было с весьма серьёзным произведением… Николай Гоголь, «Ревизор». Я начинала его читать всегда с первого действия, затем шло второе, а после третье… в итоге до пятого я так и не дошла. Это произведение не вызывало у меня особого интереса, сюжет я в какой-то степени поняла. Но книга невзлюбила меня с самого начала (или я её — в общем, неважно). Мне не

нравилась сама идея произведения, отсутствие положительных героев (за исключением смеха), то, как построено произведение. Но единственное, что мне действительно понравилось,—это сам город с его глупыми и нелепыми героями.

Я не дочитала «Ревизора», но надеюсь, кто-то всё же полюбил это произведение, и оно ему искренне пришлось по душе.

Заровшан Джафарова

Литературный лицей, 10 класс

Базаров

Идти по собственному пути, ещё даже не начертанному, новому и неизведанному—жизненное кредо Базарова. Базаров... Как точно описывает фамилия его внутренний мир: многогранность, разнообразие тонов, некий хаос для окружающих, но чёткий порядок для него самого. Хаотичным признавал Евгения и Павел Петрович Кирсанов: огромная пропасть между героями разрывала параллели их судеб. Да, именно параллели, ибо действительно очень похожие эпизоды сыграет с героями судьба, а они—конгениальные игроки...

Социальная среда и время—два фактора, создавших пропасть между ними. Кирсанов—сын генерала, Базаров—лекаря. Естественно, они росли в разных условиях, ценности у каждого сложились совершенно разные. Собственно, как два разных изотопа одного химического элемента: лишь нейтронов в ядрах атомов разное количество. Если бы Базаров и Кирсанов родились в одно время, уменьшилась бы пропасть, возможно, даже характерами были бы сходны.

Ключевое слово для обоих героев—одиночество. У каждого есть собственное пространство—орбитали этих атомов,—в пределы которого никто не волен вторгаться: там кружится вся жизнь.

Главное испытание для обоих—любовь. Этот вихрь сталкивает с ног столь уверенных в себе молодых людей, пространство вокруг сужается. Тут с плеском роняет в воду свои нигилистские начала Евгений. Теперь в этих водных кругах отражается немного иной Базаров: он становится объектом насмешки для себя самого, ибо романтики ранее вызывали у него лишь смех, ныне герой сам таковым становится. Но и Кирсанов, и Базаров преодолевают испытание достойно; Евгений продолжил бы жизненный путь, подобно Павлу Петровичу, и начал было, но для него этот путь оказался слишком короток...

Базаров единственный принадлежит к лагерю «детей» в романе Тургенева: после его смерти теряются все «нигилисты». Бой окончен. Жизнь для всех продолжается в привычном «отцовском» ритме...

ДиН ревю

Издание осуществлено при поддержке государственной грантовой программы Красноярского края «Книжное Красноярье»

Красноярск: «Поликор», 2013.—72 с.

Марина Саввиных
Евгений Мамонтов

Абигайль

Сказочки для детей и умных взрослых

Героиня книжки, которую придумали Марина Саввиных и Евгений Мамонтов,—прямая наследница сказочных персонажей Льюиса Кэрролла, Фрэнка Баума, Корнея Чуковского, Астрид Линдгрен, Туве Янссон и других детских писателей, работавших с причудливыми образами развивающегося интеллекта. Герои сказок, переворачивающие привычные представления о норме, вторгающиеся в мир обыденный, в повседневность, становятся любимыми друзьями малышей и младших подростков.

стр. 65 **Алешков Николай Петрович**
Набережные Челны, 1945 г. р.

Родился в селе Орловка Челнинского района ТАССР. Работал монтёром связи, электриком, кровельщиком, диспетчером домостроительного комбината. Но основная трудовая деятельность связана с журналистикой. Был редактором набережночелнинской городской газеты «Время», редактором межрегиональной литературной газеты «Звезда полей». В настоящее время — главный редактор литературного альманаха «Аргамак». В 1982 году окончил заочное отделение Литературного института им. А. М. Горького (семинар Н. Н. Сидоренко). В 1984 году принят в Союз писателей СССР. Автор девяти книг стихов, изданных в Москве, Казани и Набережных Челнах. Лауреат республиканской литературной премии имени Г. Р. Державина и Всероссийской литературной премии «Ладога» имени Александра Прокофьева.

стр. 71 **Арменян Сусанна**
Тбилиси, Грузия, 1971 г. р.

Окончила филологический факультет Тбилисского государственного университета. Обладатель гран-при конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии (2011). Публиковалась в местных и зарубежных литературных изданиях («Вавилон», «Контр@банда», «Литературная газета», «Юность», «Дети Ра» (перевод с грузинского) и др.). Стихотворения переведены на грузинский и шведский языки.

стр. 162 **Бердников Лев Иосифович**
Лос-Анджелес, США, 1956 г. р.

Писатель, культуролог, литературовед. Окончил МОПИ. Кандидат филологических наук. Автор книг: «Счастливый Феникс: Очерки о русском сонете и книжной культуре XVIII–начала XIX века» (СПб.: Академический проект, 1997); «Щёголи и вертопрахи. Герои русского галантного века» (М.: Литературная учёба, 2008); «Евреи в ливреях. Литературные портреты» (М.: Человек, 2009); «Шуты и остроcловы. Герои былых времён» (М.: Литературная учёба, 2009) и более 350-ти публикаций в различных странах мира. Член Русского ПЕН-центра и Союза писателей Москвы. Член редколлегии журнала «Новый берег» (Дания). Лауреат Горьковской литературной премии 2010 года в номинации «Историческая публицистика». Почётный дипломант Всеамериканского культурного фонда Булата Окуджавы. С 1990 года — в США.

стр. 50 **Булава Иван Антонович**
Красноярск, 1937 г. р.

Президент Ассоциации судовладельцев Енисейского бассейна. Родился в деревне Слобода Петриковского района Гомельской области Белорусской ССР. Окончил с отличием Омское речное училище по специальности «Судовождение на внутренних водных путях», Новосибирский институт инженеров водного транспорта. С 1959 года работал в Енисейском речном пароходстве: начинал с должности третьего штурмана ледокола «Енисей» Игарского речного порта, был инженером-механиком, капитаном судна; 1975–1981 — начальник Красноярского речного командного училища; 1981–1983 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства по кадрам; 1983–1987 — инструктор отдела транспорта и связи Красноярского краевого комитета КПСС; 1987–1995 — заместитель начальника Енисейского речного пароходства; 1995–2003 — генеральный директор АО «Енисейское речное пароходство» (Красноярск). Заслуженный работник транспорта России (1997); награждён орденом Почёта (1995). Член Союза писателей России.

стр. 166 **Вершинский Анатолий Николаевич**
Раменское, 1953 г. р.

Родился в селе Семёновка Уярского района Красноярского края, в семье учителя. Окончил с отличием два института: Красноярский политехнический и Литературный имени А. М. Горького. Работал в научно-исследовательской лаборатории, в газете, служил в Советской Армии, сотрудничал в журнальных и книжных издательствах. Член Союза писателей с 1985 года, автор шести поэтических сборников, драмы в стихах «Восточный вопрос», книги исторических очерков «Русская Александрия. Средневековая Русь и Александр Невский».

стр. 144 **Газизова Лилия**
Казань

Поэт. Родилась в Казани. Окончила Казанский медицинский институт (1990) и Литературный институт им. А. М. Горького (1996). Шесть лет проработала детским врачом. Публиковалась в «Литературной газете», «Литературной России», в журналах «Юность», «Дети Ра», «Даугава», «Дружба», «Простор», «Татарстан», «Идель», «Казань» и др. Автор четырёх стихотворных книг. Лауреат литературной премии им. Г. Р. Державина (2003).

стр. 181 **Гиневский Александр**
Санкт-Петербург, 1936 г. р.

Родился в Москве. Во время войны жил в блокадном Ленинграде. С матерью был эвакуирован в Ташкент. Из-за болезни матери оказался в детском доме. Чудом соединился с родителями, и с 1946 года живёт в Петербурге. Работал радистом, наладчиком автоматики, осветителем в театре, электриком. Печататься начал в 70-е годы. Автор семи книг для детей и взрослых, множества журнальных публикаций. Член Союза российских писателей.

стр. 178 **Годованец Юрий**
Москва

Поэт, критик. Вырос в городе Каменце-Подольском (Украина). Окончил исторический факультет МГУ имени М. В. Ломоносова (отделение истории искусства). В Советском Союзе возглавлял службу контроля за вывозом и ввозом художественных ценностей. Имеет опыт законотворческой деятельности (Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей»). Кандидат культурологии. В настоящее время работает в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в области охраны культурного наследия, заместитель начальника отдела по контролю за соблюдением законодательства. Автор поэтических книг «Медовый век» и «Свежая жесть».

обл. **Горбачёва Наталья**
Дивногорск, 1966 г. р.

Родилась в Новосибирске. В 1985 году окончила Красноярское художественное училище им. В. И. Сурикова. В 1996 году получила высшее образование в Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина на отделении искусствоведения. Выставляется с 1998 года. С 2006 года — член Союза художников России. Участница краевых, региональных и зарубежных выставок. Работы Натальи Горбачёвой находятся в собраниях Министерства культуры России, а также в частных коллекциях России и за рубежом. В настоящее время художница преподаёт в Детской художественной школе им. Е. А. Шепелевича.

стр. 149 **Закирова Александра**
Красноярск

Родилась в Канске Красноярского края. Окончила Канский педагогический колледж им. В. П. Астафьева по специальности «Иностранный язык (английский)». Публиковалась в журнале «День и ночь» (Красноярск, 2002), сборниках и альманахах «Встречи у фонтана» (Красноярск, 2006), «Отражение» (Санкт-Петербург, 2007), «Вокруг стихов» (Москва, 2010), местной периодике. Работает в СМИ.

стр. 182 **Канавщиков Андрей**
Великие Луки, 1968 г. р.

По образованию журналист. Директор — главный редактор МУП «Издательство „Великолукская правда“». Со стихами, прозой, публицистикой публиковался в журналах «Смена», «Север», «Пульс», «Слово», «Аврора», «Дон», «Русская речь», «День и ночь», «Наш современник», «Московский вестник» и других. Автор книг «Иней», «Призвание Рюрика», «В одном строю», «Русло», «Три войны полковника Богданова», «Цивилизация троечников», «Красный Рассвет», «Егорыч» и других. Лауреат Всероссийской литературной премии им. М. Н. Алексеева, премий Администрации Псковской области, «Чернобыльская звезда». Член Союза писателей России.

стр. 134 **Кураш Владислав Игоревич**
Сумы, Украина, 1974 г. р.

Родился в украинском городке Сумы. В 1996 году окончил Сумский педагогический институт имени Макаренко по специальности «преподаватель русского языка и литературы». Получив высшее образование, Владислав Кураш в течение четырёх лет занимался коммерцией. В 1999 году уехал в Германию, оттуда во Францию, потом в Испанию и Португалию. В конце 2001 года вернулся домой. В 2004 году окончил Сумский государственный университет по специальности «программист». Первые литературные опыты Владислава Кураша относятся к концу 1999 года. Публикации в журналах и альманахах «Нева», «Русло», «Новая литература».

стр. 81 **Курганов Ефим Яковлевич**
Париж, Франция, 1957 г. р.

Славист, специалист по литературному анекдоту «золотого века» русской литературы, писатель. Печатается как историк литературы в журнале «Звезда». Работал научным сотрудником департамента славянских и балтийских языков Хельсинкского университета. В настоящее время живёт в Париже, преподаёт в Сорбонне. Доктор философии.

стр. 63 **Леонович Владимир Николаевич**
Кострома, 1933 г. р.

Поэт, эссеист, публицист. Учился в Военном институте иностранных языков, на филологическом факультете МГУ. Работал в сельской школе, в плотницкой бригаде, на стройке Запсиба, на электрификации Красноярской ж.д. Работал в журнале «Литературная Грузия», много переводил. Публикуется с 1962 года. Первый сборник стихов вышел в 1971 году. Член Союза писателей СССР с 1974 года.

стр. 73 **Лобова-Кубецова Анна**
Прага, Чехия, 1977 г. р.

Аспирант кафедры славистики философского факультета Карлова университета в Праге. Лауреат

конкурса молодых русскоязычных литераторов Грузии (2011) в номинации «Поэзия». Лауреат международного поэтического турнира «Стихоборье» (2009). Публикации в местных и зарубежных литературных изданиях («Литературная газета», «Юность» и др.).

стр. 73

Ляшенко Михаил

Тбилиси, Грузия, 1946 г. р.

Член Союза художников РФ. Стихи и культурологические статьи публиковались в российских и грузинских литературных изданиях, в том числе в коллективных сборниках «Многоликая страна», «В поисках золотого руна», «Новые сны о Грузии», «Музыка русского слова в Тбилиси», «Тому, кто любит стихи», в альманахах «Мтацминда», «Мансарда», «Ямская слобода», в журналах «Знамя», «Дети Ра», «Футурум АРТ», «Зинзивер», «Русский клуб», «Альтернатива», «АБГ» и во многих других региональных периодических изданиях. В 2000 году соучреждает и редактирует журнал поэзии «АБГ». В 2005-м организовывает при редакции молодёжное литературное объединение «Молот О. К.» С ноября 2007-го — организатор и руководитель «Ассоциации литераторов АБГ» (Грузия). Автор трёх стихотворных сборников.

стр. 131

Манасян Михаил

Москва, 1971 г. р.

Родился в Баку. Когда началась война, семья переехала в Армению. Сначала в Ленинакан, потом — после землетрясения — в Араратскую долину, в посёлок Покр Веди, расположенный у храма Хор Вирап. Два года жил в Украине. Позднее, уже в России, работал помощником ветеринара в передвижном зооцирке шапито. Объехал всю северо-западную часть необъятной страны. Студент Литературного института имени Горького.

стр. 151

Николаев Сергей

Санкт-Петербург, 1966 г. р.

Ученик А. С. Кушнера. Работает в бизнесе. Долгое время был членом христианской общины, служил в армии, занимался восточными единоборствами, работал на стройках, на заводе, был дворником, продавцом, охранником, грузчиком, рекламным агентом, публиковался в Сети и в периодике, есть изданная книга стихов.

стр. 71

Нишнианидзе Шота

Тбилиси, Грузия, 1929–1999

Окончил филологический факультет Тбилисского университета. Первые публикации датируются 1946 годом. Автор восьми стихотворных сборников. Награждён орденом «Знак Почёта». Лауреат Государственной премии СССР, Государственной премии имени Шота Руставели.

стр. 69

Орлов Александр Владимирович

Москва, 1975 г. р.

Поэт, прозаик. Родился в Москве. Окончил ММУ № 1 имени И. П. Павлова, Литературный институт имени А. М. Горького и Московский институт открытого образования. Работает учителем истории и обществознания в школе. Редактор журнала «Основы православной культуры». Автор стихотворной книги «Московский кочевник». Лауреат Всероссийской премии малой прозы им. А. Платонова (2011) и Всероссийской премии им. Ф. Глинки (2012). Публиковался в изданиях: «День и ночь», «Дети Ра», «Завтра», «Зинзивер», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Литературные известия», «Народное образование», «Основы православной культуры», «Переправа», «Юность», антология стихотворений выпускников, преподавателей и студентов Литературного института имени А. М. Горького «Поклонимся Великим тем годам», антология военной поэзии «Ты припомни, Россия, как всё это было!..».

стр. 118

Палин Рон

Бельгия

Прозаик. Родился и закончил школу в Белоруссии. Двадцать последних лет живёт в Бельгии. Готовит к публикации свой первый русскоязычный роман.

стр. 146

Потапов Константин

1988 г. р.

Поэт, исполнитель, режиссёр. Поэтические спектакли сделали Потапова по-настоящему любимым публикой: на его счету выступления в Москве, Астрахани, Саратове, Казани, Волгограде и других городах. В 2009 году Константин Потапов был удостоен золотой медали Восьмых молодёжных Дельфийских игр России в номинации «Театр» с постановкой собственного спектакля «Слово». В этом же году он выпустил первый сборник «Времена Суток» (издательство «Бахрах-М»). Константин Потапов со своими произведениями выступает в группе «Posternak».

стр. 67

Прашкевич Геннадий Мартович

Новосибирск, 1941 г. р.

Родился в селе Пировское Красноярского края; в 11 лет переехал с родителями на станцию Тайга, где и окончил школу. Первые рассказы писать начал ещё в детстве. Тогда же увлёкся палеонтологией, переписывался с известными учёными Н. Н. Плавильщиковым, Д. И. Щербаковым и И. А. Ефремовым. Палеонтолог и писатель Иван Антонович Ефремов пригласил юного школьника в настоящую палеонтологическую экспедицию в Западное Зауралье. Учился в Томском государственном университете. Работал в Институте геологии и геофизики СО АН СССР (Новосибирск),

в Сахалинском комплексном научно-исследовательском институте СО АН СССР (Южно-Сахалинск), в Западно-Сибирском книжном издательстве (Новосибирск). Первая публикация — в 1956 году. Член Союза писателей СССР с 1982 года, Союза писателей России — с 1992 года, Союза журналистов России — с 1974 года, Нью-Йоркского клуба русских писателей — с 1997 года, ПЕН-клуба — с 2002 года. Заслуженный работник культуры РФ (2007), лауреат многочисленных премий, редактор издательства «Свиньин и сыновья» (Новосибирск). Занимается переводами с многих языков мира. Книги Геннадия Прашкевича переведены на многие языки и издавались в США, Англии, Германии, Франции, Польше, Болгарии, Югославии, Румынии, Литве, Узбекистане, Казахстане, Украине и других странах. Ряд произведений Прашкевича выходил под псевдонимами. Роман «Пятый сон Веры Павловны» (написанный в соавторстве с Александром Богданом) номинировался на Букеровскую премию (2002).

стр. 72
Ртвелиашвили Зураб
Швеция, 1967 г. р.

Родился в 1967 году в Караганде. Автор поэтических сборников «Эрекция» (1997), «Апокриф» (2002) и «Анарх» (2005). Участник коллективного сборника «Аномальная поэзия» (1993, вместе с Шотой Иаташвили и Георгием Бундовани). Участник международного поэтического биеннале в Москве (2007). Активный деятель альтернативных литературных мероприятий.

стр. 157
Саввиных Марина Олеговна
Красноярск, 1956 г. р.

Выпускница филологического факультета Красноярского педагогического института. Публикации в литературной периодике — с 1973 года: журналы «Юность», «Уральский следопыт», «День и ночь», «Сибирские Афины», «Москва», «Дети Ра», «Северная Аврора», «LiteraruS» (Хельсинки), «Побережье» (Нью-Йорк), «Образы жизни» (Сан-Франциско), еженедельник «Обзор» (Чикаго), коллективные сборники и антологии. Автор девяти книг стихов, прозы, художественной публицистики. Первый лауреат премии Фонда им. В. П. Астафьева (1994). Член Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба. Член президиума Международного Союза писателей XXI века. Автор проекта, организатор и первый директор Красноярского литературного лицея. Главный редактор литературного журнала «День и ночь».

стр. 75
Саришвили Владимир
Тбилиси, Грузия, 1963 г. р.

Родился в Батуми. В 1985 году окончил факультет русской филологии Тбилисского государственного университета. Доктор филологии, сонетолог. Член Союза писателей Грузии, координатор по международным связям. Член Федерации журналистов Грузии, действительный член Союза переводчиков России, член Союза переводчиков стран СНГ и Балтии, Президент Ассоциации русскоязычных литераторов и деятелей культуры Грузии «Новый современник». Лауреат Пушкинского конкурса педагогов-русистов СНГ (Москва, 2003); лауреат Международного конкурса Фонда Ельцина на лучший перевод с национального языка на русский язык в номинации «Мэтр» (Москва, 2008); лауреат литературной премии имени Юрия Долгорукого (2010). Автор пяти поэтических книг.

стр. 72
Саришвили Майя
Тбилиси, Грузия, 1968 г. р.

Родилась в Тбилиси. Окончила педагогический институт им. Сулхан-Саба Орбелиани, работает педагогом начальной школы. Печатается с 1990 года. Автор поэтических сборников «Перекрытие яви» (2001) и «Микроскоп» (2007). Четыре её радиопьесы ставились на государственном радиоканале, стихи переведены на русский, английский, нидерландский, португальский, французский, шведский, арабский, китайский, эстонский и азербайджанский языки. Лауреат премии «Саба» (2008).

стр. 77
Сенчин Роман Валерьевич
Москва, 1971 г. р.

Родился в семье служащих в Кызыле Тувинской АССР. После окончания школы обучался в Ленинграде, проходил действительную военную службу в Карелии. В 1993 году из-за обострившихся в республике межнациональных отношений семья Сенчиных покидает Кызыл и переселяется в Красноярский край, где начинает заниматься фермерским хозяйством. В начале 1990-х Роман Сенчин попеременно живёт в Абакане и Минусинске, где работает монтажником, дворником, грузчиком. В 1995–1996 годах в местных изданиях появляются первые рассказы Сенчина. В 1996–2001 годах учится в Литературном институте (семинар Александра Рекемчука), становится постоянным автором «Октября», «Дружбы народов», «Нового мира», «Знамени», позже — автором «Урала» и других журналов. По окончании Литературного института ведёт там семинар прозы (2001–2003). Автор романов «Минус», «Нубук», «Ёлтышевы», «Информация», сборников рассказов «Иджим», «День без числа», «Абсолютное соло» и др. В 2009 году роман «Ёлтышевы» входит в шорт-листы главных литературных премий России — «Большая книга», «Русский Букер», «Ясная Поляна», «Национальный бестселлер» — и становится одним из самых обсуждаемых в литературной прессе произведений. В 2011 году вошёл в шорт-лист премии «Русский Букер десятилетия».

Силаев Александр
стр. 172

Красноярск, 1978 г. р.

Прозаик, журналист, публицист. Получил экономическое образование, окончил аспирантуру по направлению «Социальная философия». Преподавал философию в Сибирском государственном технологическом университете. Работал обозревателем газеты «Вечерний Красноярск». Лауреат премий Фонда Прохорова в области культурной журналистики. Лауреат литературных премий им. Астафьева (2000) и «Дебют» (2003). Член Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра. Автор повестей и рассказов «Недомут», «Признания врага народа», «Армия Гутэнтака» и др., издававшихся в Красноярске, Москве.

Сорокин Вячеслав Николаевич
стр. 3

Москва

Театральный актёр и режиссёр, кандидат искусствоведения, доцент Академии переподготовки работников искусства, культуры и туризма. В 80-е годы работал в Красноярском ТЮЗе.

Такахаши Бранка
стр. 107

Токио, Япония, 1970 г. р.

Прозаик, переводчик. Родилась в бывшей Югославии, по национальности сербка. По профессии — японовед. Занимается художественной фотографией, пишет рассказы. Переводчица с сербского и русского языков (печаталась в сербских журналах «Свэске» и «Повеля», а в России — в журналах «Нева», «Дальний Восток», «Сихотэ-Алинь», «Литературный Владивосток», «День и ночь»). Жила в Минске и во Владивостоке. В настоящее время живёт в Японии.

Урушадзе Паола
стр. 76

Тбилиси, Грузия

Театровед. Родилась в Тбилиси. Стихи печатались в «Литературной газете», в журналах «Литературная Грузия», «Юность», «Дружба народов», «АБГ», а также в альманахах «Дом под чинарами», «На холмах Грузии», «Поэзия», «Мансарда». Автор стихотворных сборников: «Сперва был сад» (1988), «Тбилиси — Тифлисъ» (2002), «Тбилисский тайник» (2007), «Сыграем, осень…» (2011).

Цветков Сергей
стр. 153

Красноярск, 1992 г. р.

Родился в Ачинске. Студент КГПУ им. В. П. Астафьева. Стихи пишет с семи лет. Дипломант регионального литературного конкурса «Король поэтов» (2012).

Цейтлин Евсей
стр. 159

Чикаго, США, 1948 г. р.

Прозаик, культуролог, литературовед, критик. Родился в Омске. Окончил факультет журналистики Уральского университета, Высшие литературные курсы при Литературном институте им. А. М. Горького. Кандидат филологических наук, доцент. Преподавал в вузах историю литературы и культуры. Автор литературно-критических статей и эссе, монографий, рассказов и повестей о людях искусства. Начиная с 1968 года, публиковался во многих литературно-художественных журналах и сборниках. Автор многих книг, которые издавались в России, США, Литве, Германии. Составил четыре сборника прозы русских и зарубежных писателей. Был главным редактором альманаха «Еврейский музей» (Вильнюс). С 1996 года живёт в США, редактирует чикагский ежемесячник «Шалом». Член Союзов писателей Москвы, Литвы, Союза российских писателей, Международного ПЕН-клуба.

Щербаков Александр Илларионович
стр. 55

Красноярск, 1939 г. р.

Родился в Красноярском крае, в селе Таскино, в старообрядческой крестьянской семье. Образование: история и филология, экономика и журналистика. Работал учителем, корреспондентом краевых и центральных изданий. Автор двух десятков книг стихотворений, прозы, публицистики, повести «Свет всю ночь», сборников рассказов «Деревянный всадник», «Лазоревая бабка», «Змеи оживают ночью», поэтических книг «Трубачи весны», «Глубинка», «Горлица», «Жалейка», «Дар любви». Печатался в журналах: «Наш современник», «Молодая гвардия», «Уральский следопыт», «Сибирские огни», «Огонёк», «День и ночь» и др. Член Союза писателей России. Заслуженный работник культуры Российской Федерации. Академик Петровской академии наук и искусств.

Юшманова Варвара
стр. 155

Москва, 1987 г. р.

Поэт, журналист, редактор. Жила и училась в Красноярске. Окончила Ульяновский государственный университет по специальности «Журналистика». Студентка 5-го курса Литературного института им. А. М. Горького (семинар поэзии Игоря Волгина). Публиковалась в сборниках «Братск — Пушкину», «Жизнь творчества» (Братск), литературно-художественном журнале «Волга — XXI век» (Саратов), журнале «День и ночь» (Красноярск), журналах «Новая реальность» и «Русская жизнь». Финалист Международного литературного Волошинского конкурса 2013 года.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Марина Саввиных

ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

по прозе

Эдуард Русаков

Александр Астраханцев

по поэзии

Иван Клиновой

Сергей Кузнечихин

ДИЗАЙНЕР-ВЕРСТАЛЬЩИК

Олег Наумов

КОРРЕКТОР

Андрей Леонтьев

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Николай Алешков
Набережные Челны

Юрий Беликов
Пермь

Светлана Василенко
Москва

Валентин Курбатов
Псков

Андрей Лазарчук
Санкт-Петербург

Александр Лейфер
Омск

Дмитрий Мурзин
Кемерово

Миясат Муслимова
Махачкала

Александр Петрушкин
Кыштым

Евгений Попов
Москва

Лев Роднов
Ижевск

Анна Сафонова
Южно-Сахалинск

Евгений Степанов
Москва

Михаил Стрельцов
Красноярск

Михаил Тарковский
Бахта

Вероника Шелленберг
Омск

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

А. М. Клешко
Заместитель председателя Законодательного собрания Красноярского края

Е. Г. Паздникова
Министр культуры Красноярского края

Т. Л. Савельева
Директор Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края

Г. О. Янушкевич
Руководитель Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Издание осуществляется при поддержке Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края.

Журнал издаётся с 1993 г. В его создании принимал участие В. П. Астафьев. Первым главным редактором с 1993 по 2007 гг. был Р. Х. Солнцев. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77–42931 от 9 декабря 2010 г. выдано Министерством Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

В оформлении обложки использован фрагмент картины Натальи Горбачёвой.

Редакция не вступает в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Ответственность за достоверность фактов несут авторы материалов. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов. При перепечатке материалов ссылка на журнал «День и ночь» обязательна.

ИЗДАТЕЛЬ

ООО «День и ночь».

ИНН 2463042749

Расчётный счёт 4070 2810 8006 0000 0186
в Новосибирском филиале
ОАО «Банк Москвы» в г. Новосибирске

БИК 045004762

Корреспондентский счёт
3010 1810 9000 0000 0762

Рукописи принимаются по электронной почте: dayandnight@bk.ru или по адресу: 66 00 28, Красноярск, а/я 11 937, редакция журнала «День и ночь».

Адрес редакции:
ул. Ладо Кецховели, д. 75а, офис «День и ночь»

Телефон редакции: (391) 2 43 06 38

Наш сайт: www.krasdin.ru

Подписано к печати: 18.11.2013

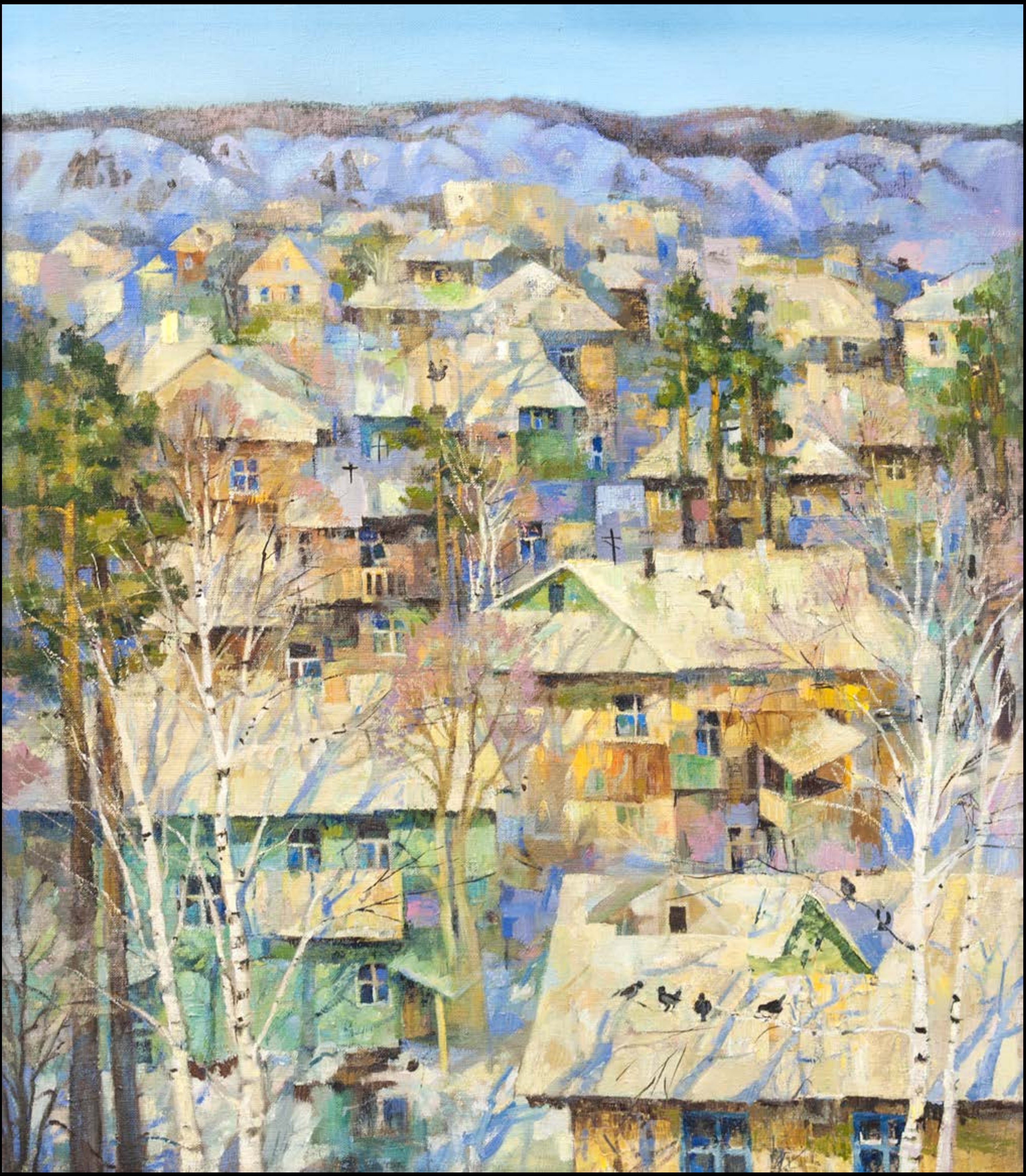
Тираж: 1200 экз.

Отпечатано ИП Азарова Н. Н.
в типографии «Литера-принт»,
г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 6, офис 0-10
эл. почта: 2007rex@mail.ru, т. 2941577

Наталья Горбачёва

Осенний вернисаж

2012



Наталья Горбачёва

Весна пришла | 2008

На первой странице обложки:

Дивногорский мотив (фрагмент) | 2004